ЧЕРЕМЫШ — БРАТ ГЕРОЯ

В КЛАССЕ НОВЕНЬКИЙ!

В новичке не было ничего примечательного. Мальчик как мальчик. Невзрачный такой. Лобастый и накоротко стриженный. Но с виду не тихий. Смотрит ровно, напрямик. Уставится — так не переглядишь, сам сморгнешь.

Пришел он в школу вместе с детдомовскими. Однако одет в свое. Гимнастерка на военный лад. Но заметно, что пошита на другого. Рукава подвернуты. Воротник вокруг шеи — как обруч на палке. На воротнике голубые полоски.

— Под летчика вырядился, фы!.. Нацепил петлички!— фыркнул толстый пучеглазый Федя Плинтусов, которого в классе звали просто Плинтус.

На партах хихикнули.

Новенький внимательно посмотрел на толстяка и вдруг смешно надул щеки. Плинтус моргнул, засопел и разинул рот. Но тотчас же, поперхнувшись, закрыл его.

— Скушал на здоровье,— сказал новичок, усаживаясь на заднюю парту, где было свободное место, рядом с молчаливым Колей Званцевым — тоже из детского дома.

Тихонький Званцев почему-то сразу заважничал и поглядывал теперь на класс так, будто узнал что-то очень интересное...

Звонок уже был, но в классе еще не угомонились — от крика и возни парты ходуном ходили. Ребята всем своим видом давали понять, что им дела нет до новичка. На него будто и внимания не обратили. Но всем хотелось показать себя новенькому с лучшей стороны. Поэтому девочки бегали вокруг парт, старательно визжа. А мальчики, схватившись у доски, тузили друг друга с преувеличенным рвением. Упрямый новичок должен был видеть, что попал в класс отчаянный...

Но тут в дверь, сам себя нахлестывая ремнем, влетел с прискоком высокий чернявый мальчик. Между носом и оттопыренной верхней губой у него были зажаты две гусиные кисточки для красок. Они торчали, как усы. Чернявый и плечи даже держал так, словно за ними распласталась на скаку бурка.

— По ко́ням!— закричал чернявый,

И все кинулись за парты.

Вошла учительница. Волосы у нее были седые, собранные в большой узел на затылке. Но сама она двигалась легко, и походка у нее была совсем девичья.

Класс вскочил ладно и вдруг. По тому, с каким удовольствием и треском выполнен был закон встречи, можно было догадаться, что учительница строга, но любима.

— Доброе утро!— сказала учительница таким неожиданно молодым голосом, что новичок вскинул на нее удивленные глаза.

— Драссте, Докия Ласьна!.. Здравствуйте, Евдокия Власьевна!— хором закричал класс.— А у нас новенький в классе!

— Знаю, знаю, садитесь!— Она стояла, опершись ладонями о край стола, закинув голову, словно волосы оттягивали ее назад, и оглядывала класс.— Садитесь, садитесь!— повторяла она.

Все опустились на места.

Но когда Евдокия Власьевна стала спрашивать фамилию новенького, чтобы занести в журнал, и новичок поднялся на задней парте и назвал себя, весь класс всколыхнулся...

— Черемыш,— негромко, но внятно произнес новичок.— Черемыш Геннадий,— отчетливо повторил он.

И, за исключением детдомовских, которые теперь торжествующе оглядывали класс, все разом обернулись к задней парте.

— Черемыш?!

— У, какая у тебя фамилия знаменитая!— сказала Евдокия Власьевна.— Не родственник тому?— Она показала пальцем на потолок.

— Это мой брат,— ответил мальчик, потупившись, и так зарумянился, что даже стриженая макушка его порозовела сквозь колючую белесоватую стерню волос.

— Вот как?! В самом деле!.. Родной брат! Это хорошо! Это хорошо! Таким братом гордиться можно. И не только тебе — всем нам. Ну, ребята, надо будет подтянуться. А то если наш Черемыш так же быстро и высоко заберется в науках, как его брат — в небе, то вам за ним не угнаться. Ну, а теперь довольно шуметь. Тишина! Плинтусов, сядь! Где твое место? Как это ты успел на задней парте очутиться? Это что за новоселье?

Багровощекий увалень оказался застигнутым во время перебежки. Плинтусу не терпелось расспросить новичка о его прославленном брате, и он решил незаметно подсесть к Черемышу.

— Я теперь тут навсегда буду сидеть, Евдокия Власьевна!— закричал Плинтус.

— Почему же вас там трое на парте?

— Потому что, Евдокия Власьевна... новенький, вот, Евдокия Власьевна, место занял... А я еще на той неделе сюда собирался пересесть, Евдокия Власьевна. Ничего, нам, Евдокия Власьевна, втроем не тесно, мы как-нибудь...

— Марш, марш на место!— сказала Евдокия Власьевна, хлопая рукой по столу.— Живо отсаживайся! Плинтусов, это я тебе говорю. Что ты Званцева выселяешь с его законного места? Это ты там лишний.

Плинтус с неохотой покинул парту Черемыша и Званцева и, переваливаясь, побрел восвояси.

— Скопление мятежников рассеяно,— громким шепотом возвестил чернявый.

Плинтус зло плюхнулся на свою парту. По классу побежали смешки.

— Лукашин,— строго сказала Евдокия Власьевна,— может быть, обойдемся без твоих примечаний?

Затихло. Но через минуту Званцев получил записку от настойчивого толстяка:

«Колька! Давай меняться впересадку. Ты на мое место, а я на твое. Тебе же выгода: у вас парта со скрипом. Как урок, так двинуться нельзя. А с моего места даже каланчу напротив видно. Жду ответа. Ф. П.».

Но Званцев, обычно такой сговорчивый, на этот раз только язык показал.

— Ладно, ладно!— погрозил ему Плинтус.— Припомнишь у меня...

Но тут его вызвала Евдокия Власьевна. Пыхтя и багровея, поплелся он к карте.

Черемыш тем временем поглядывал в окно. Тихий городок лежал за стеклами. Белесоватое северное небо. Свежие бревенчатые срубы. Кирпичное здание с флагом и портретами вождей на фронтоне: райсовет. Высокие ели росли прямо на улице. Город был невелик. Бор смотрел уже из-за ближних домов.

Везли лес. Бревна, огромные рыжие стволы мачтовых сосен, ползли на разъятых дрогах: от передка, где, правя, сидел возчик, до задних колес — чуть не верста!

От окна новичка отвлек солнечный заяц. Заяц вспрыгнул на парту, скользнул по гимнастерке, соскочил на стену. Потом радужное пятнышко мазнуло Черемыша по макушке. И все увидели, как в стриженых ершистых волосках забегали на мгновение оранжевые, красные, зеленые, фиолетовые искорки. Сзади тихо засмеялись. Новичок оглянулся и зажмурился: зайчик, слепя, задел его глаз, вильнул, заметался и совсем погас. Но Черемыш, уколотый лучом в глаз, заметил зеркальце, вспыхнувшее в руках маленькой ученицы. Она быстро отвернулась, насмешливо сморщив нос и передернув озорными

колючими плечиками. Это она донимала новичка. Солидная ее соседка, староста класса, осуждающе качала головой. Но ей и самой было смешно.

Вообще нелегко было в этот урок сохранить порядок в классе. Все украдкой то и дело поглядывали на новичка. Шутка ли сказать — родной брат Климентия Черемыша! Кто бы мог подумать? Такой с виду неказистый, а брат!..

Евдокия Власьевна тем временем спрашивала незадачливого Плинтуса, стоявшего возле карты:

— Ну, о чем ты читал сегодня к уроку, Плинтусов?

— О реках Сибири,— убитым голосом отвечал Плинтус.

— Ну, расскажи нам.

— В Сибири есть реки,— начал Плинтус довольно уверенно,— они текут и впадают...

Молчание.

— Ну, какие же это реки?

— Реки в Сибири ужасно глубокие,— тяжело вздохнул Плинтус.

— А вот это какая река?— спросила Евдокия Власьевна, тронув карту указкой.

Плинтус молчал, беспомощно водя пальцем по одной из толстых синих прожилок на карте. Новичок поднял руку.

— Ин-ди-гир-ка,— отчеканил новичок.

— Правильно, Черемыш,— улыбнулась Евдокия Власьевна.— Еще бы Индигирку тебе не знать: как раз на трассе у брата была.

И все посмотрели на карту. Карта была потрепанная, старая. На ней виднелись следы потайного карандаша, слабо начертавшего наименования «немых» городов и рек. Бумага кое-где отстала от полотна, запузырилась и лопнула, образовав горы и возвышенности там, где значилась равнина... Все посмотрели на эту десятки раз виденную, уже заученную карту и словно впервые разглядели ее, на ней будто проступило что-то... Стали видны бесконечные глухие дали тайги, километры, километры, километры просторов, и нескончаемые льды, и ветры, и расстояния...

И над всем этим провел в небе свой самолет Климентий Черемыш, знаменитый советский летчик.

Все посмотрели на карту и ужаснулись, как велика земля, как труден был подвиг...

И это совершил брат вон того стриженого мальчика, что сидел теперь на задней парте рядом с Колькой Званцевым.

Тоже Черемыш, только Геннадий, Гешка. И с виду совсем обыкновенный мальчик. Пожалуй, Плинтус его одной рукой одолеет.

— Вот сколько славы у нас на карте, ребята, куда ни посмотришь!— сказала своим певучим голосом Евдокия Власьевна

евна и задумчиво обернулась к доске.— Двадцать семь лет я у этой карты стою... И я за это время изменилась, и карта другая стала. И по всей этой карте мои выученики живут, плавают, летают... Один уже академиком, ребята, стал... А тоже у этой карты мне урок отвечал. Два доктора разных наук есть. Капитан дальнего плавания, летчики, машинисты, гидротехники... Новые города на эту карту наносят, реки поворачивают, моря друг с дружкой соединяют... И мне письма пишут, меня новой географии обучают... Ученики мои...

Мягко и широко обвела своей легкой рукой учительница большую страну, занявшую почти всю карту Европы и Азии.

БРАТ ТОГО САМОГО...

— Вы знаете,— сказала Евдокия Власьевна, входя после урока в учительскую,— новичок у нас в пятом «Б», ну, знаете, из детского дома, Черемыш. Так, оказывается, брат того самого Черемыша, летчика.

Даже учителя все заинтересовались новичком. Они как бы невзначай проходили мимо Гешки и приглядывались.

— Только, пожалуйста, не выделяйте, не выпячивайте его, сделайте одолжение,— твердил директор Кирилл Степанович.— Хуже нет этого, тем более что он парень, видно, еще не набалованный, скромница, и это очень хорошо.

— Удивляюсь немножко,— говорила Евдокия Власьевна,— все-таки брат такого знатного человека и живет почему-то в детском доме. Неужели старший брат не может его при себе в Москве держать?

Тут директор заявил, что отношения Гешки с его братом — дело частное. Мальчик — сирота. Переведен в местный детский дом из города Н. В прежней школе поведение и успехи его были отменные, а вмешиваться в личную жизнь героев директор не намерен.

Весть о том, что в пятом классе «Б» будет теперь учиться родной брат летчика Черемыша, быстро обошла всю школу. У дверей пятого класса «Б» вертелись, юлили мошкарой пронырливые первоклассники. Сметая их на ходу, делая равнодушные лица, в класс заглядывали солидные парни из старших классов. Всем хотелось поглядеть на брата героя.

— Это ты того Черемыша брат?— спрашивали в сотый раз Гешку.

— Вот ловко — брат!.. А!..

— Ты вон кто, оказывается! А мы сразу не догадались.

Толстый Плинтус не знал, как загладить свою утреннюю шутку насчет голубых петличек. Теперь всем было понятно, откуда у новичка гимнастерка пилота.

— Это здорово, что ты к нам поступил!— бубнил Плинтус.— У нас ребята один к одному... елка к елке, лес строевой.

Староста класса Аня Баратова подошла к новичку.

— Вы сами тоже летали когда-нибудь?— спросила Аня.

— Приходилось,— ответил Черемыш,— на «П-5». Но,— добавил вдруг Гешка другим, поучающим голосом,— самолеты различных типов, как и различные лошади, ведут себя также различно. В первое время летайте на новом для вас самолете особенно осторожно.

Он выпалил это без единой запинки, как заведенный. Даже не передохнул ни разу. Аня, староста, с уважением глядела на него. Где ей было догадаться, что Гешка жарит наизусть из авиационного учебника! Там эта фраза была напечатана курсивом.

— Эх, вот бы мне полетать хоть крошечку!— воскликнула маленькая Рита — та, что задирала Гешку зайчиком от зеркала.

— О,— передразнил ее лупоглазый Плинтус,— а сама бы скорее вниз запросилась!

— И ничего подобного бы, не запросилась! Это спервоначалу только наверху страшно кажется... А я бы первый разок попросилась не совсем высоко...

— Лихачество на небольшой высоте может привести к тому, что вашим друзьям придется отнести цветы на вашу могилу,— заводным голосом сказал Гешка.

Плинтус только глаза еще больше выпучил. Он был подавлен зловещей ученостью новичка.

— А Плинтуса даже и самолет не поднимет,— сказала Аня.

Аня Баратова была рослая девочка. Правда, она была лишь на полголовы выше Гешки, но ему показалось, что Аня смотрит на него свысока. Однако он не отвел глаз. Его заинтересовала Анина прическа — баранчиком, как назвал Гешка про себя. Косы у Ани были свернуты по бокам головы в виде наушников. Прическа эта показалась Гешке ужасно смешной. Найдя у старосты класса эту слабую сторону, Гешка успокоился и снова почувствовал свое превосходство. Тут Аня спросила, почему он не живет в Москве у Климентия.

— На то есть «почему», только долго объяснять,— сказал, замявшись, Гешка, и все увидели, что Гешка что-то скрывает.— С квартирой у него еще не налажено. Он в общежитии летчиков. Это раз. Дома он почти не бывает, летает все... Да и так, вообще... Но он мне часто письма пишет.

И Гешка вынул из сумки надорванный конверт с письмом. На конверте был московский штемпель, и внизу ребята прочитали обратный адрес: «Москва, Авиагородок, Кл. Черемыш».

Все хотели непременно потрогать драгоценный конверт. Восхищались почерком.

— Красиво пишет, с толстым нажимом,— оценил Плинтус.— А про чего он пишет? Прочти.

Все возмутились, замахали на него руками.

— Вот дурной Плинтус!— сказала Аня.

Но Гешка оценил эту деликатность новых товарищей.

— Любознательность послужила причиной многих открытий,— произнес он, сам вынул из конверта письмо и, загнув листок, показал его.

«Прости, что я тебе редко пишу, Геша. Сейчас работаем ночи напролет. Сдаем новое правительственное задание. С комнатой обещают мне в скором времени наладить. Этот год еще поживи так, а потом пора и снять тебя с государственного кошта. Ну, учить хорошенько. Будь здоров, браток. Кл. Черемыш».

— Счастливый!— говорили ребята и с завистью поглядывали на мальчика, стараясь отыскать в нем печать славного родства.

ВОЕНЛЕТ ЧЕРЕМЫШ

Не было в классе, не было в школе, не было во всем городе Северянске, да и во всей стране не было человека, который бы не знал, кто такой Климентий Черемыш. Герой Советского Союза, военный летчик майор Черемыш прославился на Дальнем Востоке.

Тогда Красная Армия дала немногословный и поучительный урок маньчжурским белобандитам, захотевшим поразбойничать на Китайско-Восточной железной дороге.

Оглушительным ударом ответила на дерзость врага Особая Дальневосточная Красная Армия. Среди отличившихся в этой операции был и молодой военлет Климентий Черемыш.

Он был ранен. Его привезли в Москву. Знаменитейший хирург вынул у него из груди пулю. А потом в незабываемый, ослепительный и торжественный кремлевский вечер на зажившей груди Черемыша появился первый орден.

Года три Климентий был летчиком-испытателем. Он водил в небо на первый воздушный экзамен новые боевые машины. Затем стало известно, что он награжден вторым орденом. «За боевые заслуги в деле укрепления оборонной мощи страны и образцовое выполнение специального правительственного задания»— так было написано в газете.

Вскоре имя его прогремело по всей стране в сверхрекордном, сверхдальнем арктическом перелете. Он получил звание Героя Советского Союза, стал одним из самых лучших летчи-

ков Красного Воздушного Флота, одним из самых знатных людей в стране. Вся страна повторяла короткие и веселые радиограммы Климентия с борта самолета: «Мотор — как часы. Летим — как по писаному. Прочее соответственно».

«Прочее соответственно» — так кончались все сообщения с самолета. Эти два слова обозначали, что люди крепки, приборы точны, настроение отличное, все обстоит как нельзя лучше.

Климентий был неутомим. Он брался за самые трудные, самые ответственные задания. Он, если требовалось, летел в самые глухие и далекие углы страны, вывозил заболевших зимовщиков с островов, с кораблей, зажатых льдами. Ставил рекорды скорости. Он работал весело и быстро. Отмахивался от назойливой славы. А в дни больших народных праздников его бешено ревущая, почти неуглядимая машина первой врывалась в праздничное небо над Красной площадью. Забравшись на огромную высоту, красный кургузый самолетик, похожий на оперенный бочонок, стремглав свергался вниз, куролесил, кувыркался и снова шестисотметровым швырком, по отвесу, возносился вверх.

Воздух вокруг был полон гремящего воя. Мотор с дискантового минора переходил на басовый мажор.

А на земле люди, задирая кверху головы и ежась, дивились неистовому искусству высшего пилотажа, великим мастером которого слыл Климентий Черемыш.

Вот какой брат был у Гешки!

КЛАСС ЕГО РОДСТВЕННИКИ

Все завидовали ему. Мальчики вообще любят хвастаться своими старшими братьями. И каждый хотел иметь чем-нибудь примечательного старшего брата. Это была поголовная мечта. «Вот у меня брат!» — слышалось то и дело в классе. «У меня брательник, знаешь, он на заводе первый. Ему к Октябрю велосипед премировали».

И даже толстый Плинтус, старший брат которого был замечателен лишь тем, что превосходил по объему младшего, похвалился однажды:

— Это что! Вот у меня брат, так он может два батона, халу и кило ситного зараз съесть!

Другие рассказывали, что у них братья инженеры, врачи, пограничники. У Коли Званцова брат был художник.

Миша Сбруев хвастал, что у него двоюродный брат — конный милиционер. У Ани Баратовой старшая сестра — химичка — в Ленинграде. Впрочем, мальчики, мечтавшие о знаменитых старших братьях, сестер в счет не брали.

Однако в разговорах о братьях и сестрах выяснилось, что почти у всех есть родство с замечательными людьми. Люди эти были, может быть, и не очень знатные, но просто хорошие советские люди, работящие, нужные, живущие весело и интересно: конструкторы, сталевары, учителя, мастера, комбайнеры, артисты. Но все это, конечно, не уменьшало славы Гешки Черемыша, старший брат которого был прославлен на весь мир. Тут уж и спорить было нечего... Просто вот так уж повезло парню из пятого класса «Б» в третьей северянской средней школе-десятилетке.

Пятый класс «Б» гордился Гешкой. Действительно, не в каждом классе учится брат такого героя! Для всей страны был летчик майор Климентий Черемыш, а для Гешкиных одноклассников —«Черемыша из нашего класса брат... Гешкин брат...».

И, когда почтальон Валенюк проходил утром мимо школы, ребята выбегали навстречу ему и кричали:

— А Черемышу нет?

— Есть — заказное спешное,— неизменно отвечал почтальон,— только еще чернила не просохли. В Москве лежит, сохнет.

Но изредка действительно оказывалось письмо из Москвы. Ребята вносили в класс, вырывая друг у друга, конверт, в обратном адресе которого значилось: «Кл. Черемыш».

Гешка никогда не читал письма в классе. Он уносил к себе в детский дом и там, в укромном уголке, за печкой, прочитывал.

— Ну, что пишет?— интересовались на другой день ребята.— Никуда не летит?

Но Гешка отмалчивался.

Так каждое письмо окутывалось некоей тайной. И вообще ребята чувствовали, что в отношениях между Гешкой и его знатным братом есть какой-то секрет, который Гешка ни за что никому не выдаст. Впрочем, он охотно рисовал для ребят цветными карандашами портреты своего брата. У него была богатейшая коллекция фотографий знаменитого летчика. Он аккуратно вырезал их из журналов. У Климентия на портретах был просторный лоб и широко поставленные глаза. От этого меж бровей, над переносицей, выпирал выпуклый треугольник, и глаза смотрели упрямо, широким и зорким оглядом. Климентий Черемыш, коренастый и смуглый, улыбался на фото, выглядывал из люка самолета, кого-то приветствовал.

И слава брата была так неотделима от Гешки, что даже Евдокия Власьевна говорила иногда на уроках:

— Черемыш, Черемыш, сиди как следует! Ай-ай-ай!.. Стыдно! А еще брат героя! Не подобает тебе...

Иногда это становилось даже скучным. Хочешь не хочешь, а надо хорошо заниматься. Неловко, если брат героя и вдруг будет отстающим. Нельзя было участвовать во многих проделках ребят. Неудобно — скажут: брат такого героя, а хулиган, фамилию позоришь... Ничего не поделаешь — раз уж вышел из такой геройской семьи, так «прочее соответственно» должно быть: изволь и сам соответствовать высокому родству!

ВОЛЬНЫЕ ХОККЕИСТЫ

Но Гешка Черемыш завоевал уважение товарищей в школе не только своей фамилией. Одной фамилией ничего бы он не добился. Первые дни, правда, все охали. А потом понемножку привыкли. Брат так брат. Что уж тут такого?!

Но едва открылся в городе каток, слава Гешки снова загремела по классам. На коньках «снегурочка» он обогнал самого Лукашина. А Лукашин слыл чемпионом школы от первого класса «А» до пятого «Б». И бежал он на настоящих «норвежских» коньках. К тому же Гешка оказался добрым хоккеистом.

А в городе Северянске, близком к морозным краям нашей страны, зима была ранняя и долгая. Все очень уважали русский хоккей, летучую и искристую игру — борьбу за маленький пробковый мяч в вихре льдистой пыли, в высверках стали и стуке клюшек...

И вот оказалось, что Гешка Черемыш — замечательный хоккеист. Он играл нападающим на правом крае и обладал редким умением бить с ходу точно по воротам. Никто не умел так внезапно, на бегу отставив одну ногу в сторону, резнув лезвием с полного разгона лед, застопорить на месте и, завертевшись, мгновенно взять обратный разбег.

Кроме того, Гешка уснащал свои разговоры на катке множеством летных выражений.

— Клюшку на себя!— командовал Гешка.— Заходи на удар!— распоряжался он.— Сажай на три точки! Есть!.. Впритирочку!

Это нравилось хоккеистам. Игра приобретала боевую значительность. Гешку на катке оценили.

Зима в Северянске наступала рано, и в то время как в Москве еще доигрывались на взмокшей траве стадионов осенние матчи в футбол, в Северянске на подмерзших прудах и лужах уже появлялись вольные и дикие хоккеисты, гоняя по льду все, что попадалось под клюшку, будь то старая калоша или смерзшаяся навозная лепеха.

Старшеклассники играли в юношеских командах города.

А в школе были две свои «вольные» хоккейные команды. В первой капитаном вскоре стал Геша Черемыш, во второй... Вторая команда была «девчачья», как называли ее в школе. Организовала ее Аня Баратова. Аню Баратову дразнили в школе «мальчишницей», потому что она одинаково хорошо и просто водилась как с девочками, так и с мальчиками. И ни Гешке, ни Плинтусу, ни тихонькому Коле Званцеву, ни воинственному задире Лукашину никогда не приходило в голову подразнить Аню, как других девчонок. Она была своя. С ней было интересно.

Команда Ани Баратовой была сколочена еще за год до поступления Гешки в школу. Девочки сперва шли неохотно, стеснялись, говорили, что хоккей — это «мальчишья» игра. Но успехи школьной команды сделали школьников героями катка.

А зимами каток был центральным местом в городе. Каток устраивали на реке, огораживая флажками, вехами, а со стороны берега — легким временным палисадом участок замерзшего русла. И Аня Баратова добилась своего. Девочки, которые и прежде отлично катались на коньках, раздобыли теперь кустарные клюшки и вскоре стали такими же азартными игроками, как и мальчишки.

Еще в прошлом году команда Ани Баратовой вышла на первое место среди девочек Северянска. Но все же мальчики относились к хоккеисткам пренебрежительно, считая, что «девчачий хоккей — это не игра, а один писк»...

ИСПЫТАНИЕ

Однажды радио, а потом газеты принесли из Москвы весть, что Герой Советского Союза летчик майор Климентий Черемыш один отправился в новый неслыханный беспосадочный перелет Севастополь — Чукотка. Наискось через всю страну — из угла в угол! На одноместном скоростном самолете. Сквозь осенние ливни юга, напролом через туманные заморозки средней полосы и метели таежной зимы. Когда в школе узнали об этом, Климентий Черемыш летел уже над предгорьями Урала.

На большой карте красной ниткой, приколотой булавками, обозначили маршрут перелета. Вдоль нее передвигали флажок. Вечером пришло известие, что Черемыш летит над тайгой. Потом связь с летчиком оборвалась. Флажок на карте остался непередвинутым...

Утром Гешка пришел в класс осунувшийся и молчаливый. Ребята боялись взглянуть на него. Климентий Черемыш исчез в бездонных далях Восточной Сибири.

— Ты только, Геша, не волнуйся, прежде всего,— говорила Аня.— Я вот почему-то уверена...

— Конечно, мало ли что,— начал толстый Плинтус.— Может быть, знаешь чего? Может, вдруг атмосфера не пропускает там радио. А потом пропустит, и мы узнаем.

— «Атмосфера, атмосфера!»— сказал Гешка.— В голове у тебя, видно, атмосфера!

Начались уроки. Но учителя и ребята то и дело поглядывали на крайнюю заднюю парту, где сидел, опустив голову, Гешка Черемыш, брат летчика, сгинувшего в безлюдной студеной глухомани Севера.

Учителя не вызывали в этот день Гешку. Перед письменной по математике сам директор справился, как он себя чувствует, не освободить ли его от работы. Но Гешка упрямо заявил, что хочет решить задачу, и наотрез отказался от поблажек.

Задачка была не очень трудная, хотя и запутанная. Решать ее нужно было осмотрительно, со вниманием. А Гешка никак не мог собрать свои мысли. И Званцев видел, что сосед его рисует на промокашке самолеты... Много самолетов... А на страничке раскрытой тетради по математике у Гешки попрежнему ничего не было, кроме условия задачки. Званцев хотел подсказать Гешке решение, но тот зло отмахнулся.

Скоро почти все решили задачку. Сдав тетради учителю, ребята выходили из класса, оглядываясь на Гешку. Гешка попрежнему сидел за партой, не подымая головы. Вот уже и Плинтус кончил. А Гешка все еще решал задачку в опустевшем классе.

— Ну, как Гешка там?— спрашивали ребята у Плинтуса, вышедшего в коридор.

Плинтус только рукой махнул.

— Не повезло сегодня братьям,— сказал остряк Лукашин,— и этот завяз... без вести пропал.

Его чуть не отколотили.

— Тебе что, смешно?

— Ну, уж пошутить нельзя...

— Нашел чем шутить!

Ребята теснились у дверей класса, заглядывали через замочную скважину — как там Гешка Черемыш... Пытались даже подсказать ответ задачи. Не заметили, что подошел директор Кирилл Степанович.

— Это вы там кого через замочную скважину в науку вытягиваете?— раздался вдруг его низковатый голос, и все шарахнулись от двери.

А Кирилл Степанович подошел, плотнее прикрыл дверь в класс и, обернувшись к ребятам, продолжал:

— Говорят вам, говорят, что у нас двери в науку для всех

широко раскрыты, а вы все сквозь щелочку хотите знания подсовывать. Тесновата щелочка для науки. Пошли бы вы лучше погуляли, чем тут толкаться да шептаться.

Директор ушел в учительскую, а ребята, ненадолго отошедшие от двери, как только он скрылся, снова все, как один, не сговариваясь, слетелись к дверям. Каждого выходившего из класса сейчас же осаждали расспросами:

— Ну, как Гешка? Выходит у него?

А тот, легонько отдуваясь после усилий, потраченных на решение задачи, и сообщив, что Черемыш все еще решает, шепотом спрашивал в свою очередь:

— Икс чему равен? Тридцать два?

И, успокоенный тем, что ответ у него сошелся с другими, сам начинал заглядывать в класс, на Гешку.

Вышел Миша Сбруев, потный и взъерошенный... Вид у него был такой, что никто даже не спросил уже про Черемыша.

— Решил!— торжественно объявил Сбруев.

— А у тебя что получилось?— поинтересовалась Аня.

— У меня получилось,— отвечал Сбруев,— сто тринадцать да еще там с дробью...

Поднялся шум, приглушенный хохот у дверей. Аня, зажимая ладонью рот, махала на всех рукой. Но тут внезапно открылась дверь класса, и показался усталый Гешка. Все кинулись к нему:

— Решил?

Гешка только кивнул утомленно.

— У тебя чему икс равен?— не мог успокоиться Сбруев.

— Тридцать два,— сказал Гешка.— А что?

— Молодец, Гешка! Правильно!.. Верно решил!— обрадовались ребята.

У всех словно от сердца отлегло.

А перед четвертым уроком, когда уже был звонок и в классе все расселись по местам, появилась вдруг, не по расписанию, Евдокия Власьевна. Помолодев от волнения, придерживая падающую прическу, стремительно подошла она к парте, где сидел Гешка. И на парту упала ее шпилька.

— Ну, Черемыш, поздравляю! Брат благополучно сел на Чукотке. У него было повреждение радиостанции. Теперь с ним связались. Все в порядке. Новый рекорд!

— Что! Я ведь говорила!— закричала Аня и повисла на шее у Евдокии Власьевны.

— А я нет?— забасил Плинтус.— Я говорил, сквозь атмосферу не слышно..

И все в классе зааплодировали, закричали «ура» и стали хлопать друг друга по спине, а Плинтус, надув свои румяные

щеки, бил по ним, как по барабану. Евдокия Власьевна смеялась со всеми и затягивала на затылке узел волос.

А Гешка вдруг схватился руками за щеки и выбежал из класса в коридор.

Евдокия Власьевна нашла его через несколько минут в углу коридора, у окна. Он облокотился на подоконник и стоял, приплюснув нос к холодному стеклу.

— Ну, успокойся, Черемыш,— сказала Евдокия Власьевна,— чего уж сейчас-то...— И положила руку на его стриженую макушку.— Ведь все уже прошло, все уже в порядке. И прочее соответственно... как говорят летчики. Так чего же ты?

КАНДИДАТ

В те дни по всей стране начали готовиться к выборам в Верховный Совет СССР. Страницы газет заполнялись именами и портретами кандидатов. Здесь были уже давно прославленные, большие люди страны. Встречались и новые, еще малоизвестные. Но в своих краях они были знамениты, и народ призывал доверить им дело и власть.

Раз утром Аня Баратова принесла в класс районную газету и разложила ее на парте у Гешки. И толстый Плинтус басовито и торжественно прочел, что колхозники села Холодаева выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета от Северянского округа своего знатного земляка, Героя Советского Союза Климентия Черемыша. И с этого дня на предвыборных собраниях и митингах в городе Северянске не стихали овации в честь героя. Северянцы единодушно призывали отдать звание своего представителя в Верховном Совете отважному летчику.

— Ну,— говорил теперь Гешке директор Кирилл Степанович, озабоченный и вечно спешащий на свой участок,— смотри брат героя, не подкачай теперь. Я председатель избирательной комиссии. В члены правительства братца выбирать будем. Чувствуешь, почет какой? Так ты, Черемыш, уж не подведи. Как хочешь, а должен теперь на круглых «отлично» идти, иначе нельзя. Не мыслю просто иначе... А то всю ты мне работу подорвешь. Брат героя-кандидата должен быть отличником. Это само собой напрашивается. Так-то, ничего не поделаешь! Государственное дело. Держись, Черемыш Геннадий, держись, брат героя!

А ребята тревожились, как бы вдруг другой какой-нибудь округ не перехватил героя. И приставали к Гешке, чтобы он написал брату письмо в Москву и упросил его: пусть дает согласие баллотироваться от Северянского округа.

— Напиши, Геша... Три кино есть, лесопилка электрическая, тротуар диабазовый... В горсаде летом фонтан выше крыши брызгает. По сплаву сто двадцать четыре процента выполнено. И по хоккею, не забудь, первое место во всем крае. Ты уж окажи нам знакомство.

Гешка обещал непременно написать об этом. И вскоре стало известно, что Климентий Черемыш дал свое согласие баллотироваться в Северянском округе. А в письме, напечатанном в районной газете, герой-летчик благодарил за высокую честь и доверие. И он обещал гражданам Северянска, своим избирателям, что через месяц приедет самолично в Северянск.

Когда сообщили об этом Гешке Черемышу, заметили, что он как бы встревожился.

— Ты что же, Геша, не рад разве?— спросила Аня Баратова.

— Что значит — не рад?— сказал Гешка.— Странное дело, очень рад!

Но с этого дня стали примечать в нем странную перемену. Он сделался неряшлив, рассеян. На уроках он смотрел в окна, думал, видно, о чем-то другом, отвечал невпопад на вопросы преподавателя. Он стал теперь уединяться от товарищей, нагрубил ни с того ни с сего Ане, просил не соваться в его дела, когда Аня как староста хотела узнать, что с ним происходит. Потом он поссорился с Плинтусом и едва не подрался с ним на катке из-за ключа от коньков.

— Я не погляжу, чей ты там брат, а как дам вот, так живо у меня об лед загремишь!— напирал на него Плинтус.

Верный Коля Званцев еле разнял их.

Гешка даже и на хоккейные тренировки стал опаздывать; едва раздавался последний свисток вожатого-физкультурника, он тотчас отвинчивал коньки и, прихватив клюшку, уходил с катка. В классе он получил уже три «посредственно» и два «плохо». И когда Евдокия Власьевна попыталась переговорить с ним по душам, он надерзил ей и просил оставить его в покое. Он стал вялым, ничто его как будто уже не интересовало — ни школа, ни каток, ни предстоящий приезд брата. Чтобы как-нибудь его растормошить и подзадорить, Евдокия Власьевна придумала вот что.

— Слушайте, девочки! Что у нас такое с Черемышем творится, в толк не возьму,— говорила учительница Ане и ее товаркам.— А ну-ка, примитесь за него...

— С ним просто невозможно, Евдокия Власьевна!..

— А вы попробуйте. Я бы на вашем месте знаете что сделала?..

Ане давно уже хотелось проучить зазнавшихся хоккеистов. И, зная, что Гешка гордится успехами своей команды, она,

по совету Евдокии Власьевны, вызвала мальчиков на матч. Мальчики сперва подняли ее на смех:

— Вы! Пискливая команда!.. Соображаете, на кого замахнулись?

— Боитесь, значит,— сказала Аня спокойно.

— Было бы чего бояться!— закричали хоккеисты.— Только писком вашим уши засорять!

— Пять минут визг — и команда вдрызг, кто куда!— захохотал Плинтус.

— А это мы еще посмотрим, кто запищит,— не унималась Аня.— Трусите просто.

— При чем тут «трусите»!— взъерепенились хоккеисты.— Просто возиться с вами никакой охоты нет. Вас чуть тронешь клюшкой, так вы жаловаться Евдокии Власьевне побежите.

Но Евдокия Власьевна, которая была в заговоре с девочками, добилась у директора разрешения устроить товарищеский матч с условием, что играть будут на долее получаса, с перерывом, и что капитан Черемыш даст слово, что мальчики играть будут вежливо. Пришлось вызов принять.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

Расчет Ани Баратовой оказался верным. Гешка стал походить снова на прежнего Гешку. Вызов Ани Баратовой раззадорил его: «Думает, я уж вовсе конченный. Ладно, ладно...»

— Надо постараться будет... всыпать им штук пятнадцать, с пылу с жару, горячих,— говорит Гешка своим хоккеистам.— Кладу две минуты на гол...

И команда его усиленно готовилась к матчу. Девочки тоже неутомимо тренировались. Они собирались на маленьком прудке в городском саду, недалеко от кино. Возвращаясь с реки, мальчики нарочно заворачивали в городской сад и, пройдя к пруду, дразнили Аню Баратову и ее подруг. А Плинтус раздобыл раз на скале под берегом дохлую курицу, бросил ее на лед под ноги хоккеисток, крича:

— Вам разве мячом играть! Вам дохлую курицу гонять надо, а вместо клюшек — веник. Хотите, принесу?

— Проходите, проходите!— кричала Аня.— Нечего вам тут подсматривать, как мы тренируемся!

— Увидим, из кого еще перья полетят,— звонким утиным голоском поддерживала ее маленькая вертлявая голкиперша Рита.

И девочки очень обидно визжали от хохота. А Плинтус затыкал уши пальцами и жмурился.

За два дня до матча стало известно, что завтра прибывает Климентий Черемыш. Городок приукрасился, чтобы встретить

честь честью своего избранника. На каждом углу Гешка видел портреты своего брата. Брат в упор и лукаво смотрел на него сверху. Портреты парусили на ветру, и герой на полотнищах то хмурил брови, то улыбался братишке. В эти дни Гешка стал опять угрюмым и неразговорчивым. Он избегал товарищей, а на катке, когда болтливый Плинтус начинал вспоминать: «Вот здо́рово, Гешка! Значит, послеза́втра брата увидишь опять...»— Гешка обрывал его:

— А ну, ребята, давай без посторонних разговоров! Тренироваться так тренироваться... А то девчата возьмут да и... Знаешь, как в книге написано: вода мягка, пока вы сильно об нее не ударитесь...

В школе он совсем отбился от рук. Домашних заданий не готовил. На уроках не слушал, огорчая до слез Евдокию Власьевну. И в довершение всего нагрубил директору, когда тот отчитал Гешку за плохое поведение. Директор Кирилл Степанович пригрозил, что напишет письмо Гешкиному брату Климентию Черемышу. Пусть герой знает, какой брат у него растет. «Ну и пускай знает!»— не сдавался Гешка. Директор вспылил и действительно написал такое письмо, заклеил его в конверт и отдал Гешке.

— Вот, сам вручишь. А мне с тобой толковать, видно, нечего,— сказал директор.

Он был очень добрый и честный, но вспыльчивый человек, а Гешка его сильно рассердил. И, кроме того, Кирилл Степанович был в эти дни очень занят работой на участке избирательной комиссии, голова и без того едва не лопалась от забот. И он не подозревал, что произойдет с письмом.

В школе тоже готовились к встрече героя. Решено было, что после уроков школьники вместе с гражданами Северянска пойдут к вокзалу. Поезд приходил в пять часов вечера.

Но в этот день Гешка исчез.

Он ушел рано утром из детского дома, захватив книжки, коньки и клюшку. Товарищам он сказал, что выходит пораньше, чтобы успеть зайти к Ане Баратовой и взять краски. Он обещал написать большую афишу о предстоящем матче. Но в школу он не явился. Не пришел он и ко второму уроку. Евдокия Власьевна несколько раз справлялась у дежурного по классу о Гешке. Она была очень встревожена. Директор ей сказал, что он вчера дал Гешке письмо для брата и тот, видно, испугался предстоящей встречи.

Евдокия Власьевна всплеснула руками:

— Ну как это можно! Ведь он так обожает брата... Ах, Кирилл Степанович, право, как это вы так! Ну вот видите, что получилось теперь. Надо же учитывать: у мальчика было очень тяжелое детство. Он уже из одного детдома бегал. Ну,

вот теперь как быть? Брат приедет — спросит. Что мы скажем?..

В детдоме тоже все были переполошены исчезновением Гешки. Но о письме там никто не знал.

ВСТРЕЧА

Вокзал был украшен флагами, еловыми ветками.

«Привет нашему кандидату!— было написано на длинном красном полотнище, которым хлопал морозный ветер.— Да здравствует Климентий Черемыш, доблестный сын социалистической Родины и ее Красной Армии!»

Школьники подбежали к краю перрона и вглядывались в даль. Транзитный ветер дул мимо станции, вдоль путей. Внизу, на рельсах, попрыгивали воробьи.

Потом из-за водокачки показался поезд. Шумно отфыркивался заиндевевший паровоз. Воробьи вспорхнули, уступив ему место. Паровоз торжественно протрубил и не успел замолкнуть, как его вступление подхватил оркестр. На перроне стало тесно.

Все закричали «ура» и захлопали. Школьники подпрыгивали, как воробьи, чтобы через головы разглядеть героя, и первыми заметили его, мелькнувшего за зеркальными стеклами.

— Вон он! Вон он!

И герой вышел из дверей вагона, веселый, белозубый, коренастый. Одной рукой, в меховой перчатке, он взялся за медные поручни, матовые от мороза, другой делал под козырек. Ребята первым делом разглядели майорские нашивки на рукавах шинели. Их только огорчало, что герой не прилетел на самолете, а приехал, как все, поездом, словно пассажир просто... Лицо героя тоже сперва показалось слишком маленьким. На портретах оно было огромное. И орденов на летчике не было. Они, видно, были под шинелью, на гимнастерке...

— Похож как на нашего Гешку!— сказал Плинтус, карабкаясь на фонарный столб, чтобы лучше разглядеть героя.

— Чем похож?— спрашивали ребята снизу.

— Ну так, вообще, сходство имеет,— отвечал сверху Плинтус,— ну вот нос, например, в точности...

— Совсем как у Гешки: посередке лица,— смеялись ребята.

Кто-то дернул Плинтуса за ногу, и он свалился со столба на снег.

— А Гешки самого нет и нет,— вздохнул Званцев.

Люди поднимались на легкую дощатую трибуну. Начались

речи. Герой прикладывал руку к козырьку и с доброй, смущенной улыбкой слушал приветствия.

Ане Баратовой поручено было сказать приветственное слово от школьников Северянска. Она поднялась на трибуну, не чуя под собой ног, и чуть не споткнулась на ступеньке. Пар от дыхания поднимался со всех сторон. Сквозь него Аня видела раскрасневшиеся лица. Толстый Плинтус вдали одобрительно подмигивал ей.

— Дорогой товарищ Черемыш,— начала она,— мы, школьники Северянска, и все пионеры и вообще все ребята очень рады, что такой, как вы, являетесь герой...

Она говорила и чувствовала, что заглатывает слова, и морозный воздух жег ей горло. Она говорила и боялась, что летчик остановит ее и спросит: «Ну хорошо, а где же мой брат Гешка?»

Но летчик ничего не спросил, не перебил Аню. Он выслушал ее речь до конца и сам попросил слова. И, когда все наконец угомонились, он густым негромким голосом, слегка напирая на «о», сказал:

— Вот что, товарищи, родные мои земляки! Я ведь тут недалеко, в Холодаеве, родился. Вы это, товарищи, напрасно уж так меня восхваляете. Тут дело не во мне. Я же не сам по себе вот такой стал. Кому я обязан всем, товарищи? Партии я обязан. Это прежде всего. Коммунистической партии. И нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Вот кто меня воспитал и создал. Понятно? И вам всем обязан, товарищи, тоже. Я так скажу, что все мы с вами, как говорится, одним миром мазаны, одной нашей великой семьи питомцы, все мы кругом друг другу здесь родня. Вон как ребятишки теперь говорят — друг-дружкины мы. Вот как я полагаю.

ТАЙНА РАСКРЫВАЕТСЯ

Когда Аня вернулась домой, она, как всегда, заглянула в почтовый ящик на дверях, нет ли чего. Писем она ни от кого не получала. Но отцу присылали журнал из Москвы. На этот раз в ящике оказался маленький конверт, склеенный из обертки от тетради. Он был адресован ей, Ане Баратовой. Она узнала почерк Гешки: круглые большие буквы с толстым нажимом, как у брата.

«Аня, добрый день. Прошу, пожалуйста, тебя прийти сегодня вечером в 8 часов в горсад на каток, где летом музыка сидит. Есть очень важное скорое дело. Никому не говори. Я буду ждать. Не думай что-нибудь такое, я без глупистики. Но тебе я доверяю».

«Что еще такое, что это за тайны такие?»— рассердилась

Аня или, вернее, подумала, что она очень сердита. А на самом деле обрадовалась, что Гешка нашелся. И, может быть, наконец она узнает, почему Гешка так изменился за последнее время. Вероятно, тут есть что-нибудь. Она отпросилась из дома. Ей пришлось сказать, что она идет по делу в школу.

Было морозно. Месяц скользил между облаками, серебряный, острый, словно конек. Зернистый блеск роился в воздухе. И даже в черных тенях на снегу что-то искрилось, как антрацит.

В городском саду, занесенном снегом, было пустынно и жутко. С сухих веток опадали длинные, ломающиеся в воздухе бархатки инея. Елки протянули обремененные снегом ветви. Казалось, многолапые белые медведи встали вокруг на дыбы. Далеко с речки, с катка, доносилась музыка, а здесь, в аллее, никого не было и стояла та особая, ватная тишина, которая бывает зимой в лесу.

— Баратова!— услышала Аня и обернулась, вздрогнув.— Это я.

— Ну, что еще за новости? Куда ты делся?— накинулась она на Гешку.— Там все в детдоме и в школе с ума посходили, ищут тебя. Что это еще за тайны такие? Просто глупость!

— Если глупость, так чего же ты пришла?

— Уж не твое дело, почему пришла! Развел секреты, а теперь мерзни тут! Ну, что у тебя такое?

Аня нарочно говорила так сердито, чтобы скрыть неловкость и любопытство. Ей не хотелось, чтобы Гешка вообразил что-нибудь. Написал, мол, письмо, а она сразу и прибежала.

— Ты не думай, пожалуйста, Черемыш, что я очень о тебе беспокоюсь,— поспешила добавить она.— Я просто так, как староста, то уж обязана...

— И я тебе так, как старосте, хочу сказать. Только ты не смейся,— сказал тихо Гешка.— Ты знаешь, Баратова... только ты, чур, никому не говори. У меня такой номер, что я уж и сам не знаю... Даешь слово?

— Ну, даю.

— Нет... Ты смеяться будешь, я знаю.

— Ничего смешного пока нет. Ну тебя!..

— Дай самое честное, и уж не болтать давай только, раз условились. Я тебе одной скажу. Не проговоришься, Баратова? Смотри!

— Если не веришь, так зачем писал? Удивляюсь!

— Ну ладно!— Он вздохнул.— Вот, Аня, я, знаешь, Аня... Ты только смеяться будешь. Я ведь вовсе не брат ему.

— Кому не брат?

— Ну, ясно кому — Черемышу Климентию.

— Как — не брат?!— ахнула Аня.— А кто же?

— Ну просто одноименец. Мы с ним только по фамилии

тезки. Я тоже из того села Холодаева. У нас там полсела, и все Черемыши. Даже улицы есть: Малая Черемышская, Большая Черемышская, Средняя... Мы с ним, понимаешь, только по фамилии тезки, а никакой я ему вовсе не брат. Я его и не видел сроду. Ну просто, понимаешь, я это себе выдумал. Такое воображение сделал. Наши все померли давно, а я один остался, как дурак. И сестра тогда потерялась куда-то. Сперва в детдоме был, потом так мотался. Вот я себе и выдумал. Смешно, конечно... Прочел в газетах, что есть такой летчик... Черемыш. Смелый. И портрет был. А я и подумал: вот бы был у меня в жизни такой брат. И я б не такой был. И стал так воображать каждый день. Даже привык: как будто вроде и на самом деле есть такой брат... Я знаю... тебе смешно, наверно?..

Но Аня не смеялась.

— А письма как же?— ужаснулась она.— Письма тоже сам?..

— Письма — это правда.. Это мне сестра из Москвы присылает. Ее тоже фамилия Черемыш. Клавдия. Сестра.

Галка села на дерево, тряхнула ветку, и на них посыпался сверху бертолетовый порошок инея. Аня вздрогнула:

— Как же это, Гешка?.. Ну-ну, и бессовестный же ты всетаки!.. Надо ведь так врать! А мы-то все думали... Фу!..

— Нет, ты слушай... Ведь это почему я так? Для уважения, может, думаешь? Нет же! Честное слово... Для себя просто... Вот я и подтягивался, и дисциплину, понимаешь, стал в себе развивать, и по учению тоже старался, чтобы не подводить брата. Ну, не брата то есть, а вот этого... Смешно, конечно... Он сперва, Аня, был не такой уж всем известный, а потом вот как пошел, как принялся ордена отхватывать... И все его стали знать. Мне даже нелегко стало. Все говорят: «Ах, вы брат того, брат Черемыша!» А отпираться уже не могу. Да и неохота. У меня это прямо главное было во всей жизни. Только знаешь, когда мне вот очень неловко было? Это когда, помнишь, во время перелета, когда брат пропал... Ну, не брат то есть... Ясно кто. И все в классе ко мне так отнеслись тогда. Мне вдруг до того совестно стало — очень все по-настоящему переживали. Ты не думай, я тоже тогда взаправду волновался. Еще как! Я ведь как-никак уже привык, третий год братом себя воображаю...

Аня слушала Гешку и с трудом уясняла себе, что произошло. Как это можно изо дня в день, из года в год играть в такую странную и трудную игру!

Мечта о старшем брате!.. Она возникла у Гешки давно, когда он был еще беспризорником. Это была мечта высокая, ослепительная и дальнозоркая,— мечта, как маяк. Она помогала Гешке в жизни, направляла. В самые черные дни

Гешкиной жизни светил ему образ славного, бесстрашного человека, коммуниста, летчика. Ведь есть такие люди на свете, и разве виноват Гешка, что он не состоит в кровном родстве с ними? А теперь...

— Как же теперь быть?— растерялась Аня.

— Я и сам не знаю,— сказал Гешка.— Мне еще Кирилл Степанович записку ему велел передать о моей неуспеваемости и насчет недисциплинированности. Вот я попал, Аня... Я лучше уеду куда-нидудь, все равно мне уже тут нельзя... Ребята засмеют на всю жизнь. Ни пройти, ни проехать... Приходится мне «фортнаус» отсюда...

— Слушай, Геша,— заявила Аня,— чепуха это все! Куда ты уйдешь?! Опять беспризорничать будешь, что ли? Просто стыдно это слушать. Видно, тебя геройское твое это братство ровно ничему не научило, вот и все, если ты так говоришь! А по-моему, надо пойти сейчас в гостиницу прямо к товарищу Черемышу и все ему рассказать, как есть. Я почему-то уверена, что он не рассердится.

— Ну, а дальше что будет?

— Там уж видно, что будет,— сказала Аня.— Или лучше вот что, погоди. Давай сперва я пойду, подготовлю, а потом уже ты пойдешь тоже, ну и все объяснишь в подробности.

— Сама ему все расскажешь?!— изумился Гешка, с уважением вглядываясь в решительное лицо девочки.

— Вот так сама пойду и скажу. А чего?! Он меня знает. Я его видела и даже приветствовала на вокзале. Он такой веселый, он поймет. А ты меня подожди здесь, я быстренько...

СВОИ И ПОСТОРОННИЕ

— Да, пожалуйста, войдите!— сказал Климентий Черемыш, услышав осторожный стук в дверь.— Милости прошу.

Климентий Черемыш уже привык к тому, что его никогда не оставляют в покое. Стоило ему лишь в Ленинграде, Воронеже, Одессе, Тбилиси, Владивостоке, Минске, Архангельске внести свой чемодан в номер гостиницы, как сейчас же начинал звонить телефон, раздавались разные тонкие и толстые стуки в дверь. Незнакомые люди, почтительно робея, звонили, входили, приглашали к себе на завод, в школу, в институт, в учреждение, просили автографов, советов, читали стихи, расспрашивали. Климентий привык к этой шумихе и относился к ней с добродушной иронией и терпеливой мягкостью, уделяя время каждому.

— Милости прошу,— повторил летчик, но никто не вошел.— Там отперто!— крикнул Климентий.

У дверей поцарапались, но опять никто не явился. Посети-

тель, видимо, не мог справиться с ручкой двери. Черемыш встал с дивана и пошел открывать. За дверью оказалась пионерка в меховой шапочке, из-под которой, словно наушники, с обоих боков вылезали свернутые кольцом косы.

— Пожалуйста, пожалуйста!— приветствовал ее Черемыш.— Где это я вас видел? А, вспомнил, вспомнил! Это вы меня на вокзале приветствовали? Как же, как же, старые знакомые! Здо́рово говорили! Ну, присаживайтесь. Что скажете?

Затрезвонил телефон на столе.

— Да,— сказал в трубку летчик,— я Черемыш. Ну, приходите. Только поскорее, а то мне скоро ехать на заседание горсовета, выступать.

И он взглянул на часы-браслет, надетые, как у всех летчиков, на внутренней стороне руки, над ладонью (чтоб можно было видеть часы, не снимая руки со штурвала управления).

А у Ани тем временем исчезла вся ее храбрость.

Удивительное дело: еще пять минут назад все казалось таким легким. Прийти и сказать: «Товарищ Черемыш, у нас в школе один мальчик играл в то, что вы его брат. А он вовсе не брат. Вот он теперь мучается и боится вам сказать...»

Но теперь, когда Аня осталась с глазу на глаз с этим знакомым всей стране человеком, который, поблескивая орденами, мягко ступал по ковру высокими белыми бурками, отвернутыми у колен,— теперь она вдруг растеряла все слова. Ну как тут сказать? А вдруг он рассердится и скажет: «Что вы мне всякими глупостями голову морочите! Я приехал по государственному делу, а тут какой-то хулиган-мальчишка в игрушки играет, в братья мне навязывается...»

— Ну, как вас величать?— спросил летчик.

— Баратова Аня.

— Ну, что скажите, Баратова Аня?

Аня набрала в грудь побольше воздуху, проглотила волнение и решилась:

— Видите, у нас, то есть... у вас есть брат, у нас...

— Это что такое: у нас, у вас?— засмеялся Климентий.

В дверь постучали. Вошла старуха, вся так и расплывающаяся от умиления. Она высвободила одно ухо из-под платка и так, двигаясь боком, ухом вперед, засеменила к летчику, протянув ему издали руку с плоской ладонью и выпрямленными, напряженными, плотно сжатыми пальцами.

— Ты прости меня, старую, что покоя тебе, верно, не даю,— заговорила она.— Очень уж меня интерес взял посмотреть... Как же, все про тебя в газетах читаем. Очень ты прекрасно летаешь.

Летчик тщетно пытался усадить тараторившую бабку, подсовывая ей кресло. Но старуха не садилась, увертывалась от

кресла и все ходила вокруг, все всплескивала руками и радостно причитала:

— Вот, зашла поглядеть на тебя. Варежки тебе сама связала... Я же тебя еще вот какесеньким знала. Помнишь тетку Петровну? Это ведь я.

— Не помню что-то,— сказал летчик.

— Как же не помнишь,— обиделась старуха,— как же не помнишь? А у деда Евстигнея кто на пасеке жил? Я еще тебе вот эсенького петушка-то принесла, гостинчик. А-а, запамятовал? Где же тебе, конечно, всех нас упомнить!

— Я, бабушка, никогда и на пасеке не жил и никакого деда Евстигнея не знаю. Это ты, мать, чего-то обозналась.

— Ой ли!— сказала старуха.— Ты ведь родом-то из Городилова?

— Нет, я из Холодаева.

— А летает который, в газете снятый, это откуда? Из Холодаева?

— Это я летаю, мать. Холодаевские мы.

— Обозналась, значит. А я ведь думала — из Городилова, там тоже Черемыши жили. Ах, дура, дура!.. Ну ничего, ничего,— успокоила она себя,— а то и не повидала бы. Разве посмела бы идти-то! А мне уж так было охота хоть глазком одним взглянуть, какой такой есть герой всего Союза Климентий Черемыш-то. Ну, теперь посмотрела — знаю, за кого голос стану подавать. Это ничего, что из Холодаева, а не из Городилова. Все одно наш. И варежки возьми. На, на! А то, чай, холодно наверху. Споднизу-то поддувает.

Она ушла, бормоча ласково, крутя головой, разводя руками.

— Вот у нас один мальчик тоже...— начала взбодрившаяся Аня.

Но тут снова зазвонил телефон, а когда летчик кончил говорить, в дверь опять постучали.

Пришел какой-то молодой изобретатель и долго и утомительно рассказывал о своем изобретении, которое должно, как он уверял, перевернуть в авиации все вверх дном...

— Зачем же все так сразу вверх тормашками?— сказал Черемыш, внимательно выслушав его, и посоветовал изобретателю сперва как следует поучиться, а потом уже начать изобретать.

Приехали молодые железнодорожники, просто так, чтобы пожать руку летчику и сказать, что они на земле тоже постараются не отстать... После их ухода Аня увидала, что теперь сказать самое подходящее время. Но едва она раскрыла рот, как опять раздался стук, и пришел старенький доктор, собиратель автографов и изречений великих людей. Он без уста-

ли сыпал именами философов, ученых, приводя их высказывания по всякому поводу.

— Ламартин говорил,— что конь — пьедестал героя. А в наше время пьедестал героя — аэроплан! — восклицал доктор.

Он попросил подпись-автограф в альбом. Черемыш расписался.

Доктор уже собирался уходить, как вдруг снял опять шляпу, подошел к летчику и, просительно глядя снизу, сказал:

— А как здоровье у вас? Ничего? Сложение, я вижу, отличное! А вот как сердечная деятельность? Вероятно, и подумать об этом вам некогда. Вы извините старика, но я, знаете, привык по-своему, по-врачебному, так сказать, профессионально подходить. Разрешите ваш пульс. Нет-нет, пожалуйста уж! Вы меня не обижайте. Да и права не имеете. Избиратель должен знать своего кандидата насквозь. Ваше здоровье и сердце ваше, сами знаете,— народное достояние. Позвольте и мне участвовать в его сохранении. Тэк-с, пульс отличный, с прекрасным наполнением.

Прежде чем летчик успел возразить что-либо, старик вынул из кармана резиновые трубки с костяными наконечниками — стетоскоп,— приложил какую-то металлическую штучку к груди летчика, под самые ордена.

Потом в один миг умелыми быстрыми пальцами расстегнул у героя гимнастерку, оттянул ворот ее, просунул туда свой аппаратик.

— Дышите,— приказал доктор.

— Да оставьте вы, доктор, в самом деле! — отбивался летчик.— Ой, я щекотки боюсь!.. И я совершенно здоров!

— Все здоровы до поры до времени. Прошу не мешать мне. Тихо. Дышите.

Летчик смиренно задышал. Выпуклая грудь его заходила ходуном.

— Так. Не дышите. Прекрасно, прекрасно! Так. Позвольте, а что это у вас тут глухой хрип, в верхушке?

— Это у меня ранение было,— ответил летчик.

— Вот видите, ранение.. Не бережете вы себя, молодежь! Преступление! А как сказал Гораций: непродолжительность жизни мешает нам иметь продолжительную надежду... А вы обязаны беречь себя, я от вас как врач и как гражданин, как избиратель прямо-таки требую: пожалуйста, берегите себя, товарищ Черемыш. И прошу вас обратиться к специалисту, мне не нравится — вот у вас тупой шум, хрипота на месте бывшего ранения. Обязательно обратитесь. Обещаете? Примите это как наказ. Иначе, я предупреждаю, я не буду за вас голосовать.

Распрощавшись, поблагодарив героя за автограф-подпись, он в дверях снова остановился:

— Да, чуть было не запамятовал. Еще попрошу вас обратить внимание на тротуары в нашем городе. Вот тут, на горе... Горсовет не обращает достаточного внимания. И в результате был случай перелома конечностей. Так вот, мой наказ — исправьте.

— Слушаюсь!— отвечал летчик и, подойдя к столу, что-то записал на бумаге, лежавшей возле телефона.

Когда чудак доктор ушел, Аня уже имела в голове совершенно готовое начало длинного и толкового объяснения насчет Гешки. Она все продумала. Но едва она начала, как дверь раскрылась, и, пыхтя от волнения, вошел толстый Плинтус. «Вот еще не хватало!» Плинтус тоже никак не ожидал встретить здесь Аню. Он комкал в руках тетрадку. Толстые щеки его стали красиее обычного.

— Пожалуйста, пожалуйста!— сказал летчик.— Вы не знакомы?

— З-знакомы,— вытянул из себя Плинтус.

— Присаживайтесь. Это у вас что за тетрадочка?

Плинтус, видимо, не собирался показывать содержимое тетрадки Ане Баратовой. Но и Аня не могла сказать при нем, чего ради она пришла. Они сердито смотрели друг на друга.

— Это так.... задачки тут,— забормотал Плинтус.

— А ну, интересно,— сказал летчик, взяв тетрадь у растерявшегося Плинтуса,— я любитель задачки решать. Постойте-ка! Тут не то. Тут стихи какие-то.

Плинтус пылал.

— Это... это, наверно, по русскому языку тетрадка... Не ту захватил.

— А чьи же это тут стихи?— допытывался летчик.

— Там, кажется, Лермонтова,— вздохнул Плинтус.

— Ну, вряд ли Лермонтов мог про авиацию сочинять. Это вы на Михаила Юрьевича зря наговариваете. Да и мягкий знак в слове «летишь» Лермонтов, сколько мне помнится, ставил. А? Как по-вашему?

Внизу у подъезда загудел автомобиль.

— Ну,— сказал летчик,— извините, ребята, мне надо отправляться. Вы мне ничего не хотите сказать?

— Товарищ Черемыш,— провозгласила торжественным голосом, как на трибуне, Аня Баратова,— товарищ Черемыш, мы приглашаем вас завтра на хоккейный матч, начало в три часа дня. Приходите обязательно. Мы наших мальчишек вызвали. Вот их.

И она мотнула головой в сторону Плинтуса. Плинтус глупо улыбался.

НА ИСАДАХ[1]

Замерзший Гешка топтался на пустой аллее в городском саду. У входа в сад в кинотеатре начался сеанс, и рупор, выставленный на улицу, послал в морозную темноту слова, звучавшие в тот момент с экрана.

В эту минуту Аня тронула его за плечо.

— Ну?!— спросил Гешка, весь подавшись к Ане, схватив ее за руку.— Ну, что он сказал?

— Ничего он не сказал,— вздохнула Аня.— Я не могла... Все народ был. Ты не сердись, Гешка... Я, знаешь, стушевалась как-то, да тут еще Плинтус, дурак, подвернулся. Явился, толстый, сопит, в руках тетрадка какая-то. Как же я при нем?

— Эх, ты! А говорила: «Скажу, скажу... Раз-два — и все улажу»... Прощай!— И он, повернувшись, быстро зашагал по аллее.

— Гешка,— крикнула Аня с последней надеждой,— а как же матч завтра? Мы же твоих мальчишек без тебя завтра так наколотим! Неужели команду бросишь? Я никому не скажу, Геша!

Но Гешка не отвечал и через минуту скрылся в темноте.

«Да, история вышла скверная,— думал Гешка, бредя по занесенным улицам Северянска.— Очень паршиво получилось. Явиться завтра на матч — это значит признаться во всем. Значит, нельзя. А не прийти тоже позор: хорош капитан, бросил свою команду в день такого матча! Да и девочки не так уж плохо играют. Такие здоровенные тети, набьют по первое число. Ведь это просто срам на всю жизнь. Вот положение! И так и так плохо...»

Он спустился к речке. Там на катке играла музыка. Фонари освещали подметенный лед. В середине катка по гладкому льду неслись по кругу катающиеся. Тени сбегали с круга. Казалось, что весь каток вращается, мерно отсвечивая и шурша под сталью коньков. Кружится, как огромная, пущенная на полный завод граммофонная пластинка.

Гешка спустился к исадам. Здесь жил старый рыбак-бакенщик, знакомый Гешки. Зимой бакенщик был караульщиком при катке, и Гешка с ним давно сдружился. Он пробрался между опрокинутыми, примерзшими к берегу лодками, заржавевшими якорями, лапы которых вросли в лед, постучался в сторожку рыбных исад.

Сторожка стояла на наклонном плоту. Осенью была убыль воды, и плот остался стоять на крутой прибрежной от-

[1] Исады — рыбацкая пристань.

мели. В сторожке все стояло боком, косо, привалившись на одну сторону. Посуда съезжала со стола. Табурет норовил уткнуться в угол. Но сторож-бобыль привык к этому. Так и жил всю зиму скособочившись.

— Здравствуй, дедушка! Я у тебя переночую. Можно? — сказал Гешка деду.— Только ты смотри ребятам не говори. У меня завтра одно дело есть на катке. Ведь мы завтра играем.

Дед лукаво погрозил Гешке согнутым пальцем:

— Чего это ты удумал? Гляди!

Попили чайку из жестяного чайника. Дед-караульщик, громко втягивая с блюдечка горячий настой далеко вперед выпяченными губами, утирая кулаком мокрые усы, ворчал:

— Э-ээ, не умеете вы, молодые нынешние, чай пить как следует! Что ты как про себя пьешь-то? Ты пей с потягом, чтобы слыхать было. А то с тобой чай пить в компании — никакой радости.

Поговорили о морозе: ничего, бывает лютей.

Гешка отогрелся у печурки и прикорнул было на покатом топчане, но сразу сполз по наклону в угол.

— Слушай, дедушка,— спросил он вдруг,— а ты б хотел, чтоб у тебя брат жил?

— А на кой он мне!— Караульщик отмахнулся.— Что толку-то — брат? Я за своего-то старшего и в рекруты ходил. А он мои сапоги новые пропил в тысячу девятьсот десятом годе. Брат, а делиться стали — он себе все позабирал... От братьев только разор был да свара... Ну, ты спи. А я пошел с колотушкой. Выходить время.

Он надевал тулуп, кряхтел:

— Эх, жизнь караульная!.. Летом огни на речке ставь, зима подойдет — ходи знай, мерзни, ночь на минутки отстукивай...

МАТЧ

Играла музыка, и в светлом морозном небе, припушенные инеем, вились праздничные флаги. Весь берег был занят зрителями. Школьники и много взрослых граждан пришли смотреть на матч.

Вдруг затукали варежки, люди зааплодировали, затопали валенками, и Гешка, сидя в своем прикрытии на вышке исад, понял, что на каток приехал почетный гость — Климентий Черемыш. Сам заядлый любитель спорта и убежденный физкультурник, он не преминул воспользоваться приглашением

Как ни был занят в этот день Климентий, все же он приехал на каток.

Утром он успел пробежаться на лыжах — жаль было терять такое чудесное утро, ясное, с добрым и прозрачным морозцем.

— Эх, денек богатый! — радовался Климентий.— Морозец, как звон, стоит. Что за красота! Охотничий денек, летный. Ах, хорошо в нашем краю, товарищи!..

Гешка твердо решил ночью, что утром он покинет город. Но в кособокой сторожке было так тепло... Гешку разморило, и он проспал. А когда услышал музыку, и треск хлопающих флагов, и шорох коньков на словно запотевшем матовом льду, он уже не в силах был уйти. Хоть издали, да посмотреть на матч!

Уйти, уехать и не знать, кто победил? Нет, это было выше его сил. Правда, он знал, что девочек ожидает полный разгром. Но все же ему хотелось самому насладиться зрелищем этого торжества.

С вышки исад ему прекрасно был виден весь каток, ледовое поле, отмеченное четырьмя угловыми флагами и невысокими дощатыми бортиками. И Гешка решил, что сперва посмотрит матч, а потом уже уйдет на вокзал... и прощай Северянск!

Гешка видел: команды двумя яркими летучими вереницами неслись на середину катка. На девочках были клетчатые шаровары, черно-белые чулки и белые свитеры с большим красным ромбом на груди. У мальчиков были тоже полосатые чулки, черные с красным, серые бриджи и красные фуфайки.

Чиркая коньками лед, команды разъехались, потом снова стянулись, стали скобками одна против другой. Гешка видел, как вышла вперед Аня Баратова и навстречу ей выехал из рядов его команды толстый Плинтус. Так вот кому поручили быть капитаном вместо Гешки!.. Гешка почувствовал досаду: «Ну ладно, посмотрим, как они без меня». И в эту минуту ему хотелось, чтобы девочки выиграли.

Плинтус пожал руку Ане Баратовой. Судья подъехал к ним, высокий, в черных рейтузах и голубой фуфайке. Положил руки им на плечи, и все трое сблизив головы, о чем-то пошушукались. Так полагалось. Судья и капитаны команд договаривались, что игра будет вестись честно, строго, правильно и по-товарищески.

Потом судья подбросил щепочку, на которую предварительно поплевал. Это был жребий — кому начинать. Аня Баратова высоко подняла руку с клюшкой.

Начинать выпало девочкам.

Команды заняли свои места. Гешка слышал свисток судьи, и тотчас белые свитеры и красные фуфайки ринулись навстречу друг другу, и красный ряд прошел сквозь белый, и красные переплелись с белыми, как переплетаются пальцы сложенных рук.

Мяч оказался где-то в середине между играющими, и лед заверещал, завизжал под коньками стопоривших хоккеистов. Толстый Плинтус побежал вперед, подгоняя клюшкой мяч. Девочки бросились на него, стараясь отвести своими клюшками мяч в сторону. Но Плинтус, как слон сквозь чащу, продирался к воротам, где, сразу запыхавшись и подпрыгивая от нетерпения, металась курносая вертлявая Рита. Она с ужасом всматривалась в огромного Плинтуса и, стуча клюшкой об лед, заклинала вдруг не подпускать к ней эту опасность — багровощекую, пыхтящую, огромными скачками приближающуюся к воротам. Но в этот миг подоспевшая откуда-то сбоку Аня настигла Плинтуса и выбила у него из-под ног мяч.

Огромный Плинтус от неожиданности с полного хода шлепнулся плашмя на лед и, растопырившись как огромная черепаха, с разгона въехал на животе в ворота. Оттуда его выкатила руками визжащая голкиперша — она не могла допустить, чтобы во вверенные ей ворота пробрался чужак, хотя бы и без мяча. Гешка едва не зааплодировал, видя, какой конфуз приключился с Плинтусом.

— Чисто,— сказал Климентий Черемыш.

Евдокия Власьевна стояла неподалеку. Исчезновение Гешки не давало ей покоя. Она осунулась за один день. Она не могла понять, как это до сих пор летчик не спросил ничего о своем братишке. Со страхом ждала она этой минуты и представляла заранее, что скажет летчик по поводу записки, которую послал директор с мальчиком.

А герой, видимо, был так увлечен игрой, что забыл о брате и ни словом до сих пор не обмолвился о нем. Евдокию Власьевну это начинало уже возмущать.

ПОРАЖЕНИЕ

Тем временем игра разгоралась все жарче и жарче.

После неудачного нападения Плинтуса мальчики еще несколько раз пытались атаковать ворота противниц, но белые свитеры действовали очень дружно. Правда, они слишком громко визжали и оглушали мальчиков. Да и судья, по мнению мальчиков, явно подыгрывал девочкам и не позволял

Плинтусу пускать в ход его излюбленные приемы, которые упомянуты в специальном параграфе правил хоккея как запретные.

Что бы там ни было, прославленные хоккеисты ничего не могли сделать с этой цепкой, визжащей и сердитой стайкой, которая мигом слеталась к мячу, воинственно клюя его самодельными клюшками.

Гешка видел, что без него команде приходится туго. Он испытывал при этом некоторое удовлетворение. Ему стало казаться вдруг, что его недостаточно ценили в команде. А вот теперь все могли убедиться, как без него плохо.

Внезапно Аня Баратова проскочила между двумя противниками и, легкими пологими рывками посылая вперед свою напористую фигурку, помчалась к воротам, где стоял голкипер Коля Званцев.

Аня бежала, скользила, неслась, приближалась. Одна ее коса размоталась и выпала из-под шапочки. Ее коньки высекали изо льда радужную пыль. Черный комок мяча скользил перед Аней, подталкиваемый ее клюшкой. Наперерез ей мчались защитники, но она успела, развернувшись, нанести удар по мячу. Званцев упал, протянув короткую клюшку. Но мяч проскочил над ним и звонко тяпнулся в проволочную сетку ворот.

Это был гол.

На берегу хлопали, смеялись и свистели. Не прошло и двух минут, как Званцеву пришлось снова выгребать клюшкой из угла ворот второй залетевший в них мяч.

Тут мальчики растерялись. Они никак не ожидали такого афронта. Определенно девочки играли на этот раз дружнее и напористее, чем они. Отсутствие Гешки, таинственное исчезновение его нарушило сразу всю налаженную систему игры. Неуклюжий Плинтус, разумеется, никак не мог заменить своим тяжелым и медлительным накатом на ворота ястребиный бросок Гешки. И команда почувствовала себя обреченной. К тому же зрители, особенно взрослые, так подбадривали девочек, так хлопали каждой удаче хоккеисток, что мальчикам стало просто-таки тошно играть. Но девочки были неумолимы. И вскоре Аня Баратова вбила третий мяч, под улюлюканье и хохот зрителей.

И самое обидное, что громче всех, пожалуй, хлопал и кричал Климентий Черемыш.

— Ай молодцы девчата!— кричал он. Вот это работа! Это сажают чисто! А ну, бойцы, бойцы, подтянитесь, а то ведь это всему нашему мужскому роду просто срам! Честное слово!

Когда ребятам забили второй мяч, Гешка почувствовал внезапно, что настроение у него меняется. Второй гол уже не

доставил никакого ему удовольствия. Ему было обидно. Неужели его команда так слаба? Ему было противно, что девочки так легко выигрывают. Теперь проходу никому не дадут, задразнят. А Плинтус-то, Плинтус! Шурует, словно кочергой, своей клюшкой, а толку никакого.

«Ну куда, куда ведешь?!» — чуть не закричал Гешка.

Третий гол, забитый в ворота его команды, совсем уже расстроил Гешку. Такого разгрома он никак не ожидал. Ведь это же сухая! 3:0. Что же дальше будет? Он видел, что у мальчиков лица стали растерянными, движения — беспомощными.

Они спотыкались, промахивались, толкали друг друга. Плинтус никуда не годился. Какой из него предводитель!

Команда разваливалась прямо на глазах. Это было совершенно невыносимое и жалкое зрелище. Куда девались удаль команды, блеск ее ударов, быстрота бега, ярость натиска? И Гешке стало ужасно жаль команду. Он чувствовал себя виноватым во всем. «Подлец я, подлец! — подумал он вдруг.— В такой момент своих бросил!»

По старой привычке, он сейчас же примерил свой поступок на рост «брата». Нет, уж никогда бы не бросил Климентий товарищей в беде! Ни за что в жизни не оставил бы он своих бойцов в тяжелую минуту! Не таковский! Он бы поддержал товарищей, не думая о себе, чем бы это ему ни грозило. «Менять решение во время вынужденной посадки равносильно катастрофе,— вспомнил Гешка правило из авиаучебника.— Эх, все равно...»

Гешка посмотрел на коньки, привернутые к ботинкам. Связанные вместе с клюшкой, они лежали у его ног. А что, если...

МЯЧ ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ

В тот момент, когда воротам мальчиков неминуемо грозил четвертый гол, зрители увидели, как с вышки исад, бухая коньками по ступенькам, соскочила какая-то фигура, перепрыгнула через бортик поля и бегом направилась к судье.

— Рефери, я играю! — услышали мальчики и обмерли.

— Гешка, здорово! Где ты был, Гешка?

Мальчик, заменявший на правом краю Гешку, беспрекословно отдал ему фуфайку, которую Гешка тут же надел через голову.

— Ребята,— уже прежним капитанским голосом скомандовал Гешка,— пасуй на правый край! Хавы, закройте Баратову! Игра!

... И началось...

Аня Баратова была так поражена неожиданным появлением Гешки, что не сразу смогла прийти в себя. Она с удивлением смотрела то на Гешку, то на зрителей, где высилась фигура летчика.

Все поглядывали на Климентия: узнал братишку или нет? Но летчик оставался по-прежнему просто азартным зрителем.

Смущение предводительницы тотчас же передалось команде девочек.

А мальчики, воодушевленные присутствием своего капитана, оправились и грянули. И в команде Ани Баратовой началось смятение.

Через минуту маленькая голкиперша уже пролила первую слезу на чёртом ворвавшийся в ее ворота мяч. Его самолично забил Гешка. За ним последовал второй мяч, опять посланный капитанской клюшкой. Вскоре, вероятно, влетел бы в ворота и третий. Но тут от неосторожного удара Плинтуса мяч перелетел через бортик поля и по гладкому прозрачному льду пронесся далеко к баржам, стоявшим на реке.

Игра оборвалась. И игроки завертелись на месте все разом, чтобы остановиться.

Аня Баратова, перепрыгнув через бортик, погналась за мячом. Мяч вылетел далеко за вешки, которыми были обставлены опасные участки льда. Со дна били там родники, и во льду образовались майны[1]. Они были покрыты тонким льдом и незаметны. Но Аня, видимо, забыла про это. Она пронеслась мимо вешек и вдруг исчезла, как в люке, только легонько всплеснулась вода на том месте...

Первым добежал до полыньи Званцев, бывший ближе других к этому месту. Но Званцева тут же обогнал Гешка. Сбросив ботинки с коньками, он то ползком, то на четвереньках добрался до края.

Аня не кричала. Посиневшая, с удивленными и жалкими глазами, она пыталась удержаться за край льдины, вскарабкаться на нее. Лед обламывался, как яичная скорлупа. Аня скользила, царапала до крови руки об острые края, беспомощно водила клюшкой по гладкой поверхности. Гешка слышал за собой крики бегущих. Но ему некогда было оглянуться.

— Сейчас, сейчас, Аня... Я сейчас... погоди!— выкрикивал он.

Он протянул Ане свою клюшку. Она ухватилась за нее. Гешка тянул что есть силы, но Аня барахталась в черной дымящей воде. Гешка подполз ближе, и вдруг что-то треснуло

[1] Майна — полынья, незамёрзшее место во льду.

под ним. Лед стал наклонно, как пол в сторожке. И жгучий холод залил Гешку с головой.

— Спокойно! Все на месте!— кричал Климентий Черемыш, оказавшийся впереди других. Он крепко сжал плечо бросившейся за ним Евдокии Власьевны.— Вы, виноват, стоп! Давайте сюда лыжи. Быстро — веревки!..

В руках летчика уже был бортик от хоккейного поля. Он сунул его вперед, и длинная доска, скользнув по льду, перекрыла полынью, упершись концом в другой край.

Потом летчик лег плашмя на скрещенные лыжи и, действуя руками, словно тюлень ластами, мигом подполз к гибельному месту. Лыжи не давали ему провалиться. Аня Баратова в это мгновение уже схватилась руками за нависшую над полыньей доску. Но Гешка, выбиваясь из сил, барахтался среди мелких осколков и льдинок. Под его руками они вставали ребром и погружались в воду. Дотянуться до доски Гешка не мог. Он окоченел... Ему сводило руки.

Летчик мигом добрался до пролома и вытянул на лед Аню. Ее сейчас же оттащили от опасного места и подхватили на руки подоспевшие люди. Но в эту минуту Гешка, уставший от борьбы с быстрым течением, начал слабеть и погружаться. Зеленые скобки поплыли у него в глазах, размыкаясь и сходясь, как клещи... Потом огненным курсивом промчались слова из учебника: «Перегруженный самолет подобен утопающему, который старается держать голову над водой...» И дальше Гешка забыл все...

Держась одной рукой за лежавшую поперек пролома доску, летчик, не задумываясь, спрыгнул в ледяную воду, окунулся и свободной рукой успел схватить за ворот мальчика. Подтянувшись на одной руке, он выволок Гешку из воды на лед. Он тотчас укутал мальчика в шинель, которую сбросил еще прежде на бегу, отряхнулся и понес Гешку к берегу. Гимнастерка его обмерзла и хрустела, как накрахмаленная.

Люди срывали с себя шубы, накидывали их на плечи летчика. А он отфыркивался, отдувался и успокаивал всех:

— Ничего, ничего, мне это не впервой. И вообще я привык ежедневно ледяной водой... У Колгуева раз почище было... Давайте скорее в машину!

Расправив борта шинели, с головой укрывшей Гешку, он заглянул внутрь, как в отдушину.

— Ну, как ты там? Ничего? Живой?

— Н... н...ничего, ж... ж...жив-в-вой,— стучал зубами в глубине шинели Гешка.

Аню отвезли домой, где мать, плача и всплескивая руками, тотчас уложила ее в теплую постель, прикрыла тридевятью одеялами, напоила малиной, обложила грелками.

А Гешку летчик отвез к себе в номер, так как гостиница была недалеко от берега — ближе, чем больница и детдом.

Когда в номер явился доктор, Гешка уже лежал на кровати, докрасна растертый, одетый в теплое, просторное вязаное белье летчика —«специально арктическое», как сказал Климентий. Кожа на всем теле горела после немилосердных растираний. Горячие бутылки жгли Гешке пятки и бок.

— Терпи, терпи!— говорил Климентий.

Летчик, в теплой фланелевой пижаме, хвативший спирту, едва разбавленного водой, покрякивая, шагал по комнате, шлепая огромными мохнатыми туфлями. Доктор велел Гешке вылежать денек и ушел.

— Ну как, ничего, обсох?— спрашивал летчик, подходя к кровати.

Гешка блаженно морщил нос. Должно быть, улыбался там, под теплым одеялом, укрытый до самого носа.

— А отыграться все-таки не успел,— поддразнивал его летчик.— Три — два в пользу девчат осталось. Ну, не горюй! В другой раз три забьешь, как окончательно обсохнешь. А сейчас — спать!

Летчик задернул полог. А Гешка опять забеспокоился.

«Вот как скажут ему, как я про него всем врал и братом воображал, так он живо меня отсюда и фьюить!..— мучился Гешка.— Нет, лучше потом сам скажу... Только немножко после».

Вскоре в номер принесли высушенные вещи Гешки и учебники, забытые им у исад. Но Гешка уже спал.

Когда он проснулся наутро, летчик был совершенно одет, при орденах и даже в фуражке. Он, видимо, собирался уезжать.

Под окном то громче, то тише урчал прогреваемый мотор автомобиля.

Климентий Черемыш сидел за столом, что-то читал, пожимая плечами и сдвигая фуражку на затылок. По широкому выразительному лицу его гуляла гримаса веселого недоумения. Он смешно таращил глаза, надувал щеки и делал губами «пуф-пыф».

Гешка проснулся с твердым намерением сразу же все рассказать летчику. Он не мог больше скрывать. «Он меня спас, а я от него секрет держу, да еще про него самого! Узнал бы, так не спасал, наверно...»— мучился Гешка.

— А, проснулся, утопленник, щука подледная!— закричал летчик.

Широко шагая, он подошел к постели и встал, упершись руками в бока и покачиваясь с каблука на носок.

— Слушай, это твой тут задачник принесли? Я, брат, ничего не понимаю! Тут вместе с ним письмо принесли. В задачник вложено. Адресовано мне. Вот видишь: «Герою Советского Союза Климентию Черемышу». Я, значит, взял его, распечатал, а там какая-то ерунда. Вот смотри: «Уважаемый товарищ Черемыш! Дирекция третьей северянской средней школы вынуждена обратить ваше внимание на неуспеваемость и недисциплинированность вашего брата Черемыша Геннадия, ученика пятого класса...» Ну, и так далее. Я что-то ничего сообразить не могу. При чем тут я? У меня никакого брата нет и не было.

— Это про меня...— сказал Гешка, хлопая глазами и чувствуя, как начинает ему колоть щеки прилившая к лицу кровь.— Но неуспеваемость за последнее время только. Честное слово, правда...

Эх, почему в полу нет проруби! Он готов был бы еще раз провалиться...

— Погоди,— настаивал летчик.— Ну хорошо, ты не успеваешь, а я тут при чем? Написано: брат.

— Это я — брат,— пробормотал Гешка.

— Ты — брат?— удивился летчик.

— Ну, как будто брат...

— Чей брат?

— Ваш будто...

— Мой?

— Угу...

— Нет, ты, верно, простуду все-таки схватил. Жарок у тебя, я вижу. Дай-ка я тебе градусник...

— Да нет же... у меня нормальная!— в отчаянии завопил Гешка.— Это я просто... будто вы и, словом, я...

— Ну, ты, да я, да мы с тобой. А дальше?

— Вы не серчайте только... Я сейчас скажу...

И он, всхлипнув, накрылся с головой одеялом.

Выслушивать нехитрую Гешкину исповедь летчику пришлось сквозь толстую байку. Климентий попробовал было пощекотать высунувшуюся пятку. Но грешник ни за что не вылезал на свет.

— Я два года... все про вас воображал,— слышалось из-под одеяла.— И по занятиям я из-за вас хорошо был... и по авиации тоже старался. Можете спрашивать. Я все отвечу. И девиацию знаю... и триммер... Вы спрашивайте... Ну что хотите спросите.

— Чего ж тебя спрашивать? Вот пристал вдруг... Ну ладно. Как вот, скажи, допустим, ты бы машину посадил при боковом ветре, если, скажем, вынужден сесть или подходы иначе не позволяют.

— Посадка при боковом ветре производится при ветре, дующем справа или слева от направления посадки,— зараортовал совсем иным голосом Гешка под одеялом.— Сажать при работающем моторе?— деловито спросил он.

— Ладно, бог с тобой уж, сажай с работающими.

— Тогда, значит, надо скользить на крыло туда, откуда ветер. И по-над землей выровняться и газануть как следует, чтоб шибче садиться, чем если как всегда.

— Фу ты история!— изумился летчик.— Прямо на три точки. Откуда это ты?

Через четверть часа Климентий знал уже все. Сперва он хмурился, потом только головой качал.

— Ну, вылезай, вылезай!.. Нечего уж теперь скрываться...— говорил он, расхаживая по комнате.— Что же, брат так брат! У меня таких братишек в каждом городе по двадцать человек. Честное даю слово! Не все, правда, себя так уж родственниками заявляют, но тоже вроде свояки. У меня даже переписка налажена: они — о своих делах, о школе, а я — о своих! Работящие ребята! Но ты уж того, брат Гешка, немного лишка перехватил. Ты бы уж, в крайнем случае, один про себя играл, а то, видишь, и других в дело запутал. Да, неловко получается. Корысти, верно, тебе никакой, да врать не надо. Врать — это без пяти минут последнее дело.

— А последнее какое?— спросил Гешка.

— Последнее дело,— сказал Климентий Черемыш, садясь на край постели,— последнее дело, Геша,— это если долг твой, понимаешь, дело, которое тебе партией, народом поручено, и вот завалить. По-нашему, по-красноармейскому, это значит самое распоследнее дело. Понял?

— Понял,— сказал Гешка.

— То-то...

Летчик легонько потрепал его за нос:

— А у тебя, значит, тоже, как и у меня, однофамильцев хоть пруд пруди, а родни никого?

— Нет, у меня сестра в Москве есть. Только так...— Гешка махнул рукой.— Хоть и старшая сестра, ну неинтересная. Она, знаете, это... шьет, в общем.

— Портниха, что ли?— догадался летчик.

— Да, вроде. Там они какие-то спецодежды кроят.

— Ну что ж, тоже хорошее дело,— сказал летчик.— Без штанов, брат, тоже далеко не полетишь. Вот у нас вопрос с костюмами во время полета был очень серьезный. Знаешь, нам

какие костюмы сконструировали? Вот именно — сконструировали: про этот костюм и не скажешь — пошит. В старину говорили — шубу построить. Вот эти-то костюмы действительно построены. Можешь себе представить: гагачий пух, кожа, шелк, тройная прокладка особая, теплая, непроницаемая, да еще электрическое подогревание. А ты говоришь — портниха...

Летчик встал, прошелся из угла в угол, потом опять подошел к кровати:

— Ну, как же теперь нам все это расхлебать?.. Может быть, так и оставить? А? Пускай их себе думают, что братья. А? Как по-твоему?

Он наклонил голову и из-под широкого лба испытующе посмотрел на Гешку. Гешка молчал.

— Ну? Или как?— торопил летчик.

— Н-н-нет,— выдавил из себя Гешка,— это уж не годится. Лучше пускай уж знают. Все равно. А то какой же это я вам брат буду, если трусить и врать все? Нет уж!

— Это вот хвалю! Это подходяще!— воскликнул Климентий.— За это прямо впору бы и побрататься с тобой. Ладно, я уж в школе сам все это обделаю. Дразнить не будут.

Потом он вдруг сделался строгим, подтащил к кровати тяжелый стул, с грохотом поставил, сел на него верхом, скрестил руки на бархатной спинке.

— Вот что, друг: назвался братом, так уж изволь во всем соблюдать соответствие. Ну-ка, будя валяться! Вставай, одевайся, и давай-ка поговорим начистоту. Что же это ты? А? Зовешься моим бартом, а в учебе такой тихоход? По дисциплине у тебя тоже все гайки расконтрены. Никуда это не годится! Если уж хочешь быть братом, так давай условимся: фамилию высоко нести — не конфузить. Ты мне фамилию не порть! А то либо мне, либо тебе ее менять придется. Да и за чем дело стало? Теперь ведь учиться — одно удовольствие. Вот я посмотрел тут у тебя задачки. Легкие. Я уж тут от нечего делать взялся, пяток решил. Вот в наше, брат, время... Отдали меня в ученики... Так мастер, бывало, чуть что, как приложит счетной линейкой по загривку — дважды два,— вот тебе и вся арифметика!

— Ну да, и у нас есть, попадаются трудные задачки,— возразил осмелевший Гешка.— Вон там в конце одна птичкой отмечена. Ее у нас никто в классе решить не может. Нам задали к уроку, а никто не решил.

— А ну, давай сюда твою задачку!— сказал летчик и, сняв фуражку, бросил ее на стол.— Эта? Так! Условие вполне подходящее. Ну-с, с чего начнем? Угу, понял! Дело ясное, проще пареной репы. Что там у нас? Двести пятнадцать, восемь десятых. Так, четыре пишем, шесть в уме... Очень распрекрасно!

Теперь приписываем сюда. Сколько мы с тобой в уме держали?.. Так. Отлично. Теперь раскроем скобки.

Под окном нетерпеливо заверещала машина.

— Ничего, подождет!— сказал летчик.— Главное тут — не спешить.

В эту минуту зазвонил телефон.

— Ну, невозможно заниматься!— рассердился Климентий.

Он снял трубку и накрыл ее подушкой.

— Так на чем мы остановились? Угу. Теперь делим это. Остается вычесть. Ну, и чего ж тут трудного!.. Все. Пожалуйста, чисто, как говорится.

Довольный Климентий надел фуражку, пошел к вешалке, стал облачаться в шинель.

— А в ответе вовсе не так,— сказал Гешка, заглянув в конец учебника.

— То есть как это не так?!— изумился летчик, возвращаясь к столу.— Гм! Действительно, совсем не так. Погоди, погоди, тут мы где-то с тобой напороли. Не может быть, не может быть! Нет, тут все правильно. Го! История! Я полагаю, это в задачнике опечатка. Теперь часто бывает. Вот если выберут в депутаты, непременно поставлю вопрос насчет опечаток.

— Нет, у нашего учителя точка в точку по ответу вышло,— неумолимо отвечал Гешка.— Он нам показывал, как делать. Я забыл только.

Климентий, как был в шинели, подсел к столу. За окном нетерпеливо гудел автомобиль. Под подушкой хрипела и курлыкала снятая трубка.

— Гм! Запарка у нас получается,— сказал летчик и сбросил шинель.— Ну, давай рассуждать вместе.

В это время кто-то постучал в дверь. Сперва слабо и робко, потом крепче и увесистей. Гешка прислушался. За дверями топтались и спорили.

— Иди ты вперед,— услышал он и узнал голос Риты.

— А почему это я? Пускай вон Лукашин идет,— донесся басок Плинтуса.

Гешка испуганно взглянул на летчика:

— Ребята там... из нашего класса...

Летчик поднял голову от тетрадки:

— Что говоришь? Ребята? Вот и хорошо! Сейчас ты им прямо так сам все и скажешь.

— Нет... Я лучше уйду... Я потом...— залепетал Гешка.

— Ну что ж, уходи. Уйти — дело нехитрое. Остаться — вот это да! Ну, так как решаешь?.. Ты вот оденься пока.

И летчик, задернув полог, пошел открывать дверь.

Теснясь и прячась один за другого, отдавливая друг другу

ноги, стараясь держаться около стен, вошли Рита, Плинтус, Лукашин, Званцев, а с ними еще трое из пятого «Б». Летчик поздоровался со всеми по очереди. А Плинтус, поздоровавшись, быстро обошел за спинами ребят и ухитрился пожать руку героя еще раз... Все расселись — кто на стулья, кто на диван. Ребята смотрели на летчика и молчали.

— А как ваш брат Гешка?— спросила наконец расхрабрившаяся Рита.

Летчик стал очень серьезным. Потом он легонько крякнул и крепко потер ладонью затылок.

— Вот что, ребятки,— сказал он, вставая,— тут у нас маленькая путаница образовалась... Впрочем, пусть Геша вам сам все разъяснит. Давай, Геша!

И летчик раздернул шторы. Все заглянули в альков, где стояла кровать, но никого не увидели. Альков был пуст. Гешка снова исчез...

Летчик озадаченно посмотрел на ребят, прошел в альков, огляделся, даже под постель украдкой заглянул. Но Гешки нигде не было.

— Не выдержал, через ту дверь сбежал!— сказал сердито Климентий Черемыш, указывая на приоткрытую дверь из алькова в переднюю.— Ну что ж,— продолжал летчик, и внезапно лукавая ужимка тронула его лицо, тотчас ставшее снова серьезным,— ну что ж, придется, видно, мне самому... Должен я вам сказать одну нехорошую вещь про Гешу. Трус он, оказывается, вот что. А это, ребята, очень тяжело, когда вот твой родной брат — и оказывается трусом.

— Никто и не брат, никто и не трус!— раздалось вдруг из складок отдернутой шторы.

Материя зашевелилась. Рита испуганно взвизгнула.

И все увидели Гешку, который вылезал из своего убежища, красный и вспотевший.

— А, ты весь тут!— закричал летчик.— А я думал, только ноги твои здесь...

— А разве видно было?— еще пуще краснея, спросил Гешка.

— Да, брат, техника военной маскировки у тебя слабовата. Ноги-то из-под полога так и торчали...

Ребята, ничего не понимая, смотрели то на летчика, то на Гешку.

— Гешка! Ты чего ж это прятался?— спросил Званцев.

— Ничего я не прятался... Просто... я с духом хотел собраться...

— Ну,— сказал летчик,— набрался духу, теперь ныряй.

Гешка опустил голову.

— Ребята,— сказал он тихо,— правда... ребята! Можете

прямо меня обозвать, как хотите... только я все равно скажу...

И Гешка во всем признался товарищам.

У ребят даже слов сперва не нашлось. Они сначала ахнули и все отодвинулсь от Гешки. Они смотрели на него почти с ужасом. Потом сердито придвинулись к нему.

— Ну, уж это знаешь как называется?— произнес Лукашин.

— Как не стыдно только врать было!— возмущалась Рита.— А мы-то: «братик, братик»..

— Погодите-ка, эдак вы...— начал летчик.

Но Гешка перебил его:

— Вы уж меня больше... не вытаскивайте... Хватит, что из проруби...

Он замолчал. И все молчали, подавленные, уже не глядя на Гешку.

Тогда негромко, простым, хорошим голосом летчик стал объяснять ребятам, в чем была ошибка Гешки, который истинную правду мечты своей от всех спрятал, а напоказ выставил только ложь. Вот мечта и превратилась в обман.

— Мечтать — дело хорошее,— сказал Климентий Черемыш,— только мечта с правдой дружить должна. Тогда и все прочее будет соответственно.

— Ну, раз мечтал так...— тихо сказал Званцев.

— Если б хоть про себя воображал, а то вслух!— возразил Лукашин.

Но его уж никто не поддержал.

— А ты сам вслух себя Чапаевым не воображаешь?— закричала вдруг Рита.— «По ко́ням, по ко́ням»!— передразнила она.

И все облегченно засмеялись...

Евдокия Власьевна зашла утром навестить Аню. Заговорили о Гешке, и девочка, не удержавшись, обо всем рассказала учительнице.

Евдокия Власьевна совсем переполошилась.

— Воображаю, что должен пережить этот ребенок!— волновалась она.— Не представляю себе прямо, что у них там разыгрывается...

Евдокия Власьевна поспешила в гостиницу.

Когда она подошла к гостинице, у подъезда стояли и гудели уже две машины. Коридорный гостиницы сказал ей, что летчик просил его не беспокоить, так как занят очень важным делом. Евдокия Власьевна постучала в дверь номера, но ей никто не ответил. Она потихоньку, с беспокойством приоткрыла дверь и вошла.

За окном гудели разноголосо и монотонно машины. Под подушкой на столе курлыкала снятая телефонная трубка. Шинель лежала на полу, свалившись со стула. А герой, его само-

званый брат и друзья-товарищи из пятого «Б», кучно склонившись над столом, яростно спорили.

— Тут что-то не то!— кричал летчик, стуча кулаком по столу.— Мы действия верно произвели. Тут не в этом дело. Давай рассуждать сначала.

ЗАДАЧКА РЕШЕНА

Климентий Черемыш собирался сам поехать в школу побеседовать с ребятами и все уладить окончательно. Но поспеть всюду он не мог. Его ждали на предприятиях. Он выступал на митингах, ездил в район, побывал на лесопилке, сделал, как обещал, доклад в казармах.

Побывать в школе ему уже не пришлось. Но, верный своему слову, он прислал письмо, в котором повторил многое из того, что говорил ребятам у себя в номере.

Письмо это прочли в классе. Потом его поместили в стенгазете. Вот часть этого письма:

«...А теперь, дорогие товарищи из пятого «В», идут уже дела семейные. Я должен разъяснить одно небольшое недоразумение. Произошла маленькая путаница, и нам с Геннадием не хочется оставлять вас в заблуждении. Вся штука в том, что Геннадий не вполне мне брат, а скорее однофамилец, если уж так начать разбираться. Он тут порядком нафантазировал, а потом чуть сам себя не уверил. А вас уж и подавно. И вот это уже совершенно зря. Врать, конечно, не следует. Это уже самозванством отдает. А парнишка он хороший. Недаром я его из-подо льда выудил. За враньё вы ему пропишите там что полагается. Но очень не усердствуйте.

Прибыли ему от родства со мной было не много. У нас почет идет не по роду, не по племени, а по делам. Будь ты там кум или брат чей угодно, а изволь сам себя проявить самостоятельно.

Ну, а мечта, товарищи,— штука в жизни весьма уважительная. Мечта человека в люди выводит. И смеяться над ней нечего.

Так что условимся давайте так. Поскольку уже вы привыкли меня считать близким родичем пятого класса «В», то беру и в дальнейшем братское шефство, что ли, над вами. И назначаю Геннадия — тезку по фамилии — по этой части главным, раз уж мы с ним побратались.

Но предупреждаю: узнаю если, что попрекаете его за прошедшее, конечно, точка нашей с вами дружбе.

Так что давайте, чтоб никаких этих дразнилок раз и навсегда! Беру с вас слово....

А задачку, которая, у нас не выходила, я все-таки решил. И оказывается: решается-то она проще простого. А я прежде такое там накрутил... Это и в жизни случается. Хитрая задачка. Решение прилагаю...»

А Гешка вернул директору его письмо с распиской:

«Принято к сведению. Уверен, что выправится. Прочее соответственно.

За брата — *Климентий Черемыш*».

ТРИ СТРАНЫ, КОТОРЫХ НЕТ НА КАРТЕ

Кондуит и Швамбрания

Повесть о необычайных
приключениях двух рыцарей,
В поисках справедливости
открывших на материке
Большого Зуба
ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО
ШВАМБРАНСКОЕ,
с описанием удивительных событий,
происшедших на блуждающих островах,
а также о многом ином,
изложенном
бывшим швамбранским адмиралом
Арделяром Кейсом,
ныне живущим под именем
Льва Кассиля,
с приложением множества
тайных документов,
мореходных карт,
государственного герба
и собственного флага

Книга первая

Кондуит

Страна вулканического происхождения

ОТКРЫТИЕ

Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб, на 68-й день своего плавания, заметил вдали какой-то движущийся свет, Колумб пошел на огонек и открыл Америку.

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию.

ПРОПАВШАЯ КОРОЛЕВА, ИЛИ ТАЙНА РАКУШЕЧНОГО ГРОТА

Все началось с того, как пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что эта была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске.

Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами.

Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.

Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король — за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу из-

возчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую па́году, за цветочный горшок на подставке и за архиерея... Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат!

В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры.

Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг — о ужас!— мы заметили исчезновение черной королевы...

Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева, дрянь точеная, исчезла бесследно! Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженые головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа.

Да, это была непогодка! Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас! Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения и он не потерпит этого инстинкта и вандализма.

— Марш оба в «аптечку»— в угол!— закричал в довершение всего отец.— Вандалы!!!

Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.

— Если бы я знал, что у меня такой папа будет,— ревел Оська,— ни за что бы в жизни не родился!

Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «капнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку». «Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.

В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.

Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:

— Это он про цирк ругался... что там ведмедь с вещами обращается? Да?

— Да.

— А вандалы тоже в цирке?

— Вандалы — это разбойники,— мрачно пояснил я.

— Я так и догадался,— обрадовался Оська,— на них набуты кандáлы.

В кухонной двери показалась голова нашей кухарки Аннушки.

— Что же это такое?— негодующе всплеснула руками Аннушка.— Из-за бариновой бирюльки детёв в угол содят... Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?

— А ну ее, твою кошку!— буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой.

Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но мéста для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы... А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверно, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли! Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипяток в шахматном короле...

Так думали мы оба, сидя в углу.

— Давай убегем!— предложил Оська.— Как припустимся!

— Беги, пожалуйста, кто тебя держит!.. Только куда?— резонно возразил я.— Все равно всюду большие, а ты маленький.

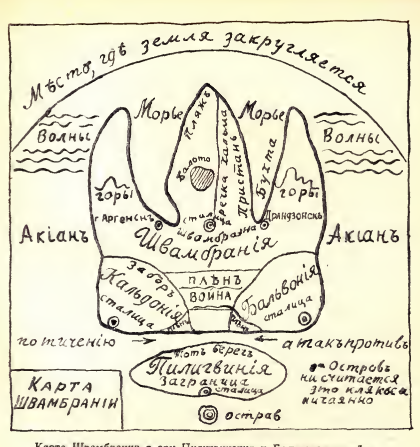
И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак «аптечки», как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром (потом оказалось, что это Аннушка в кухне уронила противень).

Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в уборную,— пальмы, корабли, дворцы, горы...

— Оська, земля!— воскликнул я задыхаясь.— Земля! Новая игра на всю жизнь!

Оська прежде всего обеспечил себе будущее.

— Чур, я буду дудеть... и машинистом!— сказал Оська.— А во что играть?



Карта Швамбрании в эру Пилигвинских и Бальвонских войн

— В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране... в нашем государстве. Левое вперед! Даю подходный.

— Есть левое вперед!— отвечал Оська.— Ду-у-у-у-у!!!

— Тихай!— командовал я.— Трави носовую! Выпускай пары!

— Ш-ш-ш...— шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары.

И мы сошли со скамейки на берег новой страны.

— А как она будет называться?

Любимой книгой нашей была в то время «Греческие мифы» Шваба. Мы решили назвать свою страну Швабранией. Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «м», и страна наша стала на-

зываться Швамбрания, а мы — швамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне.

Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбрании.

А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны.

У мамы в спальне, на столе, за зеркалом, стоял красивый, всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву.

На бумажке мы выписали три буквы: «В. Т. Ш.» (Великая Тайна Швамбрании). Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.

ЗАПОЗДАВШЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Швамбрания была землей вулканического происхождения.

Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закостенелый уклад старой семьи и общества.

Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах, а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили.

Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми — нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городовой.

Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям.

Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция — суровый педагог и лучший наставник — помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании.

У меня сохранились «швамбранские письма», географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написа-

на повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое...

ГЕОГРАФИЯ

Можно убедиться,
что земля поката,—
сядь на собственные ягодицы
и катись!
Маяковский

Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население.

Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву «Ш»— заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: «Остров ни считается это клякьса ничаянно». Вокруг зуба простирался «Акиан». Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это «волны»... Затем на карте было изображено «морье», на котором одна стрелка указывала: «по тичению», а другая заявляла: «а так против». Был еще «пляж», вытянувшаяся стрункой речка Хальма, столица Швамбраэна, города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, «тот берег», пристань, горы и, наконец, «место, где земля закругляется».

Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее круглости. Хорошо еще, что мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки, ибо, разумеется, он проверил бы покатость земли собственным сиденьем... Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем как закончить карту Швамбрании, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. Около амбаров еле заметно возвышались над площадью остатки какой-то круглой насыпи — не то земляного постамента для часовни, не то́ клумбы. Время почти сровняло эту жалкую горбушку, Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем.

— Вот,— изрек Оська,— вот место, где земля закругляется.

Я не посмел возразить: возможно, что земля закруглялась

Карта Швамбрании в эпоху Бренабора IV.

именно здесь. Но, чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал:

— Это что! Вот в Саратове, я видел, есть одно место — там еще не так закругляется.

Необычайно симметричной получалась на карте наша Швамбрания. Строгим очертаниям швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На западе — горы, город и море. На востоке — горы, город и море. Налево — залив, направо — залив. Эта симметрия осуществляла ту высокую справедливость, на которой зиждилось Швамбранское государство и которая лежала в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось лишь в последних главах, в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала.

Швамбрания была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии.

Симметрия — это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбрания была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. Налево — залив, направо — залив. На западе — Драпдзонск, на востоке — Аргонск. У тебя — рубль, у меня — целковый. Справедливость.

ИСТОРИЯ

Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков швамбранской эры.

Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамбрания спешно принялась воевать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ Большого Зуба отсечь двумя полукругами. Около написали: «Забор». А в отсеках появились два вражеских государства: «Кальдония»— от слов «колдун» и «Каледония»— и «Бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «Боливия». Между Бальвонией и Кальдонией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значилось: «Война».

Слово это, черное и жирное, мы вскоре увидели в газетах...

В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плацпарада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое.

— Вся война покрыта тротуаром,— убеждал я брата.

— А Волга на войне есть?— интересовался Оська.

Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку.

По бокам «войны» помещались «плены». Туда забирали завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью: «Плен».

Войны в Швамбрании начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.

— Распишитесь, ваше императорское величество,— говорил почтальон.— Заказное.

— Откуда бы это?— удивлялся император, мусоля карандаш.

Почтальоном был Оська, царем — я.

— Почерк вроде знакомый,— говорил почтальон.— Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.

— А из Кальдонии не получалось письма?— спрашивал император.

— Пишут,— убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтаря Небогу. (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)

— Царица! Дай шпильку!— кричал затем император.

Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал:

«Дорогой господин царь Швамбрании!

Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в Плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбранцы дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем. Вы дураки.

Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.

На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком

Бальвонский Царь».

Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он посылал бальвонскому обидчику «телеграмму с нарочным и заплоченным обратом». В телеграмме было написано:

ИДУ НА ВЫ.

В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы»— телеграфировал великий князь каким-нибудь там печенегам или половцам и мчался «отмстить неразумным хозарам». Но с таким нахалом, как бальвонский царь, не стоило говорить на «вы», поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы» и писал: «иду на ты». Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб-обер-доктора, и начинал призываться.

— Ну-с,— говорил лейб-обер-доктор,— как мы живем? Что желудок! Э-э... стул, то есть трон, был?.. Сколько раз? Дышите!

После этого царь говорил кучеру:

— Но! Трогай с богом! Гони их в хвост и в гриву!

И ехал на войну. Все кричали «ура» и отдавали честь, а царица махала из окошка чистым платком.

Разумеется, из всех войн Швамбрания выходила победительницей. Бальвония была завоевана и присоединена к Швамбрании. Не успели подмести «плац-войну» и проветрить «плен», как на Швамбранию полезла Кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в Кальдонию без билета во все дни, кроме воскресенья.

На «том берегу» было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины — путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилингвинами на плаце войны. Побеждали и здесь всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилингвинов к Швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пилигвиния была оставлена для «развития истории».

ОТ ПОКРОВСКА ДО ДРАНДЗОНСКА

В Швамбрании мы обитали на главной улице города Драндзонска, в бриллиантовом доме, на 1001-м этаже. В России мы жили в слободе Покровской (потом город Покровск), на Волге, против Саратова, на Базарной площади, в первом этаже.

В открытые окна рвалась визгливая булга торговок. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошаденок... Возы молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделие, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синематографическом электротеатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.

От «Эльдорадо» до нашей квартиры шла так называемая Брешка, или Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило гулянье. Вся Брешка — два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся Брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «покровский разговор».

Вдоль Брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, на-

пяленных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девчатам:

— Спозвольте причепиться. Як вас по имени кличут... Маруся чи Катя?

— А ну не замай... Який скорый!— отвечала неприступная.— Ну, хай тоби бис... чипляйся.

И целый вечер грузно толкалась перед окнами грегочущая, лузгающая хуторская Брехаловка.

А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо плыла Брешка. А на подоконнике воздвигались невидимые дворцы, воздушные замки, распускались пальмы, неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со своего подоконника Брешку. На подоконнике была Швамбрания.

Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это повстречались «Самолет» с «Кавказ-и-Меркурием». Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ-и-Меркурий» — вниз, в Астрахань, ибо «Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым.

ДЖЕК, СПУТНИК МОРЯКОВ

Вообще мир для нас — это бухта, заставленная пароходами, жизнь — сплошная навигация, каждый день — рейс. Все швамбраны, само собой понятно,— мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек, Спутник Моряков.

Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков и словарь необходимых разговорных фраз». Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак и всю мудрость ее вложили в уста новому герою — Джеку, Спутнику Моряков. Так как в книжке был, кроме краткой лоции и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом.

Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски.

Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здо́рово.

— Гром, молния, смерч, тифон!— говорил Джек, Спутник Моряков.— Доннер, блитц, вассерхозе!.. Здравствуйте, сударь или сударыня, гоод морнинг, бонжур. Говорите ли вы на других языках? Да, я говорю по-немецки и по-французски. Доброго утра, вечера. Прощайте, гутен морген, абенд, адье. Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях; пар мер, а пье, а шваль... Человек за бортом. Ун уомо ин маре. Как велика плата за спасение? Вифиль ист дер бергелон?

Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него.

— Лоцман посадил меня на мель,— сердился Джек, Спутник Моряков, на сто третьей странице, но тут же, на сто четвертой, признавался на всех языках:— Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза...

Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре.

— Тихай!— командует Оська, отгудев.— Бросай чалку!

Мы сбрасываем одеяла.

— Стой! Спускай трап!

Мы спускаем ноги.

— Готово! Приехали! Слезай!

— С добрым утром!

У ТИХОЙ ПРИСТАНИ

Наш дом — тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет — капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная — рубка первого класса. В столовой — кают-компания. Терраса — открытая палуба. Комната Аннушки и кухня — третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль... Там настоящий дым.

Труба не «как будто», а настоящая. Топка гудит подлинным огнем, Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет, плененного, в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя.

Нас требуют «наверх», и мы покидаем машинное отделение дома.

Мы уходим нехотя. Кухня — главный иллюминатор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются: старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы... Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бациллы.

Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина:

— А правда, говорят, на вас киша-кишмят... нет... кимшат, ну, то есть лазают, скарлатинки?

— Ну,— обиделся Левонтий,— какие там скарлатинки?.. Это на мне просто так, обыкновенные воши... А скарлатины — такой животной и нет вовсе... Скарланпендря есть, так то засекомая, вроде змеи. В кишках существует.

— А у вас, значит,— обрадовался Оська,— скарлапендра в кишках кишмит? Да?

Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь.

Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед рождеством, например, приходят сюда колядовать ребята. Они поют:

Маланья ходыла,
Васыльку просыла:
— Васылько, батько мий...

На Новый год является «поздравить» сам городовой. Он стукает каблуками и говорит:

— Честь имею...

Ему выносят на блюдце рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городовой замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок. Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку.

— Зачем это он?— шепотом интересуется Оська.

— Это он отдает нам честь,— поясняю я.— Помнишь, ко-

где он вошел сначала, он сказал: «Имею честь?» А теперь он ее отдает нам.

— За рубль?— спрашивает Оська.

Городовой смущен.

— Вы что тут торчите, архаровцы?— раздается бас отца.

— Папа,— кричит Оська,— а нам тут полицейский честь отдал за рубль!

— Переплатили, переплатили!— хохочет отец.— Полицейская честь и пятака не стоит... Ну, живо, марш из кухни!.. Как это у вас там? Левое назад, правое вперед...

ДОМАШНИЙ КАПИТАН

Отец — высоченный пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Движется он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли.

Но, кроме этого, папа очень веселый человек. И бывает так: придет к нему больной, у которого «в грудях як огнем пече», а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот — заболел от смеха... А когда отец начинает грохотать сам, то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки, он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот барыня приехала».

Много веселых слов знает отец.

— Жри да рожу пачкай,— говорит он нам за обедом.— Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюни!— и ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами.

И это у него собезьянничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй их в хвост и в гриву».

Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волостных сходках. А сход — богатеи хуторяне — сыто бубнит: «Нэ треба...» Потом в газетке «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это...

Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка засеяна конфетами: их швыряют пригоршнями с саней в

толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рявкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких санях с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи.

А еще вспоминали об отце и такое.

В слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы», как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми... От хулиганов этих в слободе не было житья... Полиция бездействовала.

Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала...

Было это глухой ночью.

Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы.

— Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу. Вставайте с пола, ложитесь на койку.

Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот.

Отец вышел за ограду к толпе.

— Чего надо? Не пущу,— сказал отец,— поворачивайте-ка оглобли! Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом...

— Ты, доктор, только бы Балбаша на руки выдал... Под расписку. Мы б его... вылечили.

— У больного Балбашенко,— строго и раздельно ответил папа,— высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров! И не шумите. А то больные пугаются — это им вредно.

Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так:

— Доктор, ребята, правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы Балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство.

Балбаша «закончили» через три месяца.

ЗЕМЛЯ ХАНОНСКАЯ

Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушителен. Нам тогда влетает «под первое число» и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост и в гриву, нас распекают во всю ивановскую, нам прописывают ижицу... Тогда на сцену выступает мама.

Мама у нас служит модератором (глушителем) в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише.

Мама — пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются «расходящие гаммы», скачут, пиликают экзерсисы — упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает:

— Раз-ын, два-ын, три-ын... Раз-ын, два-ын...

И мама поет на мотив бессмертного «Ханона»:

— Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый. Тише руку, не качайте. Пятый, первый...

И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания поются на мотив «Ханона». Только дни, утонувшие в липкой микстуре жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, кру́па вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас.

Мама близорука. Она низко наклоняется к пюпитру, и к концу дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами.

На папином столе в кабинете есть бумагодержатель — тонкая, длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышней она храбро покинула большой город и уехала с папой в «земство», в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студеной воющей тьме плутал папа, скача на розвальнях в далекое — километров за двадцать — село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол — маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезало черное село. При зыбком свете лучины, в овчинной духоте папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.

ГУДОК РАЗБУДИЛ ШВАМБРАНИЮ

Зимами по Покровскому тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все до́ма. У нас тепло. За окнами крутится вьюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся от вьюги и всех невзгод в тихой гавани.

У нас обычно гости: податной инспектор Терпаньян, ма-

ленький зубной врач Пуфлср. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его «зубным порошком».

Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле менуэт Падеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку: «Фррря...» И посвистывает: «Фефела...»

Веселый податной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке «бочки́». При этом податной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук:

— Кркльххх...

Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податной хохочст и спрашивает:

— Видал миндал?

Папа смотрит на часы и говорит:

— Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем.

Мы чинно говорим «покойной ночи» и идсм отплывать в ночную Швамбранию.

Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки. Подается команда:

— Левое вперед! Ш-ш-ш-ш-ш... У... у!.. Средний ход! Вперед до полного!.. Полный!

Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы Драндзонска ждут нас.

Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок.

Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями.

Гудит.

И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета в кухню. Звонит телефон. Слышен папа.

— Ах мерзавцы!— разносится по дому.— Что они? Не предвидели? Ну ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают.

Гудит, гудит чья-то большая беда.

Мама прибежала в детскую и рассказывает.

На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье: рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых.

Да... Вот как... Вот как... Вот какие вещи происходят, оказывается...

Нет, у нас в Швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда!

КРИТИКА МИРА И СОБСТВЕННОЙ БИОГРАФИИ

Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружились там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что:

несправедливость

1. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются «неподходящим знакомством».

2. Хозяин костемольного, убивший и искалечивший полсотни людей, не подходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого.

3. Мы с Оськой ничего не делаем (только учимся), а Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей, а карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная: у нее нет никакой Швамбрании...

Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагосостояния тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово: Несправедливость.

ЕЗДА «В НАРОД»

Позже мы занесли в список несправедливости и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бранить наших родителей. Они были только люди своего времени, и, уж конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно: наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадью. Мы ехали «в народ». Правил сам папа, одетый в чесучовую рубаху. Папа со вкусом произносил «тпрру», «но», «эй». Но, если на узкой дороге впереди

показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас:

— Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь... только громче, чтоб она обернулась. Не могу же, в самом деле, я ей крикнуть: «Эй, берегись!» Тем более, это, кажется, знакомая...

Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил:

— Тетя, мадам... папа просит вас немножко подвинуться. А то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно.

Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали.

Кончилась это езда «в народ» тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.

МИР ЖИВОТНЫХ

Чтобы внедрить в нас любовь к «малым сим» и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак, были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб.

Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы...

Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, крутолобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы. Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на линолеуме.

— Вот,— сказал папа,— это вам. Смотрите ухаживайте за ним хорошенько!

Козленок в ответ на это сказал «б-е-с» и тотчас посыпал «кедровых орешков» на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брю-

ки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер.. Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге... Вот куда исчезал козленок!

В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.

ВОКРУГ НАС

Отец и мать работали с утра до вечера, а мы росли, положа руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое «золотое детство»— с идеалами, вычитанными из книжек «Золотой библиотеки». У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили и пароходы. Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготовляют кирпич, льют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей их производящих. Соль на столе прошла через градирню, чугунок со щами — через доменную печь. Ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай — все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о коронованных героях, ничего не сообщали о людях делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев — людей «чистого умственного труда». Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобия машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов, изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи.

Мы даже завидовали некоему Фектистке, рябому ученику жестянщика. Фектистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то, купаясь, Фектистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки — несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил Фектистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дуба-

ся по худой Фектисткиной спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость...

УМСТВЕННОСТЬ И РУКОМЕСЛО

Мы перестали завидовать Фектистке. Мучительные догадки влезли в наши головы.

Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера сами не имели вещей.

Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфета ущемлял ключ или надо было передвинуть пианино, Аннушку посылали вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтоб «кто-нибудь» пришел. «Кто-нибудь» приходил, и вещи смирялись перед ним: пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась и замок отпускал ключ на волю. Мама говорила: «Золотые руки»— и пересчитывала в буфете серебряные ложки...

Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к «их милости» наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся «во первых строках» поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:

— Вот она, умственность! А то что наше рукомесло? Чистый мрак без понятия.

А в душе этажи тихонько презирали друг друга.

— Подумаешь, искусство,— говорил уязвленный папа,— раковину в уборной починил... Ты вот мне сделай операцию ушной раковины! Или, скажем, трепанацию черепа.

А внизу думали:

«Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука — перышком чиркать!»

Между нашим и полуподвальным этажом поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля — зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища. Безногий, сидя на шее приятеля, обозревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но... из нас готовили «людей чистого умственного труда», и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители, от мала до велика, не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их...

БОГ И ОСЬКА

Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и четырех лет запоминал все, что угодно,— от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак: непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы». Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не сиволапый, а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал:

— Мама, намажь мне брамапутер...

— Боже мой,— сказала мама,— это какой-то вундеркинд!

Через день Оська сказал:

— Мама! А в конторе тоже есть вундеркинд: на нем стукают и печатают.

Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд».

Но у него были и свои верные понятия и взгляды.

Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом.

— Понял, в чем тут дело?— спросила мама.

— Понял,— сказал Оська.— Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть...

Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами.

Однажды я оставил его одного играть в Народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку «Траву не мять», испугался.

Тогда он решил обратиться к посторонней помощи.

В глубине аллеи спиной к Оське сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы ниспадали на плечи длинные кудри.

— Мой мяч упрыгнул, где «Цветы не рвать»,— сказал Оська в спину даме.

Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч.

— Тетя!— спросил он.— Тетя, а зачем на вас борода?

— Да разве я тетя?— ласковым баском сказала дама.— Да я же священник.

— Освещенник?— недоверчиво сказал Оська.— А юбка зачем?— И он представил себе, как неудобно, должно быть,

в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы.

— Сие не юбка,— отвечал поп,— а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка я, понял?

— Сейчас,— сказал Оська, вспоминая что-то.— Вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки-матушки...

— Ох ты забавник!— засмеялся поп.— Некрещеный, что ли? Отец-то твой кто? Папа?.. Ах, доктор... Так, так. Понятно... Про бога-то знаешь?

— Знаю,— отвечал Оська.— Бог — это в кухне у Аннушки висит... в углу. Христос Воскрес его фамилия...

— Бог везде,— строго и наставительно сказал священник,— дома, и в поле, и в саду — везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а господь бог нас слышит... Он ежечасно с нами.

Оська посмотрел кругом, но бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру.

— А бог взаправду или как будто?— спросил он.

— Ну поразмысли ты,— сказал поп.— Ну кто это все сделал?— спросил он, указывая на цветы.

— Честное слово, правда, это не я! Так было,— испугался Оська, думая, что поп заметил помятые цветы.

— Бог все это создал,— продолжал священник.

А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что бог, — мне лучше».

— И тебя самого бог произвел,— говорил поп.

— Неправда!— сказал Оска.— Меня мама.

— А маму кто?

— Ее мама, бабушка!

— А самую первую маму?

— Сама вышла,— сказал Оська, с которым мы уже читали «Первую естественную историю»,— понемножку из обезьянки.

— Уф!— сказал вспотевший поп.— Безобразие, беззаконное воспитание, разврат младенчества.

И он ушел, пыля рясой.

Оська подробно передал весь свой диспут с попом.

— Такой смешной весь!— вспоминал Оська.— Сам в юбке, а борода!

Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что бог вряд ли есть, а мама говорила, что бог — это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки, потом он вошел в квартиру через плотно закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного святого духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за

тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка: бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.

НЕБЕСНАЯ ШВАМБРАНИЯ

Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие и Аннушка говорила им «не взыщите», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди не подходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском палисаднике.

Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой.

В церкви было красиво, как в Швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было как в настоящем царстве небесном. И все крестились.

Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он бог. Он был, как потом рассказывал всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слюнявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу», а Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху: «Засмейся», а жених: «Не хочу». И Мариша немножко поплакала.

— Вот дура!— сказал Оська.— Чего ревет? Ведь это же как будто.

После этого они стали играть в колечки, а когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось:

«Кого любишь, поцелуй. Ой-ли-луя, поцелуй».

Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались.

После посещения церкви мы решили, что царство небес-

ное — это такая Швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных.

А в нашей Швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради духовенство (Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром). Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прелатов звали «ваше преподобие». Мы величали Гематогена «ваше неправдоподобие»...

ПОКРОВСКАЯ ЗОЛУШКА

Сказки оканчивались благополучно. Судомойки становились принцессами, спящие красавицы просыпались, ведьмы гибли, мнимые сироты обретали родителей... На последней странице играли свадьбу, на которой мед и пиво по усам текли, но в рот не попадали.

В Швамбрании, в стране наполовину сказочной, все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку.

Но оказалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности же даже сказка приобретала неприятный конец. И в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружавшие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городового.

Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице, по прозванию Золушка-Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слыхал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху, о доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал, и о туфельке, потерянной во дворце?

Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуитном журнале Покровской мужской гимназии.

Надзиратель Покровской гимназии Цап-Царапыч изложил на страницах кондуитного журнала новый вариант этой истории. Но Цап-Царапыч был краток и сердит. Поэтому мне придется самому рассказать о покровской Сандрильоне. Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки.

КЛЕЙМЕНЫЕ ОРЛЫ

Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними, в конвертах, были вложены в строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоев, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий.

Но Марфушу не интересовало содержание конвертов.

Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок.

Конверты в кухню доставляли мы с братишкой.

На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей. Мы были посвящены во все ее тайны.

Мы знали, что кучер из папиной больницы — Марфушина симпатия, а приказчик из аптекарского магазина — зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу Метламарфозой...

Узнали мы еще также, что, если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать: «Ахчхи, спичка в нос, пара колес, конец óси, чтоб чесало в нóсе; чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут...» Все... уф!

Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами.

Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам: I, II и III. На императорских носах стояли штемпелеванные даты. Клейменые орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля.

Мы, благоговея, созерцали эту пеструю коллекцию, а Марфуша, любовно вороша царей и орлов, мечтала вслух:

— Как вот до двух тыщ насобираю, продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обстановочка, на заде бант и кругом вуаль с мушкой. Поглядю тогда, кто меня Метламарфозой обзовет... Поглядю...

ГАЗООБРАЗНОЕ НАЧАЛЬСТВО

Митьку Ламберга исключили из 2-й Саратовской гимназии за непочтительный отзыв о законе божьем. Он поступил в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя «жертвой реакции» и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам.

Он говорил:

— Я мстю, то есть я хотел сказать — мщу, начальству во всех его видах: в жидком, твердом и газообразном.

Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевались правительство, полиция и земский начальник. На земского начальника гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшеклассники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угер. Когда кончились уроки, сани земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурели и бросали в земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано: «Коток».

СВЯТКИ

На святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимо весел, изобретателен и носат...

— Оне симпатичные,— сказала о нем Марфуша,— только уж больно носом здоровы.

На святках в Коммерческом собрании устраивался большой бал-маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали пригласительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея — насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника Стали выдумывать костюмы.

Целый день все ходили сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с сияющим видом вбегал в столовую и кричал:

— Я придумал! Страшно смешное...

— Ну?— говорили все.

— Надо одеться самоубийцей... А на трупе, то есть на костюме, написать: «Прошу в моей смерти винить земского начальника»... Х-ха...

— А музыка при этом играет марш Шопена,— ехидно дополняла мама.— Страшно смешно!

— Да, —грустно говорил папа,— никогда в жизни я так не хохотал.

Сконфуженный Митя становился на голову и, болтая ногами, кричал:

— Вот так и буду назло стоять вверх ногами, пока идеи к голове не прильют!..

В двенадцать часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм.

Кроме того, план папин был вообще замечателен: на маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника.

Все отправились в кухню.

— Марфа-Посадница,— торжественно проговорил папа,— не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в Коммерческое собрание?

— Да господи ж!— смутилась Марфуша.— Только ведь туды по пригласительным. Как же я?

— Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны... все ваши марки. Что? Жалеете?..

— Марфуша,— проникновенно сказал Митя,— подумайте! В ваших руках судьба земского. В ваших руках судьба... Вы будете королевой бала.

— Эх, уж ладно,— сказала после тяжкого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком.

ДНИ СКЛЕЕНЫ СИНДЕТИКОНОМ

Два дня весь дом работал над костюмом. Груды искромсанного картона и бумаги лежали на столе в «бариновой кухне», как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гуммиарабиком. Тюбики синдетикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил, распорядительно задрав нос, и с него капали пот и тушь. Папа безуспешно отдирал от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским фразам. Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов, нечаянно сев на обмазанную синдетиконом ленту. Лента прилипла к штанам. Мы крепко приклеились друг к другу.

Вечером, перед маскарадом, надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуаршинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня Марфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выделен изящным рондо:

ЗАКАЗНОЕ

Северный полюс

Улица капитана Гаттераса, дом с террасой, направо

ПОЛЯРНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА

Его превосходительству северному сиятельству

НАЧАЛЬНИКУ ЗЕМСКОМУ Г-НУ ЭМСКОМУ

Обратный адрес: Лондон, Сити. На углу спросите.

Марфушу запечатали в конверт.

На голову напялили другой конверт — понятно, во много раз меньший.

По углам тоже пестрели марки.

На колпаке-конверте было написано:

Не узнать вам анонима,
Все догадки ваши мимо!
И никто вас не уважит,
Ничего вам не расскажет,
Мани, Тони, Зои, Эммы —
Все сегодня будут немы.

Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше.

— Ты такая красивая, Марфуша! — сказал ей Оська. — Ты прямо как тетя на картинке «Мойте голову пиксафоном». Даже красивше.

Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушино лицо.

Почетным почтальоном был избран Витя.

В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером.

Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический. Не то испанский гранд, не то румынский шарманщик.

АНОНИМКА

Витя лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью.

— Труакар вуазем нотр дам де Пари абракадабра! — говорит он и закручивает примерзшие усы.

Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает.

Марфуша видит, как в овальные отверстия ее маски вплывает растерянная физиономия земского.

Земский читает и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают земского.

— Гм,— говорит земский,— дорогая анонимочка... Разрешите на вальс?..

— Ол райт,— говорит анонимочка.— Спик инглиш?[1]

Земский смущен. Инглиш — он ни бе ни ме. Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами: начальник приглашает ее на вальс. Музыка рявкает. Музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены зала раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимке. Дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплется конфетти. Сыплются на Марфушину тарелочку жетоны — голоса за приз.

— Музыка, стой!— гремит земский начальник.

И, разогнавшись, оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончился завод.

— Господа,— кричит земский,— наибольшее количество жетонов собрала маска «Письмо»! Ей присуждается первый приз — золотые часы! Ура прелестной анонимке, ура!!! Вскроем письмо!

Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше:

— Молодчина, Марфа-Посадница, ай молодчина! Дуй дальше!

Митя стоит среди товарищей-гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к земскому. Он говорит:

— Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка... Это — известная... Впрочем, что я делаю! Я же обещал молчать!

— Умоляю, молодой человек,— шепчет земский,— плюньте на обещание. Скажите! Хотите мороженого?

— Нет, не просите,— говорит, злорадствуя, Митя и поедает мороженое.

— Вскроем письмо, господа!— кричит земский.

И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами.

— Каррамба кракатоа мелинсфунд, пепермент доминант септ аккорд олеонафт![2]— рычит незнакомец на своем тарабарском языке, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице.

Земский кидается за ним. Маски, домино, арлекины, гу-

---

[1] Очень хорошо. Говорите по-английски?

[2] Ничего не значащий, бессмысленный набор иностранных слов.

сары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре — весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающие нос и усы Вити сдерживают любопытство гостей.

Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются.

Витя вскочил на ходу. Они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается в кухню.

Ночью на пустом сундуке тихо щелкают на своих маленьких счетах новые часики.

Счастливая и уставшая, спит Марфуша. Разорванный конверт — шелуха сказочного вечера — пустует у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных штиблет. Утром их надо вычистить.

ЗОЛУШКА РАЗОБЛАЧЕНА

В газете «Саратовский вестник» в столбце покровской хроники было напечатано:

«В среду в клубе Коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное письмо».

Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом.

Вполне справедливо присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником г. Разудановым в виде золотых часов. Несмотря на настойчивые просьбы гостей, маска отказалась открыться и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса».

А через два дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигренившей супруге земского. После осмотра пациентки отец пил с земским чай. Разуданов корил папу:

— Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам, ну-ну... Немножко, правда, меня прокатили, но зато что за ножки! А руки! Порода, батенька мой, порода! Вероятно, иностранка... Из головы не идет!

— Ну что вы,— скромно сказал папа,— ничего особенного — это наша горничная Марфуша.

— Ка-акх?— откинулся земский, побагровев, и лицо его вытянулось, так как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли наверх.

Отец, уже не сдержавшись, так загрохотал во все горло, что излеченная было им мигрень у супруги земского снова вернулась на место.

ТУФЕЛЬКА САНДРИЛЬОНЫ

На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке.

Паж не принес Марфуше в кухню туфельку.

Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала.

Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золы золотую крупинку, поплатились.

Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника был обнаружен резиновый, чудовищных размеров бот. Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца.

В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие «приказы»:

«ПРИКАЗ

Приказываю всему женскому населению г. Покровска явиться в кратчайший срок к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в Коммерческом собрании. Та, которой туфелька придется впору, будет немедленно назначена земской начальницей. Земский начальник обязуется вечно быть под каблуком этой туфли.

Земский начальник
Разуданов».

Рассказывают, что утром, пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка — услышав о приказе, решила попытать счастья, но нога не полезла.

— Трошки маловат,— с досадой сказала баба и плюнула в бот.

А Мите и еще троим товарищам «за неуместное, порочащее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте» был объявлен выговор и сбавлены отметки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю покровской Сандрильоны от старой сказки о Золушке.

Голубиная книга

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить «коренные слова на ять». Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил:

— Ну, как котелок? Варит?

С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила:

— Главное, не волнуйся! Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует.

Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения вразбивку и подряд. До «девятью девять» и до гимназии мы дошли одновременно.

День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные, междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неодушевленный паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный. Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя сквозь пенсне видны были его добрейшие, чудесные глаза.

— Ну, теперь руки по швам!— сказал он и внезапно спросил:— А ну, быстро: гимназия — какая часть речи?

— Имя существительное, нарицательное, неодушевленное!— отчеканил я.

— А гимназист?

— Одушевленное...

В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:

— Ошибаешься, юноша! Брешешь. Гимназист — существо неодушевленное.

Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку.

В коридоре гимназии было холодно от волнения.

Потом была перекличка. Стол, накрытый зеленым сукном.

Диктант: «Купи поросенка за грошш, да посади его в рожж, так будет он хорошш!»

Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица: поставят в слове «рожь» мягкий знак или нет?

Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий знак в собственной фамилии.

Потом была письменная по арифметике и устные экзамены.

На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения: подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковно-славянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русый и бородатый, неуверенно сказал:

— Батюшка! А ведь это им не требуется, кажется?.. Вообще иных вероисповеданий...

И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел.

— Тем паче необходимо,— строго сказал батюшка.— Вот возьми и прочти. Прочти.

Я прочел и перевел какую-то страницу.

Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.

ЗАБРИЛИ! ОБОЛВАНИЛИ!

Лето мы провели на даче в деревне Подлесное, Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я казавшееся мне чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины хвалынских меловых гор, в ущелья Теремшаня и густые малинники, куда мы тихонько забирались.

В то время Россия, Европа, мир начинали войну.

Мы ехали из Хвалынска на пароходе. На пороход сажали мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали:

— Последние телеграммы! Три тысячи пленных! Наши трофеи!

На пристанях бились у пароходных сходен плачущие, растрепанные женщины — старухи и молодки: они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач, причитания, нестройное «ура», разнобой оркестра. Пароход разворачивал большую вспененную дугу по воде и давал прощальные гудки. Долго-долго. Короткий перерыв — и опять тревожно... протяжно...

В рубке первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре. Гремело пианино. Пахло Волгой, ухой и духами. Смеялись дамы.

В окно салона был виден уплывавший крутой берег. По берегу вверх от пристани тянулись тяжело и сиротливо деревенские таратайки.

Проводили...

В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии. Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья! Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, «оболванили», как сказал отец.

— Совсем зольдат,— говорил портной Биркель, примеряя на мне готовую форму.

ПУГОВИЦЫ

То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк навыпуск.

Мальчишки кричали мне на улице: «Сизяк!» Сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить.

Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной бляхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы «П. Г.»— «Покровская гимназия». Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный и страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках (левый чуть жал) поднялся к дверям гимназии.

Прохладный рокот коридора овеял меня. За дверьми, в августовском дне остались Подлесное, меловые горы, лето, свобода.

Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку.

— Здравствуй, здравствуй!— сказал старичок.— Положь фуражечку вон туда. В первый, поди? Вон — третий налево.

Я тщательно и почтительно поклонился еще раз.

— Ну, иди, иди, накланялся!— засмеялся старичок и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор.

В классе сидели здоровенные стриженые ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По классу расхаживало несколько громадных детин в вытрепанных гимнастерках или

выцветших мундирах — второгодники. Один из них поманил меня пальцем к себе:

— Сидай ко мне. У меня место свободное. Как твое фамилие?.. А мое Фьютингеич-Тпрунтиковский-Чимпарчифаречесалов - Фамин-Трепаковский-По-колено-Синеморе - Переходященский! Повтори без передышки!

Я повторить не смог.

— Ничего,— утешал он,— насобачишься. Макуху лопаешь? Нет? Закурить есть?.. Нема?.. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал?

Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к парте нашей подошел подвижной, лопоухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня. Сел на крышку парты и быстро спросил:

— Ты доктора сын? Да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине! Это чья пуговица?— И он ухватил блестящую пуговицу на обшлаге моей гимнастерки.

— Моя, а то чья же еще?— ответил я.

— А раз твоя, так держи ее!— И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки.— А это чья?— спросил он, берясь за следующую.

Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю.

— Не знаешь?— закричал лопоухий второгодник.— Значит, не твоя?

И, оторвав вторую пуговицу, он бросил ее на пол. Класс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые, хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвое, как ласточкин хвост, борода его мела мелкие звезды на лацканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково:

— Ну! Стрючки-новички! Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то, сорванцы, горлопаны... Смирно!!! Гавря Степан! Убери брюхо! Спрячь живот в ранец! Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь! В кондуит захотел? Ишь отрастил космы на хуторе. Остригись!

Потом инспектор вынул список и сделал перекличку. При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников.

— Туфельд!— кричал он вместо Куфельд.— Варекухонко!— вместо Куховаренко.

Дошла очередь до меня.

— Здесь!!!— оглушительно выпалил я.

Инспектор удивился:

— Маленький, а горластый! Вот так взревел! Недаром Львом прозываешься. Сколько лет?

Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить:

— Полдесятого!

Инспектор спокойно сказал:

— А я вот тебя, Лев, царь зверей... прохвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого, тогда ты узнаешь, как острить. Постой, постой!— закричал он, как будто я хотел куда-то уйти.— Постой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать.

Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и вмиг охватил лишние, по уставу не полагающиеся пуговицы.

Теперь я весь был по уставу.

НАПОЛЕОН И КОНДУИТ

В кондуит я попал очень скоро.

Надо было докупать кое-какие учебники. С мамой и братишкой мы поехали в Саратов.

Занятия уже начались. Заполнилась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик «Клеопатра», на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Осокорья. А я уже видел не просто остров, но «часть суши, со всех сторон ограниченную водой»...

В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнущуюся фуражку с гербом и новые ботинки. Потом мы гуляли по Немецкой. Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели, будто орга́н.

Мы зашли в кафе-кондитерскую «Жан». Мама заказала кофе с пирожными наполеон. В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я вгляделся в него и... наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш директор — Ювенал Богданович Стомолицкий.

Я вскочил с губами липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся.

Мы вышли. По дороге, у дверей, я еще раз покло-

нился. День был испорчен. Наполеон беспокойно **бурчал** в животе...

На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал:

Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе, хотя бы и с родителями.

Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал:

— Эге! Здорово! Это ловко: уже в кондуит попал. Молодец, брат. Хвалю за храбрость!

Я, признаться, сначала здорово струсил. Но тут приободрился. Равнодушно пожал плечами:

— Втяпался. Черт с ним!

А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитерские».

П. Г.

Покровская мужская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками. Длинный коридор. Классы. В коридоре — короткий прибой перемен и отлив уроков.

Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно, в конце урока,— веселое, хихикающее, беззаботное:

«Дунь!.. Жизнь — дребедень!»

Другое — в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая, злая морда:

«Дрлать вас надо, дрянь!»

Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Кондуит. «Вон из класса!», «К стенке!»

Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.

Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл — отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих».

§ 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.

§ 29. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раза. Без-

условно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.

Примечание. В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.

Так было написано в наших гимназических «билетах», и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондуитный журнал. Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимназии... Страшная это была книга! Тайная книга. «Голубиная книга».

Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба, и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.

ГОЛУБИ—СИЗЯКИ

Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.

Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по Брешке. Лущили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И, если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:

— Нэ треба!

Болота и грязь затопляли слободские улицы. Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.

И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.

Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинели. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, эти господствующие классы!) дрались с нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники.

Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.

На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.

Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов.

Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.

В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.

В классах жгли фосфор — для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.

Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку — игрушка пищит. Учитель бегает по классу — пищит. Учитель обыскивает парты — пищит.

— Встаньте и стойте!

Класс на ногах — пищит.

Приходит инспектор — пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.

Пищит...

Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городовых. Учителям, которых невзлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зинь-иции...

ДИРЕКТОР

Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, несгибаем и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».

Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.

Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.

— Стой!— сказал директор.— Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.

Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.

Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.

Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.

Директор садился у кафедры и следил за тем, чтоб вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю.

В кондуите по милости директора были такие записи:

Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гавря Степан... был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).

(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил.)

Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором.

— Я доволен, милоштивый гошдарь,— шепелявил он директору.— Порядок у ваш обращцовый.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью»— голубая лента, сусальная бородка, пробор с зачесом, ордена,—«царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом... Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ёму только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строили безобразные рожи, показывались «носы», кукиши... Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.

Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг це-

лую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры ложи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.

Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников — классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.

ИНСПЕКТОР

Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый плотный человек. Волосы ершиком. Темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.

И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.

— Дежурный,— спокойно-зловеще говорил инспектор,— а ну-ка, дежурный... закрой дверь. Тэ-э-эк-с.

Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса...

Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:

— Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, головотяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? А-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам — первейший оболтус! Ну, что? Стыдно

небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет.— И инспектор щелкал языком и крутил носом.— Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний кондуит по первое число... Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи! Го-ло-во-ре-зы! Безобедники! Срам!

И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному, промежутками. Нас уже не держали ноги.

АГНЦЫ И КОЗЛИЩИ

Всех гимназистов Ромашов делил на «козлищ» и «агнцев». Так и знакомил нового преподавателя с классом.

— Садись, лоботрясы!.. Это вот, изволите видеть,— агнцы, зубрилки, пятерочники, дурохлопы. А вот тут — единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «камчатка», «сахалин», «хохландия»... Алеференко! Спрячь живот в раиец. Выпятил!

Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным», задним левым углом класса, и «двоечным», передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания.

СКАЗАНИЕ ОБ АФОНСКОМ РЕКРУТЕ

Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз:

Ученику... такому-то... объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть 4 —(4 с минусом). Двадцать часов лишения праздника. Предупреждены родители. Классный наставник такой-то (подпись). Надзиратель (подпись).

Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее

конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Козодаве, Афонском Рекруте и шалманском дворце мадам Коленкоровны. Покойный гимназический сторож Мокеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, ну вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в слободу (Покровск был тогда еще слободой Покровской) новый доктор, про которого говорили, что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал «Ниву» и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».

Покровчане гордились своим культурным звоном. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече справлялись о здоровье звонка:

— Петру Степановичу! Мое вам... Ну, як ваш новенький? Справил мастер?

— Спасибо, справил. О це ж и гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей.

Свахи, расхваливая невесту, хвастали:

— Дом за ей дают флигерем, на парадном звонок ликстрический.

А слободской богач Млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного тембра.

Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за Афонским Рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим «звонковым мастером» в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как

Сапсаево озеро — лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь — лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров — лучший из пожаров.

ШАЛМАН

Афонский Рекрут жил на базаре, у мясных, пахнущих кровью рядов, в шалмане. Так называли свое неуютное, грязное жилье обитатели его. Рядом с шалманом была большая яма. На дне ее вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили петли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд.

В шалмане жил Афонский Рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду-племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ, гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый — книзу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у Рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком — чем хотите.

Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи,— даже тогда ярче их блистала улыбка Афонского Рекрута. Он, словно из-под земли, появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал:

— Поштенный публик! Циляля! Последний новейший фокус-покус черной, белой и полосатой с крапинками магии. Мадамы, мусьи и джентельмены! Атанде трошки! Гляйх их бин деманстре фокус-покус! Америк! Аллюра-шкидла!

Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу, папиросы зажигались из рукавов. Живот пел женским голосом. А рваный ботинок разевал рот и говорил: мерси... В шалмане позабывали про ссору.

Хозяйство в шалмане вела полусумасшедшая Дунька Коленкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из «Нивы», крышки чайных ящиков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландриновские коробки, бусы, бумаж-

ные цветы, карты, обрывки сбруи, сломанные ложки. В городе его любили, как блаженненького, и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят:

«Ось! Понарядился, как Костя Гончар».

Любил заглядывать в шалман фараон Козодав — городовой, охранявший порядок на базаре. Козодав имел все, что полагается иметь образцовому городовому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-«селедку», хриплый раскатистый бас, нос сливой, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Коленкоровны, подуться в картишки и побеседовать «за жизнь» с мудрым коммивояжером Иосифом Пукисом.

А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта с попугаем, который умел тащить билетики «счастья», чахоточный китаец Чи Сун-ча и два друга, два вора — Шебарша и Кривопатря.

ЧЕРТ И «МЛАДЕНЦЫ»

По вечерам в шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на Цап-Царапыча, сыграть в «очко». Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи Сун-ча.

— Какой зилая латыня,— говорил он, вырезая фестоны из разноцветной бумаги,— лас холосо, засем единиса?

Мы приносили в шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретирад и приемов одесского джиу-джитсу.

Но Афонский Рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались: связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из «младенцев», Васька Горбыль, так отлупил Шебаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли «80 000 лье под водой», нашли «Детей капитана

Гранта», чуть сами не потеряли головы с «Всадником без головы». А потом Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание слушал шалман о парижских коммунарах.

Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго.

Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая Биндюгова шайка. Когда в шалман неожиданно заходил Козодав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал:

— Слышь, гимназеры? Раньше как через полчаса не вылазьте. Ваш Цап-Царапыч по Брешке шпыряет. Я тогда скажу, как можно станет.

ВО САДУ ЛИ...

В сентябре в Народном саду поредела листва, побурел конский. Сад стал похож на вытертый воротник старой шубы.

В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку.

Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали «зарываться».

— Эй, сизяк! Ты с нашей улицы девчонок не замай.

Махась отвел гимназистку к фонтану. Сказал:

— Я извиняюсь. Одну секунду. Я в два счета.

Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатилась в одной общей, сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников.

Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление Цап-Царапыча окончательно прекратило побоище.

И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и Народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора.

В тот же день в шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюг и Атлантида.

Атлантида был вне себя от негодования.

— Нет,— волновался он,— это просто чертовщина какая-то! И так носу сунуть никуда не дают, а тут еще это... Плюю я после этого на весь Покровск.

— Знаете, что я вам предложу?— сказал Иосиф.— Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назадом. Нельзя же молчать. Ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов. Тут нельзя, там нельзя... А где можно? Я знаю где?..

— Аллюра-шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы!— перебил его Рекрут.— Нет, тут надо поварить котелком. Иесь!

— Размордовать!.. И никаких!— весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев.

— Нет!— твердо сказал Атлантида.— Этот номер не пройдет, тут треба всему городу накласть... Они все виноваты. И дума и комитет. Черти свиные!.. И чтоб не всыпаться самим. А то как засвистишь из гимназии... Вот тут и мозгуй.

— У нас ребята дружные,— добавил Биндюг,— как насядем гуртом — держись!

Стало тихо. Заговорщики задумались. Капало с крыши.

Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и воскликнул:

— Эврика! Эврика, что значит по-гречески «нашел»! Блестящая идея зародилась в этой голове... Что?

— Да ну, не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!

— Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане?

— Скажешь ты или нет? Тянет, черт тебя не дери...

— Тсс! Прошу соблюдать тишину! Моя идея — идея-фикус! Она имеет для всех нас только хорошие стороны — и ни одной плохой. Так слушайте же вы... В чем исключается моя заключительная. То есть наоборот! В чем заключается моя исключительная идея. Вы берете и делаете так...

И Иоська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим взглядом и сказал торжественным шепотом:

— Звонки...

МАНИФЕСТ

Для проведения «звонкорезной» компании Биндюг назначил восемь отборных ребят из всех классов. Для этого заготовили такие манифесты:

«Ребята! Нам запретили шляться по Народному саду. (Посмотри, не смотрит ли на тебя кто!) Против нас стоят Рыбий Глаз, Дума, Родительский. Выходит, против нас весь город. За это им надо так наложить, чтоб год помнили. Весь Покровск помнил чтоб.

У нас в Покровске все носятся со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя! Мы, Комитет Борьбы и Мести, решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее день звонок со своих дверей. Родители за директора.

В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит Комитет Борьбы и Мести лично. Мы проведем «варфоломеевскую ночь» в смысле звонков! Ребята! Режьте без пощады! Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения.

В каждый класс назначаются от Комитета Борьбы и Мести старосты. Слушайтесь их, господа! Ввиду опасности выкидки даем клички.

1 класс . . . . . . «Маруся»
2 » . . . . . . «Свищ»
3 » . . . . . . «Атлантида»
4 » . . . . . . «Дондер-Шиш»
5 » . . . . . . «Цибуля»
6 » . . . . . . «Сатрап» («Тень отца Хамлета»)
7 » . . . . . . «Мотня» («Я — житель»)
8 » . . . . . . «Царь Иудейский»
Главный . . . . . «Биндюг»[1]

Срезанные звонки сдаются классному старосте. Он передает их через Комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и др. О дне «варфоломеевской ночи» будет дан старостами сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле.

Не надо ломать большой звонок в учительской, а то догадаться можно кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок... Режь звонки!

Один за всех!

[1] Почти все гимназисты имели свои клички. Некоторые имели даже по нескольку. Например, «Мотня» звался еще также «Я — житель». Прозвище это дали ему за то, что, спрягая в латинской письменной работе глагол «инколо» (населять), он спутал его с «инкола» (житель) и всюду, переводя на русский, спрягал: «я житель, ты житель, он житель...»

Все за одного!
Да живет Борьба и Месть!
Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды.

Ком. Б. и М. 1915 г.».

И пошли гулять по гимназии манифесты под шепот подсказки, в толчее перемен, в накуренной вонючей уборной. Двести шестьдесят восемь шинелей висело в раздевалке. Двести шестьдесят шесть подписей собрали манифесты. Не дали манифеста сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде.

Война была объявлена.

«СОРВАННЫЕ ГОЛОСА»

Через пять дней главари собрались поздно вечером в шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах, там, где бывал обычно многоводный «Саводник» и брюхатый цифрами «Киселев», лежали срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и западавшие кнопочки (раз нажмешь — звонит без конца) смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратиков, овалов, розеток, лакированных, ржавых, мореных и крашенных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия.

Весь город записался в очередь к Афонскому Рекруту. Две недели с утра до вечера привинчивал Рекрут новые звонки, ставил «сорванные голоса», как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, Рекрут сказал Биндюгу:

— Крой! Через неделю.

В субботу была грязь. Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя галоши, дорогу и силы, покровчане пришлепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал: новые звонки срезаны!..

— Шо ж таке?— волновались на другой день в церкви на обедие, на углах улиц, на завалинках, у ворот.— Матерь божия! Середь белого дня... грабеж. Мабуть, вони целой шайкой шкодят?..

— Як же!.. Поставила я тесто та и вышла трошки с шабрихой покалякать, с Баландихой. Ну, а у хате Гринька, бильшенький мой, уроки, кажись, учил. Покалякала я трошки,

вертаюсь назад, хочу парадное зачинить... шась! Нема, бачу, звоночка... И не было никого округ...

И не знала бедная кума, что ее-то «бильшенький», курносый пятиклассник Гринька, сам и срезал звонок...

ЗЕМСКИЙ И СЫН

Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей.

Только земский начальник позвал Афонского Рекрута.

— Ставь новый!— сказал земский.— Ставь, подлец! Да крепче! Знаю я вас, чертей афинских... Все ваши шахер-махеры знаю.

Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился.

— Нечего, нечего прикидываться! Знаю. Норовишь, чтоб чуть держался, поставить. Чтоб легче хулиганам этим было. Вам, архаровцам, одна выгода. Они сорвали, а тебе, черномазое жулье, заработок. Ну, на этот раз шалишь! Я городового поставлю. Круглые сутки дежурство.

Рекрут привинтил новый звонок и побежал в шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил:

— Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет.

— Плевал я на всех фараонов!— упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника, по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. (Отсюда и пошло его второе прозвище — Тень отца Хамлета.)

— Послушайте, вы, воинствующий мальчик,— сказал Иосиф Пукис,— что это за апломбированный тон? Как бы вы не сняли вместо звонка вот эту гербовую фуражку. Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всему.

— Верно, Сатрапка, смотри... Если вляпаешься — вот! Приложу...— И Биндюг поднес к носу Сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак.

Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались:

— Дюжий кулак! Поздоровче моего.

— Хороший кулак в наше время лучше неважной головы,— философствовал Иосиф.

— Холеси кулак,— восхитился Чи Сун-ча,— такой кулак палаходя босьман. О! Зюбы ньет!

— А звонок я все-таки срежу!— упрямо буркнул сын земского.

ГЛАВА ПОЧТИ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ВИДЯ НАВЕРХУ НОГИ, А ВНИЗУ ГОЛОВУ, МОЖЕТ КРИКНУТЬ АВТОРУ: «РАМКУ!»

Тьма.

Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дощечкой: «Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов». Около — новенькая кнопочка звонка. Площадка второго этажа. Кусок лестницы. Внизу, под лестницей,— голова с длинными усами и толстым носом. Фуражка с кокардой. Это Козодав. Ему холодно. Он ежится. Он подымает воротник. Он часто моргает. Глаза слипаются. Козодаву хочется спать.

Часы в столовой земского начальника показывают два. На столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено...

По лестнице подымаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку:

— Тьфу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой.

Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут.

— Ну, на этот раз Рекрут постарался!

Внизу голова Козодава. Наверху ноги в резиновых галошах.

Козодав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело взбегает наверх...

— Ага! Попался!— Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит.— Карррауль!.. Пымал!

Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от себя руку полицейского. Это сын земского, Венька Разуданов. Он негодует:

— Ты что, болван, спятил? А? Заставь дурака...

— В... в... виноват... ват-с! Не признал в темноте-с. Сделайте божескую милость, простите. Думал, за звонком кто...

Дверь раскрывается. Земский в женином капоте, с двустволкой в руках вылезает на площадку, и из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги.

— В чем дело?!

Козодав стоит вытянувшись, рука к козырьку. Веня объясняет:

— Этот дурак со сна принял меня, папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал.

Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок,— обрывки проводов и дырочка от гвоздей. Все поворачиваются

к Козодаву. Козодав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками. Земский трясет его за шиворот:

— Вон, мерзавец! Проспал!

Венька разыгрывает обиженного и взволнованного.

— Я так устал, мама. Занимался все время... А тут это...

Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй там, диафрагма — словом, конец главы.

Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода и упорно поблескивает кнопка.

ФАРАОН ВЫЗЫВАЕТ ИОСИФА

Пристав сказал Козодаву:

— Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы! Слышишь? Оскандалился, черт тебя бы не взял, на весь город!.. Поймаешь — пятьдесят рублей награды. Нет — так ты у меня попрыгаешь, бляха номер два ноля!

Фараон с рвением взялся за розыски.

Он шел по базару... Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла, в людской реке базара. И на базаре Козодав встретил Костю Гончара — шалманского блаженного, пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе: реклама галош «Треугольник» и... большая красная розетка с кнопкой от звонка. Увидев звонок, фараон кинулся к Косте. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые висюльки и все, что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все... Рассказал, как украл звонок из-под нар Рекрута.

— Рекрут сховал, а я пошукал трошки та и взял... Там их сколько много!.. Раз, та еще двадцать раз, та еще...

Козодав пообещал еще тысячу разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки «Манифеста Борьбы и Мести». Главари были в руках. Чтоб словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая.

— А-а, господин лейб-городовой,— приветствовал его Пукис,— вы до меня? Чем могу быть нужным?

Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок.

— Ох, Иосиф, як, бачу я, и хитрый же ты! А ну-ну, расскажи, як с Рекрутом звоночек срезали. Я никому ни-ни. Так, послухать охота. Ну, брось корежиться.

— Я ни капли вас не понимаю.— Иосиф сделал удивлен-

по-спокойное лицо.— Хотя я и Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось...

Козодав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал:

— И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин лейб-городовой, вы колоссающий оберподлец!

Козодав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился. Вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Козодав вырезал из манифеста Сатрапа, сына земского начальника. «Земский за эту бумажку пятишку даст,— решил городовой,— а не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда в гимназию, к директору...

ШАГИ В КОРИДОРЕ

Скучный ветер студил лужи, как чай на блюдечке. Звенели телефонные провода. В десять телефонная барышня соединила звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор, зеленый, как обои его кабинета, и медлительно-безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в кресло, снял трубку и поднес ее к уху.

— Да,— сказал он,— слушаю.

В гимназии шли уроки. И через полчаса во всех классах услышали: по коридору прошли двое. У этих двоих были тяжелые незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжко и кряжисто, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли головы от тетрадей, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.

РАЗВЯЗКА

В третьем шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрипели перья. Биндюг сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка-Атлантида, у которого сердце тоже екнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку:

«Свинья не выдаст, директор не съест».

Но свинья выдала... Дверь класса раскрылась. Класс грох-

нул партами. Вошел мерзостно-ликующий Цап-Царапыч, играя брелоком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал кондуит. Цап-Царапыч вызвал:

— Гавря! К директору!

Атлантида растерянно вырос над партой. Цап-Царапыч заторопил:

— Ну, живо! Поворачивайся. Книги возьми с собой...

Класс взволнованно загудел. С книгами!.. Значит, совсем. Не вернется...

Биндюг ждал, словно под удар наклонив голову, но Цап-Царапыч молчал. Козодав, убоявшись Биндюговых кулаков, вырезал и его из списка.

Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул Биндюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал. Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков...

Биндюг расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходившей у Биндюга. Степка и в последнее мгновение не забыл друга, помог. С минуту Биндюг сидел неподвижно, опустив голову и уткнувшись глазами в одну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, вобрал воздуха во всю свою широкую, как рыдван, грудь, избычился и решительно сказал:

— Можно выйти?

— До конца урока осталось десять минут,— сказал учитель.

— Можно выйти?— упрямо выдохнул Биндюг и шагнул в проход.

— Идите, если вам так приспичило.

Замерший класс увидел, что Биндюг собрал книги, торопясь, попихал их в ранец и грузно пошел с ним к дверям. Небывалая тишина наступила в третьем классе.

Не оглядываясь, Биндюг вышел в коридор. В пустом коридоре Биндюг почувствовал себя маленьким и обреченным. И он услышал, как за дверью в страшном немении покинутого им класса полыхнул, взвился над партами, чернильницами, кафедрой тонкий хохот и перешел в захлебывающийся визг. Это на первой парте, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный...

Биндюг расправил плечи и зашагал в кабинет директора.

Козодав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов.

— Так точно! Это вот — Свищ. А этот-с — Атлантида-с. Ихняя кличка такая-с.

Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики:

— Так-с, так-с... Ай да конспирация!.. Так-с, молодые люди.

Семеро стояли перед столом. Семеро, так как сына земского начальника не было. Копоть тоски и отчаяния оседала на лица.

— Так. Отлично,— сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула,— благодарю вас... Ну-с, скверные мальчишки! Что вы можете сказать? Стыд! Срам! Позор! Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки. Мародеры! Вы все будете исключены. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родителей. Мне их очень жалко. Иметь таких детей — большое горе для родительского сердца. Дрянь.

Семеро вскинули глаза и тяжело вздохнули. Родители... Да... Сейчас дома будут слезы матери. Ругань. Отодвинутый с грохотом стул отца. Может быть, оплеуха. Стынущий обед... «Водовозом будешь, скотина!..» Пустые дни впереди.

И Царь Иудейский грубо сказал:

— Не будем касаться родителей, Ювенал Богданыч! И так тошно.

— Молчать! Вы что, волчий билет захотели, скверный мальчишка?

В это время вошел Биндюг. Он уперся в край стола. Стол заскрипел. Биндюг, тяжело двигая челюстью, разжевал:

— Я тоже, Ювенал Богданыч... Я... их главный.

— Ну что ж. Можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен.

В раздевалке стало меньше на восемь шинелей.

Восемь человек побрели по размякшей площади, увязая в грязи, согнувшись под тяжестью ранцев и беды. В последний раз они оглянулись на гимназию, и один из них — это был Биндюг, в классе из окна видели — злобно погрозил кулаком. И в классах всем, кто видел их, захотелось кричать, трахнуть кулаком по парте, опрокинуть кафедру, догнать ушедших... Но в классах сидели гимназисты. А гимназистам запрещалось шуметь и быть товарищами, пока им не разрешал этого звонок, отмеривающий порции свободы.

Перья скрипели и кляксили.

А к середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Мокеич, сторож, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкрадчиво:

— Господин обер-швейцар! Мне бы так треба видеть господина директора. Дело идет о жизни и наоборот.

Директор принял Иосифа в учительской. Директор торопился:

— Ну-с? Чем могу?.. Э-э... Прошу не задерживать.

— Господин высший директор,— начал Иосиф,— я — старый блуждающий еврей, и я вижу на вашем лице семейное счастье. Бьюсь об закладку, ваши дети не будут ходить босы и наглы...

— Короче!— сухо перебил директор.— У меня нет детей. И кроме того, нет времени...

— Одно маленькое мгновение, господин директор. Вы сегодня исключили восемь ребят. За что вы их исключили, я вас спрашиваю? А я имею право спрашивать? Нет! И еще двадцать раз нет. Но у меня мягкое сердце. А когда мягкое сердце, так нельзя молчать. Мне очень жалко за мальчиков. А еще больше мне жалко за родителей, которые нянькали и росли этих мальчиков. Господин директор, у вас нет детей. Дай вам бог, чтобы они у вас были. Вы не знаете, как это — ой-ой-ой — больно, когда приходит ваш мальчик и...

— Будет!— Директор встал.— Бесполезный разговор. Выход на улицу вон в ту дверь.

— Одну маленькую минуточку!— закричал Иосиф, хватая директора за рукав.— А вы знаете, что эти звонки, чтоб они пропали, резали все ваши мальчики? Сколько учится их у вас всего?

— Двести семьдесят два учились до сего дня,— машинально ответил директор.

— Так из них резало двести шестьдесят самое меньшее. Что вы на это скажете? А что, если я скажу, что ваш лучший ученик, сын господина высшего земского начальника, дай бог ему здоровья, резал, и даже лучше многих? Полиция вам показала кусочек.

И Иосиф вынул полный манифест и показал директору. Директор побледнел. Подписи всех восьми классов стояли на манифесте. Директор брезгливо протянул Пукису руку:

— Садитесь... пожалуйста...

Тогда Иосиф изложил свой план. Мальчиков принимают в гимназию обратно. Полиция делает обыск в шалмане и находит звонки. Афонский Рекрут пока скроется. С ним все уже договорено. Все будут думать, что звонки резали бродя-

ги из шалмана, гимназисты будут оправданы. Скандал будет потушен. Если же директор не примет обратно мальчиков, весь город, вся губерния, весь учебный округ узнает завтра же и о порядках в Покровской гимназии, и о том, как ведут себя дети земских иачальников...

— Хорошо,— выдавил директор,— оии будут приняты обратио. Мы им запишем только в коидуит.

И он вынул бумажник.

— Сколько вам следует за это,— спросил директор,— за это... и еще за то, чтобы вы молчали?

Иосиф вскочил. Иосиф перегнулся через стол. Иосиф сказал:

— Господин директор! Вам не придется платить мне, господин директор... Но, клянусь памятью моей матери, да будет ей земля пухом и прахом, что будет такое время, когда вам заплатят и я, и мы, и те восемь, которые пошли, как выгнатые собаки... и заплатят с хорошими процентами!

Так кончается сказание об Афонском Рекруте.

«ЖУРАВЛИ» И «ЛЕБЕДИ»

После скандала со звоиками гимназия временно как будто иемного притихла. Кровопролитные мордобития, кражи и дебоши стали пореже. Зато режим в гимназии сделался еще суровее.

И Цап-Царапыч то и дело потрясал гипсовые основы античного искусства, отпирая шкаф с кондуитным журналом и беспокоя преклонных лет Венеру.

Строжайше были запрещены прогулки по платформе и Народному саду. Серая, тоскливая нудь сочилась изо дня в день, с одной странички учебного дневника на другую. Кондуит свирепствовал. На уроках у стен выстраивались рядами наказаиные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых едииц. Лебедями плыли двойки.

ТРИ «Е» И «ТАРАКАНИЙ УС»

Особенно рьяно разводил «журавлей» и «лебедей» учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы «Тараканий Ус», или, по-латыни, «Таракаииус».

Была у него и другая весьма распространенная в нашем классе кличка — «Длинношеее».

Был Тараканиус, худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по-верблюжьи раскачивалась она над

крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса:

— Вениамин Витальевич! Хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста: ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается?

— Есть,— ничего не подозревая, ответил Тараканиус,— есть! Например, вот: «длинношеее».

Класс грохнул. Гавря, торжествуя, сел. С того дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы «Е». Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. Назавтра они появлялись снова.

Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках. У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроке ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка.

— Тэк-с,— говорил он,— урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с! Дай-ка тетрадочку. Посмотрим, что у тебя там делается... Что?! Забыл дома?! И смел выйти отвечать мне урок без нее! Садись. Единица.

И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица!

В нашем классе были два ученика — Алексеенко и Алеференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал:

— Але... ференко!

Алеференко, сидевший позади Алексеенко, пошел к кафедре. Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил:

— Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич... со словами...

И замер от ужаса: к кафедре подходил Алеференко.

«Обознался!.. Ой, дурак!..»

Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила.

— Ну, собственно, я не тебя, а Алеференко вызывал. Но раз уж сам сознаешься, получай по заслугам.

И поставил единицу.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГВАРДИЯ

Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе.

Идет!

Все за партами разом вскочили.

Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор. Худое, совсем молодое бледное лицо. Громадные голу-

бые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково набок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал.

Класс на ногах.

Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафедру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик:

— Кто!.. там!! смеет!!! садиться?!! Я еще не сказал... «садитесь»... Встаньте и стойте!!! И вы там!!! И вы!!! И вы! Негодяи! Остальные — сесть. Руки на парту. Обе. Где рука? Встаньте и стойте! А вы — к стенке!!! Прямо! Ну... Тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Молчать!

Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет — подарок какой-то легендарной помещицы.

Четырнадцать человек стоят. Урок идет томительно долго. Ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка.

Стоящие нерешительно покашливают.

— Простудились?— спрашивает заботливо историк.— Дежурный, закройте все форточки: на них дует.

Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раза два на часы, историк вдруг говорит:

— Ну, гвардия, садитесь...

Ровно через минуту всегда звонит звонок.

СРЕДИ БЛУЖДАЮЩИХ ПАРТ

Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина. Но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной: Матрона Мартыновна. Мы не спорили.

До третьего класса она звала нас «малявками», от третьего до шестого — «голубчиками», дальше — «господами».

Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а басок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило.

— Не подходите ближе!— вопила она.— От вас, пардон, несет.

— Пирог с пасленом ел,— учтиво объяснял малявка,— вот и несет от отрыжки.

— Ах, мон дье! При чем тут паслен? Вы же насквозь прокурены...

— Что вы, Матре... тьфу! Матрона Мартыновна! Я же некурящий. И потом... пожалуйста... пы-ыжкэтэ ла класс?[1]

От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде Биндюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами — в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили:

— Же-ву-зем... же-ву-зем... же-ву-зем...

Матрена Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сторон съехавшимися партами. А Биндюг вставал и трогательно, галантно басил:

— Вы уж нас пардон, Матрона Мартыновна! Не серчайте на своих малявок... Гы... Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим...

Матрена таяла, зачеркивала.

Класс отбивал торжественную дробь на партах. «Камчатка» играла отбой. Парты отступали.

Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей «франзели», и мы вместо «же-ву-зем» стали говорить «Новоузенск». Же-ву-зем и Новоузенск — очень похоже. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города.

Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так однажды поехал по коридору большой шкаф, из учительской уехали галоши Цап-Царапыча. Когда же раз перед уроком, встав на дыбы, помчалась кафедра, под которой сидел Биндюг с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.

[1] Искаженное «Пюи ж китэ ля класс?», что по-французски значит: «Могу ли я покинуть класс?»

ЦАРСКИЙ ДЕНЬ

С утра в окно виден трепыхающийся, слосенный белым, синим и красным флаг.

На календаре — красные буквы:

«Тезоименитство его величества...»

У церкви Петра и Павла — колокол с трещиной:

«Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ан-дрон!..

Ти-ли-лик-нем помаленьку...

Тилиликнем помаленьку...»

К одиннадцати — в гимназию. Молебен.

В коридоре парами стоят классы. Жесткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона божьего бьет гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда», в нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор. Суетится маленький волосатый регент.

Два часа навытяжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно...

— Многая лета! Мно-огая ле-ета!..

— Николай Ильич... Боженов рвать хочет...

— Тс-с-с... Тихо! Я ему вырву!..

— Многая ле-е-ета-а...

— Николай Ильич.. он, ей-богу, не сдержит... Он уже тошнит...

— Тс-с-с!

Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам. Второй час на исходе.

— Бо-о-же, царя храни!

Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет:

— Ура!

— Уррра-а-а-а-а-а!!!!

Коридор сотрясается. Директор еще раз:

— Ура!

— Уррраaaaa!!!!!

Еще раз... Эх, раз, еще раз!..

— Ура-а!

— А-а-а-а-а... ыак...

— Николай Ильич, Боженов уже блюет на пол...

— ...Боже, царя храни...

Боженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот.

«НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК»

Уже давно Аннушка сообщила нам, что «наука умеет много гитик». Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много... этого самого... гитик... Что такое «гитик», никто не знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии «гитас» следовало сразу «Гито»— убийца американского президента Гарфильда. А гитика между ними не было.

Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и неперевариmая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту.

— От кого ты слыхал это слово?— спросил в затруднении самолюбивый латинист.

И второгодники затихли, предвкушая.

— От нашей кухарки,— ответил я при шумном ликовании класса.

— Иди в угол и стой до звонка,— перебил меня вспыхнувший латинист.— В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок... Болван! Заткни фонтан!

И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов.

В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый «Некто», этот самый Некто, купивший $25^3/_4$ аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение.

МЕСТО НА ГЛОБУСЕ

Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы

подыскали ей местечко в Южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето, а ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет.

Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане, на восток от Австралии, поглотив часть островов Океании. Северные границы швамбранского материка, доходя до экватора, цвели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктики.

Потом я вытряхнул на швамбранскую почву содержание всех прочитанных книг. Оська, силясь не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал:

— Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов... а сто диких балканов как накинутся на него и ну убивать! А тут еще из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Сара-Бернар спас — как залает...

И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались курага и Никарагуа, Балканы и каннибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак сенбернар... А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕГОДЯЕВ

Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. Природе, оказалось, свойственны противоречия, шероховатость, извилистость. Эта корявость мира произошла от вечной борьбы, царящей в природе. Сложные очертания материков также являли след этой борьбы. Море вгрызалось в землю. Суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря.

Необходимо было пересмотреть границы нашей Швамбрании. Так появилась новая карта.

Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трюме истории и двигала ее. Без нее даже наша Швамбрания оказывалась скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не

могли познакомиться с великой, всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это — войны, перевороты и т. д.— просто борьба хорошего с плохим. Вот и всё. И, чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в Швамбрании нескольких негодяев.

Самым главным негодяем Швамбрании был кровожадный граф Уродонал Шателена.

В то время во всех журналах рекламировался «Уродонал Шателена», модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях уродонала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с платяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа.

ВЕРХНИЙ ЭТАЖ МИРА

Крыши домов хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швамбранами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь квартал. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечника. Близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против облачного течения. На мачте насвистывал вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор тени, когтистые, как якоря.

Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппыч с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неумолим.

Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающим по их крышам, кричали: «Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать!»— хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле! Но это проклятое «докторовы дети» вечно преследовало нас и обязывало к благовоспитанности.

Однажды Филиппыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел спрыгнуть, спустили с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантиро-

вал, со своей стороны, «проборцию и ушедрание»... Но тут я заметил у соседнего брандмауэра лестницу. Я показал Филиппычу язык и спасся на третий двор.

ЛАПТА В СИРЕНИ

Дворик, куда я попал, был весь в деревцах. Деревья взбили лиловую пену сирени и маялись ее изобилием. Садик цвел тучно и щедро.

За своей спиной я услышал легкий топот. Из садика выбежала веселая девочка с длинной золотой косой, со скакалкой в руках. Она принялась внимательно разглядывать меня. Я стал задом отходить к калитке.

— Мальчик, отчего вы торопитесь?— спросила девочка.

— От дворника,— сказал я.

У девочки были черные прыгающие меткие глаза, похожие на литые мячи, которыми мы играли в лапту. Я чувствовал, что мне не «отпастись». Но бежать было нельзя. Та же лапта учила: один на один — не нарываться.

— Вы дворников боитесь?— спросила она.

— Неохота связываться,— сказал я басом,— а так я чихал на них левой ноздрей через правое плечо.

И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением.

— Как это — через плечо?— спросила она.

Я показал. Немного помолчали. Потом девочка спросила:

— А вы в каком классе?

— В первом,— сказал я.

— И я в первом,— обрадовалась девочка.— А у вас классный господин строгий?

— У нас вовсе наставник, а не господин.

— А у нас дама,— сказала девочка.— Злющая — ужас!

Опять немного помолчали.

— А у нас,— сказала девочка,— одна ученица умеет ушами двигать. Ей завидуют все.

— Это что!— сказал я.— А вот в нашем классе есть один — до потолка плюет... Эх и здоровый! Одной левой всех борет. А кулаком может прямо парту сломать... только ему не позволяют. А то он, честное слово, сломал бы.

Опять молчание. На соседнем дворе захлюпала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небо. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задрынчал.

— А у меня пряжка никогда не пожелтеет,— сказал я неожиданно,— потому что никелированная. Можете, пожалуйста, потрогать...

И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропала. Девочка прочла.

— А меня Тая зовут, по-настоящему — Таисия Опилова,— сказала она.— А вас Леня, да?

— Леля,— ответил я.— Разрешите... очень приятно познакомиться...

— Леля? Это женское имя!— насмешливо протянула Тая.

— Если б женского рода, то с мягким знаком было бы,— убежденно заявил я.

Так состоялось знакомство.

ПЕРВАЯ ШВАМБРАНКА

Теперь я, вольный сын Швамбрании, каждый день спускался с крыши в сиреневую долину, и Тае Опиловой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девчонку. Действительно, до сих пор в Швамбрании девочки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавиц похищают и спасают, и в Швамбрании теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя: герцогиня Каскара Саграда, дочь герцога Каскада Барбе. Даже в журнале «Нива», с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит «легко и нежно». Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвящать Каскару, то есть Таю, в дела Швамбрании. Она сначала ничего не понимала, но потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она обещала строго хранить тайну.

Окончательно я покорил Таю, когда, нацепив бумажные эполеты, заявил, что иду на войну с Пилигвинией и привезу ей трофей.

На другой день я вернулся из пилигвинской кампании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли два сливочных пирожных. Ей и мне. От моего пирожного уголок отъел Оська.

Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с Таей гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался.

— А!— воскликнул он, увидя меня.— Это и есть ваш швамброман?

И я понял, что Тая все рассказала ему...

— Послушайте,— развязно продолжал кадет,— вы, штатский юноша... Вам не стыдно называть барышню такими неприличными названиями?!!! Вы знаете, что такое Каскара Саграда?.. Это пилюли от запора, извините за выражение. Эх вы, шпак несчастный!.. Сразу видно — докторский сынок...

Это напоминание взорвало меня.

— Кадет, на палочку надет!— крикнул я и полез на крышу.

Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я съел сам.

Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал вахтенный скворец. Одинокий и гордый, я плыл в Швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Закат поднял красные весла, и во двор упали тени, когтистые, как якоря.

— К черту!— сказал я.

Но это относилось не к Швамбрании.

Дух времени

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В доме идет бой. Брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова: Швамбрания — в папином кабинете, Пилигвиния — в столовой. Гостиная отведена под «войну». В темной прихожей помещается «плен».

Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослью фикусов и рододендронов. Братишка Ося окопался за пилигвинским порогом столовой. Он кричит:

— Бум! Пу!.. Пу!.. Леля!.. Я же тебя вижу, уже два раза убил... А ты все ползешь. Давай сделаем «чур, не игры»!

— Не «чур, не игры», а перемирие! — сердито поправил я. — И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил навылет.

В прихожей, то бишь в «плену», томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной и по очереди считается то швамбранской, то пилигвинской сестрой милосердия.

— Меня будут скоро свободить с плену? — робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потемках.

— Потерпишь! — отвечаю я неумолимо. — Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.

Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется все это звучно и празднично: «Театр военных действий».

На парадных картинках в «Ниве» франтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные папильотки эполет, и на мундирах дышат созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг.

Выпустив чуб из-под сбитой набекрень фуражки, он расправляется с разъездом, с эскадроном, с целой армией немцев... На гимназических молебнах провозглашают многая лета христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем по улицам флажки союзников. В кружках, в тех самых, что остались от «белой ромашки», бренчат дарственные медяки. Мы с гордостью козыряем стройным офицерам.

Мир полон войны. «Ах, громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...» Воззвания, манифесты... «На подлинном собственной рукой его императорского величества начертано: «Николай»... Война, большая, красивая, торжественная, занимает наши мысли, разговоры, сны и игры.

Мы играем только в войну.

...Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена: ее ждет в кухне мать.

Объявляется «чур, не игры», то есть перемирие. Мы бежим в кухню. Мать Клавдии, соседская кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом, сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо.

— Клавдюшка,— говорит она, растерянно теребя конверт,— от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть. Как он там жив... Господи...

Я вижу на конверте священный штамп «Из действующей армии». Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга скопилось в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны!.. «Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары!», «На подлинном собственной рукой его величества...»

И я читаю вслух радостным голосом:

— «...и еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я будучи сильно раненный в бою, то мне ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет...»

Потрясенный, я останавливаюсь... Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу. Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю:

— Он, наверно, получит орден... серебряный... Будет георгиевский кавалер...

Кажется, я сморозил основательную глупость?!

ВИД НА ВОЙНУ ИЗ ОКНА

В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч болен. Его временно замещает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самлыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами Гнедой Алексёв.

На площади перед гимназией происходит учение — строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, путая алгебраические формулы, влетают песни и команда:

— «Ах, цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лисабон!..»

— Равняйсь! Первый, второй... рассчитайсь!

— «Раскудря-кудря-кудря-ку... раскудрявая моя!»

— Ать-два! Ать-два!.. Левой!.. Шаг равняй...

— «Дружно, ребята, в поход собирайся!..»

— Как стоишь, сатана? Равняйсь! Стой веселей!..

— Здра-жла-ваш-дит-ство!..

— Вперед коли, назад коли, вперед прикладом бей! Бежи ще раз!.. Арш!..

— Ыра-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

Из широко разверстых ртов, из натруженных глоток лезет с хрипом, со слюной надсадное «ура». Штыки уходят в чучело. Соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева.

— Кто это там в окно загляделся? Мартыненко, ну-ка, повторите, что я сейчас сказал.

Огромный Мартыненко, по прозвищу Биндюг, отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает.

— Ну, что я сейчас объяснил?— пристает Гнедой Алексёв.— Не слышал... в окно любовался... Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?

— Он... это...— бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает:— Он равняется направо... Первый, второй, рассчитайся... Плюс ряды сдвоенные...

Класс хохочет.

— Я вам ставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!

— Слушаюсь!— рапортует Мартыненко и по-военному застывает у стенки.

Классу совсем весело. Перья поют.

— Мартыненко, убирайтесь вон из класса!— приказывает педагог.

Мартыненко командует сам себе:

— К церемониальному... равнение на кафедру... По коридору... арш!

— Это что за шалопайство!— вскакивает преподаватель.— Я вас запишу в журнал! Будете сидеть после урока!

— Чубарики-чубчики...— доносится в форточку.— Как стоишь, черт? Три часа под ружье... Чубарики-чубчик...

ПЕРВОЕ ОРУДИЕ, ЧХИ!

Бац!!! За доской выстрелила печка... Трррах!!! Та-та... Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель, бледнея, вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп!!! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немым хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но за партами ни души. Класс безлюден. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками.

— Дрянь!— кричит в отчаянии учитель.— Всех запишу!!!

И он осторожно, на цыпочках, ступает к кафедре. Подошвы его дымятся. Он достает с кафедры табакерку — надежное утешение в тяжелые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порох и молотый перец.

Гнедой Алексёв втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезающими на лоб глазами. Ужасное, раздражающее ап-чхи сотрясает его.

Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота.

Мартыненко, подняв руку, командует:

— Второе оружие, пли!

— Гага-аап-чхи!!!— рявкает несчастный Самлыков.

— Третье орудие...

— Чжщхи!.. Ох!

Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекли его.

— Что здесь происходит?— холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов.

— Они... Ох! Ао!..— надрывается Гнедой Алексёв.— Чжихи!.. Ох!.. Чхищхи!..

Тогда дежурный решается объяснить директору:

— Ювенал Богданыч, они все время икчут и чихают...

— Тебя не спрашивают!— говорит, начиная догадываться,

директор.— Скверные мальчишки!.. Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!

Чихая в директорскую спину, Алексёв плетется за Стомолицким.

Больше в класс он уже не возвращается.

Мы избавились от Гнедого Алексёва.

КЛАССНЫЙ КОМАНДИР И РОТНЫЙ НАСТАВНИК

— Время пахнет порохом!— говорят взрослые и сокрушенно качают головами.

Запах пороха пропитывает гимназию. Классы огнеопасны. Каждая парта — пороховой склад, арсенал и цейхгауз. Кондуит ежедневно регистрирует:

У ученика IV класса Татьянова Виталия, пытавшегося бежать «на войну», отобран г. надзирателем, при задержании на пристани, револьвер системы Смита и Вессона с патронами и краденый чайник, принадлежавший старьевщику и им опознанный. Вызваны родители.

У ученика II класса Щербинина Николая обнаружены в парте: один погон офицерский, темляк от шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъяты из ранца: обломок штыка, револьвер «пугач», шпора, кисет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната (разряженная). Оставлен после уроков дважды по три часа.

Ученик V класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки, выбив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели.

У гимназистов гремящая походка: карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище, за кладбищем. Просторный ветер играет на кладбище в «нолики и крестики». Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. На небольшом плоскогорье скучает военный городок. В его дощатых бараках размещен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог и иные несказуемые ароматы армейского тыла.

Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии, и рядовыми 214-го пехотного полка царит деловая дружба. Через колючие проволочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских яств, мы получаем желанные предметы армейского обихода: пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один

замаранный смолой погон прапорщика каптенармус Сидор Долбанов получил от меня два бутерброда с ветчиной, кусок шоколада «Гала-Петер» и пять отцовских папирос «Триумф».

— И то продешевил,— сказал при этом Сидор Долбанов.— Так только, по знакомству, значит. Как вы, гимназеры, по моему размышлению, тоже на манер служивые, все одно, как наш брат солдат... и форма и ученье. Верно я говорю?

Сидор Долбанов любит говорить о просвещении.

— Только, брат, военная наука,— философствует он, уписывая нашу колбасу,— военная наука вникания требует, а с ней ваше ученье и не сравнять. Да. Это что там арихметика, алгебра и подобная словесность... А ты вот скажи, если ты образованный: какое звание у командира полка — ваше высокородие аль ваше высокоблагородие?

— Мы этого еще не проходили,— смущенно оправдываюсь я.

— То-то... А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя?

— Строгий,— отвечаю я.— Чуть что — к стенке, в кондуит и без обеда.

— Ишь истукамен!— посочувствовал Сидор Долбанов.— Выходит, дьявол, вроде нашего ротного...

— А у вас есть ротный наставник?— спрашиваю я.

— Не наставник, а командир, съешь его раки!— важно поправляет Долбанов.— Ротный комадир, его благородие, сатана треклятая, поручик Самлыков Геннадий Алексеич.

— Гнедой Алексёв!— изумленно выпаливаю я.

БРАТИКИ-СОЛДАТИКИ

Старшие гимназистки гуляли по Брешке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли. Гимназистки кокетливо щипали корпию. Мы завидовали.

Однажды во время урока в класс вошел инспектор. Борода его выглядела умильно и почтительно.

— В город прибыли первые раненые из действующей армии,— сказал инспектор.— Мы пойдем встречать их... Эй, «камчатка», я кому говорю? Тютин! Ты у меня, дубина стоеросовая, останешься на часок, шалопай!.. Так вот, говорю, выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые... это... того... пострадали за государя и веру православную... Словом, живо в пары! Только чтоб на улице держать себя как подобает. Слышите? А не то я вас... баши-

бузуки, галашня, вертихвосты! Архаровцы! Шальная команда! Смотрите у меня!

Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. Каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь.

Раненых поместили в новеньком лазарете в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежевыбритые, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бонбоньерками, коробками конфет, сконфуженно слушали громогласные речи «отцов города». Некоторые держали украшенные бантиками костыли.

Наш четвероклассник Швецов продекламировал стихотворение «Бельгийские дети». За его спиной выстроились шесть второклассников и гимнастическими движениями сопровождали чтение. Гимназистка Разуданова, дочь земского начальника, сыграла на рояле «Жаворонка» Глинки. Раненые неловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки — поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий белесый солдатик и робко прокашлялся.

— Просим! Просим!— закричали все, аплодируя.

Когда все стихло, раненый сказал:

— Дозвольте сказать... Господин доктор, и уважаемые господа дамочки, и сестрицы, и подобные... Мы, значит, через все это... ваши милости... очень к вам благодарны. Только бы... нам, виноват, извините, маленько насчет, чтобы, значит, это... поспать требуется, в дороге-то три дня не спамши...

ДУХ ВРЕМЕНИ

В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало...

Потом взяли Перемышль. Лабазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам, неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханием и перегаром денатурата. Словно торжество подогревалось на спиртовке.

Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою

бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь.

Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «ура». И было что-то гнусное в этой горланящей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей... Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ кучи малы, когда тебя, беспомощного, плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик...

Однако все обошлось. Только ночью отца — доктора — вызывали спасать какого-то опившегося денатуратом «патриота».

Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение. Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал... отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут, было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками. Они изображали хоругвь. А Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный им из «Нивы» портрет императора Николая Второго, самодержца всероссийского.

Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию. Но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился.

— Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени, — глубокомысленно твердили взрослые.

Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас...

НАС ОБУЧАЮТ ВОЙНЕ

Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтобы показать примерный бой. Кругом было холодно и бело.

Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при вы-

стрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».

Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыхание на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.

Полковник сказал:

— Атака.

Фигурки побежали, деловито пронзнося «ура».

— Всё,— сказал полковник.

— Кто же победил?— заинтересовалась публика, ничего не поняв.

Полковник подумал и сказал:

— Те победили.

Потом полковник предупредил, глядя вверх:

— А сейчас ударит бомбомет.

Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.

Бой кончился.

Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик. Поравнявшись с нами, солдаты с заученным молодечеством запели непристойную песню, лихо посвистывая и напрягая остуженные глотки.

Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.

Забеспокоилась толстая начальница.

— Подпоручик!— крикнул полковник.— Это что за балаган? Отставить!

Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца одного из наших гимназистов-бедняков.

— Вот так вояка!— кричали гимназисты.— У нас в третьем классе его сын учится. Вон стоит.

Все захохотали. Солдатик подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Третьеклассник, его сынишка, стоял опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу.

Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя.

— Очень стреляли?— спросил Оська.

— Ты знаешь,— сказал я,— война — это, оказывается, ни капельки не красиво.

Кончался 1916 год; шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что «Новый год — это совершенно недетский праздник, и надо лечь спать в десять часов, как всегда...»

Оська, прогудев отходный, отбыл в ночную Швамбранию.

А ко мне пришел в гости мой товарищ — одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу.

Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной.

— Идем погуляем,— предложил Гришка.

Но, как известно, выходить на улицу после семи часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту — рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов.

Я сразу представил себе, как он вынырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами, и закричит:

«Тихо! Фамилия? Стоять столбом!.. Балда!»

Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда в пустом классе. А быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап-Царапыч был щедр по этой части.

— Ничего,— сказал Гришка Федоров,— он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит небось уписывает.

Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу.

Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении.

У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В лакированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знамени-

тый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цвангигу.

«ТПРУ» ПО-НЕМЕЦКИ?..

И тут мне в голову пришла отчаянная затея.

— Гришка,— сказал я, сам робея от собственной дерзости,— Гришка, давай прокатимся. Цвангиг не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда и кругом церкви и опять сюда. А я умею править вожжами.

Гришку не надо было долго уговаривать. И через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость.

Я взял в руки плотные, тяжелые вожжи, по-извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом:

— Но! Двигай!.. Поехали!..

Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей.

— Он, наверно, только по-немецки знает,— сказал Гришка и громко закричал:— Эй, фортнаус!

Но и это не подействовало на Гамбита. Только я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и, если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прянул вперед и пошел. Он не понес — он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас!

— Знаешь, Гриша,— предложил я,— давай заедем за Степкой Гаврей, он тут, за углом, живет, мы успеем.

Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка.

— Стой, приехали. Тпру!

Но Гамбит не остановился. Как я ни натягивал вожжи, иноходец мчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади.

— Знаешь что, Гришка?— сказал я.— Лучше не надо Степки, он, знаешь, дразниться будет только... Лучше Лабанду захватим, он вон где живет.

Я уже заранее намотал на руку вожжи и что есть силы уперся в передок саней.

Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога.

— Гришка, а как он вообще останавливается?..

Тут, кажется, Гришка, понял, в чем дело.

— Тпру, стой!— что есть силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки.

Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам.

— Не понимает, наверно, по-нашему!— с ужасом сказал Гришка.— А кто знает, как будет «тпру» по-немецки! Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет.

— Не надо ехать больше! Тпру! Стой, довольно!— кричали мы с Гришкой.

Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.

ЛОШАДИНОЕ СЛОВО

Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.

— Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!

Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем погонятельные слова вроде: «Эй, шевелись... Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, расспошел!..»

Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык.

— Тратрр, тратрр... чок, чок!— вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов.

Но Гамбит не понимал и по-верблюжьи.

— Цоб-цобе, цоб-цобе!— хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим волам.

Не помогло и «цоб-цобе»...

На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий... Двенадцать раз ударил колокол.

Значит, мы уже въехали в новый год. Что же нам, веки вечные так ездить?! Когда же остановится этот неутомимый иноходец?!

Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой... Неужели же мы навеки обречены мчаться вот так?..

Мне стало совсем не по себе.

И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели Цап-Царапыча. Гамбит мчался прямо на него.

И я со страху выронил вожжи.

— Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, балда!— визгливо прокричал Цап-Царапыч.

И произошло чудо.

Гамбит стал как вкопанный.

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу.

— Добрый вечер, Цап... Цезарь Карпыч!— хором произнесли мы.— С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем!

Цап-Царапыч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана, и утвердил стекла на носу.

— А-а-а!— обрадовался он.— Два друга. Узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих.— Цап-Царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку.— Обоих запишем, и того и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе, без обеда, по четыре часа: один четыре часа и другой — четыре. С Новым годом, дети, с новым счастьем!

Тут взгляд Цап-Царапыча упал на наш выезд.

— Позвольте, дети,— протянул надзиратель,— а вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках? Что?

Мы оба наперебой стали уверять надзирателя, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко.

— Прекрасно,— проговорил Цап-Царапыч.— Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним. Нуте-с...

Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком.

Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько Гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них,

кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель.

А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстуке, сбитом набок, хозяин Гамбита, господин Карл Цванциг, крича страшным голосом:

— Карауль!.. Конокради!.. Затержать!..

И где-то уже заливался полицейский свисток.

Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать... Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии.

Так начался для нас новый год — год 1917.

Февральский кондуит

О КРУГЛОЙ ЗЕМЛЕ, О БОЛЬШИХ НОВОСТЯХ И МАЛЕНЬКОМ МОРЕ

Папа и мама ушли в гости. Ахнуло парадное, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостиной свет — слышно, как щелкнул выключатель,— и уходит в кухню. Немножко жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы — красными, согласные — синими. Очень красиво получается.

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля! А почему знают, что Земля круглая?

Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно. Значит, Земля круглая.

Но Ося не удовлетворен.

— А может быть, он утонул, корабль?— говорит он.— А, Леля? А?

— Не приставай, пожалуйста! Видишь, я уроки учу.

Раскраска местоимений продолжается.

Молчание.

— А я знаю, почему знают, что Земля круглая,— говорит опять Ося.

— Ну и знай!

— Знаю! Потому что глобус круглый... Что-о? Вот!

— Дурак ты сам круглый, вот что...

У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но... в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся наперегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми — стали черными. Рамы были чер-

ными — стали светлыми. А главное — не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом:

— Я вас слушаю! Что?

Оказывается, звонят из Саратова, и звонит наш любимый дядя Леша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила нам, что он уехал далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо! И мы оба кричим в трубку:

— Дядечка! Приезжай!

— Ладно, ладно,— смеется в телефон дядя.— А ты, Леля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция... Временное правительство... Царь отрекся... Повтори!— И голос у дяди какой-то необычайно веселый.

— Дядечка!— кричу я.— Как же это так вышло?

— Ты еще маленький, не поймешь.

— Нет, пойму,— обиделся я,— нет, пойму! Я уже в третьем.

И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве...

— Вы кончили?— влезает в трубку чужой голос.— Время истекло.

Кррах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на три года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди.

Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный.

— Эх, ты!— возмущаюсь я.— А еще знает, отчего Земля круглая! Как не стыдно!..

— Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону... и не заметил.

Я бегу в кухню.

В кухне у Аннушки гость — знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный Георгиевский крестик. Восторженно кричу:

— Аннушка!.. Во-первых, теперь революция... свобода... и без царя!.. А во-вторых... Оське надо штаны переодеть...

И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правой он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе.

— Эх, милай! Вот разуважил! Спасибочко! Неужто ж правда?— И грозит большим кулаком кому-то в четыре окна:— Ну, погоди! Дождались!..

Я смотрю в окна. Но там никого нет.

А солдат извиняется:

— Вы меня простите, молодой человек... Уж больно вы

меня того... Да как же... Господи ж.. Вот спасибочко! Ровно праздник!

Нос у него странно морщится.

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

В столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь — наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос:

— Слушаю!

— Здравствуйте! (Вообще мы на «ты», но по «телефону» надо говорить «вы»). Здравствуйте, Нюра. Большие новости! Революция, и у нас солдат сидит.

— А у меня чего есть!— говорит Нюра.— Отгадайте.

— Еще где-нибудь революция?

— Нет! Крестная сервиз подарила, и даже с молочником.

Я бросаю труб... виноват — захлопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной.

ЦАП-ЦАРАПЫЧ ГОНИТСЯ ЗА ЛУНОЙ, ИЛИ ЧТО СКАЗАЛ ОБ ЭТОМ КОНДУИТ

На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и, как собака, останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом... Домики стоят, зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать...

Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц... Цап-Царапыч! Мы с верной луной задаем драпу — бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил.

— Стой! Стой, прохвост!— кричит он.— Городовой!

Но фамилии не кричит. Значит, не узнал, и я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч — враг. Луна — сообщница.

Вот она, чтоб не выдать меня, юркнула за крышу...

Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке:

4 марта был замечен надзирателем на улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал...

Луна в кондуит не попала.

«ВОЛЬНО» — ГОВОРИТ СОЛДАТ

В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок.

Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем:

По Кавказским горам
Гимназист гулялся.
Он кричал: «Долой царя!»
Красный флаг махался.

В гостиной замечательно пахнет смазными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку.

А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает:

— А вы отгадайте... Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет? Отгадайте.

— Не знаю,— говорит солдат.— Ну, скажи, кто?

— И я не знаю,— говорит Ося.— И папа не знает, и дядя. Никто.

О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом — за слона, Аннушка назло — за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь «Марсельезу».

Аннушка спохватывается, что уже поздно и нам пора спать.

— Вольно!— говорит солдат, и мы идем спать.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЬКИ

На полу детской начерчены лунные «классы». Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке! Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Осе, что́ слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах...

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля, а Леля! А что такое еврей?

— Ну, народ такой... Бывают разные: русские, например, американцы, китайцы. Немцы еще, французы. А есть евреи.

— Мы разве евреи?— удивляется Оська.— Как будто или взаправду? Скажи честное слово, что мы евреи.

— Честное слово, что мы — евреи.

Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает:

— Леля!
— Ну?
— И мама — еврей?
— Да. Спи.

И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту: «Довольно старого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права!»

Спим.

Ночью возвращаются из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей, театра, они устали и раздражены.

— Дивный пирог был,— говорит папа,— у нас такого никогда не могут сделать. И куда деньги уходят?

Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурок собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло. Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким для такой поздноты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина.

Отец с матерью на цыпочках входят в детскую. Отец садится на постель, обнимает меня и говорит:

— А революция пишется через «е», а не через «и»: революция. Ты-ы!— и щелкает меня в нос.

В это время просыпается Ося. Он, видно, все время, даже во сне, думал о сделанном им открытии.

— Мама...— начинает Ося.
— Ты зачем проснулся? Спи.
— Мама,— спрашивает Ося, уже садясь на постели,— мама, а наша кошка — тоже еврей?

«БОЖЕ, ЦАРЯ...» ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ»

Утром Аннушка будит меня и Оську на этот раз так — она поет:

— Вставай, подымайся, рабочий народ... в гимнастию пора!

Рабочий народ (я и Оська) вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях: хик, хек, хок...

Выходим вместе с Оськой. Тепло. Оттепель. Извозчичьи лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося — очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит:

— Лошадка, здравствуйте!

Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика:

— Ваша лошадка тоже какао пьет? Да?

Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору:

— Ребята! Царя свергну́ли!!!

— !!!!!

Цап-Царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснея, кричит:

— Ты что? С ума сошел? Я с тобой поговорю! Ну, живо! На молитву! В пары.

Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают.

Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву.

Директор, сухой, вытюженный и торжественный, как всегда, промерял коридор вытюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли.

Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась.

Мы стоим и шепчемся. Неспокойно в маренговых рядах, шепот:

— А в Питере-то революция.

— Это наверху, где Балтийское на карте нарисовано?

— Ну да, здоровый кружок: на немой карте — и то сразу найдешь.

— А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади и домищи больше церкви.

— А как это, интересно, революция?

— Это как в пятом году. Тогда с японцами война была. Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки и крючки их нагайками. И стреляли.

— Вот собаки, негодяи!

— Эх! Сегодня письменная... Опять пару влепит. Плевать!

— ...Иже еси на небеси!

— Вот тебе и царь... Поперли. Так и надо! Зачем войну сделал?

— Тише вы!.. А уроков меньше задавать будут?

— ...Во веки веков. Аминь.

— Наследник-то в каком классе учится? Небось кругом на пятка́х... Ему чего! Учителя не придираются.

— Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек да колов. Узнает!

— Стоп! Как же генитив плюраль будет?.. Ну ладно. Сдуем.

По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. (Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондукт.) На записке было:

«Не пой «Боже, царя...» Передай дальше».

— От Луки святого Евангелия чтение...

Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо.

Последняя молитва:

— ...Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.

Сейчас, сейчас! Мы насторожились. «Господствующие классы» прокашлялись. Мм-да!

Маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извилась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади, в разрез фалд лоснящегося сюртука. Взвивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический «зум» расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, вполголоса дает тон:

— Ля-аа... Ля...а...а...

Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запевает:

— Боже, царя храни...

Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить. Сзади Биндюг спокойно сказал, как бы записывая на память:

— Та-а-ак...

Дисканты завяли.

А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой:

— ...Сильный... державный, царствуй...

И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха.

Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет.

Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч. Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр.

Только директор строг и прям, как всегда. Но еще бледнее.

— Тихо!— говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину.

Тогда Митька Ламберг, коновод старшеклассников,— восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит:

— Тихо! У меня слабый голос.

И запевает «Марсельезу».

«НА БАРРИКАДАХ»

Я стоял на парте и ораторствовал. Из-за печки, с «сахалина», поднялись двое: лабазник Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загребающий на хору руками, низенький Лизарский, за ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте и взял меня за шиворот.

— Ты что тут звонишь?— сказал он и замахнулся.

Степка Гавря по прозвищу Атлантида, подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом:

— А ты что лезешь? Монархыст...

— Твое какое дело? Балда, дай ему!

Балдин безучастно грыз семечки. Кто-то сзади в восторге запел:

Пароход баржу везет,
Батюшки!
Баржа семечки грызет,
Матушки!

Балдин ткнул плечом в грудь Степку. Произошел обычный негромкий разговор:

— А ну, не зарывайсь!

— Я не зарываюсь.

— Ты легче на повороте.

— А ну!...

Наверно, от искр, полетевших из глаз Балдина, вспыхнула драка. В классе нашлись еще «монархисты», и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного: «Франзель идет!»— заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Дивный был день. Оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы по белой промокашке. Мы высыпали во двор. Солнца —пропасть. А городовых— ни одного.

— Кто против царя — сюда!— закричал Степка Гавря.— Эй, монархысты! Сколько вас сушеных на фунт идет?

— А кто за царя — дуй к нам! Бей голоштанников!

Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки.

Началось настоящее сражение. Вскоре мне влепили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова и в глазах заполыхали зеленые и фиолетовые молнии... Но мы уже побеждали. «Монархистов» прижали к воротам.

— Сдавайтесь!— кричали мы им.

Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлекшись, мы вылетели за ними и попали в засаду.

Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ — Высшее начальное училище. С «внучками» мы издавна воевали. Они дразнили нас «сизяками» и били при каждом удобном случае. (Надо сказать, что в долгу мы не оставались.) И вот наши «монархисты», изменники, передались на сторону «внучков», которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинулись на нас.

— Бей сизяков! Гони голубей!— засвистела эта орава и нас «взяли в работу».

— Стой!— вдруг закричал Степка Атлантида.— Стой!

Все остановились. Степка влез на сугроб, провалился, снова выкарабкался и снял фуражку.

— Ребята,— сказал он,— хватит драться. Повозились — и ладно. Ведь теперь будет.., как это, Ленька... тождество?.. Нет... равенство! Всем гуртом, ребята. И войны не будет. Лафа! Мы теперь вместе...

Он помолчал немного, не зная, что сказать. Потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из «внучков».

— Давай пять с плюсом!— сказал он и крепко пожал школьнику руку.

— Ура!— закричал я неожиданно для себя и сам испугался.

Но все закричали «ура» и захохотали. Мы смешались со школьниками.

В это время сердито зазвонил звонок.

ЛАТИНСКОЕ ОКОНЧАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ

— Тараканиус плывет!— закричал дежурный и кинулся за парту.

Открылась дверь. Гулко встал класс. Из пустоты коридора, внося с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный, он взошел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы.

Золотое пенсне, пришпорив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле.

— Это что за украшение?

Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадежно-унылым голосом ответил:

— Ушибся, Вениамин Витальевич. Упал.

— Упал? Тэк-тэк-с... Бедняжка. Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда. Тэк-с! Красота. Полюбуйтесь, господа!.. Ну, что у нас задано?

Я стоял, вытянувшись, перед кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно.

— Тэк-с,— сказал Тараканиус.— Не знаешь. Некогда было. Революцию делал. Садись. Единица. Дай дневник.

Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила, взвилась, как ястреб, над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и...

В клетку, как синицу,
За четверть в этот год
Большую единицу
Поставил педагог.

На «сахалине», за печкой, они, «монархисты», злорадно хихикнули.

Это было уже невыносимо. Я громко засопел. Класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры.

— Тихо! Эт-то что такое? Опять в кондуит захотелось? Распустились!

Стало тихо. И тогда я упрямо и сквозь слезы сказал:

— А все-таки царя свергну́ли...

«РОМАНОВ НИКОЛАЙ, ВОН ИЗ КЛАССА!»

Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель — веселый длинноусый Никита Павлович Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Павлович бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал:

— Вот голуби мои, дело-то какое. А? Революция! Здо́рово!

Мы обрадовались и зашумели:

— Расскажите нам про это... про царя!

— Цыц, голуби!— поднял палец Никита Павлович.— Цыц! Хотя и революция, а тишина должна быть прежде всего. Да-с. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно.

Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости.

— Чего тебе, Гавря?— спросил учитель.

— В классе курят, Никита Повлович.

— С каких пор ты это ябедой стал?— удивился Никита Павлович.— Кто смеет курить в классе?

— Царь,— спокойно и нагло заявил Степка.

— Кто, кто?

— Царь курит. Николай Второй.

И действительно!.. В классе висел портрет царя. Кто-то, очевидно Степка, сделал во рту царя дырку и вставил туда зажженную папироску.

Царь курил. Мы все расхохотались. Никита Павлович тоже. Вдруг он стал серьезен необычайно и поднял руку. Мы стихли.

— Романов Николай,— воскликнул торжественно учитель,— вон из класса!

Царя выставили за дверь.

СТЕПКА-АГИТАТОР

Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко к забору. Но это мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды расшалившиеся старшеклассники поймали меня на перемене, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девочки окружили меня, готового расплакаться от смущения, и затормошили. Через три минуты начальница гимназии торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, как у Кости Гончара, городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы. Губы были в шоколаде. За хлястик засунута яркая бумажка от шоколада «Гала-Петер». В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя и те чуть не лопнули от смеха.

С тех пор я боялся близко подходить к забору. Поэтому, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил «Гала-Петер», начальницу, розовый бантик и отказался.

— Зря!— сказал Степка Атлантида.— Зря! Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок — вежливый. Ну ладно. Я схожу. Мне что? Надо же и им все раскумекать.

И Степка полез через забор.
Мы прильнули к щелям.

Гимназистки бегали по двору, играли в латки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Ай!»— вскрикнули девочки, на минуту остановились, а потом, как цыплята на зов клушки, сбежались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился.

— Атлантида Степан,— сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос,— можно и Гавря. А лучше зовите Степкой.

— Через забор лазает,— степенно поджала губы маленькая гимназисточка, по прозвищу Лисичка.— Фулиган!

— Не фулиган, а выборный,— обиделся Степка.— Что? Еще за царя небось? Эх вы, темнота!

И Степан, набрав воздуху, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова:

— Девчонки... то есть девочки! Вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже, царя храни...» на молитве не пели, и все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть... Вы как, за свободу или нет?

— А как это — свобода?—спросила Лисичка.

— Это — без царя, без директора, к стенке не ставить и выборных своих выбирать, чтобы были главные, которых слушаться! В общем, лафа, то есть я хотел сказать — здорово! И на Брешке можно будет шляться, то есть гулять.

— Я, кажется, за свободу...— задумчиво протянула Лисичка.— А вы как, девочки?

Гимназистки теперь все были «за свободу».

ЗАГОВОР

Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня в кухню. Аннушка вытирала мокрые взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил:

— Знаешь, учители хотят попереть Рыбий Глаз, ей-богу, я сам слышал. Историк с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Честное слово. А ты, слушай, завтра, как выйдем на эту... как ее... манифестацию, как я махну рукой, и все заорем: «Долой директора!» Ну, смотри только! Ладно? А я побёг: мне еще к Лабзе да к Шурке надо. Замаялся. Ну, резервуар![1]— Совсем

[1] Исковерканное «оревуар»—«до свиданья» по-французски.

уже в дверях он грозно повернулся:— А если Лизарский опять гундеть будет, так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, если не разделаю...

НА БРЕШКЕ

На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может: болен, простудился... Кхе-кхе!

На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел «цвет» города: солидные акцизные чиновники, податный инспектор, железнодорожники, тонконогие телеграфисты, служащие банка и почты. Фуражки, кокарды, канты, петлички, пуговицы...

В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с «Марсельезой». Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами:

...Раздайся клич мести наро-о-одной...
Вперед, вперед... Вперед, вперед, вперед!

На крыльцо волостного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем были белые с красными разводами валенки-чесанки и резиновые калоши. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно:

— Хоспода! У Петрограде и усей России рывалюция. Его императорское величество... кровавый деспот... отреклись от престола. Уся власть — Временному управительству. Хай здравствует! Я кажу ура!

— Ура!— закричала толпа.

А Атлантида сейчас же добавил:

— И долой директора!

Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул.

На углу Брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уверенный голос инспектора:

— Комитет думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером. Полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стомолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. Да-с.

Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспек-

тор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит.

А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилок, типографии, костемольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородатые хлеборобы.

Гукало в амбарах эхо барабана. Широкое «ура» раскатывалось по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами «Марсельезы». И так хорошо, весело и легко дышалось в распахнутой против всех правил шинели!..

ГАЛОШИ ДИРЕКТОРА

Давно пробило в вестибюле девять, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили. Отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цап-Царапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накуренном молчании нервно расхаживали педагоги.

Наконец вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и трех минут, как он, ошарашенный, ворвался в класс, два раза перекувыркнулся, вскочил на кафедру, стал на голову и, болтая в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом:

— Робя!!! Комитет попер директора-а-а!!

Бешеный треск парт. Дикие крики. Невообразимый гвалт. Восторг!

Биндюг, шалый от радости, ожесточенно бил соседа «Геометрией» по голове, приговаривая:

— Поперли! Поперли! Слышишь? Поперли!

Тогда в конце коридора, по которому тек, выливаясь из классов, веселый шум, раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнущихся ногах мягко проскрипели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий.

Стомолицкий насторожился.

— Э-э, в чем дело, господа?

— А дело, видите ли, в том, Ювенал Богданыч,— мягко заколыхал бородой инспектор,— что вы... Да вот извольте прочесть.

Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово: «Отстранить».

Но директор не хотел сдаваться.

— Э... э... я назначен сюда округом,— сказал он холодно,— и подчиняюсь только ему. Да-с... И я безусловно сообщу в округ об этом безобразии. А сейчас,— он щелкнул крышкой золотых часов,— предлагаю приступить немедленно к занятиям.

— То есть как это так?— вспылил, остервенело теребя галстук, историк Кирилл Михайлович Ухов.— Вы... вы отстранены! Мы на этом настояли, и никаких разговоров тут быть не может... Господа! Что же вы молчите? Ведь это черт знает что!

В дверь перла с молчаливым любопытством толпа гимназистов. Задние жали, наваливались. Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса. Степка Гавря, работая локтями, продрался вперед, впился азартным взглядом в историка и не выдержал:

— Правильно, Кирилл Михайлович!— И, подавшись весь вперед, рванулся к Стомолицкому:— Долой директора!!!

Мертвая тишина. И вдруг словно лавина громом рухнула на учительскую, задавила все и потопила:

— Долой! Вон! До-ло-о-ой!!! Ура!

Охнул коридор. Дрябнули окна. Тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота.

Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на вытюженных брюках появились складки.

Инспектор хитро забеспокоился и вежливенько прищурил глаза на дверь:

— Вам лучше удалиться, Ювенал Богданыч. Мы не ручаемся.

— Мы еще посмотрим, господа!— скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу.

Он кинулся в кабинет, напялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава,— и на улицу. За ним на крыльцо засеменил сторож Мокеич.

— Галоши-то, Ювенал Богданыч! Галошки позабыли!

Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Мокеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком:

— Нтц-нтц-нтц! А-а! Господи! Вот она, революция-то! Директор из гимназии без галош дует!

И вдруг рассмеялся:

— Ишь наворачивает! Чисто жирафа! Ну-ну! Смеху, прости господи! Бежи, бежи! Хе-хе! Стравус.

На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты.

— Эх, как зашпаривает! Ату его! Гони! Ура! Карьерист! Рыбий Глаз!

Мокрый снежок хлюпнулся в спину Стомолицкого.

— Фью-ю! Наяривай! Муштровщик! Граф Кассо! Рыба!

Захватило дух. Директор, сам директор, перед которым вчера еще вытягивались в струнку, дрожали, снимали за козырек (обязательно за козырек!) фуражку, мимо кабинета которого проходили на цыпочках, сам директор постыдно, беспомощно и без галош бежал.

В окна смотрели довольные лица педагогов. Мокеич увещевал:

— Пошто безобразничаете! Нехорошо. А еще ученые!

Атлантида подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую галошу и под общий хохот пустил ее в Стомолицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе, с переливами. Так умеют свистеть только голубятники. А Степка славился своими турманами на весь Покровск.

Когда мы, шумные, разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили:

— Нехорошо, господа. Хулиганство все-таки. Разве можно?

Но чувствовалось, что говорится это так, по обязанности.

ВЕЧЕ НА БРЕВНАХ

Во дворе на высохших бревнах после уроков мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназическое вече ученики всех восьми классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом. На этом заседании решался вопрос «об отстранении от должности» директора гимназии.

Председательствовал на дворе коновод старших — восьмиклассник Митька Ламберг, выгнанный из Саратовской гимназии. Митька важно сидел на бревнах и объявлял:

— Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов.

— Со двора, что ли, их выставлять? Могём!

— Ха-ха-ха! В два счета.

— Господа! Выдвигайте кандидатов!

— Мартыненко! Выдвинь ему! Ха-хе!

— Господа!— возмутился Ламберг.— Тише! Гимназисты все-таки, а ведете себя, как «высшие начальные». И в такой момент... Ти-и-ше!

— Брось, ребята! Маленькие?

Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали

Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздило.

— Еще есть вопросы?

— Есть!— И Атлантида вскарабкался на бревна.— Хлопцы! Вот чего. Дело серьезное. Это вам не в козны играть, не макуху кусать. Да!.. Нам дело надо загибать круче. Рыбьему Глазу надо объявить все начистоту, до конца... И вот чего. Выборные были чтоб от нас н от них. И без никаких!..

— Правильно, Степка! Требовай выборных!.. Качать выборных!.. Качать!!!

Из Степкиных карманов посыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка «Нат Пинкертон». Ламберг бил в старую кастрюлю, которая заменяла ему председательский звонок, а теперь служила барабаном. Выборных понесли к воротам.

— Уррра-а-а!

Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце присело отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаявшего снега, блестящая и скользкая. Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимназистам.

«РОДИТЕЛЯМ НА УТЕШЕНИЕ»

Оскорбленный директор решился на последнее средство: пошел искать защиты у родительского комитета.

Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Родителей он считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него родители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за ученье или с извещением о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в дела гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверно, если бы это было в его власти, он выкинул бы из ежедневной гимназической молитвы строчку: «Родителям на утешение».

Но сейчас считаться не приходилось. Директор поплелся к председателю родительского комитета. Председателем комитета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его звали скотским доктором.

Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку о зеленоватый, в неаппетитных пятнах халат и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, а от докторовой руки пахло парным молоком, конюшней и еще чем-то тошнотно-едким. Директора

мутило, но с полной готовностью, крепко пожал он протянутую руку.

Так они и разговаривали, стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылями, завядшими фикусами и горшками из-под герани. В углу, в ящике с песком, копала яму кошка. Не сознавая того, что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора, кошка отставила хвост и вытянула его палкой.

Скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку. Директор униженно благодарил. Доктору было очень некогда. На дворе, заходясь в сиплом реве, мычала корова. Корове надо было поставить клизму. Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.

ДИРЕКТОР И ОСЬКА

Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении:

«Желателен врач неиудейского вероисповедания».

Отец только что вернулся домой из больницы с операции. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и клокотала у него в горле. Казалось, что папа закипел.

Директор ждал в гостиной.

В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисею длинных хвостов. Одна рыбка, с мордой, похожей на шлем летчика (так велики были ее глаза), подплыла к стеклу. Наглые рыбьи глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище, с досадой отвернулся.

В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося. Он вел под уздцы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно.

Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и спросил:

— Вы на прием? Да?

— Нет!— серьезно и хмуро ответил директор.— Я по делу.

— А-а!— воскликнул Оська.— Я знаю, вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так. Да? Вы коров лечите, и кошек, и собак, и жеребенков — всех. Я знаю... А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выехивает...

— Это ошибка, мальчик,— обиженно прервал его Стомолицкий.— Я не ветеринар. Я директор. Директор гимназии.

— Ой...— с уважением охнул Ося и внимательно осмотрел директора.— Вы и есть директор? Я даже испугался. Леля говорит, вы строгий... Вас все, даже учителя, боятся. А как вас зовут? Рыбий... нет, Рыбин... Вспомнил!.. Воблый Глаз?

— Меня зовут Ювенал Богданович,— сухо сказал директор.— А тебя как зовут, мальчик?

— Меня — Ося. А почему вас тогда называют Воблый Глаз?

— Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше... м... гм... ты уже умеешь читать?.. Да... ну, скажи... м... гм... вот... куда впадает Волга? Знаешь?

— Знаю,— уверенно ответил Ося.— Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте сами: если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?

— Не знаю,— постыдно признался директор.

— Никто не знает,— утешил его Ося,— ни папа, ни солдат, никто... А вот Воблый Глаз — это по отчеству так? Или вас, когда вы маленький были, так называли?

— Довольно!.. Будет! Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?

— Конь... Как же еще? У лошадев не бывает фамилиев.

— Неверно!— строго пояснил директор.— Например, лошадь Александра Македонского звали Буцефал.

— А вас — Рыбий Глаз? Да? Совсем и не Воблый... Это я спутал. Да ведь?

Вошел папа.

— Какой развитой и смышленый мальчик ваш сын!— с ангельской улыбкой сказал, изогнувшись, директор.

ОТЦЫ, ПАПАШИ, БАТЬКИ

У-у-дрррдж-ууджж-ррджржж...

Громадной мухой бился в окне учительской вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых, темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле.

— Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу...

За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядком сели преподаватели. Поодаль, в углу стола, приткнулись Митька Ламберг и Шурка Гвоздило. Маленький Шурка казался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился.

Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание.

— От этого архаровца всего можно ожидать,— заявил инспектор.— Такое еще сморозит...

— Я буду тихо, Николай Ильич.

— Мокеич, выведи его отсюда!

— Ну-ка, выкатывайся, милок,— толкал Мокеич расходившегося Степку.— Выборный... тоже. Горлопан!

Степка очень обиделся.

— Как хотите,— сказал он, уходя,— только после с меня не взыщите, если у вас ничего не сладится. Резервуар. Адье.

В начале заседания потух свет: произошла обычная поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Ламберг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек. Сторож Мокеич принес похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Тени шатались, и носы сидящих то вырастали, то укорачивались.

Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много язвил, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало.

Сопящие хуторяне-отцы сонно слушали Ромашова, гривастый священник заправил перстами за ухо волосы и внимал. Акцизный строго протер очки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал пухлые пальцы в такт инспекторским словам.

Толстый мукомол из думы, Гутник, стал защищать директора:

— Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить? Се, я кажу, трошки неладно. Негоже так. Допрежь у округа спросить треба... А Ювенал Богданович сполнял закон форменно. Мы бачили, шо при ем порядок был самостоятельный. Так нехай вин и остается. Сдается мне, шо так катьегорически и буде. Та и время дюже кипятливое, як огнем полыхае. Шкодить хлопцы зачнут. Так я кажу чи ни?

И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся — попробуй тогда справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.

КОНДУИТ ДИРЕКТОРА

Взволнованный, вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естественник. С надеждой взглянули на побледневшее лицо любимого учителя Ламберг и Шурка. Горячо заговорил Никита Павлович, и каждая его фраза была страницей в неписаном кондуите самого Рыбьего Глаза.

— Господа! Что же это такое? Царя свергли, а мы... директора не можем?.. Вы — родители! Ваши дети, сыновья ваши, пришли сюда, в эти опостылевшие нам стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь?

Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети... когда мы, педагоги, взрослые, задыхались? Нечем дышать было. Позор! Казарма! Вышитый ворот рубахи — восемь часов без обеда... Фуражку снял не за козырек — выговор. Боже мой!.. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя... форточку открыть боимся, чтоб проветрить!..

Он дернул себя за длинный свисающий ус и, задыхаясь, выбежал из учительской.

Очень тихо стало в комнате.

Директор, незаметный в углу, распилил тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от абажура и злости. Он оправдывался.

— Личные счеты,— говорил он.— Закон... дисциплина.. служба... округ.

Его прервал громадный и черный машинист Робилко, длинный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу:

— Да чего там разговаривать? Революция так революция! Вали без пересадок. А от господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспрошать надо. Пусть вот выборные ихние определение скажут. А то для чего выбирать было?

Митька Ламберг браво отчеканил наизусть выученную речь.

— А вы что можете сказать?— обратился председатель к Шурке Гвоздило.

Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил, руки по швам, как перед кафедрой.

Рыбьи глаза директора гадливо рассматривали его.

Шурка с опаской покосился на Стомолицкого: черт его знает, вдруг останется — придираться будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки. Но Ламберг каблуками так больно стиснул в это время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно.

Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух и вдруг воодушевился.

— Мы все за долой директора!— выпалил он.

Кем-то задетая в суматохе лампа раскачивалась. Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее всех был унылый нос директора.

Долго, до поздней ночи, тянулось заседание. Наконец постановили:

«...Стомолицкого Ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии. Временно, до утверждения округом, обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова».

Бывший директор покинул собрание. Ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее она напоминала большой, рыхлый ломоть калача, аппетитно выеденный посередине.

Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота. Даже по плечу похлопали Шурку:

— Эх, молодость, молодость! Задору-то!

— Выборные от первоклашек-сопляков... Ха-ха-ха! Уморил, уморил!

Шурка сконфуженно шмурыгал носом и тер пряжку пояса.

Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями. У Шурки слипались глаза. Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта. А тут еще вентилятор этот укачивал: ууджуррдж-ууу.

Директора выгнали, и Шурка считал свою миссию выполненной. Но тут сидели преподаватели, родители, наконец, новый директор, и уйти просто так, казалось ему, было невозможно. И Шурка заготовил длинную и совсем взрослую фразу: дескать, его присутствие больше не требуется и он, мол, считает возможным покинуть собрание. Шурка встал. Он уже совсем открыл рот, чтобы сказать приготовленное, как вдруг потерял самое первое слово. Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной Шуркиной головы и заскакали перед слипающимися глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надело мундир с золотыми пуговицами и нахально влезло в стекло лампы. Пламя показало Шурке язык, а «присутствие» стало бросаться в Шурку точкой над i. Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от Шуркиной головы, как бумажные шарики, которые продавал на базаре китаец Чи Сун-ча.

— Что вы имеете сказать?— спросил председатель.

Все повернулись к Шурке.

Шурка в отчаянии одернул куртку и сказал решительно:

— Позвольте выйти.

ЦАП-ЦАРАПЫЧ СТАВИТ ТОЧКУ

Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Тряпье туч стерло с него все звездные чертежи. Черная, топкая тишина проглотила город. Шурка первые минуты после учительской барахтался в этой кромешной тьме, как муха в кляксе. Потом он разглядел перед собой темную фигуру.

— Шурка, ты? А я тебя все жду... Замерз, як цуцик.

— А-а, Атлантида!— узнал Шурка.

— Ну как, что? Расскажи.

Эффектно растягивая слова, Шурка сообщил:

— Чего там рассказывать! Мы, конечно, добились своего. Рыбу по шапке, а на его место пока инспектора.

— Постой! А насчет выборных как же?

— «Выборные, выборные»!.. Вот тебе твои выборные — выкуси! Засмеяли меня с твоими выборными!

— Эге! Здо́рово! Чего же вы добились? Это разве революция?! Директора поперли, а заместо его инспектора посадили. Эх!..

И Степка исчез в темноте. Гвоздило, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка — деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители.

Последним ушел из гимназии Цап-Царапыч. Он задержался, записывая на всякий случай в кондуитный журнал Ламберга и Гвоздило. Так кондуитом, хвостатой подписью Цап-Царапыча кончился этот знаменательный день.

РЕФОРМА ЕДИНИЦЫ

В учительской повесили новый портрет: волосы ершиком, отвороченные уголки стоячего воротничка, как крылышки херувима... Александр Федорович Керенский.

На специальном молебне учителя присягали Временному правительству. Общую молитву всех классов отменили. По утрам, перед уроками, стали читать прямо в классе коротенькую молитву. Затем либеральный новый директор решился на смелый шаг: он отменил отметки.

— Все эти единицы, двойки, пятерки с минусом непедагогичны,— распинался Ромашов перед родительским комитетом.

Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единиц и пятерок. Вместо единицы писалось «плохо», вместо двойки —«неудовлетворительно». Тройку заменяло «удовлетворительно». «Хорошо» означало прежнюю четверку, а «от-

лично» стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних «плюсов» и «минусов», стали писать «очень хорошо», «не вполне удовлетворительно», «почти отлично» и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил однажды Биндюгу за письменную уже нечто необъяснимое: «Совсем плохо, с двумя минусами». Так и за четверть вывел.

— Если принять «плохо» за единицу,— высчитывал Биндюг,— то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль. А вдруг еще меньше?..

ПРОТЕЖЕ ДАМСКОГО КОМИТЕТА

Двор дома, в котором мы жили, принадлежал большому хлебному банку. Под навесом всегда пахтала воздух веялка. На парусине росли золотые дюны пшеницы, и широкоплечие весы передергивали железными плечами, как человек, которому хочется незаметно почесать спину. Целый день на дворе бабы длинными иглами чинили мешки. Бабы пели очень печальные песни про любовь и разлуку.

Одна из мешочниц поступила кухаркой к банковскому служащему. У кухарки был сын Аркаша. Он учился в начальном училище. Аркаша был мал ростом и веснушчат. Лицо его было похоже на парусину с рассыпанной пшеницей. Он был очень способный мальчоика и страстно хотел учиться.

В городе существовал благотворительный дамский комитет. Хозяйка Аркашиной матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркаша Портянко, сдав без сучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс.

Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркашей. Он не был тихоней, но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого озорства одноклассников. Учился он отлично и каждую четверть года приносил на кухню к матери табели, туго набитые пятерками. В каждой клеточке, как в дольках стручки, сидели похожие друг на друга пятерки. Даже число пропущенных уроков обычно равнялось пяти. Внизу стояло: «Подпись родителей». С великой гордостью, пачкая табель масляными пальцами, подписывалась кухарка. «Пераскович Портянк»,— выводила она и трепетно, словно свечу перед иконой, ставила точку.

ПЛЮС МИНУС ЛЮСЯ

Весь класс знал, что Аркаша Портянко влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви: «Аркаша+Люся=!!» Люся была дочерью богатой председательницы сердобольного дамского комитета. Мать Аркаши, узнав об этом, качала головой:

— Ишь каку симпатию себе нашел!.. Кывалер... Наказание!

Но Люсе очень нравился Аркаша. Он приходил в беседку, и там они читали вдвоем интересные книжки. Солнце, просочившись сквозь листву, осыпало их кружочками своего теплого конфетти. Однажды Аркаша принес Люсе букет ландышей.

На рождестве у Люси была елка. Люся пригласила Аркашу, не спросясь у матери. Вычистив и выгладив свой мундирчик, отправился Аркаша на елку. Он вошел в ярко освещенный подъезд и уже предвкушал радости вечера, как вдруг мать Люси, высокая дама, испуганно зашумев шелком, выросла перед ним. Она очень растревожилась, увидев у себя на балу кухаркиного сына.

— Приходи как-нибудь в другой раз, мальчик,— сладко заговорила она,— и приходи со двора. Люсе сейчас некогда. У нее гости. Вот тебе и твоей маме гостинцы.

С этого вечера Аркаша больше не виделся с Люсей. Скучал он очень сильно. Осунулся и учиться стал хуже.

Потом, в феврале, на Троицкой площади полный господин в хорошей шубе горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, а все равны. Аркаша поверил ему, решив, что раз сам господин говорит, что господ нет, значит, это уж верно. И Аркаша решил написать Люсе. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенным стебельком ландыша.

ПИСЬМО

«Многоуважаемая, дорогая, милая Люся!

Так как ввиду того, что теперь переворот царского режима, то все равны и свобода. Баринов и господ больше нет, и никто никакого полного права не имеет меня оскорбить с елки по шеям, как на первый день. А я за вами очень скучаю, Люсенька, золотая, так что похудел, мама говорит, даже. И на каток не хожу, потому что не хочу, а не потому вовсе, что, как Лизарский говорит: это оттого, что смотреть обид-

но, как я с Люськой катаюсь. Съел, говорит, гриб? Видал миндал? Ну и пусть бреш... (зачеркнуто) лжет. Совсем и не завидно ни капельки. Ему вот наклали, как монархисту (значит, за царя), он и злится. А теперь, милая Люсенька, мы с вами может быть как будто брат и сестра, если, конечно, захотите. Революция потому что, и мы теперь равные. Хотя вы, конечно, лучше в сто раз. До чего мне ужасно без вас плохо, не дай бог... Честное слово, если не верите. Вот сидишь, уроки зубришь, а все про вас мечтаешь и даже во сне видишь. Ну до того ясно, как вправду. И в диктовке раз попалось слово с т р е м л ю с я, я и перенес с большого «Л»: стрем-Люся... А вы с Петькой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а после хвалился. И ходит с вами под ручку. Хотя я не завидую. Так только немного довольно странно, что вы такие умные, Люся, красивенькая, хорошая и развитая, а с монархистом ходите под ручку. Ведь теперь свобода, равенство и братство, и вас не заругают со мной. А за Петьку я на вас серчать не буду. Потому что тогда был царь и триста лет самодержавие.

И ничего хорошего в жизни я не видел с мамой, только переворот вот и вы, миленькая Люся... Сроду так не плакал, как тогда, на первый день.

Я не стерпел и написал, хотя это против гордости. Если вы меня не забыли и хотите опять сначала, то напишите записку. Я с радости до неба подскакну.

Я посылаю вам ландыш, это из т о г о букетика...

Ваш Портянко Аркадий, ученик 3-го класса.

Простите, что помарки. Пожалуйста, разорвите это письмо».

ВЕСЕЛЫЙ МОНОХОРДОВ

Учитель алгебры носил странную фамилию — Монохордов. У него были неописуемо рыжие волосы и толстые бегемотовы щеки. «Рыжий баргамот» — так звали мы его.

Монохордов отличался непонятной, зловещей и неистребимой веселостью. Он вечно хихикал.

— Хи-хи-хи! — заливался он тоненьким смехом.— Хи-хи-хи... Вы ничего не знаете. Здесь хи-хи-хи... плюс, а не минус... хи-хи-хи... Вот я вам... хи-хи-хи... поставил... хи-хи-хи... единицу.

На уроке алгебры Аркаша, спрятав письмо под партой, еще раз перечитывал его. Увлекшись, он не заметил, как подкравшийся Монохордов запустил руку в парту. Аркаша рва-

нулся, но было уже поздно: толстые пальцы, покрытые рыжими волосами, держали письмо.

— Ха-ха-ха!— восторгался рыжий педагог.— Письмецо! Х-хи... незапечатанное... Интересно, интересно... хи-хи... ознакомиться... чем вы занимаетесь на моих... хи-хи... уроках!

— Отдайте, пожалуйста, мое письмо!— дрожа всем телом, крикнул Аркаша.

— Нет... хи-хи... Извините. Это... хи... мой трофей...

Рыжее хихиканье наполняло класс. Монохордов забрался на кафедру и погрузился в чтение. У доски томился забытый ученик с белыми от мела пальцами. Педагог читал.

— Хи-хи-хи.. занятно...— злился он, кончая чтение.— Любопытно... Послание... хи-хи... даме сердца. Могу в назидание... хи-хи-хи... прочесть вслух.

— Читайте! Читайте!— обрадованно заревел класс, заглушая просьбы побледневшего Аркаши.

И, останавливаясь, чтобы выхихикаться, Монохордов прочел с кафедры вслух письмо Люсе. Все, с начала до конца. Класс гоготал. Помертвелый Аркаша сидел как оплеванный.

ЛАНДЫШ В КОНДУИТЕ

— Рановато, Портянко, начинаете,— смеялся учитель.— Хи-хи... рановато...

Аркаша знал, что все равно нельзя уже послать это опоганенное письмо. Все большие слова, теперь осмеянные, казались ему самому действительно глупыми. Но жгучая обида подхлестнула его.

— Прошу вас, отдайте мне письмо, Кирьяк Галактионович,— тихо сказал он нехорошим голосом.

И класс разом перестал смеяться.

— Нет,— ухмылялся Монохордов,— это мы в журнальчик... хи-хи...

Тогда Аркаша стал буйствовать.

— Вы не смеете,— взвизгнул он, топая ногами,— не смеете! Чужое письмо... Это — как украсть...

— Вон сейчас же из класса!— заорал Монохордов, тряся налившимися щеками.— Не забывай, что ты бесплатный... Вылетишь... хи-хи... как воздушный шар.

Высохший ландыш легко и слабо хрустнул в захлопнутом журнале. Аркашку долго отчитывал директор Ромашов.

— Мерзавец,— нежно и мягко журил он,— как же ты смеешь со старшими так говорить? Выгоню тебя, шалопая этакого. На каторгу пойдешь, подлец. Что вздумал, нахал! А?

Аркашке напомнили, что он бесплатный, что учится он милостью добрых людей, что революция тут ни при чем. Прежде всего должен быть порядок, и он, Аркашка, вылетит в первую голову, если порядок этот будет нарушен. Аркашку записали в кондуит. После уроков он сидел два часа без обеда. Из всего Аркашка понял только одно: мир по-прежнему еще делится на платных и бесплатных.

КНИГА ВТОРАЯ

Швамбрания

Швамбранская революция

«ПОХОД «БРЕНАБОРА»

Чтоб установить истинные очертания и границы Швамбрании, был предпринят великий поход швамбранского флота вокруг материка. Он начался в середине 1916 года и продолжался до ноября 1917 года. Значение этого похода для швамбранской истории огромно. Об этом свидетельствуют письменные памятники, сохранившиеся до сих пор. В моем швамбранском архиве хранятся: точная карта Швамбрании и приложенный к ней корабельный журнал флагманского судна «Бренабор». Приводить его здесь целиком не имеет смысла. Он велик и скучен. Многое в нем будет непонятно сегодняшним читателям. Поэтому здесь описание похода дается в сокращенном и обработанном виде, а в скобках объяснено непонятное. Я старался только по возможности сохранить швамбранский стиль. Затем необходимо рассказать следующее.

Швамбранским императором был в то время некий Бренабор Кейс Четвертый. Имя это мы целиком заимствовали у известной тогда автомобильной фирмы. Поэтому на государственном гербе Швамбрании к Зубу Швамбранской Мудрости, пароходу Джека, Спутника Моряков, и Черной королеве — хранительнице тайны — прибавились еще автомобили.

Царь Бренабор № 4 был довольно покладистым малым, но все же это был монарх, и никто из нас не пожелал воплощаться в него. Оставаться же простыми смертными швамбранами не хотелось. Тогда Бренабор усыновил нас. Мы считали, что он подобрал нас в море, когда мы были маленькими. Жестокий негодяй Уродонал-Шателена засадил нас совсем новорожденными в кадушку из-под кислой капусты и пустил по морю. Царь Бренабор катался на лодке, услышал, что откуда-то разит, и спас нас.

В то время почти во всех детских книжках были сироты. Положение приемыша было модным и трогательным. Что же касается капустного духа, то это нас нисколько не компрометировало: многие мамаши уверяли, что всех детей, даже и не приемышей, находят в капусте...

Эскадра состояла из флагманского судна «Бренабор» и

кораблей «Беф Строганов», «Жюль Верн», «Металлопластика», «Принц-курант», «Каскара Саграда», «Гратис», «Покоритель бурь», «Гамбит» и «Доннерветтер». Командовал эскадрой, несмотря на свою молодость, адмирал и капитан Арделяр Кейс, то есть я. Оська был вице-адмиралом и главным матросом. Имя его было Сатанатам. Происхождение имени Сатанатам оперное. К нам ходил петь басом один провизор. Он пел арию Мефистофеля: «Сатана там правит бал», слишком надавливая голосом на отдельные слоги. Получалось: «Сатанатам». Оська потом интересовался, кто это такой Сатанатам — дирижер?

В качестве корабельного наставника с нами плыл неизменный Джек, Спутник Моряков.

ОТПЛЫТИЕ

«Утром был восход, и солнце засияло над горизонтом,— так начинается дневник адмирала Арделяра Кейса.— Вид на море был очень красивый. Сто тысяч солдат и миллион народа провожали нас. Духовой оркестр играл очень сильно — получилась манифестация. Нью Шлямбург был весь иллюстрирован. (Ошибка: адмирал хотел написать «иллюминован».) На мне были белые брюки клёш, белые туфли со шпорами, крахмальный воротничок, голубой галстук бабочкой, лиловая черкеска с золотыми газырями и эполетами, пурпуровый ментик-накидка, подбитый тигровой шкурой, и капитанская фуражка с плюмажем. Я шел впереди всех, высокий и стройный...»

У пристаней стояли пароходы. Уже был второй звонок. Грузчики носили пирожные, тысячи тюбиков со сладкими белилами.

Военно-пассажирский дредноут «Бренабор» был так велик, что по палубе его ходили трамваи и ездили извозчики. От кормы до носа они брали двугривенный, хотя овсы в Швамбрании были дешевы. Шесть труб «Бренабора» дымили, как шесть хороших пожаров. Гудок его был в десять тысяч верблюжьих сил, а мачты так высоки, что на верхних реях лежали вечные снега.

— В машине приготовиться!— скомандовал я.

— Пронта ля машина,— сказал Джек, Спутник Моряков,— штее фертиг бей дер машине!

Нас провожал сам царь. Он влез на бочку и сказал манифест:

— Ой вы гой еси, швамбранские чудо-богатыри! Мы, божьей милостью император швамбранский, царь кальдонский, бальвонский и тэ дэ и тэ пэ, повелеваем вам счастливого пути

и взад и вперед. Если встретится по дороге война, сражайтесь что есть силы... Гоните врагов в хвост и в гриву. Моряки! Все века, сколько их есть и будет, смотрят на вас с вершины этих мачт! Марш вперед, друзья, в поход!.. Ах, громче, музыка, играй победу! Если налетит шквал и буря, сойдите вниз, а то схватите насморк. Вперед же, орлы, чудо-богатыри! Правьте в открытое море на зюйд-вест. С нами бог, трогай с богом!..

Тут все запели швамбранский гимн, сочиненный вице-адмиралом, с ударением на первом слоге:

«У-ра, у-ра!— закричали
Тут швамбраны все.—
У-ра, у-ра!»— и упали...
Туба-риба-се!
Но никто совсем не умер,
Они все спаслись.
Всех они вдруг победили
И поднялись ввысь!..

«Бренабор» дал третий свисток в десять тысяч верблюжьих сил. Всадники попáдали, кони разбежались. Кто стоймя стоял, тот сидьмя сел. Кто сидьмя сидел, тот лежмя лег. Ну, а кто лежмя лежал, тому уже ничего не оставалось делать. Пароходы отваливали. Поход начался.

— Пишите!— сказал царь.

Эскадра шла полным ходом. Флаги пышно развевались. Впереди всех шел «Бренабор», высокий и стройный. Он тянул сто узлов в час. Ветер крепчал. Волны бурлили. Вечером был закат.

БИТВА ПРИ ШАРАДЕ

Плавание шло благополучно. Утром бывал восход, вечером — закат. Ветер крепчал с каждым днем, если верить адмиральскому журналу. Эскадра, не заходя в порт Фель и миновав мыс Гиальмар, обогнула Каинфолию и от мыса Кегли повернула к Драндзонску. Навстречу нам был выслан небольшой однобортный корабль. (Опять ошибка: однобортными бывают пиджаки, а не пароходы.) Жители Драндзонска встретили нас с папиросами «Триумф». Мы закурили и поехали дальше. Через два дня мы бросили якорь в гавани Матчиша.

За Матчишем простирались дремучие мужественные леса. (Таких лесов, конечно, не бывает. Про леса иногда говорят, что они девственны. Но адмирал был женоненавистник.) В мужественных лесах мы охотились на диких конь-яков. Конь-яки были животными, взятыми из рекламного ребуса

известной виноторговли Шустова. Конь-яки водились только в Швамбрании. Голова у них была как у буйвола, а все тело конское. Они бодались и лягались. Они были свирепы.

Затем мы с Сатанатамом исследовали пустыню Кор-и-Дор. В пустыне было очень пусто. Тем временем эскадра под командованием Джека Спутника обогнула мыс Юлу и пришла в Бальвонск. Мы сели опять на корабль и поехали дальше. У мыса Шарада на горизонте показался флот Пилигвинии. Им командовал подлый изменник граф Уродонал Шателена.

— А, грот-бом-брам-рей!— выругался Джек, Спутник Моряков.— Форбом-брамфордуны и бакштаги! Унтер лиссель левый, тоже правый... Пломбирен зи ди шифсреуме!.. Запломбируйте все трюмы!

И он стал сверкать очами. А Уродонал Шателена объявил нам через рупор войну. Вышел морской бой. Корабли наши и ихние налетели друг на друга и хотели устроить абордаж. Но началась настоящая Ходынка, которая кончилась для нас прямо Цусимой. Корабли «Металлопластика», «Доннерветтер» и «Беф Строганов» пошли на дно, а остальных взяли на буксир пилигвины. Они повели их в свой плен, который помещался на необитаемом острове Гирляндия в Ядовитом океане. Только наш гордый «Бренабор» не сдался врагу и вырвался из огненного кольца. По синим волнам океана корабль одинокий несся на всех парусах. Был остров на том океане. Пустынный и мрачный гранит. Назывался он островом Наказань и входил в Пилюльский архипелаг. Там был мыс Угол. На мысе, в ракушечном гроте, жила Черная королева. Мы пристали к острову. Королева выглядела неплохо, только заплесневела немножко.

Затем мы миновали опасные острова Хину, Биомальц, Микстуру, Какао и Рыбьежирск. Дойдя до мыса Конек, мы увидели вершины Кудыкиных гор и недосягаемую вершину Ребус. Но мы повернули на запад и вошли в пролив Семи Школяров.

Мы приближались к острову Лукоморье.

ЗАПОВЕДНИК ГЕРОЕВ

Принц и Нищий, Макс и Мориц, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, Маленькие Женщины и Маленькие Мужчины, они же ставшие взрослыми, дети капитана Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, двенадцать егерей, три пряхи, семь мудрых школяров, тридцать три богатыря, племянники дядьки Черномора, Последний день Помпеи и Тысяча одна ночь вышли встречать нас.

— Здравия желаем, ваше ослепительство!— гаркнули они нам.

На берегу стоял дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. Цепной кот в сапогах с ученым видом ходил вокруг дуба. Направо идет — книжки читает вслух, идет налево — граммофон заводит. Прямо как в цирке у Дурова. А на скале сидел Сфинкс. Он сочинял шарады и ребусы.

Знакомые образы населяли остров. Остров Лукоморье был заповедником всех вычитанных нами героев. Герои были изъяты из книг. Они жили здесь вне времени и сюжета.

Навстречу нам скакал сборный эскадрон. Впереди ехал, опустив забрало, Неизвестный Рыцарь, потом Всадник без головы. За ним погонял свою клячу Дон-Кихот Ламанчский. И трусил на осле его верный оруженосец Санчо Панса. Санчо Панса вез крылья ветряной мельницы, которую обкорнал Дон-Кихот. За Рыцарем Печального Образа скакал на Коньке-горбунке Иванушка-дурачок и показывал всем язык. Далее следовали на огромных битюгах три богатыря: Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Так их звали по имени и отчеству, а фамилии нам были неизвестны. Битюги были запряжены в Царь-пушку. За ними следом крался знаменитый сыщик Нат Пинкертон. Он выслеживал Неизвестного Рыцаря. Ната Пинкертона незаметно преследовал прославленный сыщик Шерлок Холмс.

Из кустов вышел обросший человек в звериных шкурах. На плече у него сидел ученый попугай и клювом вынимал из кармана хозяина билетики со «счастьем».

— Гобин Кгузо!— картаво крикнул попугай.

И мы узнали великого отшельника. За Робинзоном шел дикарь и нес разные покупки. Он был совершенно голый. Никаких штанов на нем не наблюдалось, только спереди висел листок календаря, и там было написано: «Пятница».

Увидев гостей, Робинзон извинился и попросил Дон-Кихота одолжить ему с головы медный бритвенный прибор. Рыцарь дал. Робинзон пошел бриться, а Пятница, посплетничав и посоветовавшись с Санчо-Панса, побежал одеваться в дом, на котором висела такая вывеска:

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

Мужской и дамский

Хитрый Портняжка.

Одним махом семерых обшиваем.

— Это про нас написано,— сказали семь мудрых школяров.

Вечером в честь нашего посещения было устроено большое гулянье с фейерверком в Таинственном саду. Там гуляли Голубые Цапли и летали Синие Птицы. Там пели Золотые Петушки и неслись Курочки Рябы. А белки насвистывали «Во саду ли, в огороде».

И мы там были и мед пили. А так как усов у нас не было, то все в рот попало.

ЗАКАТ БЫЛ ОТМЕНЕН

Дни пира совпали с первыми днями революции в России. Замечательная действительность все перевернула вверх дном.

Из Швамбрании пришла телеграмма:

«В Швамбрании народ волнутся. Возмущены битвой при Шараде. Бренабор немножко отрекся. Временный правитель — Уродонал Шателена».

Через полчаса «Бренабор», запломбировав трюмы и подняв красный флаг, полным ходом вышел в Гориясное море. Мы прошли Лилипутию, Шелапутию, Порт-Ной и Пришпандорию. Мы переименовали наш корабль в «Каршандар и Юпитер». Корабль стоял за республику: мы отреклись от царя-изменника. Ведь Бренабор № 4, чтоб не упускать власти, временно передал ее негодяю Уродоналу. Отряды Уродонала Шателена охраняли плоскогорье Козны, засев в ущельях Ныкы, Плоцки и Сок-Панока. Нам пришлось идти к Канделябрам. В их северных отрогах, в окрестностях Портъу-Пея, скрывались республиканские заговорщики. Мы взяли их на корабль и, обогнув мыс Клёк, не заходя в Нахлобучи, проплыли до берегов вольного Каршандара и прибыли в Порт-Янки. Каршандарцы встретили нас восторженно. Каршандар был объят революционным восстанием. Только Кондору захватил десант Уродонала. Мы осадили Кондору с Фиолетового моря. Кондора пала. В руки нам попала богатая добыча. Пройдя мысы Рич-Рач и Бильбоке, мы посетили Порт-Сигар и наконец бросили якорь у Каршандарской ривьеры. Я переменил фамилию и стал именоваться Арделяр Каршандарский.

Чтобы подготовить переворот на всем материке, я тайком, в запломбированном трюме одного парохода, пробрался в Нью-Шлямбург. Я жил в столице, загримировавшись в дикого индейца. Но почти накануне восстания Бренабор узнал меня по рассеченной левой брови. Уродонал арестовал меня и предал военному суду.

Процесс адмирала Арделяра Каршандарского длился целый день (воскресенье). Дневник адмирала передает этот суд так:

«Зал был весь полон от публики, которая оглядывала меня с любопытством. Я сидел на лавке подсудимых, красивый и стройный. Четыре часовых целились в меня из ружья, чтобы я не убёг. Главным председателем всех судей был бывший Бренабор, который очень на меня обозлившись. Прокуратом служил лично граф Уродонал Шателена, весь чернокурый и подлец. Музыки никакой не было, а адвокатом был Сатанатам, которого они побожились не арестовывать в тюрьму. Прокурат врал при всей публике, будто я какой-нибудь мошенник, а адвокат, наоборот, сказал, что Уродонал — сам! А Бренабор говорит мне: «Господин подсудимый! Даю вам пять минут, можете выразиться последними словами». Тут я встал, высокий и стройный, и вся публика стала совсем тихая. «Господа судьи!— вскричал я.— Вы арестованы от имени Свободного Материка Большого Зуба!» В это мгновение ока в залу вбежал с революционерами Джек, Спутник Моряков, и они свергли тиранов. Вся публика как закричит «ура», и получилась бурная овация».

О закате в этот день адмирал ничего не пишет. Очевидно, в Швамбрании по случаю переворота был сплошной, непрерывный восход...

Конец кондуита

ХОЧУ ЗАСЕДАТЬ

Всюду шли собрания, заседания, митинги. Все взрослые занимались политикой. Даже мама была избрана в Совет депутатов от дамского кружка. Папа же был товарищем председателя новой думы. Дума ссорилась с Советом, и поэтому папа ссорился с мамой.

Жажда политической деятельности сжигала меня. Мне тоже хотелось заседать, выступать, выбирать. В это время я получил из Саратова от своего друга Вити Экспромтова письмо. Витя очень увлекательно описывал свой отряд бойскаутов, в котором он состоял. И я решил организовать из гимназистов отряд бойскаутов.

Я достал много книг о системе «скаутинг», прочел их и однажды после уроков, пока класс застегивал ранцы, вскарабкался на кафедру и обратился к товарищам с большой речью.

— Господа,— ораторствовал я,— довольно биться на переменах, шпарить в козлы и быть не вместе. Мы должны быть все вместе, то есть соединиться. Давайте сделаем такую компанию, дружную команду такую, ну, кружок... Не будем врать, курить, ругаться... Будем маршировать, устроим клуб, станем заседать, выберем начальника, станем юными разведчиками, бойскаутами. Как по-вашему?.. Кто хочет стать бойскаутом?

Чуть ли не весь класс захотел записаться в скауты. Поднялся нестерпимый гвалт. Пришел Николай Ильич. Узнав, в чем дело, он заявил, что если шум будет продолжаться, то, прежде чем записаться в скауты, все окажутся записанными в кондуит ..

КОМБИНАЦИЯ ИЗ ТРЕХ ПАЛЬЦЕВ

В ближайшее воскресенье в соседней школе состоялось первое собрание бойскаутов. К моему удивлению, пришло много гимназистов из других классов и даже несколько старшеклассников.

Мы заседали совсем как взрослые. Говорили речи, вели протокол.

Было создано два отряда.

Начальником главного штаба выбрали меня. Шалферова, сына скотского доктора, избрали казначеем: он слыл у нас за самого честного.

Был принят устав: не пить, не курить, не врать, не ругаться, быть вежливым, делать добрые дела, всегда улыбаться, начальникам отдавать на улице честь, приложив к фуражке три сложенных пальца. Три пальца означали три основные заповеди скаута: скаут верен богу, своему слову и народу. Собственно, в книжке было написано: «...и царю». Но мы заменили его словом «народ». Некоторые неприятности получились у нас также с богом. Степка Атлантида вдруг заявил, что он. не верит в бога. Пришлось уговаривать его, уверять, что бог — это вроде совести и вообще для проформы. А то, если один палец откинуть, совсем некрасиво получается. Вроде двуперстного креста. Уговорили. Торжественно подняв три пальца, Степка Гавря отрапортовал присягу и обещал в неделю отучиться курить.

Девчонок мы постановили не принимать. Решили это единогласно.

Многих родителей мы записали членами-соревнователями. Они вносили деньги. На эти деньги мы купили трехцветное знамя и старый автомобильный гудок с отломанным баллоном. В эту громадную дудку надо было дуть что есть силы. Труба ревела очень неприятным голосом. Но мог это сделать лишь Биндюг. Его избрали горнистом. Польщенный Биндюг старался. Он дул так ретиво, что грузовики шарахались в сторону, а пароходы просто завидовали.

В детской библиотеке нам дали комнату. В это время записалось уже так много гимназистов, что мы создали еще два отряда. Я теперь назывался начальником дружины. Ребята отдавали мне на улице честь. Я гордился...

СЭР РОБЕРТ, СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ И ДОБРЫЕ ДЕЛА

Но вот все было сделано: комната обставлена, знамя повешено, присяга принята, начальники выбраны, устав выучен, все знали, кто такой сэр Роберт Баден-Пауэль и какое отношение имеет к нам святой Георгий-победоносец.

Что было делать дальше, никто не знал; устроили один раз в амбарном городке войну между отрядами, но сторожа едва-едва не поколотили нас за это.

Попробовали заниматься добрыми делами. Ребята должны были ходить патрулями по городу, чинить скамейки, по-

правлять изгороди, помогать старушкам нести кошелки с базара. Но гимназисты пользовались очень дурной славой в городе. Первая же старушка, у которой Атлантида попробовал взять сумку, подняла такой крик, что сбежался народ, и Степку чуть не побили...

Потом выяснилось, что скауты мои делали «добрые дела» таким манером: они ночью пробирались к какому-нибудь целехонькому палисаднику и ломали его. А утром те же ребята появлялись в роли благодетелей и с чинными, великопостными рожами поправляли палисадник. За это они получали десять очков на конкурсе добрых дел.

Скучно стало в дружине.

Помощи от небесного шефа нашего, Георгия-победоносца, ждать было нельзя. Сэр Роберт на портрете улыбался из-под широких полей бурской шляпы и посоветовать ничего не мог.

От ребят все чаще стало пахнуть опять табаком.

БАРЖА БЕЗРУКИХ КАВАЛЕРОВ

Пришла осень семнадцатого года. Это была первая осень без царя.

Она была похожа на все предыдущие осени, эта осень — с дынями, мелководьем и переэкзаменовками.

Осенью в Саратов приплыла баржа георгиевских кавалеров. На барже помещался «музей трофеев».

Всю гимназию водили смотреть на этот плавучий патриотизм.

На борту баржи краснела надпись: «Война до победного конца». Из-под нее предательски просвечивало замазанное «За веру, царя...» Все служащие баржи, от водолива до матросов, были георгиевскими кавалерами. У всех почти не хватало руки или ноги, иногда и того и другого. На палубе скрипели протезы, стучали костыли. Зато у всех качались на груди Георгиевские крестики.

Три часа бродили мы по барже. Мы совали головы в многодюймовые жерла австрийских гаубиц и щупали шелк боевых турецких знамен. Мы видели громадный германский снаряд-«чемодан». В такой «чемодан» можно было упаковать смерть для целой роты. И, наконец, любезный руководитель показал нам достопримечательность музея. Это была немецкая каска, снятая с убитого офицера. Замечательная она была тем, что на ней остались прилипшие волосы убитого и запекшаяся настоящая немецкая кровь... Руководитель со смаком подчеркивал это.

У руководителя были офицерские погоны, две естественные ноги, и он жестикулировал обеими целыми и выхоленными руками.

ПОРАЖЕНИЕ ГЕОРГИЯ-ПОБЕДОНОСЦА

На обратном пути Степка не проронил ни слова. Но вечером в тот же день он явился в штаб бойскаутов и разругался с нами.

— Вы, хлопцы, приметили, какой там дух?.. Как в мясном ряду... кровяной. Аж в нос разит. А за чертом это все? Люди ведь...

— Надо воевать до победы,— заикнулся кто-то из нас.

— Дурак ты, вот что...— накинулся на него Степка.— Слышал звон... А что нам всем будет от этой победы?.. Идите вы к черту, с вашим святым Егорием... Играйте в солдатики, кавалеры георгиевские... Бойскауты. На черта вы сдались, если за войну. Поняли? Вычеркивай меня к лешему. Побаловались.

Степка вынул запрещенные папиросы и нагло закурил. Все смущенно молчали. Потом Биндюг крякнул, нерешительно вынул папиросы и подошел к Атлантиде.

— Дай прикурить, Степа,— проговорил он,— кончили лавочку. Айда.

Сэр Роберт Баден-Пауэль улыбался со стены. Ничего смешного тут не было. Но по уставу скаут должен был всегда улыбаться. Сэр Роберт скалил зубы, как Монохордов, как дурак на похоронах.

АТЛАНТИДА

...Шел раз урок географии в первом классе. Встал с «камчатки» второгодник Гавря, поднял руку и спросил:

— Правда это в книгах прописано, что Атлантида взаправду есть?

— Возможно,— улыбнулся учитель, длинноусый географ Камышов.— А что?

— А я ее, Никита Палыч, эту самую Атлантиду, найду. Ей-бо! Пошукаю трошки в океане, та и найду. Я ныряю дюже глубоко.

Вот с этого дня и прозвали Степку Атлантидой.

Он и действительно мечтал отыскать Атлантиду, этот отчаянный голубятник, лихой «сизяк». Забравшись на сеновал, чихая в душистой пыли, он рисовал перед товарищами планы:

— Воду выкачаю оттеда, дверцы поисправлю, жизнь там такую налажу — во! Малина! Ни директоров, ни латыни.

Трудно приходилось ему в каменном закуте гимназии. У него была голова горячая, как кавун на июльской бахче. С трудом постигал он премудрости науки. На крохотном родном хуторке в выселках двором была вся степь — конца-краю не видать. Он привык орать на верблюдов, и долго баламутила гимназическую чинную тишину его зычная глотка.

— Гавря,— вызывал его преподаватель.

— Га?!?— гаркал в ответ на весь класс Степка и получал выговор.

Неугомонный, бежал он «на войну», но был возвращен с первой станции. Снова бежал — и опять был пойман. Об этом он не любил вспоминать.

ВВЕРХ НОГАМИ

У него были забавные и необычайные понятия о жизни. Прежде чем правильно понять что-нибудь, он всегда сначала видел это «вверх ногами». Рассказывали, что он сначала даже читал книги «вверх ногами». Это произошло таким образом. К старшему брату Сергею приходила учительница. Сергей учился читать. Степка был еще мал тогда для науки, ему не давали букваря. Учительница, положив перед собой букварь, занималась с Сергеем, а Степка, забравшись с локтями на стол с другой стороны, внимательно слушал их уроки. Степка видел перевернутые буквы. Так он и запомнил. Так он научился читать. И читал он справа налево, держа книгу перевернутой. Насилу переучили его.

После посещения баржи георгиевских инвалидов Степка стал очень серьезным. Он где-то пропадал все время, таскал какие-то книжки. Часто заходил он к нам на кухню и беседовал с Аннушкиным солдатом... Сюда же заходил пленный австриец-чех Каардач. Они горячо спорили. Однажды после этого Степка сказал мне немного растерянно:

— Вот оказия! Опять, выходит, прежде это дело вверх тормашками плановал. Фу-ты ну-ты! А насчет Атлантиды — это я полный болван. Жизню и тут можно наладить неплохо. Вот, понимаешь, задачка на все четыре действия.

КАНУН

На базаре голодные бабы в хлебном хвосте избили городского голову. Ночью тревожно выли собаки. Слабо трещали караульные трещотки в неумелых руках самоохранников.

С утра заседала городская дума. Волга дышала стылым и неуютным ветром. Ветер кидал на берег стружки волн. По улицам в пыльном вальсе кружились обрывки воззваний: «Граждане!.. Учредительное собрание...»

В четыре часа за Волгой, в Саратове, уронили что-то очень тяжелое. Шарахнулся ветер. Попробовали задребезжать окна.

...Баммм...

Еще раз, сдвоенно:

Ба-бм... бамммм!..

Казалось, выбивают чудовищной скалкой невиданный многоверстный ковер. В Покровске люди останавливались и, задирая головы, смотрели в небо. В небе метались галки. Кучки любопытных зачернели на крышах, как это бывает обычно, если далеко пожар. Снизу кричали:

— Эй вы там... Як? Бачите?

— Бачи́м,— солидно отвечали с крыши,— як на картине. Ось бабахнуло.

— Кто кого?

— Та не разберешь. Кажись, юнкера.

С крыши гимназии было видно: над Саратовом возникали маленькие белые комочки дыма. Потом они сразу разбухали в темные рваные облака. Через полминуты, мягко глуша, ложился на крышу тяжкий удар. К ночи над Саратовом встало багровое зарево. В эту ночь в Покровске не зажигали огней. Ночь была лиловой и воспаленной.

УРОК ИСТОРИИ

В девять утра, как всегда, побежали по площади длиннополые фигурки в серых шинелях. В ранцах урчали, перекатываясь, пеналы.

Тусклое утро село в классы. Заскрипела под невыспавшимся историком кафедра. Дежурный, заученно крестясь, отбарабанил молитву. Подавая журнал, дежурный, как требовалось, заявил:

— В классе нет Гаври Степана...

Историк не выспался. Он зевал и скреб подбородок.

— И вот император Юстиниан Великий и... ыыэх-хе-хе... Федора... (Зевота одолевала его.) И Фе-ыаа-ха-ха-дора...

Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах, в то время как рядом, за Волгой, живые люди делали историю. Класс шумел. Алеференко, решившись, встал:

— Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет вот того, что сейчас в России.

— Господа,— возмутился педагог,— во-первых, я вам не газета — это раз. А потом, вы слишком молоды, чтоб разбираться в политике. Да-с. Итак, Юсти...

— Ты-то больно стар!— пробурчали сзади.— Замашки прежние!

— Что-о? Встаньте и стойте.

— Не вставай, Колька!— заволновался класс.— Подумаешь, Юстиниан Великий!

— Вон из класса!

Но тут с улицы вошел новый, мощный, густой, все покрывающий звук. Крылья ветра несли его. Это гудел костемольный завод. И сейчас же отозвался голосистый свисток в депо. Тонкими дискантами запели вразнобой лесопилки на Щуровой горе. Засвистела мельница. Консервный загудел далеким шмелем. А на Волге отчаянно и залихватски закричал пароходик.

Утро пело.

В класс вбежал инспектор. Смятение, как муха, запуталось в его бороде. В классе никто не встал.

ДЕНЬ, НЕ ЗАПИСАННЫЙ В КОНДУИТЕ

Харькуша, Аннушкин солдат, ораторствовал на берегу. Он стоял на мостках и размахивал здоровой рукой. Можно было подумать, что он дирижирует гудками. Мы протиснулись сквозь толпу.

К берегу быстро подходил пароход. Пароход назывался «Тамара». Он уверенно шлепал по воде плицами колес. Под носом у «Тамары» росли сивые пушистые усы пены. Красный флаг стремился оторваться от мачты. Пароход подходил. На палубе его стояли люди и пулеметы. У людей были усталые лица, но стояли они твердо, будто припаяны были к палубе.

К Покровску причаливала революция. На мостике ходил капитан с красной повязкой на рукаве. Рядом с ним с винтовкой через плечо, сбив блин фуражки на затылок, стоял Атлантида. Я узнал стоявших возле него знакомых рабочих с лесопилки.

— Елки-палки, Степка!— закричали гимназисты.— Атлантида! Вот ты где!

Аккуратный Петя Ячменный озабоченно покачал головой:

— Как же ты на занятиях не был?.. Попадет тебе.

— Попаде-от?— засмеялся Степка, перемахнув через перила и прыгая на пристань с причаливающего парохода.—

Нет, шалишь! Гроб ему, кондуиту-то, теперь полный. Крышка!.. Будя!..

Пароход, бросив чалки, шипел и топтался у пристани. Капитан командовал в рупор. На палубе выстраивались люди с красными повязками.

— Наши,— с гордостью указал на них Атлантида.

— Большевики,— зашептали в толпе.

— Готово!— сказал капитан.

КОНЕЦ КОНДУИТА

Весной, в конце последней четверти, мы жгли учебные дневники. Таков был древний гимназический обычай. Но на этот раз он приобретал совсем особый смысл, и мы все чувствовали это.

На дворе пылал огромный костер. Вокруг сгорающих единиц, пылающих выговоров и истлевающих отученных дней мы скакали в диком индейском танце.

— Ура!— декламировали мы хором в триста глоток.— Уррра! Мы жжем! последние! дневники старого режима! Больше уже не будет их! Конец дневникам! Крышка «безобедам», смерть кондуитам! Ура! Горят последние в истории гимназические дневники! Огонь пожирает страницы позора и зубрежки. Горят дневники старого режима!

Биндюг и Степка пробрались в пустую учительскую.

Шкаф с кондуитом был заперт. Белка щекотала хвостом нос пыльной Венеры. Громадный глаз-муляж из папье-маше изумленно уставился на гимназистов. Тогда Биндюг ногой проломил филенку.

Кондуит был извлечен.

— В огонь кондуит!— завопил Атлантида, появляясь на крыльце с толстым кондуитом в руках.— Поджарим, ребята, Цап-Царапову брехню!

Но всем захотелось потрогать «Голубиную книгу», прочесть в ней о себе, раскрыть ее тайны. На костре сожгли все кондуитные журналы прошлых лет. Последний же кондуит был прочтен у костра вслух, и немало потешались мы над его злыми страницами. Его решили сохранить «для истории». Хранителем кондуита был избран Степка. Искателю Атлантиды принадлежала добрая четверть скандальной чести всех кондуитных записей.

Горели старые кондуиты. Корежились в огне их прочные переплеты... На крыльцо вышел старшеклассник Форсунов, член городского Совета депутатов.

— Товарищи,— обратился он к гимназистам,— минутку тишины. Совет депутатов постановил убрать из гимназии старорежимников: Ромашова, Тараканиуса, Ухова и Монохордова. Нам дадут новых учителей. Мы выберем своих ребят в педагогический совет. Мы начнем учиться по-новому. Кондуит кончился.

С торжествующими кличами, неся впереди разоблаченную и бессильную «Голубиную книгу», вопя и завывая, маршировали вокруг догорающего костра триста парней в маренго. Мы справляли неслыханную тризну по кондуиту.

Черные хрупкие страницы шевелились в золе.

Блуждающие острова

КРАПИВА И ПОГАНКИ

Лето 1918 года мы провели в Каршандарской ривьере, на севере Швамбрании, и в деревне Квасниковке, в двенадцати километрах на юг от Покровска.

Все лето прошло в боях. Мы кровожадно колошматили крапиву и вытаптывали целые поселения поганок. При этом, конечно, пострадало много невинных сыроежек и безобидных одуванчиков. Лето было дождливое, и зелень одолевала нас. Но наконец нам удалось захватить в плен самого Мухомора-Поган-Пашу. Это был чудовищный гриб! Ножка его была величиной с кеглю, а красно-бурая шляпка, нашпигованная белыми бугорками, выглядела словно щедрый ломоть какой-то огромной колбасы. Несомненно, это был грибной вождь.

С великими почестями несли мы домой Мухомора-Пашу. Мы шли под тенью гриба. Вдруг впереди из оврага поднялись на дорогу двое мужчин.

Они пошли нам навстречу.

— Вот так зонтик! Черт те возьми! — сказал один.

Он был лопоух, и уши двигались, когда он говорил. На нем был зеленый френч в лохмотьях и обмотки. Колкие волосики торчали на небритом подбородке. И весь он похож был на крапиву. Я даже ощутил внутри какой-то зуд, когда он посмотрел на нас.

— У меня внутри зачесалось,— сознался потом и Оська.

В это время подошел другой, скаля гнилые зубы.

Это был бледный, тщедушный человек в парусиновой косоворотке и большой грибообразной шляпе. Трухлявую поганку напоминал он.

— Не дадите ли нам отведать сего лакомого яства, о юноши? — сказал человек-поганка.

— Не скупердяйничай, братишка,— сказал крапивный человек,— нам шамать требуется. А теперь все общее, даже, между прочим, грибы. Правильно, братишки?

— А откуда вы знаете, что мы братишки? — удивился Оська.

— Мне все насквозь известно,— отвечал крапивный человек.

— Теперь все братья,— добавил человек-поганка и торжественно продолжал:— Молодые люди! Судя по мечам вашим, вы, я вижу, доблестные рыцари. О братья-разбойники, поддержите в тяжелую годину своих страждущих собратьев! Иначе я в муках голода съем ваш гриб из семейства ядовитых и скончаюсь на ваших глазах в ужасных конвульсиях.

— Очень просто! Я лично даже без конфузий,— сказал крапивный человек,— нам помереть ничего не стоит.

Он, к нашему ужасу, откусил кусочек мухомора и тотчас же стал кончаться у нас на глазах... Человек-поганка хотел рвать на себе волосы, однако у него это не вышло, ибо он был лыс. Мы были подавлены. Но в наступившей тишине мы вдруг услышали, что внутри мертвеца что-то громко, часто и мелко стукает.

— У него еще сердце ходит,— робко объявил Оська.

— Это дух в меня входит и выходит, братишки,— горестно сказал мертвец.— Погибаю я, бедный мальчик, через революцию с голоду... И за что я кровь свою лил?.. Зовите, братишки, вашу мамочку... Пусть спасет меня, сироту. Скажите ей — погибает человек и меняет часы на сало.

Человек-крапива принялся вынимать из карманов галифе часы, часики, будильники, хронометры, секундомеры... Мы зачарованно взирали на это богатство. Окрестности Квасниковки заполнились тиканием...

КОМИССАР ПРОВЕРИЛ ВРЕМЯ

Через полчаса вызванные нами дачники и квасниковские бабы окружили приятелей. Крапивный человек вытаскивал из сумки и уже заводил часы-ходики и часы с кукушкой, а человек-поганка с ловкостью факира тянул из живота шелковую материю. При этом он худел у всех на глазах. Затем он стал вынимать из вещевого мешка два чернильных прибора, ночные туфли, маленький аквариум (правда, без рыб), икону, щипцы для завивки, несколько граммофонных пластинок, собачий ошейник, крахмальную манишку, эмалированное судно и мышеловку. А шляпа его оказалась матерчатым абажуром для лампы.

— А машины швейной не будет? — спросила какая-то баба.

— Была,— ответил человек поганка,— да под Тамбовом сменял.

Товарообмен шел бойко, а тем временем крапивный человек ораторствовал, как на митинге.

— Вот, дорогие дамочки, уважаемые бабочки и прочие,— заливался крапивный человек,— до чего нас довели эти това-

рищи большевики... А мы за них свою рабочую кровь и всю сукровицу до последней капли отдали, дорогие дамочки, уважаемые бабочки... Оба мы из города Питера.

— Комиссар катит!— закричал какой-то мальчишка.

И ловкие приятели быстро упрятали все в мешки.

— Покажь документ,— сказал приехавший из города комиссар Чубарьков, вылезая из тарантаса.— Ну, будя агитировать!

— Свой, а треплешься,— спокойно отвечал крапивный человек.

— Я те покажу «свой»!— грозно сказал Чубарьков и опустил руку в карман.— Предъявь документ, спекулянт чертов! Мешочник...

Человек-поганка, трясясь, вынул бумажку. На ней значилось: «Предъявитель сего помощник бухгалтера. . и научный работник».

У крапивного человека документа совсем не оказалось, и он сам огорчился.

— А ну,— сказал товарищ Чубарьков,— складывай барахло и сыпь отсюда без оглядки, пока я вас не забрал... и точка. Наплодилось вас тут, словно поганок!..

— У нас ничего нет!— сказал человек-поганка.— Мы просто мирные пешеходы. Без всякой частной собственности. Можете обыскать.

— Некогда мне валандаться с вами!— сказал комиссар.— Скажи спасибо, ехать мне надо в Анисовку, поди, уже три часа.

«Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...»— пропела кукушка в сумке у крапивного человека.

ПОКОРЕНИЕ БРЕШКИ

Покровск очень изменился в наше отсутствие. Базара не было. Знакомые буржуи подметали площадь. Среди них был хозяин костемолки. И мы зачеркнули в реестре несправедливости пункт второй. На том месте, где Земля закругляется, выстроили трибуну, а из окна большого дома на Брешке, где обычно раньше тявкал на гуляющих упитанный фокстерьер, глядел теперь, расставив лапы, пулемет. Над окном свисал красный флаг с двумя буквами: «Ч» и «К».

В городе мы еще раз встретились с крапивным человеком. Он командовал погромом.

Погром начали дезертиры. Громили винно-гастрономический магазин, отобранный у богача Пустодумова. Толпа с утра окружила магазин и потребовала выдачи вина. Зеркальные витрины безмолвно отражали беснование толпы. Тогда

крапивный человек железным прутом ударил по стеклу. Стекло отчетливо провизжало слово «зигзаг»...

Через час Брешка была пьяна. Бабы на коромыслах несли ведра портвейна. На Брешке стояли винные лужи. Вино текло по водосточным канавам. Люди ложились на землю и пили прямо из канавы. Гимназисты обнимались с солдатами. Предназначаемые для детского дома апельсины рассыпались по Брешке. В апельсинах рылись свиньи. Большая обвислая хавронья купалась в болоте из мадеры. На углу страдал пестрый боров. Его рвало шампанским.

Примчался на тарантасе, соскочив на ходу, Чубарьков.

— Именем революционного порядка, пожалуйста, прошу...— сказал комиссар.

— А раньше-то?— отвечали ему гимназисты.

Комиссар Чубарьков уговаривал, просил, требовал и предупреждал.

— Все общее!— кричала пьяная орава за крапивным человеком.— Кровь, сукровицу лили...

И тогда в окне большого дома закляцал, забился пулемет... Он ударил над Брешкой, выпустил первую очередь поверх хмельных голов, и трусливую Брешку вымело.

Мы вспомнили с Оськой, как, играя на подоконнике в Швамбранию, мы расстреливали своим воображением Брешку. Но тогда Брешка была неуязвима.

Через полчаса красноармейцы вытащили из подвала магазина утопленника. Человек упал, должно быть, в подвал и захлебнулся в вине.

Чубарьков подошел к трупу. Он взглянул и, узнав, покачал головой.

— Ку-ку,— сказал комиссар.

ЕДИНСТВЕННАЯ ТАЙНА ШВАМБРАНИИ

Степка Атлантида прислал мне еще в Квасниковку записку. «Здорово, Леха!— было написано в ней.— Первого приходи в гимназию. Будет открыта Един. Т. Ш. Ох и лафа будет! С. Гавря».

Я долго расшифровывал это «Един. Т. Ш.», и вдруг меня осенило. Един. Т. Ш.! Ясно: Единственная Тайна Швамбрании — вот что это значило. Кто-то разоблачил тайну ракушечного грота, выпустил королеву и нашел записку... Степке теперь было известно про Швамбранию, и он собирался ее открыть для всех. Мы с Оськой были потрясены. Грубая действительность бесцеремонно вторгалась в наш уютный мир.

Но дома мы нашли печати на дверцах грота нетронутыми. Внутри, в сумраке и паутине, отбывала срок королева — хра-

нительница тайны. Откуда же Степка узнал о Швамбрании? Я решил поговорить с ним начистоту. Степка был сам не чужд фантазии и заработал свое прозвище постоянной мечтой об Атлантиде. Я подумал, что Швамбрания и Атлантида могли бы стать союзными государствами.

Степка встретил меня с ликованием. За лето он вырос и поважнел.

— Ходишь?— спросил Степка.

— Хожу,— отвечал я.

— Существуешь?— спросил Степка.

— Существую,— отвечал я и нерешительно спросил:— А откуда ты про... Е. Т. Ш. узнал?

— Подумаешь, откуда!— хмыкнул Степка.— Все ребята уже знают...

— Раззвонил!— с тоской сказал я.— Эх ты, а еще друг, товарищ... Мне ведь Швамбрания лучше жизни нужна.— И, оправдываясь, я рассказал Степке всю правду о стране вулканического происхождения. Я звал атлантов стать союзниками швамбран.

Степка слушал с интересом. Потом вздохнул и погасил разгоревшиеся было глаза.

— Я про Атлантиду больше не мечтаю,— сказал Степка твердо.— На что она мне нужна теперь, Атлантида! Мне нынче и без нее некогда! Революция. Это при царском режиме всякие тайны были... А теперь и без секретов дела хватает. А Швамбранию — вы это толково выдумали,— признал Степка.— Только Е. Т. Ш.— это из другой губернии вовсе. Это вместо гимназии будет Е. Т. Ш.— единая трудовая школа, значит!

ТОЧКА, И НА!

Первого числа над гимназией взвился красный флаг. Мы собрались на дворе. Бодрый август сиял и звенел. Заведующий, Никита Павлович Камышов, вышел на крыльцо.

— Здравствуйте, голуби!— сказал Никита Павлович.— С обновкой вас. Вы теперь уже не гимназисты сизые, а ученики советской единой трудовой школы. Поздравляю вас.

— Спасибо!— ответили мы.— И вас также!

— А так как,— сказал Никита Павлович,— меня Совет назначил комиссаром народного здравоохранения, то с вами сейчас будет говорить новый временный заведующий, он же военный комиссар, товарищ Чубарьков. Прошу любить и жаловать.

Чубарькова встретили без аплодисментов. Чубарьков сказал:

— Товарищи! Вы образованные, а я был, между прочим, темным грузчиком. Вас книжка учила, а меня — несчастная жизнь. И вот я хочу прояснить о школе, о том, что есть такая единая и трудовая. Первым делом — почему школа, товарищи? Потому что это есть школа, а не что-либо подобное. Школа для всеобщего народного образования. Точка. Отчего трудовая? Потому что она для всех трудящихся и обучает всяким трудам, умственным и физическим. Точка. А единная оттого, что не будет теперь всяких гимназий и прогимназий да институтов благородных дамочек. Все ребята равные теперь и по-одинаковому будут науку превосходить. А чтоб с этого была польза революции, именем революционного порядка прошу быть поаккуратнее, занятия соблюдать, и все будет у нас хорошо, как говорится: точка, и ша!

— А раньше-то?— закричали Биндюг и два-три старшеклассника.— Долой комиссара! Даешь Никиту Павловича!

— Именем революционного порядка,— сказал Чубарьков,— пожалуйста, прошу быть посознательней. Никита Павлович назначен Советом на должность. И точка. Это раньше здравия желали только их благородию, а теперь всему народу здравие будет. Должность серьезная. Тем более, от тифа сейчас нам большая угроза. И ша!

В школьный совет назначили товарища Чубарькова, учителя Александра Карлыча Бертелева, члена городского Совдепа Форсунова, Степку Атлантиду и еще двух старшеклассников. Кое-кто из гимназистов тихонько свистел. Потом Чубарьков объявил, что ввиду полного равноправия женского элемента мы будем теперь учиться вместе с девчонками. Точка, и ша!

ДЕЛИКАТНАЯ МИССИЯ

При слиянии мужской и женской гимназий классы так разбухли, что никак не уместились бы в прежних помещениях. Пришлось раздвоить классы на основные и параллельные, на «А» и «Б». Мы организовали специальную комиссию для выбора девочек в наш класс. Председателем выбрали меня, помощником — Степку. Полчаса мы оправлялись перед зеркалом в раздевалке. Все складки гимнастерки были убраны назад и заправлены за пояс. Кушаки нам затянул первый силач класса Биндюг. Груди выпирали колесом. Но дышать было почти невозможно. Мы терпели. Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. Желающих плюнуть оказалось очень много. Но Степка позволил плюнуть только мне.

— Плювай пожидче,— сказал он,— только, чур, не харкать.

Я добросовестно плюнул. Степка пригладил вихры.

— Ох, вид у вас боевой!— сказал Биндюг, заботливо оглядывая нас.— Фасон шик-маре!.. Они в вас там повлюбляются по гроб жизни. Вы только покрасивше выбирайте.

Захватив с собой в качестве почетного эскорта-караула еще пятерых, мы отправились в женскую гимназию. У девочек шли уроки. Тишины и мира был полон коридор. Из-за дверей классов ползли приглушенные реки и озера, тычинки и пестики, склонения и спряжения... В углу громоздились друг на друге старые парты, а рядом стояло новенькое пианино, конфискованное у какого-то буржуя.

— Захватим музыку,— предложил Степка.

В четвертом классе урок, как мы заранее узнали, был «пустой», так как не пришла учительница русского языка. Чтоб занять время, классная дама велела девочкам читать вслух, а сама, сидя на кафедре, вышивала платочек. Пухлая гимназистка с выражением читала:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?..

— Это мы,— раздался голос из коридора.

Двери класса распахнулись настежь, и в класс, победоносно грохоча, въехала невиданная процессия. Она превзошла все швамбранские вымыслы.

Впереди, как танки, ползли гуськом две парты. В отверстия для чернильниц были вставлены флаги. На партах прибыли мы со Степкой, а за нами в класс величественно въехало пианино.

Пять человек катили его, подталкивая сзади. Ролики пианино верещали по-поросячьи. На пюпитре стоял список учеников нашего класса «А». На подсвечниках висели наши фуражки, а левая педаль была обута в лапоть, подобранный во дворе...

— Вот и приехали!— сказал Степка.— У вас ведь урок пустой?

Девочки растерянно молчали.

— Что это такое?!— истерически взвизгнула классная дама.

Она так закричала, что в гулком пианино заныла и долго не могла успокоиться какая-то отзывчивая струна.

— Это мирная депутация,— сказал я и стоя сыграл на пианино вальс: «На сопках Маньчжурии».

Дама хлопнула дверью. Девочки немного успокоились.

— Уважаемые равноправные девочки!— начал я.— Равноправные девочки!— повторил я и затем еще более горячо:— Я хочу вам сказать, что я хочу рассказать...

Девочки улыбались окончательно. Я осмелел и бойко объяснил девочкам, что мы теперь будем учиться вместе и будем как подруги и товарищи, как братья и сестры, как Минин и Пожарский, как «Кавказ и Меркурий», как Шапошников и Вальцев, как Глезер и Петцольд, как Римский и Корсаков...

— А как сидеть?— спросила высокая и строгая девочка.— Мальчишки отдельно или на одной парте с девочками? Если на одной, я не согласна.

— Мальчишки будут за косы дергать,— сказала басом толстая гимназистка,— или целоваться начнут.

Наша депутация изобразила бурное возмущение. Я с негодованием сыграл «Бурю на Волге», а Степка даже плюнул и сказал:

— Тьфу! Целоваться... Лучше уж жабу в рот!

— А в «гляделки» можно играть?— спросили хором самые маленькие ученицы с огромными бантами на макушках.

— «Гляделки»?— задумался я.— Как по-твоему, Степка?

— «Гляделки», я думаю, можно,— снисходительно сказал Степка.

Когда ряд других немаловажных деталей был выяснен и церемония окончена, мы принялись довольно бесцеремонно вербовать себе одноклассниц.

Девочки спешно прихорашивались.

Первой я записал Таю Опилову, обладательницу толстой золотой косы.

— Я сегодня не в лице,— сказала в нос Тая Опилова,— у бедя дасборг (у меня насморк)...

Записывая девочек, мы тут же в своем списке пометили: около фамилии строгой девочки — Бамбука, около двух маленьких — Шпингалеты, рядом с толстой — Мадам Халупа. Затем были еще Соня-Персоня, Фря, Оглобля, Букса, Люля-Пилюля, Нимурмура, Шлипса и Клякса.

А девочки, которых мы не выбрали, называли нас дураками.

— Ну,— сказал Степка, когда мы вышли,— теперь в классе придется без выражений, пока не привыкнут.

Во дворе встретилась депутация нашего класса «Б». Произошло крупное объяснение по поводу того, что мы опередили их. Нам слегка испортили наш вид и настроение.

«СОБАЧЬЯ ПОЛЬКА»

В амбарном городке вымирают голуби. Ветер шуршит в пустых амбарах страшным словом «разруха».

— Свистит разруха сквозь оба уха,— говорит наш сто-

рож Мокеич, горестно наблюдая за тем, что творится в школе.

А в школе происходят такие громкие дела, что лошади на улице пугливо косят глаза на нас или шарахаются на другую сторону улицы. Целый день гремит в школе «собачья полька»: одним пальцем — до! ре! ре!.. до! ре! ре!.. си! ре! ре! Пианино волокут по коридору. Его возят из класса в класс на свободные уроки.

Класс обращается в танцульку. Ученики открыто уходят с уроков. «Карапетик бедный, отчего ты бледный?.. Оттого я бледный, потому что бедный...»

Учитель после звонка ловит в коридоре учеников и умоляет их идти на урок.

— Вы же хорошо учились,— с отчаянием говорит добрый математик Александр Карлыч, поймав меня за рукав.— Идемте, я вам объясню преинтересную штуку относительно тригонометрических функций угла. Прямо удивитесь, до чего интересно. Чистая беллетристика.

Из вежливости я иду. Мы входим в пустой класс. До, ре, ре!.. До, ре, ре!— слышится из соседнего. Александр Карлыч садится за кафедру. Я занимаю переднюю парту. Все чин чином, только учеников нет. Класс — это я.

— Пожалуйте к доске,— вызывает меня математик.

Рядом с доской я вижу расписание уроков на завтра. Ого! Завтра трудный день! Пять уроков. Первый урок — пение, второй — рисование, третий — чай, четвертый — ручной труд, пятый — вольные движения.

— Ну-с, начнем,— обращается Александр Карлыч к пустому классу.— Дан угол альфа...

До! ре! ре!.. До! ре! ре!.. Си! ре! ре...

«ВНУЧКИ» БЕСФОРМЕННЫЕ

Мы выросли и торчали из своих гимназических шинелей, как деревья сквозь палисад. Пуговицы на груди под напором мужества отступали к самому краю борта. Хлястик, покинув талию, стягивал лопатки. Но мы стойко донашивали старую форму. На блеклых фуражках синела бабочкой тень удаленного герба.

Однажды товарищ Чубарьков привел в класс семерых новичков. Одеты они были пестро, не в форме, и держались кучкой за кожаной спиной Чубарькова. Но пояса у всех были одинаковы. На пряжках были буквы «В. Н. У».

Комиссар сказал классу:

— Прошу потише. Затем здравствуйте. Точка. Следующий вопрос. Ввиду того что теперь школа единая, все долж-

ны учиться заодно — сообща. Будьте знакомы. Это вот из Высшего начального училища. Подружайтесь.

— Долой внучко́в! — закричали сзади. — Не будем учиться с внучка́ми! Мы средние, а они начальные!

Чубарьков обернулся в дверях.

— Кто вместе со всеми не желает, — сказал он, — тот может, пожалуйста, получить метрики самостоятельно! И ша! — сказал комиссар и ушел.

«Внучки́» остались робеть у кафедры.

— Здравствуйте, буржуазия, — сказал смуглый «внучок» Костя Руденко, по уличному прозвищу Жук, знакомый нам по старым дракам на улице. — Здравствуйте, ребята и девочки, — вежливо сказал Костя Жук.

— А по по не по? — серьезно спросил Биндюг.

(— А по портрету не получишь? — перевели наши сзади.)

— А ра-то вы ме би? — спокойно сказал Костя Жук.

(— А раньше-то вы меня били? — растолковали нам «внучки».)

В классе уже начали отстегивать с рук часы, чтобы не повредить их в драке. Девочки принимали часы на хранение.

— Эх ты, внучок бесформенный! — сказал Биндюг, грозно подойдя к Косте Руденко. — Тоже туда же... Из начального в гимназию вперся! Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы... А тоже лезут...

— Вы — среднее учебное заведение, а мы — высшее, хоть и начальное, — хитрил Костя Жук. — Мы больше вашего учили... Вот скажи, где бывает полусумма оснований?

Биндюг сроду не встречал «полусуммы оснований».

— Чихал я на твои полусуммы оснований! — свирепел он. — Вот приложу тебе сейчас печать на удостоверение личности, так будешь знать...

Но он был смущен. Я видел, что многие из наших ребят торопливо рылись в учебниках. Я знал, «где бывает полусумма», и поднял руку, чтоб спасти честь класса.

Степка Атлантида крепко ударил мою ладонь и сбил ее вниз.

— Без тебя обойдутся, — тихо сказал Степка. — Так ему и надо, Биндюгу! Молодчага этот внучок. Уел наших... Присаживайся, ребята, на свободные вакансии, — громко сказал он «внучкам».

«Внучки» несмело рассаживались. Отчужденное молчание класса встретило их. Костя Жук подсел к Шпингалеткам (так прозвали у нас двух неразлучных маленьких учениц).

— Неподходящее знакомство! — сказали хором обе Шпингалетки.

Они тряхнули бантами и напыщенно отодвинулись.

МАТЧ В «ГЛЯДЕЛКИ»

Девочки ввели в класс много новшеств. Главным из них были «гляделки». В эту увлекательную игру играл поголовно весь класс. Состояла она в том, что какая-нибудь пара начинала пристально глядеть друг другу в глаза. Если у игрока от напряжения глаза начинали слезиться и он отводил их, это засчитывалось ему как поражение. У нас были лупоглазые чемпионы и чемпионки. Был организован даже турнир — чемпионат «гляделок». Весело и незаметно проходили уроки.

Матч на звание «зрителя-победителя» всего класса длился подряд два урока и часть большой перемены. Состязались Лиза-Скандализа и Володька Лабанда. Два с половиной часа они не сводили друг с друга невидящих глаз. В этот день даже на уроке физики учитель был поражен необычайной тишиной в классе. Не понимая, что происходит, физик объяснил устройство ватерпаса. Потом он на цыпочках ушел.

К концу большой перемены Володька Лабанда закрыл рукой воспаленные глаза. Он сдался. Лиза все глядела исподлобья, неподвижно. И девочки, торжествуя, предприняли «всеобщее визжание, или детский крик на лужайке». А мы удрученно заткнули уши.

Но Лиза-Скандализа, странно наклонив голову, продолжала глядеть исподлобья в одну точку. Обе Шпингалетки заглянули в ее лицо и испуганно отскочили. И мы увидели, что глаза Лизы закачены под лоб. Лиза давно была в обмороке.

УЧИТЬСЯ БЫЛО НЕКОГДА

Класс старался все-таки при девочках держаться пристойно. С парт и стен были соскоблены слишком выразительные изречения. Чтоб высморкаться пальцами, ребята деликатно уходили за доску. На уроках по классу реяли учтивые записочки, секреты, конвертики: «Добрый день, Валя. Позвольте проводить вас до вашего угла по важному секрету. Если покажете эту записку Сережке, то я ему приляпаю, а с вашей стороны свинство. Коля. Извините за перечерки».

Каждый вечер устраивались «танцы до утра». На этих вечеринках мы строго следили, чтоб с нашими девочками не танцевали ребята из класса «Б». Нарушителей затаскивали в пустые и темные классы. После краткого, но пристрастного допроса виновника били. Друзья потерпевшего, разумеется, алкали мести, и вскоре эти ночные побоища в пустых клас-

сах приобрели такие размеры, что старшеклассники стали выставлять у дверей дежурных с винтовками. Винтовки остались от «самоохраны». Иногда дежурные для убедительности палили в черную пустоту. К выстрелам танцующие быстро привыкли.

Биндюг, участвовавший в погроме магазина, устроил в классной печке небольшой винный погребок. Не брезговала его угощением и Мадам Халупа. Это была толстенькая, великовозрастная тетка. Ее побаивались не только девочки, но и ребята. Одного из обидчиков она всенародно выпорола его же ремнем на кафедре. Меня же Мадам Халупа однажды так грохнула головой о кафельный пол, что я лишь пять минут спустя ощутил себя снова живым, и то лишь наполовину.

Степка Атлантида ходил мрачный. Родители учеников встречали его и попрекали.

— Ну что?— говорили они.— Добились? Весело вам теперь учиться? Срам на весь город, больше ничего. Ведь это ж извините что такое, а не школа!

Степка пытался уговорить разыгравшихся хуторянских сынков. Его поддерживали «внучки» и кое-кто из приятелей.

Нас не слушали.

— Когда же учиться?— грустно спрашивали мы.

— Некогда нынче этим делом заниматься,— отвечал Биндюг,— не старый режим. Хватит!

— Дурак!— сказал Костя Жук.— Нынче нам только и учиться по-правдашному.

— Это вам, внучкам-большевичкам, образования не хватает,— сказал Биндюг,— а наш брат, старый гимназер, обойдется... Не учи ученого.

В Швамбрании в этот день тоже загорелся ученый спор между графом Уродоналом Шателена и Джеком, Спутником Моряков. Началась война.

ШИШКА НА РОВНОМ МЕСТЕ

На большой перемене нам раздавали сахар. Нас поили горячим чаем. Такой роскоши в старой гимназии мы не знали.

Теперь каждый получал большую кружку морковного настоя и два куска рафинада. В Покровске почти не было сахара. Я пил школьный чай несладким и нес драгоценные кусочки домой. Там ждал меня верный Оська. Он встречал меня неизменной фразой.

— Большие новости!— говорил он и тотчас сообщал мне о событиях, происшедших за день в Швамбрании.

Я отдавал ему сахар. Мы любовались зернистыми и ноздреватыми кубиками. Мы клали их в коробочку. Она вмещала в себя сахарный фонд Швамбрании. Фонд был неприкосновенен. Он предназначался для каких-то грядущих пиров. Лишь в воскресенье мы съедали по куску на обеде у президента Швамбранской республики. Фонд рос. Мы мечтали о толщине будущих сахарных напластований, об огромных сладких параллелепипедах, о рафинадных цитаделях. Приторная геометрия этих грез вызывала восторженное слюнотечение.

Но однажды сахар вызвал кровопролитие.

Я был выбран ответственным раздатчиком сахара по нашему классу. Это была не столько сладкая, сколько уважаемая всеми должность. В моей честности не сомневались.

— Ишь ты,— говорили мне,— комиссар продовольствия... Шишка на ровном месте.

А Биндюг, парень наглый и предприимчивый, предложил раз мне хитрую сделку. Дело касалось лишних порций, выданных классу на отсутствующих учеников. Биндюг предлагал не возвращать в канцелярию этот оставшийся сахар, а оставить себе и делиться с ним. Эта заманчивая комбинация сулила, конечно, необыкновенный урожай швамбранского сахара. Будь это в старой гимназии, я не только бы не сомневался — я бы счел долгом надуть начальство. Но теперь в совете сидели свои же ребята. Они доверяли мне, допустили к сахару, и я не мог их обманывать.

Я отказался, замирая от гордой честности. В тот же день Биндюг отплатил. Во время раздачи сахара несколько кусочков свалилось на пол. Я нагнулся под парту, чтоб поднять их. В это время Биндюг резко рванул меня за шиворот вниз. Я шибко ахнулся об угол скамейки. На лбу вспухла зловещая шишка и протекла кровью. Два кусочка рафинада порозовели. Девочки сочувственно глядели мне в лоб и советовали примочить. Я продолжал раздачу, стараясь не закапать рафинад. Себе я взял два розовых кусочка. Тая Опилова дала мне свой платок. Окрыленный и окровавленный, я пошел в комнату рядом с учительской. На дверях был прибит красный лоскут. В комнате был дым, шум и винтовки.

— Товарищи,— сказал я в дым и шум,— вот, я пострадал через общественный сахар... и вообще, ребята, я давно уже на платформе... Будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в сочувствующие.

Шум упал, а дым сгустился. И мне сказали:

— Да тебя за сочувствие папа в угол накажет... да еще клистир пропишет, чтоб не сочувствовал... Он у тебя доктор.

Дым скрыл мое огорчение.

Тем не менее я всю неделю ходил с шишкой на лбу. Я носил шишку, как орден.

ДЫХАНИЕ—34

...И плакали о нем дети в школах.
«Шехерезада», 35-я ночь

В это утро я вышел в школу немного раньше, чем обычно. Надо было получить сахар в Отделе народного образования. На Брешке, у «потребиловки», где были расклеены на стене свежие газеты, стояла большая тихая толпа. Она заслонила мне середину газеты, и я видел лишь дряблую бумагу, бледный, словно защитного цвета, шрифт, заголовок «Извѣстія» через «и с точкой» и слово «Совет», в котором еще заседала буква «ять».

«Бои продолжаются на всех фронтах»,— прочел я сверху. Между головами людей я видел отрывки обычных телеграмм:

...на Урале мы продолжаем наступление, и нами занят ряд пунктов. На Каме наши войска отошли к пристани Елабуга. Американские войска высадились в Архангельске. В Архангельске рабочие отказываются поддерживать власть соглашателей... Борьба повстанцев на Украине продолжается.

В самом низу, под чьим-то локтем, я разглядел мелкий шрифт вчерашней газеты:

Продовольственный отдел Московского Совета Раб. и Красноармейских депутатов доводит до сведения населения г. Москвы, что завтра, 30 августа, хлеб по основным карточкам выдаваться не будет... По корешку дополнительной хлебной карточки и для детей от 2 до 12 лет по купону № 13 будет отпускаться 1/4 фунта хлеба...

Необычайно молчаливо стояла толпа у газеты, и я не мог понять, что такое произошло. Вдруг, расталкивая народ, вперед быстро протиснулся пленный австрийский чех Кардач и с ним двое красногвардейцев. Кардач был бледен. Обмотка на одной ноге развязалась и волочилась по земле.

— Читай,— сказал он.

И кто-то, добросовестно окая, прочел:

30 августа 1918 года. 10 часов
40 минут вечера

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.

Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина...

Спокойствие и организация. Все должны стойко оставаться на своих постах. Теснее ряды!

Председатель ВЦИК Я. Свердлов.

Кардач, ошеломленный, неверящими глазами смотрел в рот читавшему.

Потом он ударил себя кулаком в щеку и замычал:

— М-м-м...

— «Одна пуля, взойдя под левой лопаткой...»— сбиваясь, читал кто-то.

— Так,— спокойно сказал Биндюг и, оторвав уголок газеты, стал крутить собачью ножку.

Кардач кинулся на него. Он схватил Биндюга за плечи и стал трясти его.

— Я из тебя самого собачий нога закрутить буду!— кричал Кардач.

Красногвардейцы тоже двинулись на Биндюга. Он вырвался и ушел не оглядываясь.

Я побежал в школу.

Ленин ранен!.. Ленин! Самый главный человек, который взялся уничтожить все списки мировых несправедливостей, и он ранен!!!

...Школа гудела. На полу в классе лежали, опершись на локти, «внучки» и несколько наших ребят.

На полу был разложен анатомический атлас, взятый из учительской. Путаясь в нем карандашом, мы решали: опасно или как?..

Костя Жук сидел на парте, подперев щеку рукой. В другой он держал перочинный ножик.

— А вдруг если... помрет?..— уныло спрашивал Костя.

И вырезал на парте: ЛЕНИН.

Пришел сторож Мокеич, хранитель школьного имущества.

Он строго поглядел на Костю и уже раскрыл рот, чтобы сделать ему выговор за порчу народного достояния. Но потом вздохнул, помолчал немного и ушел.

По лестнице бухали тяжелые шаги. У дверей с красным лоскутом старшеклассники складывали винтовки.

На большой перемене в класс пришли члены совета: Форсунов и Степка Атлантида.

Степка только что вернулся из Саратова и привез последние сообщения.

«Состояние здоровья товарища Ленина...— прочел Форсунов,— состояние здоровья... по вечерним бюллетеням, значительно лучше. Температура — 37,6. Пульс — 88. Дыхание — 34».

— Лелька,— сказал мне Атлантида,— Лелька, у нас к тебе просьба. У тебя папан — врач. Позвони ему по телефону, как он насчет товарища Ленина думает...

Через несколько минут я прижимал к уху трубку, еще теплую от предыдущего разговора. Почтительная толпа окружала меня.

— Больница?— сказал я.— Доктора, пожалуйста... Папа? Это я. Папа, наши ребята и совет просят тебя спросить... о товарище Ленине. У него дыхание — тридцать четыре. Как ты считаешь? Опасно?..

И папа ответил обыкновенным докторским голосом.

— С полной уверенностью сказать сейчас еще нельзя,— сказал папа,— случай серьезный. Но пока нет поводов опасаться смертельного исхода.

— Скажи ему спасибо от нас,— шепнул мне Степка.

В этот день на уроке пения мы разучивали новую песню. Называлась она красиво и трудно: «Интернационал».

Дома Оська сказал мне, как обычно:

— Большие новости...

— Без тебя знаю,— поспешил оборвать его я,— всем уже известно. Папа сказал: может поправиться.

Это был первый вечер без игры в Швамбранию.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НОВИЧКА

А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.

Маяковский

Оську приняли в школу. Оська получил документы.

Временно заведующий первой ступенью маляр и живописец Кочерыгин написал на них такую резолюцию: «Хотя сильный недобор года рождения, но принять за умственные способности. Уже может читать мелкими буквами».

Мама пришла из школы и с сюрпризом в голосе позвала Оську.

— Приняли!— сказала гордая мама.— Только жаль, что теперь форму отменили,

— У нас сколько много теперь сахару будет!— мечтательно сказал Оська.— И мне будут выдавать.

Я же прочел Оське краткую лекцию на тему: «Новичок, его права и обязанности, или как не быть битым».

Надев мою старую фуражку, Оська пошел в школу. Фуражка свободно вращалась на голове.

— Зачем картуз такой напялил?— спросил Оську временно заведующий, заглядывая ему под фуражку.

— Для формы,— ответил Оська.

— Больно уж ты клоп,— покачал головой временно заведующий.— Куда тебе, такому мальку, учиться?

— А вы сами Федо́ра великая...— сказал Оська, от обиды перепутав адрес моих наставлений, и вовремя замолк.

— Так нельзя говорить,— сказал Кочерыгин.— А еще докторов сын! Вот так благородное воспитание!

— Ой, простите, это я спутал нечаянно!— извинился Оська.— Я вовсе хотел сказать — маленький-удаленький.

— А правда можешь про себя мелкими буквами читать?— спросил с уважением заведующий.

— Могу,— сказал Оська,— а большие буквы даже через всю улицу могу и вслух, если на вывеске, и наизусть знаю...

— На вывеске!— умилился бывший живописец.— Ах ты, малек! Наизусть помнишь? Ну-ка, какие вывески на углу Хорольского и Брешки?

Оська на минуту задумался; потом он залпом откатал:

— «Магазин «Арарат», фрукты, вина, мастер печных работ П. Батраев и трубная чистка, здесь вставать за нуждою строго воспрещается».

— Моя работа,— скромно сказал временно заведующий.— Я писал.

— Разборчивый почерк,— сказал вежливый Оська.

— А как теперь на бирже написано?— спросил временно заведующий.

— «Биржа» зачеркнуто, не считается. «Дом свободы»,— ответил без запинки Оська.

— Правильно,— сказал временно заведующий.— Иди, малек, можешь учиться.

— Новенький, новенький!— закричал класс, увидев Оську.

— Чур, на старепьком!— поспешно сказал Оська, помня мои наставления.

Класс удивился.

Оську не били.

УЧИТЕЛЬ В МАСКЕ

Преподавателем гимнастики был у нас в школе борец Ричард Синягин, Стальная Маска, бывший грузчик. В саратовском цирке происходил в то время международный чемпионат французской борьбы. Ричард Синягин ездил в Саратов бороться, и арбитр Бенедетто называл его при публике «борец-инкогнито — Стальная Маска». Вскоре афиши оповестили всех, что назначена «решительная, бессрочная, без отдыха и перерыва, до результата» схватка Стальной Маски и Маски Смерти. Все это было, конечно, сплошное жульничество. Борцы добросовестно пыхтели условленные заранее сорок минут, и потом Стальная Маска старательно уложила себя на лопатки. Когда ладони зрителей вспухли и цирк стих, арбитр объявил, осторожно ломая руки:

— Увы!.. Маска Смерти победила в сорок пять минут, правильно... Под Стальной Маской боролся чемпион мира и города Покровска Ричард Синягин.

На другой день в школе Синягин весь урок оправдывался, что его положили неправильным приемом. Класс, однако, выразил ему порицание. Тогда, чтобы доказать свою силу, Синягин позволил желающим вскарабкаться на него. Человек восемь взобрались на Синягина. Они лазили по нему, как мартышки по баобабу. Потом Синягин поднял парту, на которой сидела Мадам Халупа с двумя подружками. Он поднял парту со всеми обитателями и поставил ее на соседнюю.

— Вот,— сказал он,— а вы говорите...

И урок кончился.

«МИР — ЭТО ЧЕМПИОНАТ»

Школа всегда уважала силачей. Теперь она стала их боготворить. «Гляделки» были позабыты, французская борьба целиком завладела школой. Она стискивала нас в «решительных и бессрочных», тузила, швыряла «суплесами» и «тур-деганшами» по классам, по коридорам. Она протирала наши лопатки кафелями полов. И только лопатки Мартыненко-Биндюга ни разу не касались пола. Биндюг был чемпионом классных чемпионов, непобедимым чемпионом всей школы и ее окрестностей.

Все это, конечно, не могло не отразиться на государственном порядке Швамбрании. Мир всегда был в наших головах рассечен на две доли. Сначала это были «подходящие и неподходящие знакомства». Затем мореходы и сухопутные, хорошие и плохие. После памятного разговора со Степкой

Атлантидой стало ясно, что мерка «хороший» и «плохой» тоже устарела. И теперь мы увидели иное расслоение людей. Это было наше новое заблуждение. Мир и швамбраны были разделены на силачей и слабеньких. Отныне жизнь швамбран протекала в непрерывных чемпионатах, матчах и турнирах. И чемпионом Швамбрании стал некто Пафнутий Синекдоха, геройством своим затмивший даже Джека, Спутника Моряков, и уложивший на обе лопатки графа Уродонала Шателена.

Оська совершенно помешался на французской борьбе. В классе своем он был самый крохотный. Его все клали, даже «одной левой». Но дома он возмещал издержки своей гордости. Он боролся со стульями, с подушками. Он разыгрывал на столе матчи между собственными руками. Руки долго мяли и тискали одна другую. И правая клала левую на все костяшки. Самым серьезным и постоянным противником Оськи был валик-подушка с большого дивана. И часто в детской разыгрывались такие сцены.

Оська, распростерши руки, лежал на полу под подушкой, будто бы придавленный ею.

— Неправильно!— кричал Оська из-под подушки.— Он мне сделал двойной нельсон и подножку...

В реванше подушка оказывалась непобежденной, и ее наказывали во дворе палкой, выколачивая пыль.

Затем Оська свел Кольку Анфисова, чемпиона первой ступени, с Гришкой Федоровым, Гришка Федоров был вторым силачом нашего класса. Встреча состоялась в воскресенье у нас на дворе. Приготовления начались еще накануне. Мелом очертили «ковер». Круг подмели и посыпали песком. Когда воскресные зрители собрались и во дворе стало тесно, Оська вынул дудочку. Я провозгласил:

— Сейчас будет, то есть состоится, борьба между двумя силачами: Анфисовым (первая ступень) и Федоровым (вторая ступень). Борьба бессрочная, честная, без отдыха и волыники, решительная, до результата... Маэстро, туш!.. Оська, дудни еще раз! Запрещенные приемы известны. Жюри, значит — судьи, займите места у бочки.

Оська, Биндюг и дворник Филиппыч сели на скамейку у бочки. Я объявил матч открытым.

Чемпионы пожали друг другу руки и мягко отскочили. Анфисов был высок и костист. Маленький, коренастый Федоров походил на киргизскую лошадку. Несколько секунд они крадучись ходили один вокруг другого.

Потом вдруг Анфисов крепко обхватил Федорова, зажав ему руки.

Зрители окостенели; даже ветер упал во дворе.

— Ослобони руки-то!— крикнул Филиппыч.

— Руки!— крикнули второступенцы.

— Правильно!— сказали первоступенцы.

Я засвистел. Оська загудел. Жюри поссорилось. Анфисов под шумок уложил Федорова.

— Ура!— закричали первоступенцы.— Правильно!

— Ладонь еще проходит!— сказали наши.— Неправильно!

Но, как я ни старался, ладонь моя не могла протиснуться под прижатыми к земле лопатками нашего чемпиона. Клеймо позора прожгло нас насквозь. Федоров поднялся смущенный, отряхиваясь.

— Приляг еще разок,— насмешливо сказал Биндюг,— отдохни!

Будущее показалось нам сплошным кукишем.

Мальки ликовали. Тогда Биндюг ринулся на них. Он швырнул наземь их чемпиона и занялся потом избиением младенцев. Он загнал мальков в угол двора и сложил их штабелем.

РЕШИТЕЛЬНАЯ, ДО РЕЗУЛЬТАТА

В это время в калитку вошел с улицы Степка Атлантида.

— Извиняюсь, в порядке ведения вопрос,— сказал Степка,— что тут за драка на повестке дня?

Я рассказал Степке, что произошло. Биндюг развалил штабель малышей в барахтающуюся пирамиду и подошел к нам.

— Такие здоровые бугаи,— сказал Степка,— а в борьбе играются. Нашли забаву в такой текущий момент!

— Брешешь, Степка, большая польза для развития,— возразил Биндюг.— Вот, потрогай мускулы... Здорово? То-то и оно-то! Который силач, ему плевать на всех. Вы вот с Лелькой к внучкам почему подлипаете? Трусы потому что. Силенка слаба, так думаешь, своя компания заступится. Эх вы, фигуры! А мне ваша компания не требуется. Я сам управлюсь. Во кулак!

— Здоров кулак, а головой дурак,— сказал Степка.— Ну скажи, чего ты сам собой, в одиночку, добиться можешь? А мы тебя компанией, или, научно сказать, обществом, если вместе решим, так в два счета... Вот наша сила!

— Конечно, если все на одного,— сказал Биндюг.— Только это уж не по-честному.

— А когда работали все на одного, это по-честному было?— спросил Степка.— Сколько у твоего батьки пузатого на хуторе народу батрачило?

— А ты, что ль, не хуторянин?— огрызнулся Биндюг и почернел от внезапно прорвавшейся злобы.

— Ты не равняй, пожалуйста,— спокойно отвечал Степка.— У нас хуторишко был с гулькин нос, а у вас и сад, и палисад, и река, и берега — целая усадьба.

— Да ваши же товарищи там чертовы теперь коммуну развели, а нас выгнали...

— Выгнали... Не беспокойся, знаю... Хлеб в погребе схоронили. А я своего батьку заставил всю разверстку отдать. Эх, и въехало же мне от матери! Я у Коськи Жука ночевал... А после он у меня... Мы все один за одного стоим. Вот против таких, как ты вроде...

— Значит, против старого товарища пойдешь?— тихо спросил Биндюг.

— Был ты мне товарищ,— еще тише сказал Степка.

Молчание, похожее на тень, прошло по двору. Потом Биндюг шумно вздохнул и пошел к калитке. Он уходил сутулясь, и его лопатки, нетронутые лопатки чемпиона, выглядели так, словно только что коснулись поражения.

Э-МЮЭ И ТРОГЛОДИТЫ

На другой день класс решил урок алгебры посвятить разбору поединка Биндюга с Атлантидой. Биндюг угрюмо отнекивался. Но вместо ожидавшегося математика Александра Карлыча в класс вошел незнакомый старичок в чистеньком кителе. Он был хил, близорук и лыс. Вокруг лысины росли торчком бурые волосы, лысина его была подобна лагуне в коралловом атолле.

— Что это за плешь?— мрачно спросил Биндюг.

И класс загоготал.

— Э-мюэ... Эта?— спросил старичок, тыкая пальцем в склоненную лысину.— Это моя. А что?

— Ничего... так,— сказал не ожидавший этого Биндюг.

— Может быть, теперь лысые.., э-мюэ.., запрещены?— приставал старичок.

Класс с уважением смотрел на него.

— Нет, пожалуйста, на здоровье,— сказал Биндюг, не зная, как отделаться.

— Ну спасибо,— прошамкал старичок.— Давайте познакомимся.— Э... э-мюэ... Я ваш педагог истории, Семен Игнатьевич Кириков. Э-мюэ... Добрый день, троглодиты!

Слово было новым и незнакомым, и мы растерялись, не зная, похвалил нас старичок или обидел. Тогда встал Степка Атлантида. Степка спросил Кирикова:

— Вопросы имеются: из какого гардероба вы выскочили — раз. И чем вы нас обозвали — два. Это насчет троглодитов.

Троглодиты затопали ногами и требовательно грохнули партами.

— Сядьте, вы, фигура!— сказал Кириков.— Троглодиты — это... э-э-эм... э... допотопные пещерные жители, первобытные люди, наши, э-мюэ, пра-пра-пра-прародители, предки... ну-с, э-мюэ... А вы — молодые троглодиты.

— Это, выходит, я — троглодитиха?— грозно спросила Мадам Халупа.

— Ну, что вы!— учтиво зашамкал Кириков.— Вы уже целая мамонтша или бронтозавриха.

— Свой!— восторженно выдохнул класс.

Старичок оказался хитрым завоевателем. Класс был покорен им к концу первого урока. Даже требовательный Степка сперва признал, что «старикан — подходящий малый». Прозвище новому историку нашлось быстро. Его прозвали «Э-мюэ», что по-французски обозначало «е» немое. Кириков не говорил, а выжевывал слова, при этом мямлил и каждую фразу разбавлял бесконечными «э-э-э-мюэ»... Э-мюэ не обижался на троглодитов. Он был весел и добродушен. Девочки наши обстреливали Кирикова записочками.

Э-мюэ называл нас в одиночку фигурами.

— Фигура Алеференко!— говорил он, вызывая.— Воздвигнитесь!

Алеференко воздвигался над партой.

— Ну-с, фигура,— говорил Э-мюэ,— вспомним-ка, э-мюэ, пещерный житель... О чем мы беседовали прошлый раз?

— Мы беседовали о кирках и каменном веке,— отвечал троглодит Алеференко.— Очень скучное и доисторическое. Ни войны... ничего.

— Садитесь, фигура,— говорил Э-мюэ.— Сегодня будет еще скучнее.

И он нудной скороговоркой отбарабанивал следующую порцию доисторических сведений. Отбарабанив, он разом веселел, ставил у двери дозорного и оставшиеся пол-урока читал нам вслух журнал «Сатирикон» за 1912 год или рассказывал свои охотничьи похождения. И внимательная тишина была одной из почестей, воздаваемых Кирикову. Ликующая лысина его постепенно окружалась ореолом славы и легенд. Несмотря на свою близорукость, Э-мюэ разглядел распад класса на партии, и он сам стал делить нас на троглодитов (гимназистов) и человекообразных («внучков»). Это окончательно полонило души старых гимназистов.

Но иногда проглядывало, казалось мне, в этом добродушном старичке что-то неуловимое, злое и знакомое. Оно вста-

вало в конце некоторых его шуток, видимое, но непроизносимое, как э-мюэ, как немое «е» во французском правописании.

МАМОНТЫ В ШВАМБРАНИИ

Примерно на четвертом своем уроке Э-мюэ обратился к нам с большой речью. В этот день он даже шамкал и мямлил меньше, чем обычно. Но от него пахло спиртом.

— Троглодиты и человекообразные!— сказал он.— Я хочу зажечь святой огонь истины в ваших пещерах... Я расскажу вам, почему меня заставляют рассказывать вам о троглодитах, а об императорах запрещают... Слушайте меня, первобытные братья, мамонты и бронтозаврихи... э-э-мюэ... История кончилась...

— Нет, нет! Не кончилась... звонка еще не было!— возразили из угла.

— Какая это там амеба из простейших так высказалась?— спросил Кириков.— Я же говорю не об уроке истории, а о... э-э-мюэ... об истории человечества... о прекрасной, воинственной, пышной истории... Круг истории замыкается. Большевики повернули Россию вспять... э-э-мюэ... к первобытному опрощению, к исходному мраку... Хаос, разруха... Керосина нет... Мы утратим огонь... Мы оголимся... мануфактуры нет... Наступает звериное опрощение, уважаемые троглодиты... Железные тропы поездов зарастут! Э-э-мюэ... догорит последняя спичка, и настанет первобытная ночь...

— Какая же ночь, когда электричество всюду проведут?— вскочил Степка Атлантида.

— Брось! Правильно!— сказал Биндюг.— У нас на хуторе коммуна все поразоряла.

— Долой про первобытное! Даешь про рыцарей!— закричали из угла.

Класс затопал. Троглодиты скакали через парты.

— Станем же на четвереньки, милые мои троглодиты,— веселился Э-мюэ,— и вознесем мохнатый вой извечной ночи, в которую мы впадаем... Уы! У-у-у-ы-ы-ы!!!

— Уы-уы!— обрадовался новому развлечению класс.

Некоторые, войдя в роль, забегали на четвереньках по проходу. Остальные корчились от хохота. Кто-то запел:

Ды темной ночки
Ды я боюся,
Троглодитка
Моя Маруся!
Эх, Маруся

Троглодитка!
Брось трепаться,
Проводи-ка...

Кириков шаманил на кафедре. Опять что-то знакомое прошло по его гримасничающей физиономии. Но я не мог уловить это скользкое «что-то». Меня самого захватило зловещее веселье класса. Хотелось полазить на четвереньках и немножко повыть. Отсутствие хвоста огорчало, но не портило впечатления. Я уже чувствовал, как гнется почва Швамбрании под шагом вступающих на нее мамонтов.

— Ребята! Ребята! Хватит!— закричал опомнившийся Костя Жук.— Степка, скажи им, он им очки затер. Да Степка же!..

Но Степка исчез. «Неужели сбежал?»— испугался я. И мамонты, подняв хоботы, как вопросительные знаки, остановились в нерешительности на границе Швамбрании.

В класс вбежал председатель школьного совета Форсунов. За ним, как запоздавшая тень, явился Степка. Троглодиты мигом очутились в двадцатом веке. Мамонты бежали с материка Большого Зуба. Лысина Кирикова померкла.

— За такое агитирование можно и в Чека,— тихо сказал Форсунов.

— Буржуй плешивый,— сказал Степка, высовываясь из-за плеча Форсунова.— Саботажник!

— Э-мюэ,— сказал Кириков,— я просто излагал вкратце идеи э-э-мюэ, анархизма. Голый человек на голой земле, никакой частной собственности.

— Поганка!— радостно закричал я неожиданно для самого себя.— Поганка!— уверенно повторил я.

В это мгновение я поймал в памяти крапивного человека, Квасниковку, часы, Мухомор-Поган-Пашу и частную собственность лысого мешочника. И «Э-мюэ»—«е» немое стало «е» открытым.

Разоблачение состоялось. Кирикова убрали. Человекообразные приветствовали его изгнание. Но троглодиты во главе с Биндюгом не покорились. Они стали готовиться к расправе с «внучками». Троглодиты тайно назначили на завтра вселенский хай.

— У нас завтра утром будет варфоломеевская ночь,— шепотом сообщил я ночью Оське.

Оська, и наяву всегда путавший слова, спросонок говорит:

— Готтентотов убивать? Да?

— Не готтентотов, а гугенотов,— отвечаю я,— и не гугенотов, а внучков, и не убивать до смерти, а бить.

— Леля,— спрашивает вдруг сонный Оська,— а в Риме, в цирке, тоже троглодиторы представляли?

— Не троглодиторы, а гладиаторы,— говорю я.— Троглодиты — это...

Несколько заблудившихся мамонтов все-таки бродят еще по Швамбранин. Я рассказываю Оське, что они скрываются среди огромных донсторнческих папоротников.

— Папонты пасутся в маморотниках,— повторяет Оська во сне.

ВСЕЛЕНСКИЙ ХАЙ

Вселенский хай изобрели уже давно. Это была высшая и чудовищная форма гимназических бунтов. Вселенский хай объявлялся прежде всего лишь в крайних случаях, когда все иные методы борьбы с начальством оказывались бесплодными. При мне в гимназии он еще ни разу не проводился. Лишь изустные гимназические легенды хранили память о последнем вселенском хае. Он произошел в 1912 году, когда исключили из гимназии трех инициаторов расправы с директорским швейцаром. Швейцар фискалил на учеников; его расстреляли тухлыми яйцами.

Итак, троглодиты решили объявить Великий всеобщий вселенский хай. Командовал хаем Биндюг. Он пришел в класс немного озабоченный, но спокойный. Школа в это утро застыла в недобром благочинии. Никто не громыхал на пианино «собачьей польки», никто не боролся, никто не состязался в «гляделки». После звонка бурный всегда коридор сразу иссяк. По его непривычно безлюдному руслу прошли недоумевающие педагоги.

Тишина встретила их в классе.

У нас первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Мелковский с опаской заглянул в класс. Едва он показался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Человекообразные и Степка даже запоздали. Меня тоже поднял с места общий рывок. Все стояли, чинно вытянувшись.

— Что вы?.. Садитесь, садитесь,— замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада.

Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру — ничего, не взрывается — и неуверенно взошел на нее.

— Дежурный, молитву!— скомандовал Биндюг.

— Обалдел?— спросил Степка.

Класс угнетающе затих.

— Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святого, дарствующего...— зачастил дежурный Володька Лабанда.

Кое-кто по привычке крестился.

— Я лучше, может, уйду?— пробормотал совершенно сбитый с толку учитель.

Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в «добрые» гимназические времена, дежурную скороговорку.

— В классе отсутствуют...— читал Лабанда,— в классе отсутствуют: Гавря Степан, Руденко Константин, Макухин Николай...— И он прочел фамилии всех «внучков».

— Стой! Ты чего?!— вскочили «отсутствующие»,— Какого черта! Мы здесь!

— Сейчас начнете отсутствовать,— нахально сказал Биндюг.— Троглодиты, считаю хай открытым!— И, засунув два пальца в рот, Биндюг засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах.

За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще восемь свистков и в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны. «Внучков» волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окна. Шелестя страницами, летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали «детский крик на лужайке». В классе шло чернилопролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем, всем, всем!— было написано на доске.— Долой к черту человекообразных внучков! Да здравствует С. И. Кириков! Требуйте его возвращения!»

Через пять минут в школе не осталось ни одного человекообразного. Патрули троглодитов охраняли выходы. Парты встали на дыбы.

Начался Всеобщий Великий Вселенский Хай.

«БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ НА ВСЕХ ФРОНТАХ»

Комиссар привязал лошадь к дверной ручке вестибюля. Потом он подтянул сапоги и застучал каблуками по коридору. Коридор был пуст. Все ушли на экстренное собрание. Собрание происходило в большом классе, переделанном в зрительный зал. На сцене за столом глядел председателем и победителем Биндюг. По бокам его сидели Форсунов и старшеклассник Ротмеллер, сын богатого колбасника. Ротмеллер только что кончил говорить, Форсунов смотрел в стол.

Вход в зал охранял патруль троглодитов. «Внучки», избитые, запачканные и почти уже не человекообразные, осаждали дверь. Троглодиты расступились перед комиссаром. За его широкой спиной проскочил Степка Атлантида. Но троглодиты вытащили его обратно в коридор.

— Даю слово комиссару Чубарькову,— провозгласил Биндюг.

— Точка, и ша!— хором крикнул зал.

— Что это за хай?— спросил комиссар.

— Вселенский!— дружно отвечали ему.

— Постойте же, ребята!— сказал комиссар.

— Мы не жеребята!— крикнул зал.

— Товарищи!— сказал комиссар.

— Мы тебе не товарищи!— издевался зал.

— Как же вас изволите величать?— рассердился комиссар.

— Тро-гло-диты!— хором отвечал зал.

— Как? Крокодилы?— сказал комиссар.— Ну, ша! Считаю, уже время кончить... И точка.

— А раньше-то?!— нагло и язвительно спросил зал.

— Что — раньше?!— закричал вдруг Чубарьков, и в голосе его громыхнуло железо.— Что раньше?! Глупая это присловка. Раньше-то вы перед директором пикнуть не смели, и точка. Стал бы он с вами разговоры разговаривать! Живо бы в кондуит, или сыпь на все четыре...

— И точка!— крикнули оттуда, где сидели самые заядлые троглодиты.— И ша! И хватит! Даешь Семена Игнатьевича!

Троглодиты бушевали. Но зычный бас грузчика-волгаря Чубарькова, уже привыкшего к тому же говорить на митингах, нелегко было переорать.

— Удивляюсь, удивляюсь я на вас!— медленно и веско говорил комиссар, и в зале постепенно стихло.— Неужели вы в понятие войти не можете? Ведь вам новое ученье дают. Про одних царей что интересного учить? А в единой трудовой будут весь народ изучать. Откуда вышел, из чего получился и все развитие... А Кириков, который, между прочим, мешочник и спекулянт, чистую ерунду, брехню форменную вам порол. Какая же тьма, когда ученье — это свет? Только свет этот при старом режиме от народа хоронили, чтоб у рабочего да мужика очи не прозрели. А сколько теперь народу учиться пойдет — соображаете? Я вот, скажем,— и Чубарьков застыдился,— я, как только немножко управимся, тоже поеду в Питер учиться. Зачем же вы, товарищи... и эти... крокодилы, позволяете разным всяким вредным людям, которые есть гады, молодые глаза ваши от правды отводить и не даете другим хлопцам из этой самой первобытной тьмы вылазить на свет? Чем они до вас не вышли? Что, у ихних батек пузо меньше?

В этот момент произошло то, о чем долго ходили потом всякие легенды... В коридоре раздался оглушительный топот, шум и крики сторожа Мокенча: «Стой, куда те?..»

Патруль троглодитов у дверей вдруг раздался в стороны, и в класс галопом влетел на комиссаровой лошади Степка Атлантида. За ним, сметая остатки патруля, в залу вторглись «внучки».

— Тпррр!— сказал лукавый Степка.— Товарищ комиссар, она отвязалась, я ее еле уцапал.

Лошадь легонько заржала.

— Извиняюсь,— сказал комиссар, обращаясь, очевидно, к лошади,— сейчас кончаю, и точка. Я думаю так, ребята: пошумели, и тихо. Проголосуем формально, и ша!

Биндюг неспокойно шептался с Ротмеллером. Степка, не слезая с комиссарового коня, пытливо оглядывал лица троглодитов. Конь деликатно подбирал тонкие ноги, словно боясь отдавить кому-нибудь мозоль. За столом на сцене поднялся Биндюг. Прежней уверенности в нем уже не было. Степка опять стал героем дня.

— Объехали вас на кобыле, как маленьких,— сказал Биндюг.

Зал принял это безучастно. К столу на сцене подошел, серьезный, как всегда, Александр Карлович Бертелев, математик.

— Друзья!— сказал Александр Карлович, теряя от волнения пенсне.

Несколько минут затем он сослепу яростно хлопал ладонью по столу, будто ловил кузнечика. Наконец Александр Карлович настиг пенсне, и мир снова приобрел для него отчетливость. Он продолжал:

— Друзья, я политики не касаюсь и к митингам вашим непривычен... Если я сейчас взял слово, то с чисто научной точки зрения. Дело в том, что Семен Игнатьевич, не в обиду ему будь сказано, по нашему недосмотру преподносил вам недопустимый вздор, несусветную чушь!.. Это просто болтовня и мракобесие, которое не выдерживает никакой критики и с чисто научной точки зрения. Революция в итоге ведет к прогрессу, она приобщает к науке огромные свежие пласты людей... А вы, друзья, хотите им помешать. Вы не имеете права! Как можно?! Это же преступление с научной точки зрения! Многие товарищи... внучки, как вы их называете... наделены, например, недюжинными математическими способностями... Скажем, Руденко. Прекрасно усваивает! А вы, друзья, отравлены неискоренимым духом старой гимназии и привыкли считать уроки каким-то зазорным занятием. Стыдно! В за-

ключение я позволю себе рассказать исторический анекдот. Некогда римский цезарь Калигула ввел на заседание сената своего коня и приказал всем сенаторам кланяться ему. Я бы, друзья, ни за что не поклонился этому надменному коню. Но если сегодня присутствие на нашем собрании коня товарища Чубарькова способствует установлению в школе порядка и дружбы, то сегодня я от имени науки охотно склоняю голову перед нашим четвероногим гостем.

И Александр Карлович поклонился лошади. Конь испуганно попятился от оглушивших зал аплодисментов. Голосование принесло полное поражение Биндюгу и его троглодитам. Все поклялись, что с завтрашнего дня возьмутся как следует за ученье. Потом Степка сказал с лошади маленькую речь. Она посвящалась прозвищу выгнанного историка.

— Э-мюэ,— говорил Степка,— это по-французски все равно что наш твердый знак. Пишется, а не читается... Так, пришей кобыле хвост!— При этом Степка перегнулся в седле назад и для наглядности покрутил хвост комиссаровой лошади.— А твердый знак теперь отменяется. Вот. Я имею предложение. И вам будет легче, и им польза. Написать во Францию письмо от нас рабочим иль ребятам ихним, чтоб они э-мэю выкинули.

Письмо французским ребятам с просьбой отменить э-мюэ приняли с восторгом. Когда мы уже собрались расходиться, в дверь зала быстро вошла группа военных.

— Ага!.. Видите, военной силой нас хотел усмирить!— закричал Биндюг.

Зал окостенел.

— Спокойно, спокойно!— сказал один из вошедших.— Немножко сознательности! Товарищи! Близость фронта заставляет город перейти на военное положение. Помещение школы необходимо штабу Четвертой армии. Товарищ Чубарьков! Распорядитесь очистить завтра.

Стало совсем тихо. И вдруг лошадь комиссара громко втянула в себя воздух и нежно заржала.

У подъезда ей ответили кони 4-й армии.

ШКОЛА КОЧУЕТ

Город стал большим лагерем. На кварталы наматывались бесконечные обозы. Они завязывались узлами на перекрестках. Их распутывали обросшие люди в шинелях. Они владели городом. Ординарцы скакали прямо по тротуарам, получая и сдавая пакеты через окна учреждений. Рыдали, удушенно запрокидывая голову, обозные верблюды. Тягучая слюна их падала на Брешку. Хрипели погонщики: «Тратр!.. Тратр!..

Чок!.. Чок!..» Над Волгой мгновенно вырастали водяные кипарисы взрывов. Потом они бессильно опадали. И на город вслед за тем рушился медлительный удар. На Волге упражнялись в метании ручных гранат.

Подняв хобот орудия, топтался на площади слонообразный броневик. За живыми верблюдами бежали вприпрыжку железные страусы: куцые одноколки с высокими трубами — походные кухни. И нам с Оськой казалось, что на площади играют в наше любимое лото «Скачки в Камеруне»: там на картах тоже торопились слоны, верблюды и страусы... А тут еще у цейхгаузов люди ворочали груду бочек с черными цифрами на днищах. Толстый человек выкрикивал номера, другой смотрел в бумаги и ставил печать, как большую фишку. Иногда подъезжал взмыленный всадник.

— Квартира?— спрашивали его, как спрашивают всегда при игре в лото.

— Все заполнил!— отвечал квартирьер.

И проигравшие заползали спать под грузовики.

На школе уже висела доска со странной надписью: «Травточок». В переводе на русский язык это обозначало, говорят, что-то вроде: «Транспорт авточасти особой колонны». Впрочем, точно значения загадочного слова «Травточок» так никто и не знал. Автомобилей у Травточока было всегда два-три. Зато двор бывшей школы поражал обилием верблюдов. И покровчане не замедлили переименовать Травточок в Тратрчок. Известно, что в переводе с верблюжьего языка на лошадиный «тратрчок» звучало, как «тпрруу» и «но».

Школа кочевала. Сначала нас перевели в здание епархиального училища. Через день вселили в небольшой дом с каланчой. Каланча выглядела, конечно, очень заманчиво и доступно. Она прямо сама просилась, чтобы мы использовали ее для какой-нибудь «шутки»— скажем, плюнуть с нее комунибудь на голову или поднять пожарную тревогу. Но нам было не до шуток. Иная, необыкновенная тревога проникла в тесные классы, и о ней шептались на задних партах. На другой день после вселенского хая Володька Лабанда остановил на улице Александра Карловича.

— Александр Карлович,— сказал Лабанда, потупившись и, как конь, ковыряя ногой землю,— Александр Карлович, вот вы сказали про способность... У Коськи, у Руденко... А я тоже раньше задачки здорово решал. Помните, Александр Карлович? Вы говорили, у меня тоже способность...

— Помню, Лабанда,— сказал учитель.— Отлично помню. У вас безусловно есть математическая жилка. Только лодырь вы.

— Что значит лодырь?— обиделся Лабанда.— Просто почудить охота была, раз сказали, что теперь свобода. А толь-

ко это с вашей стороны, я скажу, несправедливо: одних внучков хвалить. Они теперь вот зазнаются...

— Ага, зацепило!— сказал довольный Александр Карлович.— Вот вы возьмите и нагоните их. Только предупреждаю, трудновато вам будет: они у меня за квадратные уравнения взялись.

— Нагоним,— упрямо сказал Лабанда.— Убиться мне на этом месте, если не нагоним!

АЛГЕБРА НА КАЛАНЧЕ

В тот же день в классе было решено, что «внучки» зазнались, что терпеть это дальше невозможно и что надо нагнать. Девочки обещали не отставать. Мы достали заброшенные учебники, и родители наши были потрясены, увидев нас сидящими над книжками и тетрадями. Отстали мы, как оказалось, весьма изрядно. Пришлось нагонять в школе после уроков и дома до поздней ночи. Голодный Александр Карлович, похудевший на своем скудном учительском пайке, самоотверженно отсиживал с нами лишние часы. Мы крали для него из цейхгауза хлеб и клали на кафедру. Александр Карлович гордо отказывался, но потом, увлекшись какой-нибудь задачей, начинал машинально выщипывать хлебную мякоть и нечаянно съедал все...

Биндюг издевался над нами.

— Тоже свобода, нечего сказать!— говорил он.— Были парни — гвоздь! А теперь зубрилы-мученики. Вы еще отметочки попросите ставить. Тьфу!

Особенно изводил он Степку. Но Степка обращал на это, как он говорил, нуль внимания и фунт презрения и занимался с неутомимым усердием, так как заявил, что революционеры должны и в ученье лезть прямо на баррикады.

За две с половиной недели мы так сильно подогнали по алгебре, что попросили Александра Карловича вызвать кого-нибудь из нас к доске, и он вызвал Лабанду. «Внучки» удивились. Никогда еще класс не замирал в таком волнении. Только мел стучал о доску, выводя жирные белые цифры. Лабанда решал задачу о бассейне с двумя трубами. Все шло благополучно. Через одну трубу вода вливалась, через другую выливалась. Выяснилось, что при их совместном действии бассейн наполнился бы в шесть часов. Но тут вдруг произошла закупорка. Бассейн стал иссякать у всех на глазах. Лабанда оказался на мели. Он кусал ноготь.

— Вы рассуждайте,— сказал Александр Карлович.

— Я рассуждаю,— уныло отвечал Лабанда.— Если из четырех ведер вычесть две трубы...

— Рассуждайте сначала и вслух!— сказал Александр Карлович.

Мы видели ошибку. В самом начале Лабанда поставил в одном вычислении минус вместо плюса. Теперь этот минус всплыл и заткнул трубу. Мы видели ошибку, и нам до смерти хотелось подсказать Лабанде. Но неловко было обнаруживать при «внучках» его бессилие. Но тут мы услышали: кто-то стал все-таки шепотом подсказывать Лабанде. Мы оглянулись и увидели, что подсказывает Костя Руденко-Жук... И тогда класс, прославившийся некогда искусной подсказкой и наглым сдуванием, класс, который величайшим преступлением считал всякий отказ от незаконной подмоги,— этот класс бешено затопал ногами, чтобы заглушить подсказку, и закричал:

— Оставь, Руденко! Не подсказывай! Пусть сам.

Лабанда уверовал в свои силы. Он понатужился немного, поймал ошибку и раскупорил задачу. И чтобы оповестить об этом Покровск, мы подняли на каланче флаг. На флаге было намалевано: «X=18 ведрам».

УСПЕХИ КЛАССА «Б»

Мы радовались недолго. Через два дня Лабанда влетел в класс и объявил, что в нашем классе «Б», о котором мы было позабыли, так как он помещался теперь в другом доме,— в нашем классе «Б» проходят уже уравнения высших степеней с несколькими неизвестными. Это было невероятно.

— Вранье!— закричал класс.

— На!— сказал Степка и протянул Лабанде согнутый палец.— Разогни и не загибай.

— Убиться мне на этом месте!— сказал Лабанда крестясь.

Мы были сражены. Тогда Жук заявил, что сам он уже прошел эти уравнения и готов идти в класс «Б», чтоб решить любую задачу. Но Степка слышать не хотел об этом. Он заявил, что это не фунт изюма, если один только может решить, что опять это получится первый ученик, а надо сделать, чтобы весь класс мог решить. Тогда снова кинулись к учебникам. Мы собирались в школе по вечерам. Костя Жук подтягивал и натаскивал нас. Биндюг не являлся на эти занятия. Он уверял, что «голодное брюхо к ученью глухо», сейчас учиться не время и он без нас любую задачу решит.

Когда все неизвестные были разоблачены, мы предложили нашему параллельному классу «Б» помериться с нами в алгебре. Ребята из «Б» приняли наш вызов. Решили устроить общую письменную по алгебре. Были составлены команды лучших алгебраистов. В команду класса «А» вошли среди

других: Степка Гавря, по прозванию Атлантида, Володька Лабанда, Костя Жук, Зоя Бамбука и я. В последний день в нашу команду записался Биндюг. Мы приняли его с большой неохотой. Он божился, что не подкачает.

НОЧЬ ПЕРЕД ПИСЬМЕННОЙ

Накануне состязаний команда «А» собралась в школе для последней тренировки. Пришел усталый Александр Карлович и больше часа гонял нас по теории. Затем он задал несколько каверзных задач. Мы долго потели над ними, но в конце концов решили и их. Александр Карлович был доволен «с чисто научной точки зрения». Потом он взглянул на часы и схватился за голову: было уже двенадцать часов, по городу, объявленному на военном положении, разрешалось ходить лишь до одиннадцати.

— Ну, товарищи,— сказал Костя Жук,— значит, ночуем в собачьем ящике. Факт!

— Пройдем,— успокаивал Лабанда.— Если остановят, говори, что в аптеку идешь, и все.

Я шел со Степкой. Прожектор поливал тяжелое низкое небо. Где-то пели «Темной ночки да я боюся...». На углу нас остановил патруль.

— Мы в аптеку идем,— сказал Степка,— вот это докторов сын. Пропустите.

— Ну? В аптеку?— обрадовался красноармеец.— Не за касторкой ли?

— Вот именно что за касторкой,— ответил Степка.— Понимаете, такое дело...

— Сейчас тебе пропишут,— сказал красноармеец.— Лапанин! Забери этих и препроводи.

Нас отвели в штаб. Там мы встретили других наших ночных искателей касторки.

Вскоре привели Александра Карловича. Он негодовал со всех точек зрения.

— Александр Карлович!— приветствовал его неунывающий Степка.— Добрый вечер!

— Теперь уже покойной ночи,— сердито сказал учитель.— Спасибо за компанию.

Потом ввели какого-то мрачного мешочника.

— Кто тут последний?— спросил деловито мешочник.

— Я,— сказал Александр Карлович.— А что?

— Я утром за вами буду! Запомните,— строго сказал мешочник, лег на пол и тотчас захрапел.

Качался махорочный дым, изгибаясь под лампочкой. Часовой внимательно разглядывал ранты сапог и легонько

тыкал в них прикладом. Полная нелепица, шла бессонная ночь, ночь перед письменной...

Через два часа нас освободил по телефону Чубарьков. Уже в дверях Александр Карлович что-то вспомнил и вернулся.

С огромным трудом он разбудил мешочника.

— Извините,— сказал Александр Карлович,— но я должен уйти... Так что вам уже придется быть за кем-нибудь другим.

На Брешке нам встретился патруль. Он вел в штаб команду класса «Б». Они тоже готовились к письменной.

— Что?— спросил их Степка.— За касторкой ходили?

— Нет,— отвечали те,— за йодом.

НЕ СТАРЫЙ РЕЖИМ

— Участники, на место!— говорит торжественно главный судья Форсунов.

Невыспавшиеся алгебраисты рассаживаются за партами. Чтобы союзники не могли помогать друг другу, каждого из нас сажают с противником.

Наш Александр Карлович и математик класса «Б» волнуются. Они похожи на менажёров-секундантов, впервые выпустивших на ринг своих боксеров. Александр Карлович подходит к каждому и шепотом говорит:

— Главное — рассуждайте... И не спешите... Не путайте знаки при постановке. Если попадется с пропорциями, они безусловно сядут. Это их слабое место, я знаю... Но главное — рассуждайте.

Форсунов предлагает преподавателям занять места. Александр Карлович и учитель из класса «Б» садятся за большой стол. Там уже сидит сторож Мокеич и пустует стул, оставленный комиссару.

Наша алгебраическая чемпионша Зоя Бамбука выглядит еще строже, чем всегда. Неучаствующие девочки с озабоченными лицами оглядывают парты. Они подливают чернила, пробуют перья, чинят карандаши и желают нам «ни пуха ни пера». Потом они уходят в коридор, где стоят в дверях зрители, и обещают «быть тихо».

Мокеич вынимает большие кондукторские часы с буквами «Р.-У. ж. д.». Форсунов кладет их перед собой. По ним будут отмечать время, которое потратит каждый участник на решение задачи. Если обе команды решат задачу, то команда, у которой сумма времени всех участников окажется меньшей, выигрывает. Она получит премию: двойной паек сахара. Кро-

ме того, первый окончивший задачу награждается званием лучшего математика.

— Ребята!— говорит Форсунов.— Надеюсь на вашу честность. Я при директоре сам первый сдирала был и предупреждаю: все равно при мне ни один черт не сдует. Ясно?

— Новое дело!— обижается Степка.— Своих, что ли, будем обманывать?

Мы все оскорблены в лучших чувствах. Действительно! Не царский режим, чтобы списывать!

— Приготовились!— взывает Форсунов.— Внимание!

ЗАДАЧА С ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ

— «Из двух городов выезжают по одному направлению два путешественника, первый позади второго. Проехав число дней, равное сумме чисел верст, проезжаемых ими в день, они съезжаются и узнают, что второй проехал пятьсот двадцать пять верст. Расстояние между городами — сто семьдесят пять верст. Сколько верст в день проезжает каждый?»

Время отмечено. Путешественники выехали, и все погружаются в задачу. Тишина легла на затылки и пригнула нас к парте. Идет письменная.

Но нет того знакомого удушливого страха, который путал мысли и цифры на старых гимназических экзаменах, когда хотелось руками, зубами зажать лихорадочно и безнадежно истекающее время. А впереди уже мерещился одновременно финишный и позорный столб, осиновый кол, просто «кол»— единица.

Нет! Идет письменная. И не страшно. Александр Карлович ободряюще подмигивает из-за стола. Мы помним, помним! Мы рассуждаем. Все очень просто. Два путешественника А и Б. А и Б сидели на трубе... (Не то, не то!) А догоняет Б. Надо догнать класс «Б».

Топоча и звеня шпорами, входит в класс Чубарьков. Александр Карлович негодующе шикает и бешеными глазами указывает ему на ноги и потом на нас. Комиссар отстегивает шпоры и осторожно, на цыпочках, идет на свое место.

— Кто кого?— шепотом спрашивает он у Форсунова.

— Только начали!— еще тише говорит Форсунов.

Комиссар с уважением смотрит на нас. Проходят беззвучно пятнадцать минут. У меня все идет гладко — никаких дорожных аварий. Бамбука исписала два листа. У Степки бумага чиста. Костя Жук, привстав, бегло проверяет в последний раз уже готовое решение... Он первый!..

Но вдруг по проходу проносится Биндюг. Он бросает свое огромное тело к судейскому столу и победоносно держит над

головой готовую работу. Форсунов неловерчиво берет лист. Результат правилен.

— Точка?— спрашивает комиссар.

— Ша!.— отвечает Биндюг, и коридор восторженно аплодирует.

Биндюг опять победитель.

После звонка судьи проверяют работы и объявляют результат состязания. Из команды «А» решили задачу правильно восемь человек. Из команды «Б»— лишь семь. Мы победили. Мы не только нагнали, мы обогнали. А наш Биндюг — чемпион алгебры. Его качают, хотя он очень тяжел. Биндюг, болтая ногами, летит к потолку. Что-то вываливается из его кармана.

Бамбука наклоняется, подымает и кричит:

— А это что такое?

— Дура,— говорит Биндюг и хочет что-то вырвать у нее.— Дай, дура! Я же для вас старался. Ну, не хотите, черт с вами. Проигрывайте.

В руках у Бамбуки маленькая книжечка. На ней написано: «Ключ и подробные решения ко всем задачам задачника Шапошникова и Вальцева. Часть 2-я».

— Своих!!?!— кричит Лабанда и бьет Биндюга в лицо.

Ответный удар швыряет Лабанду через парту.

Класс отворачивается.

Чубарьков и Мокеич с трудом сдерживают Биндюга. Форсунов объявляет, что класс «А» не перегнал, но догнал класс «Б». Славу и сахар делят пополам.

КРАСНЫЕ БЕЗОБЕДНИКИ

И вот школа ходит по городу. Мы переезжаем из дома в дом. Школа блуждает.

Мы волочим по улицам парты и шкафы, глобусы, классные доски. И навстречу нам двигаются санитары с носилками и катафалками. В катафалки впряжены зловещие дромадеры Тратрчока, транспортной части 4-й армии. На улицах пахнет карболкой. Тиф.

Комиссар Чубарьков совсем сбился с ног. Небритые щеки его так глубоко втянулись, что кажется, будто он обязательно должен прикусывать их. Он перемещает госпитали, уплотняет учреждения, перетаскивает с нами школьное имущество. Его видят на всех улицах сразу: на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке...

— Ша!— раздается на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке.— Крепись, и точка! Чуток еще перемаемся! А там, хлопцы, запляшут лес и горы... Как это говорится: неважная

картина — коза дерет Мартына. А вот наоборот: Мартын козу дерет. Факт!

Однажды он является во временно осевшую школу к концу уроков, охрипший, с запавшими воспаленными глазами и желтым налетом махорки на белых губах. От него пахнет карболкой.

— Товарищи!— сипло и с трудом произносит комиссар.— Прошу вас принести небольшую пользу... Штаб меня на этот вопрос щупал, а я им: ша, говорю, моим хлопцам это ничего не стоит. Они у меня алгебру, как семечки, грызут. Всех неизвестных в известных определяют — и точка... Вот, значит, ребята... Кто хочет оказать пользу революции?

— Даешь!— кричат школьники.

— Смотря какую пользу,— говорит осторожный Биндюг и смотрит на часы.

Тогда комиссар объясняет, что надо спешно расклеить в казарме и на Брешке большие плакаты о сыпняке. Из Саратова еще не прислали, в штабе все вышли. Надо самим нарисовать. Надо написать крупными буквами и нарисовать большую вошь.

Комиссар принес толстый сверток серой оберточной бумаги и сухую краску.

В классе отчаянно холодно. Школа не топлена. На часах — пять. Давно пора по домам.

— Я бы и сам намалевал,— говорит Чубарьков,— да вот таланта у меня нет, и ша. А без таланта и вошь не накорябаешь. Вот у Зон, у Степана и у Лельки — у них получается. Видел я, видел раз, как они на доске карикатуру с меня рисовали. Чистое сходство! Точка в точку.

— Даешь картину с натуры!— озорничает Степка.— Кто на память не помнит, Биндюг своих одолжит. У него сытые.

— Гавря, это неаппетитные шутки,— останавливает его брезгливый Александр Карлович.— Принимайтесь-ка лучше за дело. Это полезнее.

— Ребята,— кричит Степка,— объявляю экстренный урок рисования особого назначения!

— Поздно уже,— раздаются голоса сзади,— и холодно тут.

— Домой бы!— недовольствует кто-то в углу (где сидит Биндюг).— А то как в гимназии «без обеда» в классе посаженные...

— Ах так?— Я вскакиваю на парту.— Ребята,— кричу я,— кто хочет на сегодня записаться в красные добровольцы-безобедники — остаться рисовать на борьбу с тифом? А кто думает, что он в гимназии и что его в классе начальники оставляют, пусть катится! Ну?!

Очень холодно. Очень хочется есть. Шестой час. Биндюг берет книги и уходит. За ним, опустив глаза, стараясь не смотреть на нас, идут к дверям другие. Но их немного. Остался Лабанда, остался Костя Жук, осталась Зоя Бамбука. Остались все лучшие ребята и девочки.

Мы зажигаем коптилки с деревянным маслом. Комиссар растапливает железную колченогую печку — «буржуйку» и варит в консервной банке краску. На полу раскладывается бумага. Художество начинается. Кистей нет. Рисуем свернутыми в жгут бумажками. Детали выписываем прямо пальцами. Буквы наши не очень твердо стоят на ногах. В слове «сыпняк», например, у «я» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходят удачнее. Но Степка затевает спор с Костей Жуком о количестве ножек и усиков.

— Эх ты, Жук! — корит Костю Степка.— Фамилия у тебя насекомая, а сколько ножек у ней, не знаешь.

Большинством голосов мы решаем ножек не жалеть. Чем больше, тем страшнее и убедительнее. И вот на наши плакаты выползают многоножки, сороконожки, стоножки. Мы ползаем по холодному полу, и утомившийся за день комиссар помогает нам. Он мешает краску, режет бумагу, изобретает лозунги. У него нестерпимо болит голова. Слышно, как он приглушенно стонет минутами.

— Товарищ комиссар, вы бы домой пошли,— советуют ему ребята,— вы же вон как устали. Мы тут без вас все сделаем...

Комиссар не сдается и не уходит спать, как мы его ни гоним. Он даже подбадривает нас то и дело и восхищается нашими плакатами.

А в углу, за партой, мы — я и Степка — сочиняем стихотворный плакат. Мы долго мучаемся над нескладными словами. Потом все неожиданно становится на свое место, и плакат готов. Нам он очень нравится. Комиссар тоже должен оценить его. Гордясь своим творением, мы подносим его Чубарькову. Вот что написано на плакате:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей,
Тиф разносит вша,
Точка, и ша!

Но комиссар уперся в плакат невидящими глазами. Он сидит на парте, странно раскачиваясь, и что-то бормочет.

— Чего ж они не встречаются?..— беспокойно шепчет комиссар.— Пущай встренутся... И точка...

— Кто не встречается, товарищ Чубарьков? — спрашиваю я.

— Да они же, А и Б... путе...шественники...

Александр Карлович встревоженно наклоняется к нему. Гибельным тифозным жаром пышет комиссар.

ПЛОХО ДЕЛО

Комиссар при смерти. Об этом только и разговору у нас в классе.

А дома, когда я возвращаюсь из школы, Оська уже в передней говорит мне:

— Знаешь, Леля... А комиссара теперь самоваром лечат. Я слышал, папа по телефону в военкомат звонил и говорит: три дня, говорит, на конфорке его держу.

— Да брось ты, Оська!— не верю я.— Опять ты чего-то кувырком понял. Не смешно уж...

Но Оська упорствует:

— Ну правда же, Леля! Его, наверно, как меня, помнишь, когда ложный круп был, горячим паром надыхивали.

Но тут возвращается из больницы папа. У него такие строгие глаза, что даже Оська, который обычно сейчас же карабкается на него, как на дерево, сегодня стоит в отдалении. Папа снимает пальто. В прихожей сразу начинает пахнуть больницей.

Потом папа идет умываться. Мы следуем за ним. Долго, как всегда, очень тщательно моет он мылом свои большие красивые докторские руки, чистит щеточкой коротко обрезанные ногти. Потом папа принимается полоскать рот, при этом он закидывает далеко назад голову, и в горле у него кипит, как в самоваре.

Мы стоим рядом и следим за этой процедурой, так хорошо знакомой нам обоим. Стоим и молчим. Наконец я решаюсь:

— Папа, а что это Оська говорит, будто комиссара самоваром лечат.

— Каким самоваром? Болтаешь...

— Ты же сам, папа, по телефону говорил,— не сдается Оська,— что третий день держишь комиссара на конфорке.

Папа коротко и невесело усмехается:

— Дурындас! На камфаре мы его держим. Понятно? Инъекции делаем, уколы, каждые шесть часов. Сердце у него не справляется,— объясняет папа, повернувшись уже ко мне и вытирая вафельным полотенцем руки.— Температура, понимаешь, жарит все время за сорок. А организм истощен возмутительно. Абсолютно заездил себя работой человек. И питание с пятого на десятое. Ну вот, теперь и расхлебывай.

— Значит, плохо?— спрашиваю я.

— Что же хорошего!— сердито говорит папа и бросает полотенце на спинку кровати.— Одна надежда — организм богатырский. Будем поддерживать.

— Папа, а долго так?

— Тиф. Сыпняк. Трудно сказать. Ждем кризиса.

В классе теперь, едва я вхожу, меня окружают наши ребята и уже ждущие у дверей старшеклассники.

— Ну как, кризис скоро?.. Что батька твой говорит?

Но кризиса все нет и нет. А температура у комиссара с каждым днем все выше и выше. И сил с каждым часом все меньше и меньше.

Неужели «точка, и ша», как сказал бы сам комиссар в таком случае...

Степка Атлантида и Костя Жук после школы сами бегают к больнице, чтобы наведаться там в приемном покое, как комиссар. Но что им там могут сказать? Температура около сорока одного, состояние бессознательное, бред...

Плохо дело.

ДА — НЕТ...

Ночью я слышу сквозь сон телефонный звонок. И почти тут же меня окончательно будит гулкий, настойчивый стук в парадную дверь. Потом я слышу знакомый голос Степки Гаври:

— Доктор, ей-богу, честное слово... Я же там сам был... Только меня прогнали... У него сердце вовсе уже встает. У него этот самый, сестра сказала, крызис.

Слышится негромкий басок папы:

— Тихо ты! Перебулгачишь весь дом! Мне уже звонили. Иду сейчас. Только, пожалуйста, без паники. Кризис. Резкое падение температуры... А ты, Леля, что?

Я стою, накинув одеяло, и лязгаю зубами от прохватывающего меня дрожкого озноба.

— Папа, я тоже с тобой.

— Совсем спятил?

— А Степка почему?

— И Степка твой если сунется — велю хожаткам его в три шеи... Вас, кажется, на консилиум не звали.

Папа быстро одевается и уходит, хлопнув парадной дверью. Обескураженный Степка остается у нас.

Долго идут холодные, медлительные и знобкие ночные часы. Просыпается Оська. Увидя, что на моей кровати сидит Степка, Оська тоже садится на своей постели. Два кулака — Степкин и мой,— показанные ему вовремя, заставляют Оську

снова юркнуть под одеяло. Но я вижу, как блестит оттуда любопытный Оськин глаз. Оська не спит и слушает.

— Как считаешь, сдюжит или не сдюжит?— шепчет Степка.

И мы с ним долго говорим о нашем комиссаре. Хороший он все-таки! И в школе почти все ребята теперь уже за него. Потому что он сам справедливый и стоит за справедливость. Здорово он тогда скрутил наших троглодитов, и недаром Карлыч его уважает.

— Я знаю, он на фронт мечтает,— шепотом рассказывает мне Степка.— Уже просился, заявление писал, чтоб отпустили. А его обратно — отставить! Говорят, нужна Советская власть на местах! И все!

— Да, если уедет, паршиво опять будет.

— Ясно. Он хоть и свой, а насчет дисциплины — ой-ой-ой! Держись! Если уедет...

И вдруг мы оба замолкаем, сраженные одной и той же страшной мыслью: где тут «уедет или не уедет!».. Ведь сейчас, вот в эти самые минуты, может быть, там, в больнице... где наш комиссар бьется со смертью... И старые стенные часы в столовой громко и зловеще шаркают на весь дом: «Да — нет... сдюжит — не сдюжит...» Будто ворожат, обрывая секунду за секундой, как обрывают, гадая, лепестки ромашки.

...Да — нет... сдюжит — не сдюжит...

Но тут щелкает ключ в английском дверном замке на парадном. Слышно, как папа снимает галоши. Мы со Степкой несемся в переднюю.

Страшно спросить. А в передней темно — хоть глаз выколи — и не видно папиного лица.

— Вы что это, не ложились? Вот народ полночный!— гудит в темноте папа, но голос у него не сердитый, а скорее торжествующий.— Ну ладно, ладно. Понимаю. В общем, думаю, справится! Сейчас спит ваш комиссар, как новорожденный. Чего и вам желаю. Марш, живо на боковую! Мне через два часа на обход.

Вот уж когда действительно «у́-ра, у́-ра!— закричали тут швамбраны все...».

«ГЛЯДЕЛКИ НА ПОПРАВКЕ»

Комиссар поправляется! Но он еще очень слаб. Только вчера его перевезли наконец на квартиру, в дом бывшего купца Старовойтова, и Степка Гавря ходил навещать его. Все в классе окружили Степку и слушают.

— Он говорит,— сообщает Степка,— что когда жар у него был, так все ему мерещилось насчет путешественников этих

самых — А и Б. Из задачки. Помните, ребята? Он говорит, прямо всех там в больнице замучил: почему никак они не встретятся, путешественники. Все едут и едут... Как съехались, говорит, так и пошел на поправку...

— Это он, наверно, все про нас думал, а у него так получалось из-за температуры,— солидно объясняет Зоя Бамбука.

— Ясно,— соглашается Степка.— Меня к нему только на десять минут пустили. Там сестра милосердная у него еще дежурит из больницы. Так он только и твердит все: как там у вас в школе? Да не безобразничаем ли мы? Да как Карлыч справляется? Да подтянулся ли Биндюг по алгебре?

Все смотрят на Биндюга. Он багровеет, пожимает своими толстыми плечами, хочет что-то, видно, сморозить, но, поглядев в глаза Степке, отворачивается.

— Да,— продолжает Степка,— давайте уж, ребята, пока что без глупистики. Ему сейчас волноваться — крышка. Вон спросите у Лельки, доктор так сказал. Верно ведь? Давайте уж пока без всяких этих несознательностей. А то в крайнем случае можно и по шее заработать, это я предупреждаю... Верно, Жук?

— В два счета,— откликается Костя Жук.— Мы что, люди или кто? Это надо уж последним быть, я считаю, чтоб сейчас ему здоровье повредить... Ты, Биндюг, это тоже учитывай.

— За собой поглядывай,— обижается Биндюг.— Сознательные!

И, оттолкнув плечом стоящего возле него Лабанду, он выходит. А Степка говорит мне:

— Книжку он просил какую-нибудь почитать. Я уж заходил к вам, да братишка без тебя не дает. Дашь? Я снесу...

— Я сам,— говорю я.

Что же выбрать мне для комиссара?

Пока я дома роюсь в книгах, Оська сообщает мне:

— А Степка просил вот эту... как ее... забыл. Кристомонтию.

— Хрестоматию?— удивляюсь я.

— Да нет,— говорит Оська, морща лоб и губы.— Ну, погоди, я сейчас вспомню. Ой, вспомнил! Конечно! Он говорил не Кристомо́нто, а «Сакраменто». Вот, теперь я знаю!

Но нет такой книжки —«Сакраменто». Так ругаются приезжающие иногда в город колонисты-менониты. «Доннерветтер, сакраменто!» Это что-то вроде: «Чертовщина!» Какую же книжку просил для комиссара Степка?..

— Степка сказал, что он граф и есть такое ружье,— помогает мне догадываться Оська.

Понял! Все ясно: не Кристомонто, не Сакраменто, а Мон-

те-Кристо! «Граф Монте-Кристо»... Но у меня нету такой книжки. И, верный своим швамбранским вкусам, я останавливаюсь на древнегреческих мифах и на «Робинзоне Крузо».

Аккуратно завернув обе книжки в старую газету, я несу их комиссару.

Бедно живет комиссар. Голый стол застелен газетой. На ней из-под наброшенного ватника-стеганки торчит нос жестяного чайника. На потухшей печке-«буржуйке» одиноко стынет медный солдатский котелок. На бамбуковой этажерке — стопочка книг. На верхней написано: «Политграмота». Только кровать у комиссара роскошная. Такая широкая — хоть поперек ложись. Спинка-изголовье и передок фигурные, ковровые, расписные. Прямо сани пароконные, а не кровать. Должно быть, осталась от купца Старовойтова. На отставших шпалерах приколоты кнопками портреты Карла Маркса и Ленина. Стену над кроватью закрывает большой и смачно напечатанный плакат. На нем изображен красноармеец в шлеме-шишаке с пятиконечной звездой. Как я ни повернусь, откуда ни посмотрю — он пристально глядит с плаката прямо мне в глаза и как будто именно в меня упер указательный палец, грозно и требовательно вопрошая: «Ты записался в добровольцы?» Так и написано крупными буквами на этом неотступно настигающем меня плакате.

А я и так чувствую себя не очень уверенно. Никто меня не встретил в сенях. Больничная сестра, видно, уже ушла, и мне пришлось несколько раз постучать в дверь, пока я не услышал тихий, почти незнакомый голос комиссара: «Заходите».

Комиссар непривычно острижен. Он так ужасно исхудал, что слишком широкий ему ворот бязевой рубашки сползает с костлявого плеча. Комиссар улыбается мне слабой и какой-то виноватой улыбкой.

— Здоров! Вот... все доктора ходили, а теперь уже доктората заявляются. Значит, ша. Похворал, и точка. Ну, как вы там, крокодилы?

Он принимается расспрашивать меня про школу. Потом я читаю ему вслух о подвигах Геракла. Я стараюсь читать с выражением и сам незаметно вхожу в раж, когда Геракл отхватывает одну башку за другой у девятиголовой Лернейской гидры. Я нарочно выбрал именно этот второй подвиг Геракла, потому что не раз слышал на митингах о лютой многоголовой гидре контрреволюции. И вот я читаю о том, как герой победил это яростное чудовище, истекшее черной ядовитой кровью...

Комиссар спит. Он, наверно, уже давно заснул. Мерно поднимается и опадает его исхудалая, но все же просторная грудь. А я сижу и не знаю, что же мне теперь надо делать.

Уйти? Неловко. Так сидеть? Глупо как-то. Да и неизвестно, сколько все это будет продолжаться.

В комнате тихо. Слышится только дыхание комиссара. Да иногда чуть слышно щелкнет что-то в жести остывающего чайника на столе. И, не спуская сверлящих глаз, тыча в меня пальцем, уставился мне в лицо со стены красноармеец. И я тоже не в силах уже отвести от него глаз. Получается совсем как в «гляделках», когда мы играем у нас в классе. Один на один — кто кого пересмотрит? Но так яростно, так неотрывно уперился в меня своими беспощадными глазами красноармеец на плакате, что я, кажется, сейчас сморгну и проиграю...

— Попить,— тихо произносит комиссар, не раскрывая бледных век, глубоко закатившихся в темных глазных впадинах.

Я бросаюсь налить ему из чайника в кружку. Чай еще не совсем простыл. Комиссар пьет из моих рук, приоткрыв глаза, и смотрит на меня с благодарностью.

— Ты бы сам чайком пополоскался. Только у меня морковный. И сахар весь... А сахарин не велят. Говорят, отражается на почках после тифа.

Чтобы не обидеть комиссара, я наливаю себе мутноватый, отдающий чем-то жженым настой и пью его, несладкий, чуть теплый, безвкусный. И тут же у меня созревает план. Завтра я осуществлю его.

Поднял глаза над кружкой, из которой я цежу морковный чай, я осторожно перевожу взгляд на стену. Красноармеец смотрит на меня так же пристально и неотрывно, но теперь меня уже не смутить. Я знаю, что мне делать.

ЧАЙ ДА САХАР

На другой день я опять навещаю комиссара. И в кармане у меня четыре куска рафинада! Мой школьный паек за сегодня и за день вперед.

Комиссар выглядит немножко лучше. Глаза у него повеселели. И, когда он улыбается, в них вспыхивает хорошо знакомый нам лихой и острый блеск. Впрочем, он тут же заволакивается какой-то дымкой и гаснет. Должно быть, комиссар еще очень слаб.

— Ты не серчай на меня, что прошлый раз, как ты читал, я в храповицкую ударился,— извиняется он.— Слаб я еще. Голова мутная. А потом, уж больно ты фантастику загнул... А еще я потом поглядел книжку эту, которую ты мне оставил, про Робинзона. Ничего. Это больше забирает. Но только мне ее сейчас читать не с руки. И так тошно, что один валяюсь. К людям охота... Тут время такое, что каждый чело-

век на счету, а я, как Робинзон твой, на острове кисну... Тьфу, на самом деле! Ну ладно, ша! Точка. Подыматься пора. Я уж вчера ноги спускал. Ну-ка, докторенок, подсоби мне... Я попробую.

— Вам же еще рано. Папа сказал — надо вылежать.

— Отставить, что папа сказал! У них, у докторов, вся медицина на другой, деликатный, класс рассчитана. А мы знаешь какой породы! Семижильные! Давай не разговаривай много.

Он спускает худые ноги, приподнимая каждую ладонями за колено, осторожно вправляет их в валенки, стоящие возле койки.

— Ну поддерживай, поддерживай с этого боку. А я этой рукой за кровать возьмусь. А ну... Раз, два, взяли... Давай погрузчицки! А вот пойдет... Сейчас пойдет... Взяли!

Он приподнимается со страшным усилием, я подставляю ему под мышку свое плечо. Комиссар делает шаг и тяжело валится на меня. Я еле успеваю обхватить его и с трудом дотягиваю до постели. Он лежит, тяжело дыша. Несчастный и непривычно жалкий.

— Нет мне больше ходу... Амба. И точка... Уйди. Чего глядишь? Уйди, говорю! Что смотришь, докторенок? Плох комиссар. Кончился... Врешь, докторенок! Я еще тебе пошагаю.

Через всю его желтую заросшую скулу продирается медленная, крупная слеза. Мне делается страшно... Комиссар, веселый комиссар Чубарьков, размашистый, горластый, способный, если надо, переорать любую толпу, сейчас почти неслышно всхлипывает на постели.

А красноармеец со стены безжалостно тычет в меня своим пальцем и глаз с меня не сводит. Ну при чем тут я?..

Я стремительно бросаюсь к столу, наливаю из чайника, накрытого ватником, желтоватый настой в кружку и незаметно опускаю туда весь свой двухдневный паек рафинада. Трясущейся рукой принимает у меня кружку комиссар. Он уже немного пришел в себя, медленно отпивает, потом облизывает губы.

— Эх ты, сласть-то какая! Медовый навар. Это с чего?

Он подозрительно смотрит на меня. Потом заглядывает в кружку, где, должно быть, еще не совсем растаял мой сахар.

— Это ты меня балуешь? Недельный паек небось на меня стратил весь? Зря ты это. Себе бы кусочек оставил. А то опять чай пить безо всего будешь.

Я с готовностью наливаю из чайника себе полную кружку настоя, делаю глоток и — ничего не понимаю... Густой, как патока, сладчайший, приторный сироп липнет мне на губы. Потом, кажется, я начинаю догадываться.

— Товарищ комиссар, а до меня никто вас не навещал?

— Скажешь!— ухмыляется комиссар.— Да тут, поди, весь класс ваш перебывал: и Костя Жук, и Лабанда, и Зоя, и Степа, конечно,— все. Они и печку топили, и с чайником шуровали. Только сами не пили. А ты что не пьешь? Вот видишь, говорил я, что без сахару-то тебе никакого удовольствия не будет. Ну, раз не пьется, давай опять шагать учиться. Берись за меня. Я теперь вроде уж от твоего чая окреп. Берись, говорю! Ну?!

И комиссар, опершись на меня, снова учится ходить.

БЛУЖДАНИЕ ШВАМБРАН, ИЛИ ТАИНСТВЕННЫЙ СОЛДАТ

Школа кочевала, и вместе с ней блуждала Швамбрания. Бурные события в жизни Покровска и нашей школы, разумеется, влияли на внутреннее и географическое положение материка Большого Зуба. В Швамбрании непрестанно шли беспорядки, потому что она меняла государственные порядки.

В Покровске выползла из подполья и стала официальной вошь. Сыпняк поставил на все красный крест. Оська настоял на введении в Швамбрании смертности. Я не мог возражать. Статистика правдоподобия требовала смертей. И в Швамбрании учредили кладбище. Потом мы взяли списки знакомых швамбран: царей, героев, чемпионов, злодеев и мореплавателей. Мы долго выбирали, кого же похоронить. Я пытался отделаться мелкими швамбранами, например бывшим Придворным Водовозом или Иностранных Дел Мастером. Но кровожадный Оська был неумолим. Он требовал огромных жертв правдоподобию.

— Что это за игра, где никто не умирает?— доказывал Оська.— Живут без конца!.. Пусть умрет кого жалко.

После продолжительных и тяжких сомнений в Швамбрании скончался Джек, Спутник Моряков. Ему наложил полные почки камней жестокий граф Уродонал Шателена. Умирая, Джек, Спутник Моряков, воскликнул над последней страницей словаря обиходных фраз:

— Же вез а... Я иду в... их гее нах!.. Ферма ля машина!.. Стоп ди машина!..

После этого он хотел приказать всем долго жить, но в словаре этого не оказалось. Его похоронили с музыкой. Вместо венков несли спасательные круги и на могиле поставили золотой якорь с визитной карточкой.

Несмотря на тяжелую утрату, беспрестанные изменения климата и политики, материк Большого Зуба простирался еще через все наши мысли и дела. За медными дверцами ра-

кушечного грота в одиночестве и паутине хирела королева — хранительница тайны. Швамбрания продолжалась.

Однажды Оська прибежал из школы в полном смятении. На улице среди белого дня к нему подошел какой-то солдат и спросил Оську, не знает ли он, как пройти в Швамбранию... Оська растерялся и убежал. Мы сейчас же отправились вдвоем искать таинственного солдата. Но его и след простыл. Оська высказал робкое предположение, что, может быть, это был настоящий заблудившийся швамбран. Я поднял Оську на смех. Я напомнил ему, что мы сами выдумали Швамбранию и ее жителей. Но все же я заметил, что Оська стал как будто тихонько верить в подлинное существование Швамбрании.

ШВАМБРАНИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

Вскоре это стало известно в Оськиной школе. И без того Оська с первого же дня приобрел популярность в своем классе. Одна из маленьких школьниц спросила на уроке, из чего и как получается сахар.

— Я знаю,— сказал Оська.— Сахар получается в школе.

Временно заведующий школой Кочерыгин заменял отсутствующего ботаника.

— Не по сути говоришь!— сказал он.

Оська добавил: сахар находят в керосине, который брызгается из-под земли.

Временно заведующий смутился. На другой день он пришел в класс и сообщил, что, по наведенным им справкам, в земле добывают сахарин... Только не из керосина, а из угля. К Оське Кочерыгин стал относиться с большим почтением.

Воспользовавшись этим, Оська нанес на большую классную карту контуры Швамбрании. Так как учитель естествознания и географии продолжал отсутствовать, то Кочерыгин в этот час вел «пустой урок». Палец временно заведующего заблудился в горах нового материка.

— Какое государство тут жительствует?— спросил временно заведующий, тыча пальцем в неведомую страну.— Нука? Кто знает?

Класс не знал.

— Это Швамбрания,— сказал Оська, озорничая.

— Как говоришь?— переспросил временно заведующий.

— Швамбрания!— повторил Оська уже серьезно.

— А нешто есть такая? — нерешительно спросил временно заведующий.

— Есть,— отвечал Оська.— Позавчера-вчера один солдат даже уехал туда.

— А почему в книжке ее нет?— шумел класс.

— Она еще на глобусе ненарисованная,— сказал Оська,— потому что новая страна.

— А ну-ка, расскажи про нее все как есть,— сказал временно заведующий.

И Оська вышел к карте. Весь урок до конца он рассказывал о Швамбрании. Он подробно сообщил флору и фауну материка Большого Зуба, и класс затаив дыхание слушал о диких конь-яках, живущих в ущельях Северных Канделябров. Оська поведал о войнах с Пилигвинией, о свержении Бренабора, о путешествии покойного Джека, Спутника Моряков, о злодеяниях Уродонала Шателена. Временно заведующий остался доволен уроком швамбранской географии.

— Здорово знаешь,— сказал он.— Ну и памятливый у тебя чердак, удивление! И откеля ты все это вызубрил?.. Ну, садись. Ребята,— обратился он к классу,— чтоб к тому разу все это назубок и без запинки.

Оська вернулся из школы в необычайном сиянии.

— Швамбранию уже в школе учат,— сказал он гордо.

И я едва не сел на пол.

Но на другой день новый заведующий сам привел смущенного Оську домой. Он ласково вел его за руку и уговаривал отречься от швамбранской веры. А позади шли Оськины одноклассники и кричали: «Швабра! Швабра!..» Новый заведующий рассказал папе и маме о странных географических познаниях Оськи. Он просил повлиять на упрямого швамбрана. Оська хныкал и ссылался на таинственного солдата, который искал дорогу в Швамбранию.

И вот когда на той же неделе мы гуляли с Оськой на площади, к нам подошли два молодых крестьянина в обмотках и с маленькими сундучками на спине.

— Молодые люди, родные, уважаемые, где здесь... это...— начал один скороговоркой, и мы замерли в страшном предчувствии.— Где тут в штабармию пройтить? В красные добровольцы записаться...

Так вот куда искал дорогу таинственный солдат!

ВХОД С УЛИЦЫ

Сыпной тиф качался по улицам в такт мерной походке санитаров и могильщиков. Тиф был громок в горячечном бреду и тих в похоронных процессиях. Катафалки тянули верблюды Тратрчока.

Школа переезжала.

Металась Швамбрания в поисках устойчивой истины, меняя правителей, климат и широты. И только дом наш незыблемо стоял на своем причале на старой широте, на прежней

долготе. Он заржавел, он врос в дно — уже не пароход, а тяжелая, занесенная баржа, ставшая островком. Бури не могли пока еще вторгнуться в него, так как мама боялась сквозняков и закрывала форточки.

Но, разумеется, кое-какие изменения произошли. Папа например, носил френч, а не пиджак. Красный крестик на клапане кармана говорил о том, что отец — военный врач. Он работал в эвакопункте. Затем люди «неподходящего знакомства», знавшие всегда лишь черный ход квартиры, теперь все, словно сговорившись, являлись через парадный. Даже водовоз, которому как будто удобнее и ближе было идти через кухню, требовательно звонил с парадного хода. Он топал через квартиру, он следил и капал. И ведра его были полны достоинства.

Мы с Оськой приветствовали это разжалование парадного крыльца. Теперь между ним и кухней установился сквозняк непочтительности. И в нашей описи мирового неблагополучия был зачеркнут пункт первый (о «неподходящих знакомствах»).

Первыми после революции позвонили с парадного слесарь и плотник. Аннушка открыла им, прося обождать, и пришла сказать папе, что «какие-то просят товарища доктора».

— Кто такие?— спросила мама.

— Да так из себя мужчины,— отвечала Аннушка (всех пациентов она делила на господ, мужчин и мужиков).

Отец вышел в переднюю.

— Мы к вам,— сказали пришедшие, называя папу по имени и отчеству.— Просьба выслушать нас.

— На что жалуетесь?— спросил папа, приняв их за пациентов.

— На несознательность,— отвечали слесарь и плотник.— Больницу при Керенском закрыли чертовы хуторяне, а теперь убыток здоровья трудящим. Мы вот комиссары назначенные...

Папа никогда не мог простить Керенскому, что во время его краткого царения богатые «отцы города» из скупости закрыли общественную больницу. «Нэ треба!»— заявили они.

А вот явились большевистские комиссары и заявили, что Совдеп постановил спешно открыть больницу, и назначили отца заведующим.

ТРОЕТЕТИЕ

Папа угостил комиссаров чаем. После их ухода он веселый ходил по квартире и напевал: «Маруся отравилась — в больницу повезут».

— Это, как хотите, настоящая власть!— говорил папа.— Есть культурные тенденции. А что ваше Учредительное собрание? Это наш волостной сход. «Нэ треба» во всероссийском масштабе.

«Ваше Учредительное»— это было сказано специально в пику теткам. Дело в том, что на нас со всех концов России посыпались голодающие тетки. Одна приехала из Витебска, другая бежала из Самары. Самарская и витебская тетки были сестрами, обе носили пенсне на черном шнурке и очень походили друг на друга, только одна вместо «л» говорила почти «р», а другая, наоборот, «р» произносила совсем как «л». Папа шутя прозвал их «учледиркой», а мы — тетей Сэрой и тетей Нэсой.

Обе они были ужасно образованные и беспрерывно толковали о литературе и спорили о политике, и, если некоторые их сведения опровергал энциклопедический словарь, они говорили, что там опечатка.

Потом приехала из Питера третья тетка. Питерская тетка заявила, что она без пяти минут большевичка.

— А когда ты будешь ровно большевичка?— спросил Оська, живо вскинув голову к стенным часам.

Но прошли часы, недели, месяцы, а тетка не делалась большевичкой. Только она больше уже не говорила «без пяти минут». Она теперь уверяла, что «во многом она почти коммунистка».

Питерская тетка поступила служить в Тратрчок, а тетя Сэра и тетя Нэса — в Упродком. В свободное время они рассказывали «случаи из жизни», спорили и воспитывали нас. Тетки настояли, чтобы нас взяли из школы, ибо, по их мнению, советская школа только калечила интеллигентскую особь и ее восприимчивую личность (кажется, они так выражались).

Они сами взялись обучать нас. Тетки считали себя знатоками детской психологии. Мы изнемогали от их наставлений. Они лезли в наши дела и игры. Разнюхав о Швамбрании, тетки пришли в восторг. Они заявили, что это необыкновенно-необыкновенно интересно и чудесно. Они просили посвятить их в тайны мира и обещали помочь нам. Швамбрании грозило тёточное иго.

Тогда швамбранские стратеги схитрили. Они завлекли теток в глубь швамбранской территории, а там в порядке посвящения мы раскрасили теток акварелью, заставили их ползать в пыли под кроватями, замуровали в пещеру с дикими зверями, то есть заперли в чулан с дикими крысами, и велели десять раз спеть гимн.

— «У-ра, у́-ра!— закричали тут швамбраны все»,— старательно пели в темноте усталые и раскрашенные тетки.—

Ура... Ой, что-то мне лезет на юбку!.. У-ра, у́-ра!— и упали... Туба-риба-се!..

Но когда мы потом объяснили им правила и приемы французской борьбы и велели им бороться на ковре без срока, отдыха, перерыва, решительно, до результата, несчастные тетки возмутились. Они назвали Швамбранию грубой игрой, глупой страной, недостойной воспитанных мальчиков. За это известный швамбранский поэт (не без влияния Лермонтова) написал в альбом тете Нэсе такое стихотворение:

Три тетушки живут у нас в квартире.
Как хорошо, что три, а не четыре...

МИР И ЛИЧНОСТЬ

— Отец хотя у тебя интеллигент, но довольно сознательный,— сказал Степка Атлантида.— В общем, тоже на нашей платформе. Сам, видать, ты в доску сочувствующий. Тетка эта тоже немного разбирается. Но те две у вас сильно отсталые.

Так сказал Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, покидая нашу квартиру после двухчасовой дискуссии о личности и обществе. «Учледирка» выражалась так учено, что даже питерская тетка то и дело бегала тихонько смотреть в энциклопедическом словаре непонятные «измы» и «субстанции»... Вообще по-теткиному выходило так: посередке — умная и свободная личность, а все остальные — вокруг нее. Как это личности кажется, то есть, значит, как она воображает, так все для нее и есть. И на остальное ей чихать!.. Степка же, обратно, утверждал, что семеро одного не ждут, главное — это компания, то есть когда люди сообща. А личность можно и за манишку взять, если она будет очень из себя воображать. На это тетки сказали, что мы со Степкой грубые реалисты.

— Вот и неправда,— сказал я.— Мы вовсе были гимназисты, а не реалисты.

Тут тетки ехидно заметили, что реалисты — это не обязательно ученики реального училища. Реалисты — это те, кто думает, будто на свете есть только то, что все видят и щупают. Они называются еще материалистами и считают, что мир безусловно существует и распоряжается идеями и личностями. Тетки сказали, что это неверно. Они закричали, что мир не имеет права командовать свободными идеями и личностью, потому что, сказали они, возможно, что без идеи и мира-то никогда не было бы... Да, безусловно, существует только сама думающая личность, а все остальное ей, может быть, только представляется, как во сне...

— А мы — личность? — спросил Оська.

— Дря себя безусровио ричность,— отвечала тетка Сэра.

Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что все это может пригодиться для Швамбрании.

Действительно, а вдруг мы в самом деле швамбраны, а Покровск, школа, дом, революция — все это нам только снится? Мы даже задохнулись от такого предположения.

Тетки сели на диван. Тетя Нэса стала читать вслух русскую историю.

— «Валяги Люлик, Тлувол и Синеус,— читала тетя Нэса,— плишли плавить Лусью».

Мы с Оськой занялись швамбранской историей. Мы принялись петь, бросать на пол стулья и вообще гремели что есть силы. Тетки попросили быть тише. Они сказали, что это неуважение к личности.

— А нашей личности снится, что вас тут вовсе нет,—сказал Оська.

— Может быть, вы вообще нам только представились?— добавил я.

Тетки пожаловались маме. Мама явилась. Но мы отнеслись критически и к маминому существованию. Мама заплакала и пожаловалась папе.

— Это еще что за сопливый солипсизм?— грозно сказал папа.— Вот я сейчас тоже представлю себе, что вы на старости лет оба сели в угол.

Нам не дали обедать. Папа объяснил, что ведь суп — это только сон, и если мы с Оськой такие свободомыслящие личности, то нам ничего не стоит представить себе, что мы уже сыты, и сам папа будто бы уже видел во сне, как мы обедаем и даже сказали «спасибо». Словом, нам пришлось допустить, что суп — это не идея, а действительность и что, кроме нашей личности, существуют еще миллионы других, без которых не обойтись.

ВОКРУГ СОЛНЦА

Личность была для нас выкинута из мировой серединки. Огромный кругооборот событий захватил нас в школе и на улице. Но центробежные силы ничего не могли поделать с нашим домом. Он непоколебимо оставался надежной осью всей жизни. Все остальное, казалось нам, вертится вокруг него большой опасной каруселью. Так продолжалось до того дня, когда во время приема в переднюю пришел коренастый человек. Он был обут в черные чесанки, вправленные в резиновые боты. При нем был портфель и кобура. И Аннушка сразу определила в нем комиссара.

— Граждане, извиняюсь, конечно, за неуместность,— сказал комиссар пациентам,— но меня пропустите без очереди. Я по делу.

— Тута все ожидающие по делу!— загалдела приемная.— Нечего с портфелями вперед соваться!

— Благородного строит,— сказала из угла толстая хуторянка.

На коленях ее шевелился мешок. Там покрякивала жертвенная утка.

В кабине зажурчал умывальник. Потом дверь открылась. Вышел больной, застегивая ворот рубашки. Комиссар прошел в кабинет без очереди.

— Мое почтенье,— сказал он.— Извиняюсь за неуместность, что не в черед. По революционному долгу, товарищ доктор... Я, извиняюсь, к вам как комендант города...

— Присаживайтесь, товарищ Усышко,— сказал папа, узнав в коменданте хорошо знакомого сапожника, что прежде обувал всю нашу семью и часто захаживал к нам за книжками, которые он брал читать у папы.— Что скажете хорошенького, товарищ Усышко?

— Выбираться вам придется, товарищ доктор,— сказал комендант,— фактически съезжать с квартиры. Тратрчок расширяется. Недостаток местов. Извините за беспокойство, но придется в двухдневном порядке.

Папа подумал: «Вот... начинается... добрались». И папа сказал, поправив красный крестик на кармане:

— Товарищ Усышко, я буду протестовать... Я не позволю в двухдневный срок выкидывать меня бесцеремонно, как какого-нибудь буржуа. Мне кажется, что трудовая интеллигенция имеет право требовать к себе более чуткого внимания со стороны власти, с которой она работает в полном контакте...

— Ладно, денек накину,— сказал комендант,— но больше уж никак. А насчет контакта и не успоряю. И со своей стороны вам обстоятельную квартиру обнаружил... на Кобзаревой.. бывшего Андрея Евграфовича дом, Пустодумова... Ничего квартирка... И перевозка, конечно, наша.

— Согласитесь, что я сначала должен посмотреть квартиру,— сказал папа.

— Смотрите на здоровье!— отвечал комендант.— За осмотр денег не берем... А шестого, значит, пришлю подводы... Ну, засим пока!..

И комендант собрался уходить. Но тут взгляд его упал на папины ботинки.

— Ну как?— спросил комендант.— Носите?

— Ношу!— сердито отвечал папа.

— Левый не жмет?— озабоченно спросил комендант.—

Нет? Видите, я тогда говорил, это только сперва, а потом разносится.

— Я должен вам откровенно сказать, товарищ Усышко,— съязвил папа,— что это у вас выходило удачнее, чем так сказать...

— С какой стороны смотреть, товарищ доктор!— засмеялся комендант.— Штиблеты-то вы заказывали, а теперь коечто, извиняюсь, не по вашей мерке делается. Может, где и жмет.

Весть о предстоящем переселении ошеломила и потрясла нас с Оськой. Мы увидели, что центр мира сместился. Историю заказывали не в нашей квартире.

Вероятно, в таком положении оказались современники Коперника. Они привыкли считать, что человек — соль Вселенной, а Земля — пуп мироздания, а оказалось, что Земля — крупинка среди тысячи подобных. Подчиняясь внеземным силам, она ходит вокруг Солнца.

НА НОВУЮ ГЕОГРАФИЮ

Невиданный караван шествовал по Брешке. Десять верблюдов Тратрчока везли наш скарб.

Были свернуты, подобно походным знаменам, гардины и портьеры. Сложенные кровати со сверкающими шишками гремели, как коллекция гетманских булав. Сияли доспехи самоваров. Большое трюмо лежало озером. В нем плескалась опрокинутая Брешка. Дрожало пружинное желе матрацев. На другой подводе скакали, топтались стреноженные венские стулья, похожие на жеребят. В белом чехле ехало стоя пианино. Сбоку оно напоминало хирурга в халате, прямо — рысака в попоне. Веселый возчик, правя одной рукой, просунул другую в разрез чехла. Он тыкал в клавиши и старался подобрать на ходу «Чижика».

Вещи выглядели непристойно. Даже вечно перпендикулярные умывальники и буфет лежали навзничь, вверх дверцами. Публика глазела на нас. Вся наша интимная домашность была обнародована. Было неловко и хотелось отречься. Папа с посторонним видом шел по тротуару. Но мама героически шагала в голове каравана. Она шла за передним возом, усталая и безрадостная, словно вдова за гробом. В руках ее был поминальный список вещей.

Оська шел впереди всех с кошкой в руках. На переднем возу высоко вверху, как раджа на слоне, сидела Аннушка. Ее опахивал лист пальмы. Аннушка держала чучело филина. Далее следовал я. Я нес драгоценный грот с шахматной узницей. Швамбрания переезжала на новую географию.

Шествие замыкала колонна теток.

Новая квартира встретила нас холодно и гулко. Насмешливое эхо передразнивало наши голоса.

Возчики двигали тяжелые книжные шкафы. Папа развел в мензурке немного спирту и угостил возчиков. Возчики говорили промеж себя:

— Ай спирт! Враз берет...

— Да, это вот лекарство!.. Мозговая касторка. На ходу мозги прочистит.

— Капитон, заходи с того боку!.. Книг-то!.. Книг!.. Мать честная! И куды это столько?

— А ты думаешь, у человека в нутре ковыряться так себе, как в носу?.. Тут, брат, тыщу книг прочтешь, да и то обмишулишься: не в тою кишку заедешь!..

Тетки ходили за возчиками и следили, чтоб они чего не взяли, ибо теперешний народ, сказали тетки, чрезвычайно вольно обращается с чужой собственностью. В одной комнате висела изящная люстра с бахромой из стекляруса. Люстра осталась от Пустодумова. Тетки залюбовались ею.

— Что? Уж свою повесили?— спросил явившийся комендант.— Фасонная люстрочка! Петроградской работы небось?

Тетки замялись.

Я открыл уже рот, чтобы сообщить, откуда люстра, но тетка Нэса, как ширма, заслонила меня.

— Да, да, товалищ,— торопливо сказала тетка,— петлогладской лаботы люстла.

Когда комендант ушел, несколько смущенные тетки стали уверять меня, что они поступили вполне честно. Пустодумову, дескать, все равно бы люстру не вернули, а государство и без люстры обойдется.

ВЛАДЫЧЕСТВО ВЕЩЕЙ

Уже стихал резонанс комнат. Вещи задавили эхо. Мы нашли укромный уголок для грота королевы. Кроме того, этот же угол мог легко быть переоборудован в цирк, вокзал, тюрьму.

Швамбрания утверждалась.

Папа, стоя на стремянке с молотком в руках, вешал на стену портрет доктора Пирогова и картину академика Пастернака «Лев Толстой». Папа ораторствовал. Стремянка казалась ему трибуной.

— Сегодня я лишний раз убедился,— говорил папа,— что мы — жалкие рабы вещей. Вся эта громоздкая рухлядь держит нас в своей власти. Она связывает нас по рукам и ногам. Я бы с наслаждением оставил половину всего этого

иа старой квартире!.. Дети! (Леля, вынь сейчас же гвоздь изо рта! Не знаешь элементариых правил гигиены!..) Я... говорю, дети, учитесь презирать вещи!..

Затем мы с Оськой пошли пристраивать иа стеие в столовой раскрашениое блюдо-барельеф. На блюде выпятился за́мок и гарцевали рыцари. Вдруг гвоздь вырвался из стены. Блюдо ударилось об пол. Рыцари погибли, а от за́мка остались одни развалины-руиины.

Папа прибежал иа дрызг. Он иакричал на нас. Он иазвал нас варварами и ваидалами. Он сказал, что даже медведя можно научить бережно обращаться с вещами... Был произиесеи целый скорбиый список загублениых иами предметов: королева, трость, вечное перо и т. п. и т. д.

Мы вздыхали. Потом я напомнил папе, что он иесколько минут иазад сам учил иас презирать вещи. Папа совсем рассвирепел. Ои сказал, что сиачала иадо научиться беречь вещи, потом их заработать, а после уж можно начать презирать их.

Вечером по комиате с убитым лицом бродила мама. Чтоб не терять мелких вещей и не тратить время иа их поиски, мама записала на особом листке, что где лежит. Теперь она уж второй час искала эту самую бумажку...

УТЕРЯНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Во взбаламученном аквариуме медлеиио осаживался песок. Рыбки радужными колибри порхали в зелеио-хрустальных водорослях. Рыбки вились у малахитового стекла и чувствовали себя дома.

Стены новой квартиры утратили ледяную чужесть. Комиаты обживались. Прежний уют был восстаиовлеи иа новом адресе. И папа, глядя на люстру, говорил за ужином:

— Революция... (Ося! Доешь морковку: в ией масса витаминов...) Революция, я говорю, полиа жестокой справедливости... Действительио: кому по праву должиа была прииадлежать эта квартира? Толстосуму-купцу или врачу? Вообще я считаю, что пролетариат и интеллигенция могут иайти взаимный подход.

— Боже мой! Кто из иас в душе не коммуиист!— говорили тетки.

Через день у иас забрали пианиио.

Тратрчок готовился к каким-то торжествам. Хор бойцов репетировал саиитариую каитату. Хору было иеобходимо иа одну иеделю пиаиино. Мобилизовали наше.

Мамы как раз ие было дома, и оиа уиесла в сумочке охранные грамоты на пианиио, выдаиные ей Уотнаробразом

как учительнице музыки. Папа произнес перед умыкателями пианино небольшую речь об интеллигенции и пролетариате, а также упомянул о взаимном контакте. Но это не помогло. Тогда папа сказал, что ему пианино не жалко, но дело в принципе и он дела так не оставит и, если надо, дойдет до Ленина. И папа сел писать письмо в редакцию центральных «Известий».

Пианино выносили, как покойника. Аннушка причитала, и тетки плакали соответствующе.

Мама пришла, узнала, побледнела. Она села, заморгала. Она спросила очень быстро:

— Вынуть успели?

Тут папа с размаху сел на стул, а тетки окаменели. Оказалось, что мама привязала изнутри пианино к верхней крышке потайной сверток. Там были четыре куска заграничного мыла и пачка давно уже никудышных «николаевских» денег, бумажек... Тут окаменели мы с Оськой. Дело было в том, что неделю назад мы подсмотрели, как мама готовила этот сверток. Мы тогда поняли, что его запрячут в какое-нибудь надежное место. У нас тоже имелись вещи, не предназначенные для постороннего глаза, и мы незаметно сунули в сверток кое-какие швамбранские документы. Здесь были карты, тайные планы походов, манифесты Бренабора, гербы, письма героев, афиши Синекдохи и другие секретные манускрипты из швамбранской канцелярии. Теперь все это уехало в Тратрчок. Швамбрания была в опасности. Настройщик мог обнаружить нашу тайну.

Мама решительно встала, вытерла глаза и пошла в Тратрчок. Я вызвался сопровождать ее.

Мама была растрогана. Она не подозревала, что мы с ней идем выручать швамбранские документы.

КОНЦЕРТ В ТРАТРЧОКЕ

В Тратрчоке мама сказала, что ей нужно вынуть сверток с интимными письмами, который хранился в пианино. Длинноусый командир понимающе подмигнул. «Письмишки!»— сказал он и разрешил.

Пианино стояло в большом зале, испуганно забившись в угол. Кругом сидели на скамейках красноармейцы и грызли семечки. Двое, сидя на ящиках, старались подобрать в четыре руки «собачью польку». Увидя нас, они остановились. Мама подошла к пианино и ласковой октавой погладила клавиши. Инструмент заржал, как конь, узнавший хозяина. Красноармейцы с любопытством глядели на нас. Командир самолично вынул сверток и опять подмигнул маме: «Письмишки...»

— «Ура! ура — закричали тут швамбраны все»,— мурлыкал я, выходя из Тратрчока.

Когда мы уже были на середине площади, сзади раздался крик:

— Сто-ой! Мадам! Вертайся обратно!

Подбежал запыхавшийся командир. Мама задрожала, прижав сверток к груди. В Швамбрании тоже произошло землетрясение.

— Вертайтесь, гражданка!— сказал командир.— Ребята меня за грудки хватают. Нарочно, говорят, она пианину испортила, чтобы нам не досталась, разладила... Вынула, кричат, главную часть. Она сразу и играть перестала.

— Что за глупости, товарищ!— сказала мама.— Вероятно, просто вы не умеете играть.

— Как же, до вас играло, а как вынули чегой-то, так сразу ничего и не выходит,— говорил командир.— Нет, уж вы, пожалуйста, вертайтесь и снова положьте все на место.

Мы побрели назад в Тратрчок.

Красноармейцы встретили маму злым шумом. Они сгрудились вокруг пианино. Они напирали. Они кричали, что мама нарочно испортила народное достояние, что это саботаж, а за это — на мушку.

Командир успокаивал их.

— Сознательнее, сознательнее, ребята,— говорил он, но сам, видимо, тоже был очень взволнован.

Мама уверенно подошла к пианино. Красноармейцы затихли.

Мама взяла широкий аккорд. Но пианино не отозвалось с прежней звонкостью. Звук получился глухой, чуть слышный. Он пронесся и замер, как очень далекий гром.

Мама убито и растерянно взглянула на меня. Она ударила по клавишам что есть силы, но пианино опять ответило шепотом. Зато загремели красноармейцы.

— Испортила!— кричали они.— В Чека ее за такое дело... в Особый отдел!.. Ведь это что ж такое?..

— Мама,— сказал я, вдруг догадавшись,— модератор!..

Когда командир вытаскивал из пианино сверток, он нечаянно потянул модератор — заглушитель,— и тот опустился на струны. Мама рванула модератор, и пианино сразу загремело так громко, что всем показалось, будто из ушей вынули вату, которая там словно все время была.

У красноармейцев просветлели лица. Для проверки они попросили привесить сверточек обратно. Мы привесили. Но пианино громче не заиграло. Тогда нам позволили взять сверток. Потом смущенные парни попросили маму сыграть что-нибудь такое, этакое...

— Я, товарищи, польки не играю,— строго сказала мама,— это вы уж сына попросите.

Красноармейцы попросили, и я влез на ящик. Меня окружали белозубые улыбки. Так как с высокого ящика достать педали я не мог, то нажимать педаль вызвался один из красноармейцев.

Он старательно наступил на педаль и не отпускал ее уже до конца. А я гулко играл что есть силы подряд все марши, танцы и частушки, которые я только знал. Кое-кто уже начал пристукивать каблуками, и вдруг один молодой красноармеец сорвался с места. Он развел руками, словно объятия раскрыл, и осторожно ударил ногой, будто пробуя пол. Потом он подбоченился — и пошел-пошел по раздавшемуся разом кругу, закинув голову и притопывая. Высоким голосом он запел:

Что за стыд, что за срам,
Что за безобразия,
Поналезла нынче к нам
Всяка буржуазия.

Командир резко остановил его. Он сказал маме вежливо и просительно:

— Мадам, то есть теперь гражданка! От бойцов и от ссбя лично прошу... исполните персонально что-нибудь более сознательное... скажем, из какой-нибудь оперы увертюрочку...

Мама села на ящик. Она вытерла клавиши платком. Мой специалист по педалям опять с готовностью предложил свою помощь и ногу. Но мама сказала, что как-нибудь сама обойдется.

Мама играла увертюру из клавира оперы «Князь Игорь». Серьезно и хорошо играла мама.

Тихие красноармейцы окружили пианино. Навалившись друг на друга, они внимательно смотрели на мамины пальцы. Потом мама медленно и бережно отняла от клавишей руки... За подымающимися ее кистями, как паутинка, потянулся, затихая, финальный аккорд.

Все откинулись вместе с мамиными руками, но нссколько секунд еще молчали, как бы вслушиваясь в угасание последних нот... И только после отчаянно захлопали.

Они аплодировали вытянутыми руками, поднося свои хлопки близко к маминому лицу. Они хотели, чтобы мама не только слышала, а и видела их аплодисменты.

— Ярко вырожденный талант,— сказал маме, вздыхая, командир.— Выше не может быть никакой критики.

Мы были уже на середине площади, а с крыльца Тратрчока все доносились аплодисменты. Мама скромно прислушивалась к ним.

— Удивительно, как облагораживает людей искусство! — говорила потом мама теткам.

— Таких рюдей не обрагородишь,— отвечала тетка Сэра.— Есри бы обрагородирись, роярь бы вернури.

Через месяц, когда пианино давно уже стояло на месте (оно было возвращено стараниями вставшего с тифозной койки Чубарькова, в «Известиях», в отделе «Ответы читателю», было написано:

Врачу из Покровска

Пианино конфисковано незаконно, как у лица, для которого оно служит орудием производства.

Папа торжествовал. Он показал газету всем знакомым. Он вырезал это место и хранил вырезку в бумажнике, а Степка Атлантида сказал по этому поводу:

— Это о вашей пианине в «Известиях» напечатано... Ну-ну, на всю Ресефесере размузыканили! Эх вы, частная собственность!

КОМИССАР И ДАМКИ

Секретный сверток был положен теперь в маленький ящик маминого письменного стола, а стол попал в комнату одного из квартирантов. Нас уплотнили. У нас мобилизовали три комнаты, одну за другой. В первую поселили выздоровевшего Чубарькова. Я очень обрадовался ему. Комиссар тоже.

— Вот мы теперь с тобой и туземцы будем,— сказал комиссар, снимая пояс с кобурой и кладя его на стол.— Дашь книжку почитать?

— А то! — сказал я, рассматривая наган.— Заряженный?

— А то! — отвечал комиссар.— Не трожь.

Тетки глянули в дверь. Они критически осмотрели широко покачивающиеся плечи комиссара, его вздернутый нос и ушли, прошептав: «Распоясался, солдафон!»

Комиссар подмигнул нам в сторону отбывших теток:

— Не ко двору, видно, показался.

— Они всегда против,— утешил его я.

— А зато мы — за вас,— сказал Оська.

— Точка! Раз такие за меня, не пропаду,— ласково усмехнулся комиссар.

Он подхватил одной рукой Оську и посадил его к себе на колено, обтянутое синим сукном тугих, узких галифе.

— А в шашки кто играет? — спросил он неожиданно.

— Ну, в шашки это что! — отвечал я.— Вот в шахматы если... Вы в шахматы умеете?

— Нет, еще не выучился.

— Леля вас сразу научит,— пообещал Оська.— Он уже все ходики знает, и черненькими и беленькими, и взад и вперед. А я знаю только, как конь ходит.

Оська соскочил с колен, стал на одну ногу и запрыгал по квадратам, вычерченным на линолеуме пола. Потом он вдруг остановился, замер на одной ноге и доверительно сказал комиссару:

— А у нас одна королева в тюрьму арестована. Мы ее уже давно в собачий ящик посадили, когда еще войны не было, а царь зато был — вот когда!

Я свирепо посмотрел на Оську.

И он замолк.

А я, чтобы прекратить ненужный и опасный разговор, предложил комиссару сыграть в шашки.

Комиссар вынул из вещевого мешка картонную складную доску, потом высыпал из маленького специального кисета шашки. Он расставил их на доске, и мы склонились над картонкой — лоб ко лбу.

— Ходи,— сказал комиссар.

Не прошло и минуты, как я убедился, что имею дело с опытным игроком. Легким, отрывистым тычком среднего пальца комиссар посылал свои шашки в самые неожиданные квадраты поля. Он делал мне каверзные подставки, ловко забирал по две-три мои шашки, прихватывая их неуловимым движением в ладонь и приговаривая:

— В шахматы пока не обучены, а в шашечки кое-что соображаем... Куда пошел? А это что? Бить надо. А то фук возьму, и ша... Вот это другой разговор. Четыре сбоку, ваших нет. А мы в дамки. И точка.

Через пять минут у меня не осталось ни одной шашки. Впрочем, одна-то осталась на доске. Но осталась она в том позорном положении, при котором выигравший обычно насмешливо зажимает нос...

Я сейчас же расставил шашки снова и предложил комиссару сразиться еще раз. Минут через десять на доске были заперты в угол две мои последние уцелевшие шашки, а комиссар, успевший к этому времени свернуть собачью ножку, весело окуривал позорный угол доски густым махорочным дымом...

«ЛАПКИ-ТЯПКИ»

Оська был сражен моим позором. Оська решил сам помериться силами с непобедимым комиссаром.

— А в «лапки-тяпки» вы умеете играть?— спросил Оська.

— Это как же — в «лапки-тяпки»?— удивился комиссар.

— А вот так,— проговорил Оська, снова устраиваясь на колени к Чубарькову.— Вот вы положите сюда вашу руку, а я буду вас ударять. А вы должны руку убирать, чтобы я не попал. Как не попаду, тогда вы будете бить. У нас в классе все так играют.

— А ну давай, давай,— охотно заинтересовался комиссар и положил на ломберный столик свою широкую пятерню — руку грузчика.

Оська прицелился. Он замахнулся левой рукой, но коварно ударил правой. Тяп! Комиссар не успел отдернуть руку.

— Смотри ты!— удивился комиссар.— Подловил, подловил... А ну-ка еще! Понял я вас. На, бей!

Оська проделал тот же маневр. Но ладонь его громко шлепнулась о стол. Комиссар на этот раз ловко убрал руку в последний миг.

— То-то!— сказал Чубарьков, чрезвычайно довольный.— Ну, а теперь клади свою пятишку.

ПАПА ПОДАЕТ НАДЕЖДЫ

Через некоторое время в комнату постучались. Вошел папа.

Мы поспешно стянули со столика и спрятали за спины свои вспухшие, красные, как у гусей, лапы, сильно чесавшиеся после увесистых шлепков комиссара. Но папа, должно быть, слышал из-за двери, что́ у нас происходит.

— Леля, Ося,— сказал папа,— что у вас там с руками?

— Ой, папа,— закричал Оська,— иди к нам, мы в «лапки-тяпки» играем с комиссаром! Знаешь, как он здорово играет! Лучше даже, чем у нас Витька Пономаренко в классе.

— А он у вас малый хитрец,— похвалил Оську несколько смущенный комиссар,— с ним надо ухо востро... Только жулит, не по правилам бьет, на лету подсекает.

— Нет, я не жулю, ни капельки не жулю!— кричал Оська.— Вы сами хитрый!

— Что за дикость!— возмутился папа.— Вы только посмотрите, какие у вас кисти рук. Это негигиенично... Товарищ комиссар, вы меня извините, но мои дети привыкли к более культурным развлечениям. Ну что это за времяпрепровождение — хлопать друг друга по рукам!

— Закаляются,— попробовал выручить нас Чубарьков.

— Знаешь, как это полезно!— поддержал я.— Тут надо расчет иметь и глаз точный...

— Чепуха!— сердился папа.— Подумаешь, искусство! Что тут мудреного! Бей, и все.

Комиссар хитро посмотрел на папу:

— Это как сказать, товарищ доктор. Это только глядеть просто. А тут соображать требуется. Вот вы попробуйте.

— Нет уж, увольте,— заявил папа.

— А вы попробуйте,— настаивал комиссар.

— Попробуй, папа!— присоединился и я.

— Боится, боится!— закричал Оська.— Папа трусит!

Папа пожал плечами:

— Бояться тут нечего, решительно нечего... Хитрости тут тоже большой нет. Но уж если вам так хочется, пожалуйста.

— Точка,— проговорил комиссар и деловито положил свою тяжелую длань на стол.— Ваш кон. Ваш почин, товарищ доктор.

Папа высоко поднял свою белую, как всегда тщательно отмытую докторскую ладонь. Он еще раз презрительно пожал плечами — и шлеп по пустому пространству стола, где только что была рука комиссара, исчезнувшая в миг удара.

Мы были в восторге.

— Ну как, товарищ доктор?— спросил комиссар.— Хитрости никакой?

— Одну минуточку,— сказал уязвленный папа.— Это не считается. Одну минуточку. Разрешите... Так, так. Кажется, я начинаю соображать. Ага, значит, вы кладете таким образом, а я, следовательно, бью отсюда. Превосходно. Нуте-с, прошу вас.

Комиссар, внимательно следя за папой, положил на стол руку, готовую каждое мгновение отпрянуть в сторону. Папа сделал несколько ложных замахов, и комиссар всякий раз слегка отсовывал свою руку. Вдруг папа неожиданно с силой и звучно припечатал ладонью руку комиссара.

— Эге,— сказал комиссар, потирая слегка вздувшуюся руку.— Тяпка-то у вас, товарищ доктор, дай бог, хирургическая. А из вас толк будет. Ну, больше не подло́вите. Ша! Хватит.

— Давайте, давайте, кладите. Я еще имею право удара!— горячился папа.— Минуточку!— Папа снял пиджак и подсел к столу.— Поглядим, поглядим еще, кто кого научит хитрости... Тяп!..

Заглянувшие через несколько минут в комнату тетки остолбенели в дверях при виде страшной картины. За столиком сидели комиссар распояской и папа без пиджака. Оба нещадно хлопали друг друга по рукам, промахивались, гулко били по столу ладонями.

— Тяп!— говорил комиссар.

— Ляп!— басил папа.

Мы с Оськой скакали от восторга, подзадоривая и без того увлекшихся игроков. Столик трещал и качался от ударов.

Трещали и шатались священные устои, вбитые тетками.

ЗНАКОМСТВА, ДЕЗЕРТИРЫ, СКВОЗНЯКИ

В другую комнату вселился изящный военный в шнурованных желтых ботинках до колен. Он внес чемодан, оглядел комнату, сел, почистил ногти, забарабанил ими по столу и сказал:

— Тэк-с.

— Сразу видно интеллигентного человека,— решили подглядывавшие тетки и вошли приветствовать жильца.

Квартирант вскочил. Он по очереди поцеловал руки всем трем и всех трех оделил своими визитными карточками с золотым обрезом. На карточках стояло: «Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де-Базан». А внизу помельче: «марксист».

Несмотря на столь звучное имя, Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де-Базан оказался личностью отнюдь не швамбранской. Он существовал на самом деле и был хорошо известен Покровску. Ла-Базри-де-Базан появился вскоре после революции. Он тогда редактировал покровскую газету «Волжский Буревестник» и прославился тем, что на первой странице рождественского номера огромными буквами поздравил «всех уважаемых читателей с 1917-м днем рождения социалиста И. Христа...» Через день газету поздравили с новым редактором. Теперь Ла-Базри-де-Базан работал в Тратрчоке. Он имел чин адъютанта для особых поручений, но так как главным его занятием было устройство всяких лекций, концертов и вечеров, то его прозвали «адъютант для особых развлечений». Красноармейцы звали его «Лабаз-да-Базар».

В третьей по коридору комнате расположилась «Комиссия по борьбе с дезертирством». Целый день туда паломничали раскаивающиеся дезертиры. Они несли в комиссию свои повинные головы, но, заплутавшись в квартире, склоняли их на наши столы и подоконники. Они бродили по комнатам и митинговали на кухне. Утром они без стука влезали в зал, где, разделенные шкафами, спали мы и тетки. Тетки взывали к их совести. Но дезертиры уверяли, что они люди свои, не обидят, и ложились вздремнуть у порога. Когда к маме приходила ученица, дезертиры окружали пианино и восхищенно следили за бегущими в гаммах пальцами.

— Ишь ты!— удивлялись дезертиры.— Махонькая, а как шибко!

Посторонние люди входили и выходили через все двери, и все они казались знакомыми и подходящими для знаком-

ства. Мама привыкла к сквознякам. Сквозняк втягивал в окна красные флаги. Дом стал сквозным. Коридор квартиры стал как бы рукавом улицы. Калитки почему-то игнорировались. Чтобы пройти с улицы во двор, люди шагали прямо через квартиру. Над головой беспрерывно во втором этаже стучали ремингтоны. Там был военный отдел. Однажды ночью машинки застучали слишком часто и громко. Утром нам объяснили, что это пробовали новый пулемет. Во дворе у коновязи гремели ведрами. На крыльце сидели арестованные дезертиры — злостные. Мерно расхаживали часовые. И за ними, стараясь ступать в ногу, прыгал серьезный Оська с игрушечной винтовкой. Он ходил по двору и заглядывал в окна Лабаз-да-Базара. Там, оставшиеся запертыми в столе, лежали наши манускрипты. Оська нес караул при Швамбрании.

МАРКИЗ И СОЛДАФОН

Комиссар читал на ночь третий том энциклопедического словаря. Первые два он уже прочел. Он читал словарь подряд. Тетки тихонько презирали его и не рекомендовали мне якшаться с «солдафоном». Но мы с Оськой не отлучались от него. Мы ходили вместе с ним в конюшни чистить военных лошадей и вместе мечтали о пароходах.

У Лабаз-да-Базара в комнате разило духами. Запонки, флаконы, ящики, рюмки, мундштуки, коробочки, ногтечистки заполняли подоконники. На стене висел портрет киноартистки Веры Холодной... Лабаз был вежлив, он всем уступал в тесном коридоре путь и часто щелкал желтыми каблуками. И питерская тетя говорила, что он скорее маркиз, чем марксист. Каждый вечер к маркизу приходили гости — военные дамы и штатские мужчины, прежние «отцы города» и «сестры милосердия». Тогда в комнате Лабаз-да-Базара было очень шумно. До глубокой ночи стонала гитара. Лабаз-да-Базар наждачным голосом пел о том, как король французский на паркете играет в шахматы с шутом. Тетя Нэса просыпалась и вздыхала.

— Он очень милый и благовоспитанный человек,— говорила тетка,— и он, конечно, не виноват, что у него нет ни голоса, ни слуха. Но зачем он поет, не понимаю...

Однажды Ла-Базри-де Базан подпоил комиссара. Чубарьков долго отказывался, но маркиз уговорил.

— Пей,— говорил,— пей. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей...

Без сапог, болтая штрипками галифе, явился к нам комиссар.

— Доктор,— сказал он,— словаря третий том я кончаю, а все галах... Бурлацкая моя жизнь. И точка.

Тут комиссар упал. Ему хотели помочь подняться.

Но он вскочил и выбежал из комнаты во двор. Через пять минут комиссар вошел с улицы.

Он был туго подпоясан, наглухо застегнут и официален. Шпоры звенели коротко и твердо.

Лицо его сводила мучительная сосредоточенность.

— Тут кто-то из военного отдела безобразничал,— сказал комиссар отрывисто,— пьяный валялся... нашу красную власть позорил. Где он тут? Сейчас же под арест! И точка.

Комиссар обыскал комнату. Папа быстро загородил зеркало. И комиссар не нашел себя. Уходя, он остановился в дверях и поводил перед носом жестким пальцем.

— Чтоб больше у меня этого не повторялось!— сказал комиссар, распекая кого-то воображаемого.— Точка! Ша!

ЧЕМ ПАХЛО МЫЛО

Несчастье обнаружилось вечером. Ла-Базри-де-Базан куда-то ушел. Пользуясь его отсутствием, мама пошла проверить, цел ли секретный пакет в столике. Столик был пуст. Сверток, мыло, бывшие деньги, наши манускрипты — все исчезло. Швамбранские тайны были похищены...

Папа и мама вернулись в столовую. Все сели за стол. Начался пленум семейного совета.

— Вот вам маркиз ваш,— сказал папа.

— Не может быть!— сказали в один голос тетки.— По манерам видно, что он из хорошей семьи. Вероятно, это комиссар подобрал ключ и «реквизировал», как это у них называется...

— Меня возмущает наглость!— убивалась мама.— И мыло... А денег этих мне совершенно не жаль... Все равно они никогда не пригодятся... Пустые бумажки, которые давно пора бы выкинуть!

— А зачем же ты их тогда прятала?— спросил я.

— Ну, все-таки,— сказала мама,— мало ли что...

Потом все долго и молча сидели вокруг стола. Все глядели на клеенку. Несчастье, казалось, было распластано на столе, длинное, как щука.

Папа встал и заявил, что он сообщит в Чека и Особый отдел.

Тетки замахали на него руками.

— С ума сошер!— кричала тетя Сэра.— Жароваться разбойникам на разбойников! Да вас самих заберут и расстреряют...

Но папа стукнул кулаком по столу. «Учледирка» стихла. Зажужжала рукоятка телефона.

— Особый отдел, пожалуйста,— сказал особым голосом папа.— Занято? Тогда соедините меня с Чека.

— Тише же!— испугалась тетя Нэса. Она привыкла произносить это слово зловещим шепотом.

Скоро явились двое. Оба высокие, смуглые, с черными усиками, в кожаном, похожие на шоферов. Папа предупредил Чубарькова. Вместе с комиссаром все вошли к Лабаз-да-Базару. Маркиз был уже дома. На минуту он смутился, потом с обычной развязностью приветствовал неожиданных гостей.

— Милости прошу,— сказал он,— прене во пляс, как говорят. Прошу. Могу кое-чем угостить.

Был обыск.

Из опрокинутого чемодана вывалились куски мыла.

— Наше,— сказал папа.

— Извините, мое,— отвечал маркиз.

Николаевские сотенки перемешались с какими-то бумажкам и чертежами. Оська взглянул на меня, и я посмотрел на него.

— «Письмо к царю»,— читал, перебирая бумажки, человек с усиками.— «Карта боя», «План города П.», «Тайный приказ», «Список заговорщиков»... Что это такое?— спросил он у маркиза.

— Не знаю...— бледнея, отвечал маркиз, увидев, что дело пахнет хуже, чем мылом.

— Как же это у вас очутилось?

— Не знаю... Честное слово, товарищ. Это все не мое... И мыло тоже... Я ничего не знаю.

Чубарьков подошел вплотную к маркизу. Комиссар обругал его сквозь зубы шепотом, похожим на плевок в лицо.

Вдруг Оська вылез вперед. Я делал ему знаки, я вращал глазами, как бумажный чертик на веревочке. Он не видел!

— Это наше!— сказал Оська.— Пускай обратно отдаст, раз взял.

Чекисты рассматривали чертежи. Они многозначительно переглянулись.

— М?..— вопросительно произнес один.

— Умгу!— утвердительно отвечал другой.

— Товарищи!— сказал я.— Это просто мы играли и спрятали в мыло. Больше ничего.

— Там разберем,— сказали они.

Мы слышали потом, как один из них говорил в телефонную трубку:

— Слушаешь? Это Шорге говорит. Этого я задержал. Да, найдено, признался. Но тут кое-что любопытное обнаружи-

лось. Да, да. Ребята говорят, это их. Да. Сомнительно. Что? Обоих? Есть!— и щелкнул рычажком, как каблуком.

Потом он о чем-то посоветовался с Чубарьковым. Чубарьков смущенно посмотрел на нас.

— Леля! Вося!— сказал комиссар.— Айда, прокатимся на машине. На автомобиле. Начальник очень просит. Пускай, говорит, Леля и Вося мне о бумажках этих все расскажут. И точка. И я с вами заодно прокатиусь. Есть такое дело? Точка.

Тетки по очереди, одна за другой, как кегли, повалились в обморок. Мне тоже стало немножко не по себе.

Большой автомобиль увез нас в Чека. Ночь бросилась навстречу. Мы ощутили себя швамбранами. Мы спешили на место приключения.

ШВАМБРАНЫ ПОСЕЩАЮТ ЧЕКА

Кабинет был тих. Два человека склонились над бумагами. Настольная лампа отражалась в бритом до блеска темени толстяка в очках. Другой был латыш. Белесые ресницы его мерцали.

— Ну-с, ребятены,— сказал очкастый,— присаживайтесь. Так в чем же дело?

И он посадил Оську на стол. На столе лежал браунинг.

— Заряженный?— деловито спросил Оська и вдруг принял свой обычный тон.— А вы кто? Главный чекист? Да? Велите ему, чтоб он отдал бумажки. А то рисовали, рисовали...

— Сейчас все устроим,— сказал очкастый,— только для этого всю как есть правду говорите! Ладно?

Латыш, играя ресницами, читал швамбранские письма. Мне было очень неловко.

— Чепуха какая-то!— сказал латыш сердито и передал бумаги очкастому.

Тот внимательно проглядел их.

— Что за город П.?— спросил толстый.

— Это Порт-у-Пея,— объяснил я,— порт у города Пея.

— А где такой есть?— изумился начальник.

— В Швамбрании,— ответил за меня Оська.— Это страна такая, как будто. Ее Леля сам открыл. Мы в нее всю жизнь играем.

— Ишь ты, какой Колумб твой Леля!— сказал начальник.— Ну, а если игра, так зачем же эти документы прятать было?

— Для секрету,— сказал Оська,— чтоб тайна была. Когда тайна, интереснее.

Тогда заинтересованный начальник попросил нас расска-

зать ему про всю нашу Швамбранию. Мы начали неохотно. Но старая игра увлекла нас. Мы наперебой начали описывать жизнь на материке Большого Зуба. Мы объяснили герб и карту, перечислили всех членов династии Бренаборов, описали войны, путешествия, революции и чемпионаты, а Оська даже вспомнил фамилию последнего швамбранского министра наружных дел. Встав, мы спели швамбранский гимн. Мы даже собрались поссориться из-за последних кладбищенских реформ, но...

Начальник хохотал. Хохот одолевал его. Он закатывался, хлюпал от смеха и вытирал слезящиеся глаза. Он хлопал себя по бритой макушке и мотал головой, стараясь отогнать насевшее на него веселье.

Смеялся сердитый латыш. Он трясся, не открывая плоского рта; ресницы его сплющились. Что-то ёкало в горле, как селезенка у лошади.

Мы с Оськой обиженно смотрели на них. Потом начали улыбаться. Скоро нас разобрало.

— Ох! С вами театра не надо!— сказал уморившийся начальник.— Помру, думал... Ох, как это, говорите... Бренабор? Ой, надо ведь такое состряпать... Ведь какая система! Сдохнуть можно! А что,— спросил он вдруг серьезно,— трудно управлять государством?

— Ничего, спасибо,— отвечали мы,— управляемся понемножку. Хотя бывает иногда — не разберешься.

— Ну, а зачем же вам все это понадобилось?— спросил начальник.

Это был серьезный вопрос. Я набрал в грудь воздуху.

— Мечтаем,— сказал я,— чтоб красиво было. У нас, в Швамбрании, здóрово! Мостовые всюду, и мускулы у всех — во какие! Ребята от родителей свободные. Потом еще сахару — сколько хочешь. Похороны редко, а кино каждый день. Погода — солнце всегда и холодок. Все бедные — богатые. Все довольны. И вшей нет.

— Чудесные вы ребятены!— серьезно и тепло сказал начальник.— Тут не мечтать надо, а дело делать. И у нас будут мостовые, мускулы и кино каждый день. И похороны отменим, и вшей упраздним. Погоди! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только тут не мечтать надо, а работать... Да не время сейчас мне в воспитание пускаться. Ночь уж. Поздно. Вон младший швамбран как зевает: того и гляди, весь материк проглотит. И мама ваша небось беспокоится. Сейчас я ей по телефону звякну.

Сам начальник отвез нас домой. На прощание он разрешил Оське подудеть на гудке автомобиля. Начальник, смеясь, сказал, что он был рад случаю познакомиться с представителями швамбранского племени. Он рекомендовал

скорее ввести в Швамбрании целиком Советскую власть, а потом бросить мечтать и помочь делать настоящие мостовые.

— А что вы сделали с Лабаз-да-Базаром?— спросил я, окончательно осмелев.

— Пошлем жить в эту... как е... Пи-ли-гвинику,— сказал начальник.— Он ведь тоже выдумал самого себя. Но выдумал гадко и играл в себя на деньги... Ну, покойной ночи, ребятены! Желаю швамбранских снов и доброй яви!

НОВЫЙ ПРОСТОР ДЛЯ БЛУЖДАНИЙ

Нас опять переселили. Нам дали квартиру на далекой Аткарской улице. Центробежные силы действовали. Мы удалялись от центра.

Переезд прошел незаметно. Мы уже привыкли ко всяким перемещениям. Величие Дома (с большой буквы) было давно развенчано. Вещи пристыженно перебрались в тесные углы нового жилища. За неимением места шкаф и один стол по дороге приблудились к знакомым.

Переезд совпал с новыми пертурбациями в Швамбрании. Произошли опять значительные сдвиги этого острова, блуждающего в поисках единой всеобщей истины. После посещения Чека мы уже были близки к цели наших скитаний в мире.

Но новое, совсем новое увлечение приблудилось к Швамбрании. По истечении трех дней мы считали этот азарт откровением истины.

Это был театр.

В Покровске открылся Городской театр имени Луначарского. Он помещался в бывшем кино «Пробуждение».

Труппа состояла из питерских и московских актеров. Они сменяли сомнительную столичную славу на существенный провинциальный паек.

Фамилии актеров сразу прельстили нас поистине швамбранским изяществом: Энритон, Полонич, Вокар... Правда, выяснилось, что некоторые фамилии были просто начертаны задом наперед. Так, в паспорте Вокар значился Раков.

Среди актеров выделялся талантливый Холмский. Это был человек универсальный (через несколько лет я встретил его в Москве, директором известного Театра сатиры). Специальностью Холмского были мерзавцы и Наполеоны. Кроме того, он был драматург и художник. Городской Совет поручил ему расписать изнутри здание театра. На стенах зрительного зала расплодились кентавры (человеколошади), трубадуры, музы, прорицатели и прочая нечисть. Холмский был человеком увлекающимся. Он любил крайности. Одних он с

головой запаковывал в железные латы, другим не выдал никакой мануфактуры. Тела он сделал лиловыми, что, впрочем, вполне соответствовало тому арктическому холоду, который царил в театре. У входа Холмский нарисовал Венеру Милосскую. По предписанию горсовета, он снабдил богиню руками. На пьедестале было написано: «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! Спасибо вам скажет сердечное рабочий народ!»

Покровчане остались недовольны росписью театра.

— Партийные, а голых рисуют,— говорила публика.— Чисто баня какая, а не театр!

Питерская тетка оказалась страстной театралкой. С ней мы не пропускали ни одной премьеры. Скоро мы знали в лицо и спину каждого актера. Театр завладел нами. Нам нравилось все в нем: гонг, антракты, очередь у кассы...

Театр в то время походил на вокзал. Спектакли опаздывали, как поезда. На полу корчились окурки собачьих ножек, семечки лопались под ногами. Зрители были в шубах с поднятыми воротниками. Аплодисменты были неистовы, хотя рукавицы и глушили хлопки. Во время спектакля наклонный пол зрительного зала все время сотрясал легкий гул. Это зрители тихонько стучали ногами, согревая подошвы.

— О, какой зной! Мне душно!— говорила на сцене королева, обмахиваясь веером, а изо рта валил пар, как из самовара. Телогрейка просвечивала под ее кисеей.

Из будки дымился шепот суфлера.

От зрителей несло нафтолизолом. Перед посещением театра нас обильно поливали этой зловонной дезинфицирующей жидкостью, а когда мы возвращались, нас осматривали в передней со свечкой в руках.

ШВАМБРАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

«Учледирка» иногда тоже посещала наш театр и потом целую неделю критиковала. Тетю Сэру один раз едва не побили. Только успели открыть занавес и задул закулисный сквозняк, как в зале из первых рядов раздался теткин голос.

— Закройте же там! Дует!— сказала тетка, как будто занавес, эта волшебная завеса, разделяющая два мира, был какой-то форточкой.

И все зрители обиделись.

Мы рвались проникнуть за занавес. Гришка Федоров, человек влиятельный и добрый, сын театрального парикмахера, доставил нас на кухню чудес. Нас поразила грубая невсамделишность бутафорских вещей, игрушечные фрукты и холщовые горизонты. Зато с восхищением рассматривали мы

взрослых людей, ежедневно играющих в чужую жизнь. Это было почище Швамбрании.

В зале над аркой сцены шла надпись:

МИР — ТЕАТР, ЛЮДИ — АКТЕРЫ

(Шекспир)

Это изречение стало новым девизом на швамбранском гербе.

Швамбраны пошли на сцену. Мир теперь расщепился на актеров и зрителей. Покровский день нам казался затянувшимся антрактом.

— Искусство отвлекает людей от серой, будничной жизни,— говорили тетки.— Оно переносит нас в мир прекрасных образов.

Они потом, ссорясь и увлекаясь, спорили о поступках различных героев вчерашнего спектакля. Они обвиняли этих выдуманных людей, защищали, любили их и ненавидели, совершенно как мы с Оськой, когда играли в Швамбранию. И мы пришли к выводу, что такое искусство — это Швамбрания для взрослых. Они играли в нее серьезно.

Однажды во время спектакля «Вечерняя заря» потухло электричество. Спектакль продолжался при керосиновом освещении. Лампы коптили небо, нарисованное клеевыми красками. Шла заключительная сцена пьесы. Отец решил убить свою дочь. Отец взял револьвер.

В эти минуты я заметил, что одна из ламп, стоящая на авансцене, сильно коптит. Пламя тоненьким фонтанчиком встало из стекла. Отец приближался к дочери. Пламя уже доставало до края холщового павильона. Отец поднял руку с револьвером. Декорация могла вспыхнуть каждую минуту. Дочь ломала руки. Я уверен, что очень многие зрители видели, как грозила пожаром лампа. Но дочь упала на колени, и зрители молчали. Они боялись испортить убийство. Швамбрания владычествовала в зале. Отец щелкнул взведенным курком.

Декорация задымилась.

— Так умри же, несчастная!— крикнул отец.

— Лампа коптит!— закричал я, сбросив оцепенение.

Ловкий актер нимало не смутился. Одной рукой он привернул фитиль, другой — закончил пьесу.

Театр был спасен. Но не успел упасть занавес, как соседи набросились на меня. Они кричали, что мальчишек нельзя пускать в театр. Они твердили, что я мог обождать со своим дурацким криком, а теперь вот вышло не убийство, а какая-то

комедия, за которую и денег платить не стоило. И я в душе должен был признать, что как-никак, а я впервые изменил Швамбрании.

РАЗГАДКА ГИТИКА

Две вещи уже давно занимали и мучили меня. Несколько лет я пытался понять их истинное предназначение. Это были: старый локомотив, вросший в землю на Скучной улице, и таинственное слово «гитик», упоминавшееся в известном карточном фокусе.

И вот я узнал, что такое «гитик». Простая вывеска расшифровала его. Вывеска оказалась более сведущей, чем учителя гимназии и энциклопедический словарь. Я не мог поверить своим глазам, когда на одном из домов бывшей Брешки, теперь Коммунарной площади, я издали уже прочел: «ГИТИК». Я подбежал ближе. «Городской Институт Театра и Кино»,— прочел я.

Покровск захватило повальное увлечение театром. Все играли. Тратрчок, Уотнаробраз, Упродком и Волгоразгруз имели свои любительские труппы. Расплодились театральные студии. Потом все эти студии объединились в одно целое под вывеской ГИТИК. При ГИТИКе открылась детская студия. Так как школа бездействовала, то мы с Оськой записались туда. Потом к нам присоединились Степка Атлантида и Тая Опилова.

Мы готовили к постановке пьесу «Принц Форк-де-Форкос». Принц этот был влюблен в принцессу, а королева, ее мать, была гордая и вообще дрянь. Принцу показали нос. Потом принц расколдовал гриб, а оттуда вылезла фея и дала принцу абрикос. Королева съела абрикос, и у нее вырос огромный нос, а на острове Родос, где жил Форк-де-Форкос... Словом, там еще много строк кончалось на «ос».

Принцессу играла Тая Опилова. Мы со Степкой едва не поссорились из-за роли принца, потому что принц по ходу действия должен был объясняться в любви принцессе, а принцесса, считали мы, догадается, что это не только по ходу пьесы... Режиссер Крамской дал роль Степке. Он сказал, что Степка старше, выше меня и голос его мужественнее. Как будто я не мог басить, если бы захотел!

Мы упросили Форсунова взять роль великана колдуна. А гримировал Гришка Федоров — родной сын настоящего парикмахера из настоящего театра.

Вечером, в день спектакля, мы пошли в ГИТИК. Я играл шута, Оська — бессловесного гнома. Оба мы волновались.

Гришка Федоров загримировал нас. Зал нетерпеливо гудел за занавесом, опасный, насмешливый, неведомый. Пора было начинать, но не было Степки и Форсунова. Режиссер нервничал, шагая за кулисами.

— Время!— кричал зал и топал.

Наконец они явились. Оба были суровы и торопливы.

— Лелька, прощай!— сказал Степка.— Мобилизация коммунистов. На фронт шпарим... А я добровольцем. Еле упросил. «Молод»— говорят. Все-таки взяли. Сейчас эшелон уходит. Счастливо оставаться!

Руки наши сшиблись в крепком пожатии. Степка помолчал, потом откашлялся.

— Тайку небось теперь один провожать будешь,— тихо сказал он.— Ладно уж, мне не жалко. Только других, смотри, отшивай...

Зал едва не рушился. Форсунов с вещевым мешком на спине вышел за занавес. Зал стих. Форсунов поправил на плече лямку мешка.

— Спектакль откладывается,— сказал Форсунов.

— На когда? — закричал зал.

— Как только белых побьем!— отвечал Форсунов

ГЛАВНЫЙ МУЖЧИНА

Через день папа уехал на Уральский фронт. Папа ехал в неминуемый тиф: фронт разъедала сыпнотифозная вошь. Мама с тетками приготовила ему три полных чемодана. Папа взял один. Он мрачно пошутил, что никакой утвари ему не надо: кургана все равно над ним не воздвигнут, а в загробную жизнь он не верит. Потом все сели, как полагается перед дорогой.

— Ну ладно,— сказал, вставая, папа.

Он расцеловал нас.

— Смотри,— сказал он мне,— ты теперь в доме главный мужчина.

В дверях он столкнулся с пациентом. Пациент стонал и кланялся.

— Прием отменяется,— сказал папа,— видите, я уезжаю.

— Доктор, батюшка, сделай милость,— взмолился больной,— долго ль посмотреть! А то прямо сил нет, как сводит... А ждать-то тебя... Может, ты там и помрешь...

Папа посмотрел на стенные часы, потом на больного, потом на нас. Он опустил чемодан на пол.

— Раздевайтесь,— сказал он сердито, пропуская пациента в кабинет.

Через десять минут папа уезжал.

— Так помните,— говорил он больному, садясь в сани,— по семь капель после еды.

Когда сани с папой отъехали, тетки отошли от окон и хором зарыдали.

— Но, но, дамьё!— грубо сказал я.— Хватит. Подсыхайте.

Тетки испуганно стихли. Но тишина, наступившая в разом опустевшей квартире, угнетала еще хуже. Я стиснул кулаки. Походкой главного мужчины я вышел из комнаты.

На твердой земле

УРОКИ НАМ И ДРУГИМ

Не помню, сколько прошло времени. Возможно, что год, а может быть, месяц... Календарей не было. Время тогда было трудно измерить. Его течение потеряло равномерность. Когда удавалось выменять, скажем, старый гимназический мундир на сало «шпек», дни глотались залпом. Другие, сухомятные, дни тянулись, как недели,— долго и голодно. Распорядок суток стал совсем иным. Прежде центральным пунктом дня, укоренившимся часом сбора всей семьи, был обед — торжественная еда, таинство, церемониал принятия пищи, трапеза, и весь день отмеривался «до обеда» и «после обеда». Теперь обеда как такового часто не было. Ели, когда было что есть. «Давайте подзакусим»,— говорила тогда мама.

И ели на ходу, как на вокзале, стоя, так как было страшно вступить в общение с ледяным стулом. В комнате было студено, и каждый инстинктивно скупился уделить собственный нагрев бездушному предмету...

Мы двигались, сторонясь холодных вещей. Вещи хватали наше тепло. Установили дежурство истопников. Утром дежурный, кляцая зубами, выползал из-под горы одеял и портьер. Реомюр стыл на четырех. Дежурный прыгал в неуютные валенки и растапливал печку-«буржуйку». Печурка кратковременно распалялась. Вместе с Реомюром поднимались все обитатели нашей квартирки. Буфет стоял — душа нараспашку. Он был гол и пуст, хоть в кегли играй, то есть хоть шаром покати. Мы ели пресную кашу из тыквы и пили арбузный чай с сахарином.

Мама теперь служила в музыкальной школе. Но занятия ввиду отсутствия помещения происходили у нас. Ученицы пихали валенками педаль. Костенеющими пальцами они тревожили простывшее нутро пианино. Мама в шубе и перчатках ловко поднимала из-под их пальцев западавшие клавиши.

Ко мне тоже приходила ученица. За фунт мяса в месяц я обучал некую великовозрастную и дебелую Анюту Коломийцеву грамоте и счету. Фунт мяса доставался мне не-

легко. Я узнал, почем фунт лиха... Ученица моя упрямо не доверяла буквам. Она руководствовалась больше собственными догадками. Ей надо было, например, прочесть слово «Нюра».

— Ны и ю — ню,— читала она,— ры и а — ра... Получается Анютка!— радостно заключала она.

В другой раз одолевали мы слово «сапоги».

— Сы и а — са,— карабкалась по слогам Анюта,— пы и о — по, значит — сапо... Теперь гы и и — ги...

— Ну, что вместе получается?— спросил я.

— Валенки,— сказала Анюта.

ПО ДОРОГЕ ТУДА

Там, за горами горя,
солнечный край непочатый.
Маяковский

После урока мы с Оськой шли собирать солому, чтоб протопить немного голландку. Пользуясь ее быстротечным теплом, ставили тесто для хлеба. Мы по очереди месили опухшими сизыми руками тягучую мякоть квашни. Для этого дела необходимо было ожесточение, и мы представляли себе, что мнем кулаками ненавистный живот врагов революционного человечества — от Уродонала Шателена до адмирала Колчака.

Вечером все скоплялись у стола. Электричества не было. Лампочку-ночник зажигали только по воскресеньям, и это бывал действительно светлый праздник. Будни освещались коптилкой. Фитилек, скрученный из ваты, опускался в чашку с постным или деревянным маслом. На его конце жил шаткий огонек. Комната заполнялась черными ужимками теней.

Тетки подвигали лампочку к себе. Тетки сидели в ряд, строгие и слегка потусторонние. Лампочка немножко светила на их лики. «Учледирка» напоминала богородиц в пенсне. Тетки читали вслух. После они разговаривали о красивом прошлом и разрушенной жизни.

— Боже мой! Какая красивая была жизнь!— вздыхали тетки.— Концерты Собинова, альманахи «Шиповник», пятнадцать копеек фунт сахару... А теперь?!

— Тетки!— говорил я голосом главного мужчины из темного угла комнаты, где происходила у нас Швамбрания.— Послушайте, тетки! Я же раз навсегда просил, чтоб вы контрреволюцию агитировали про себя, а не вслух. Мне,

конечно, с гуся вода и чихать... Но вбивать несознание в маленьких...

И я, подойдя к столу, указывал глазами на Оську. Я с некоторой поры ощущал себя стремительно повзрослевшим. Ответственность за дом не только не давила меня — она вздымала. Я чувствовал, что складнее стал думать, что легче стали подбираться нужные слова, что тверже я стал знать многое. Без страха и упрека смотрел теперь я в глаза действительности. Соломенная повинность, ознобленные пальцы и каша из тыквы не омрачали меня. Отсутствие календаря, еда на ходу, жизнь в шубах — все это придавало нашей жизни временный, вокзальный, проездной характер. Но это не было очередным блужданием швамбран. Жизнь перемещалась в ясном направлении. Только дорога была непривычно трудной.

— Мама, не огорчайся,— говорил я матери в дни, когда не было чечевицы, керосина и писем от папы.— Не надо киснуть, мама. Ты возьми и воображай, будто мы каждый день долго едем через всякие пустыни и разные тяжелые горы... Едем в новую страну... прямо необыкновенную...

— Куда едем?— безнадежно говорила мама.— Опять ваша Швамбрания?

— Да не в Швамбрании это, мамочка, а факт,— убеждал я.— Это ничего, что вот у нас коптилки, и солому таскаем, и что руки поморожены... Правда, мама... Помнишь, у нас были неподходящие знакомые Клавдюшка, Фектистка? Им ведь жилось всю жизнь в сто раз плоше, чем нам сейчас немножко. Это, мама, нечестно даже было бы, если бы нас сразу так шикарно доставили туда. И так мы уж больно пассажиры какие-то... А тетки — это прямо зайцы, которых высадить надо бы. Вот папа — это дело другое. Хоть я очень соскучился, но это правильно, что он на фронте.

— Вы слышите?— ужасались тетки.— Боже мой! Воспитывали их, гувернанток нанимали — и что же! Чекисты какие-то растут!

А я мечтал. Вот вернется Степка. Я пойду ему навстречу в заплатанных валенках, с прелой соломой в руках.

«Здоро́во, Степка,— скажу я.— Дай пять... (Только не жми, а то у меня руки отекли...) Вот видишь, Степка, я теперь главный мужчина в доме и запретил контрреволюцию с теткиной стороны. Немножко проголодался, но это ничего. Буду есть тыквенную кашу до победного конца».

«Молодец парень,— скажет мне Степка,— хвалю за сознание. Держись. И каша — хлеб».

«Но мне обидно ехать пассажиром,— скажу я,— я хочу матросом!»

«Будь!— скажет Степка.— Будь матросом революции».

Тут мечты обрывались, как лента в кино. Как стать матросом революции, этого я не знал. И мама бы не пустила...

ГЕРОЙ ЖЕЛУДОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Однако Швамбрания продолжалась. В пространстве она не сократилась, хотя времени занимала теперь много меньше. Затем швамбран постиг тяжелый удар. В наше отсутствие мама ухитрилась сменять у вокзала на четверть керосина... ракушечный грот вместе с узницей его — Черной королевой, хранительницей В. Т. Ш. Так бесславно погибла она для нас. Мы пережили получасовое отчаяние. Солнцу Швамбрании грозил закат. Но зато вечером зажгли лампу.

Швамбранская игра в то время сводилась главным образом к воображаемому обжорству. Швамбрания ела. Она обедала и ужинала. Она пировала. Мы смаковали звучные и длинные меню, взятые из поваренной книги Молоховец. На этих швамбранских пиршествах мы немножко удовлетворяли свои необузданные аппетиты. Но сахарный фонд Швамбрании убывал только по праздникам. Главным поваром Швамбрании был Жорж Борман. Его мы взяли со старой рекламы какао и шоколада. Жорж Борман был последним героем Швамбрании. Это был герой чисто желудочного происхождения. Никакого нового заблуждения он уже не мог состряпать.

Вообще в Швамбрании наступила эпоха упадка. Но случайные обстоятельства дали толчок новому расцвету государства Большого Зуба. Эти обстоятельства жили в большом заброшенном доме на нашей улице.

ДВОРЕЦ УГРЯ

Дом был выстроен когда-то слегка свихнувшимся немцем-богачом по фамилии Угер. Улица произносила: «Угорь». Богач принял это укоренившееся прозвище. Дом Угря был одной из достопримечательностей Покровска. Приезжих водили к нему. Приезжие удивлялись. Это было действительно совершенно диковинное сооружение. Его владельца обуревали честолюбие и жажда сногсшибательного благоустройства. Он задумал украсить Покровск необыкновенным зданием. Он рвался в славу. При этом Угорь не доверял инженерам. Он самолично составил проект своего дома. Постройка шла под его неусыпным наблюдением. Дом вырос в три эта-

жа, да еще с полуподвалом. Одноэтажные покровчане задирали головы и считали этажи по пальцам.

Дом Угря был похож сразу на старинный боярский терем, на ярмарочный балаган и на висячие сады Семирамиды. В каждом этаже окна были не похожи друг на друга. Окна были и длинные, и круглые, и квадратные, и узкие... Сбоку шли галереи из разноцветных стекол. С этого боку дом был похож на лоскутное одеяло. Весь фронтон дома был расписан живописцами. Внизу баловались русалки. На втором этаже плыли корабли. Разнообразные генералы были нарисованы на третьем. А под крышей охотники в альпийских шляпах с перьями стреляли в тигров и львов.

При малейшем дуновении ветерка дом начинал жужжать и звенеть: то мотались на башенках двадцать два флюгерка, крутились пятнадцать жестяных вертушек и вращались, гремя, в окнах восемь огромных вентиляторов. Даже голуби были озадачены этим пестрым громом. Даже голуби избегали дом. А о квартирантах и говорить нечего.

Сперва в доме помещалось Высшее начальное училище (ВНУ). Но флюгера и вентиляторы не давали «внучкам» заниматься. Пытались квартировать в доме какие-то отчаянные жильцы, но висячие сады Семирамиды стали при ветре раскачиваться, полы гнулись, рамы трещали. Дворец стал рассыпаться, словно карточный домик. Угорь скончался от горя. В предсмертном бреду он просил поставить ему на могиле флюгер и вентилятор... А дом продолжал тихонько истлевать. Отмирали косяки, перила, иногда целые галереи. Отмирали и рушились. Цветные стекла красовались в окнах соседских домов. По всей улице гремели флюгера, покинувшие дом Угря.

Когда пурга убыстряла разрушение, осторожно приближались соседи. Они тянули за собой порожние салазки. Соседи располагались вокруг дома и ждали. Они сидели, как гиены вокруг издыхающего льва. Отпавшие куски дома они растаскивали по своим дворам. Но открыто напасть на дом и разорить это никому уже не нужное сооружение они не решались. Соседи еще уважали недвижимую собственность.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В МЕРТВОМ ДОМЕ

Мы сразу поняли, что огромный дом-мертвец сможет быть новым, удобным и таинственным вместилищем игры. Швамбрания заняла все уцелевшие этажи. Игра снова приобрела свежий интерес, и нас не смущало, что все внутри

было загажено. Швамбраны оживили развалины, а мертвый дом надолго отсрочил падение Швамбрании.

Шорохи, скрипы и гулы населяли остатки дома и питали нашу фантазию. По дряхлым лестницам ступал ветер. Страхи ютились во мраке и сырости коридоров, и ночами ползла по стенам жуть...

Более подходящего места для швамбранских приключений найти было нельзя. Дом был нами быстро исследован. Комнаты его мы наделили прекрасными именами швамбранских городов. Швамбрания возрождалась. Неисследованным остался только один темный, подозрительный проход, ведущий в засыпанный обломками полуподвал. Мы предприняли экспедицию в эту неизведанную землю. Мы захватили длинные палки и висячую лампадку вместо фонаря. Затем мы, следуя лучшим советам книжек, опоясали себя веревкой и соединили ею наши пояса. Теперь мы походили на исследователей пещер.

Мы спускались в подземелье. Ступени лестниц давно выпали. Мы скользили по наклонным доскам, карабкались по развaленным кирпичам. Я полз впереди. Качалась лампадка, привешенная на конце выставленной вперед палки. За мной лез Оська. Оська был храбр и стоек. В доказательство этого он каждую минуту говорил, что ему совсем не страшно, а, наоборот, даже уютно... Когда ему в шестой раз стало уютно, он провалился... Гнилая доска осела под ним, и Оська упал в подвал. Так как мы были привязаны друг к другу, то сила его падения подтащила меня к самому провалу и прижала к доскам. Веревка оставалась натянутой, она давила, стягивала, резала мне пояс.

— Оська, ты упал?— крикнул я испуганно в черную дыру.

— Нет еще,— ответил невидимый Оська,— я лечу, лечу и все никак не могу упасть до дна...

Я зажег потухшую при катастрофе лампадку и спустил ее в этот бездонный провал. Я увидел Оську. Он висел между небом и землей, привязанный веревкой к поясу. Оська медленно вращался... Он барахтался и извивался, силясь достать пол.

— Леля! Вынь меня отсюда,— попросил Оська,— тут как неуютно... и веревка туго очень...

Я, напрягая все силы, стал вытаскивать братишку. Но вдруг что-то нехорошо затрещало. Доски, на которых я лежал, обломились.

Я полетел в тьму и упал на Оську.

— Теперь упал,— удовлетворенно сказал Оська.— Самое дно, и не туго.

Лампадка разбилась... Мрак клубился в пещере. Плотная, прокисшая тьма лежала на дне подвала. Только сверху, через наш пролом, скупо сочились серые проблески. Приглядевшись к мраку, мы заметили затонувшие в нем непонятные предметы. Какой-то железный ящик на ножках. Стеклянные и металлические сосуды. Трубки, причудливо изогнутые или свернувшиеся змеей. Потом мы наткнулись на тучные мешки с чем-то.

— Клад,— сказал Оська.

— Тайны,— шепнул я.

— Большие новости,— сказал Оська.

— Еще бы!— шепнул я.— Настоящий клад для Швамбрании! Мы здесь устроим замеча...

Внезапный свет бросился на пол между нами. Мы кинулись в разные стороны. Но что-то схватило нас сзади. Мы шлепнулись. Это проклятая веревка поймала нас за пояса и опрокинула на пол. Чья-то рука подтянула веревку к фонарю. Над фонарем мы увидели ужасное рыло: сверкающая верхняя губа, яркие ноздри и светлые подборовья. Остальные черты таинственного лица растворились во мраке.

Мы услышали грубый голос.

— Вы какого дьявола тут шатаетесь? А?— рычала, сверкая и извиваясь, верхняя губа.— Каким вас манером занесло сюды? Убью, дрянь! Только попробуйте утекать, пришью в два счета, как кутят...

Прескверная ругань увенчала это вступление.

— Чего вы ластесь без толку?— сказал я, стараясь не стучать зубами.

— При маленьких по-черному не ругаются,— добавил Оська,— а то я тоже буду... Как начну, так не обрадуетесь.

Веревка резко натянулась и подтащила нас к огромному кулаку, освещенному с одной стороны фонарем.

Ущербленный кулак этот выразительно повернулся и показал нам, как некая грозная луна, все свои фазы.

— Отпустите сейчас же веревку!— закричал я.— Чего вы ее держите?.. Самодержавец какой... Вы не имеете права!

— Он думает — старый режим,— сказал Оська.— Вот мы скажем на вас главному начальнику в Чека... Он с нами очень знакомый. Если мы захотим, он вас живо заберет...

— Чекой грозишь, пащенок...

И полный кулак взошел над Оськиной головой.

— Стой! Устрани свой кулак, безумный!— прозвучал сзади голосок, кого-то очень мне напоминавший.— Сними путы с пленников,— продолжал он тем же напыщенным тоном.— Садитесь, юные пришельцы. Привет вам от старого ученого отшельника! Что привело вас в мою пещеру, о троглодиты?

Кулак затмился. В свете фонаря блеснула лагуной лысина — лысина Э-мюэ, знакомая лысина Кирикова, человека-поганки.

ЭЛИКСИР «ШВАМБРАНИЯ»

— Садись!— сказал мне Кириков.— Я узнал тебя. Ты один из стада диких. Вы оба — сыны великой и славной страны Швабрии...

— Швамбрании,— поправил Оська.— А откуда вы знаете?

— Я все знаю,— отвечал Кириков.— Я обитаю в сокровенных недрах страны вашей, но на досуге от своих ученых изысканий подымаюсь на поверхность... Вчера, и позавчера, и на той неделе я слышал вас, о швамбране, когда вы здесь, среди этих печальных руин, играли... то есть, я хотел сказать, воплощались в жителей прекрасной Швамбромании...

— Швамбрании,— строго сказал Оська.— А что вы тут делаете?

— И зачем эти штуки тут понаставлены?— спросил я.

Последовало молчание.

— О швамбране,— сказал страшным голосом Кириков,— вы неосторожно прикоснулись к тайне моей утлой жизни, к ране моей души...

— Вы разве душевнобольной?— спросил Оська.— Вы из сумасшедшего домика?

— Я чист душой и ясен разумом,— сказал Кириков,— но я несправедливо обойден людьми и властью. Я оскорблен и унижен. Но я страдаю во имя блага человечества. Клянитесь, что вы не разгласите моей тайны, и я сохраню вашу — вашу тайну, тайну Швамбургии...

— Швамбрании,— опять поправил Оська.

Потом мы поклялись. Кириков поднес к нашим лицам фонарь, и мы торжественно обещали молчать обо всем до смерти.

— Так слушайте же, братья швамбране!— воскликнул Кириков.— Я последний алхимик на земле. Я — Дон-Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных — весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих — знакомыми.

— Это вы так играете?— спросил Оська.

На это Кириков, обозлившись, ответил, что его эликсир — не игра, а серьезное научное открытие. В пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь

дом, проведет электричество и самый верхний этаж целиком отдаст нам под Швамбранию. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать.

— И мой эликсир,— закончил алхимик Кириков,— эликсир мировой радости, я назову в честь моих молодых друзей — элексир «Швамбардия».

— Не Швамбардия, а Швамбрания!— рассердился наконец Оська.— Выговорить не можете, а еще алфизик.

— Не алфизик, а алхимик!— так же сердито сказал Кириков.

Мы были еще несколько раз гостями алхимика. Алхимик Кириков и его ассистент Филенкин оказались при свете людьми очень гостеприимными. Они посвящали нас в свои успехи и с охотой слушали наши швамбранские новости. Алхимик даже помогал нам управлять страной Большого Зуба. Швамбрания процветала.

Они работали по ночам. Их тайный дым улетучивался во двор. Труба была искусно замаскирована. Иногда мы даже помогали им и кололи дрова. Но эликсир нам не показывали, говоря, что он еще не вполне составлен. Однажды мы застали их очень веселыми. Они тихонько пели песни и осторожно хлопали в ладоши. Тут же топталась какая-то толстая баба в расписных чесанках и цветной шали.

— Видишь, какая она счастливая?— сказал алхимик.— Она попробовала первые капли эликсира мировой радости... Это Аграфена... то бишь Агриппина, царица швамбранская... Мы коронуем ее, венчаем на престол... Ура!

— У нас цариц нет,— мрачно сказал Оська.

— Правда,— объяснил я,— мы бы с удовольствием, ей-богу, но ведь Швамбрания — республика... Вот женой президента — это можно.

— Хорошо,— сказал алхимик,— пусть будет женой президента. Аграфе... Э-мюэ... Агриппина, ты хочешь быть женой швамбранского президента?

— Даешь!— сказала Агриппина.

ДОННА ДИНА И КУЗНЕЧИКИ

Из Москвы к нам приехала жить молоденькая двоюродная сестра. Звали ее Донна Дина или Диндона. Дина — это было ее настоящее имя. Донной ее прозвали за черные волосы и глаза, блестящие, как крышка пианино, и зубы, ровные и чистые, как клавиши.

Тетки нас предупредили, что мы должны звать ее кузиной, что по-французски обозначает двоюродную сестру. А мы для Дины были по-французски кузены. Но Дина ока-

залась совсем свойской девчонкой. Услышав от нас: «Здравствуйте, кузина», она расхохоталась, причем засмеялись сразу и глаза, и зубы, и волосы.

— Ну, тогда здравствуйте, кузнечики!— закричала она.— Чем занимаетесь?

— Швамбранией,— ответил Оська, почувствовав к Дине необыкновенное доверие.— Потом еще солому таскаем, гулять ходим... Будешь с нами ходить?

— Непременно,— сказала Дина,— а то я без вас заплутаюсь в Покровске. И так еле вас нашла... Эта буржуйка Шатрова, очевидно, была очень богатой женщиной... У нее столько домов...

— Какая это Шатрова?— удивилась мама.

И Дина рассказала, что она спросила на улице, где здесь квартира доктора. Ей сказали: «Вон дом шатровый». (Дело в том, что дома в провинции называются «флигелями», если крыша имеет два ската, и «шатровыми», если крыша шатром, в четыре ската.) И вот Дина пошла спрашивать встречных: где здесь дом гражданки Шатровой? Ей указали восемь домов. В третьем она нашла нас.

Даже Оська признал ее красавицей. Она носила настоящую матроску, подаренную ей знакомым кронштадтским моряком, и это нам нравилось. Мы водили ее по Покровску. Мы показывали ей наши развалины. Но об эликсире и алхимике ничего не сказали. О Швамбрании Дина расспрашивала очень внимательно. Она только немножко удивилась, что у нас в такое интересное время есть еще потребность в сверхъестественном. Она сказала, что это просто срам и пора работать. Так мы дружили гуляя.

Парни при встрече с Доиной Диной почтительно уступали ей дорогу. Они толкали друг друга локтями в бок и долго смотрели вслед. «Ось гарненькая!»— доносилось до нас. И мы с Оськой сияли от гордости за нашу Дину.

На третий день своего приезда Дина, к нашему восторгу, прищемила теткам хвосты, то есть подолы. Она накинулась на них, что они старорежимно воспитывают нас. Она говорила, что это преступление — не давать выхода общественным чувствам, которые кипят и бурлят в нас.

— Правильно,— согласился Оська,— у меня тоже иногда ох и бурлят чувства!.. Особенно после тыквенной каши.

Дина стала тискать Оську и объяснять ему, что он не совсем понял ее, но это ничего. Спор продолжался. Тетки заявили, что они давно уже отступились от нас, что мы попали во власть улицы и большевизма, а это, по их мнению, одно и то же. Тут тетки стали говорить такие гадости, что Дина

вскочила и ударила звонкой ладонью по столу. Она стала очень румяной.

— Я забыла, кажется, рассказать,— сказала Дина,— что меня приняли в партию. Я коммунистка.

— Без пяти минут?— язвительно спросил Оська.

— Нет, уже без году неделя,— смущенно, но весело отвечала Дина.

Тетки молчали, разинув рты. Потом рты осторожно закрылись.

КОГДА ФЕКТИСТКА УТВЕРДИЛ ФАМИЛИЮ

— Дорогие кузнечики,— сказала вскоре Дина,— широкие просторы открылись для вашей энергии и фантазии. Но будьте общественны, дорогие кузнечики. Пора!

Она была назначена помощницей Чубарькова и заведующей детской библиотекой-читальней.

Тетки определили детскую библиотеку так: общедоступной детской библиотекой называется узаконенный рассадник болезнетворных микробов, которые в обилии содержатся в старых книгах, заношенных, как белье старьевщика.

А Дина мечтала о библиотеке так:

— Это не просто прилавок, кузнечики, не просто пункт раздачи книг. Детская библиотека — это будет главный штаб ученья и воспитания ребят вне школы... Любимый ребячий клуб. Каждый — сам хозяин. Научим книжку уважать... Ох, кузнечики, мы такую красоту разведем, куда вашей Швамбрании! Все ребята к нам запишутся... Вот увидите.

Но, чтоб разводить красоту, понадобилось прежде всего расширить помещение библиотеки. Требовалось занять соседние комнаты. Там продолжали жить какие-то буржуи, хотя Уотнаробраз давно приказал их выселить. Дина решительно приступила к выселению. Она захватила для храбрости меня.

Заодно я мог начать работу в библиотеке.

Я застал Дину проверяющей каталог и книжные формуляры. Кругом нее сидели оборванные ребятишки. Я узнал многих уличных врагов, худеньких привокзальных ребят, коренастых ребят и девочек с Бережной улицы, где жили рыбаки с Сазанки, парней с консервного и костемольного. Одни из них помогали надписывать карточки, другие подклеивали разорванные книги, третьи, стоя на стремянках, устанавливали книги на полках. Все работали с веселой и в то же время сосредоточенной поспешностью. Это была первая ребячья книжная дружина, организованная Диной. Дину

ребята, видно, уже успели полюбить. Они беспрерывно теребили ее всяческими расспросами.

— Донна Дина, а Донна Дина!— спрашивала востроносенькая девчурка в огромной шали, завязанной на спине.— Донна Дина... кто это такая — хижина дяди Тома?

— Донна Диновна,— кричал кто-то со стремянки,— Лермонтов — это город или название книги?

— Вот, ребята, примите еще помощника,— сказала Дина, указывая на меня.— Ухорсков, запиши-ка его.

Меня внутри немножко покоробило. Я вовсе не собирался быть тут каким-то второстепенным подручным. Я полагал, что меня пригласили на роль предводителя. Однако я решил пока молчать.

— А мы тебя знаем,— сказали ребята,— ты врачов сын... Тебя не заругают, что ты с нами?

— При чем тут заругают?— обиделся я.— Теперь весь народ равный.

Высокий и скуластый дружинник, по фамилии Ухорсков, подошел ко мне.

— А ты чем хочешь быть, когда вырастешь?— спросил Ухорсков.— Тоже доктором?

— Я хочу быть матросом революции,— сказал я.

— Хорошее дело,— сказал Ухорсков.— А я мечтаю — летчиком.

Пришел комиссар Чубарьков. Мы давно не видались с ним, и оба обрадовались.

— Ого! Подрастаешь, поколение!— сказал комиссар, ласково оглядывая меня.— Ну, что папан с фронта пишет?

И мы пошли выселять. К моему ужасу и конфузу, выселяемые буржуи оказались близкими родными Таи Опиловой, и сейчас Тая сидела здесь же, на сундуке. Я ощутил минутное замешательство. Тая смотрела на меня с презрением, негодованием, укоризной... Как только она еще не смотрела! Мне захотелось плюнуть на все и смыться.

— А еще докторов сын!— сказала Тая.

И это спасло меня.

— Лучше быть докторовым сыном, чем буржуевой дочкой!— обозлился я.

— Точка!— закричал комиссар.— Отбрил, и ша.

Ухорсков опять подошел ко мне. Он сказал шепотом:

— Приходи вечером на газетный кружок. Председателем тебя выберем. Ты боевой стал.

— А раньше-то ты меня знал?— удивился я.

— И очень ясно, что знакомый был,— отвечал Ухорсков.— Ты вот меня только не признал. А я, помнишь, вам таз лудил, ведро починял. Фектистка я. Теперь в детдоме живу.

У хозяина струмент реквизировал. И зажигалки делаю. Хочешь, тебе пистолетом сделаю? Чик — и огонь!

— Я некурящий.

— Ну, бандитов пугать пригодится.

Я смотрел на высокого, уверенного Ухорского и с трудом узнавал в нем робкого ученика жестянщика. Неужели же это тот самый Фектистка, на тощей спине которого мы когда-то впервые разглядели знаки различия между людьми, делающими вещи и имеющими их? У него теперь фамилия была!

На улице, у выхода из библиотеки, меня поджидал комиссар.

Он взял меня под руку.

— Послушай,— сказал Чубарьков равнодушно,— эта самая... товарищ Дина... она тебе кто? Сестра, что ль?

— Ну, сестра,— отвечал я сурово. Но, чувствуя, что это нечестно, добавил в подветренную сторону, чтобы комиссар не слышал:— Двоюродная...

— Образованная, видать,— с неожиданной грустью сказал комиссар.

— Еще как образованная!— расхвастался я.— Почти высшее учебное чуть не окончила.

Комиссар вздохнул.

ПОДДАННЫЕ НОВОЙ СТРАНЫ

Нет! Меня не избрали председателем газетного кружка. Динка сказала ребятам, что я еще не вполне сознателен, люблю мечтать о всяком вздоре и еще что-то там такое... Этого я уж никак не ожидал от нее!.. И председателем избрали Клавдюшку. Да, да! Ту самую Клавдюшку, которая принималась в швамбранские войны только на роли пленной.

— Я, ребята, знаю, о чем товарищ Дина говорит про Лельку,— заявила коварная Клавдия.— Он все еще про одну страну воображает... Швамбрания, что ли. Играют так. Они и меня в плен садили. Только в этом теперь интересу мало.

Ребята поглядывали на меня насмешливо, но дружелюбно.

Никогда я еще так не стыдился своей Швамбрании, Динка улыбнулась.

— Ну, Клавдюшка,— сказала она,— роли, видно, переменились. Ты у нас нынче командирша и давно выбралась из всех пленов. А Леля все еще в плену швамбранском... Эх ты, братишка, кузнечик мой!..

Следовало бы, конечно, гордо встать и покинуть это сборище насмешников. Но Швамбрания показалась мне в эту минуту более сомнительной, чем когда-либо. Я почувствовал, что не смогу найти ни одного слова в оправдание игры. Она

становилась явно ненужной, навязчивой и стыдной, как привычка, от которой хочешь отучиться. Клавдя, председательница, подошла ко мне.

— Ты не сердись,— сказала она,— не надо. Лучше, «чур, не игры»! Выходи из плена!

Она стояла рядом со мной, худенькая и задорная. Ни в какой Швамбрании она не нуждалась. Это было ясно. И я зачеркнул в нашей описи мирового неблагополучия пункт третий, последний, о «безземельных ребятах». Мне захотелось быть одного подданства с Клавдией. Я остался.

Меня целиком захватила шумная и деловая жизнь библиотеки. Я целые дни работал там после школы. Я ходил заляпанный красками, клеем, чернилами. Я был нагружен папками и заботами. За мной увязался и Оська. Он вскоре сделался общим любимцем. Его назначили заведующим шахматным столиком. «И стуликом»,— добавил Оська при избрании.

Ухорсков, Клавдя и я организовали литературный кружок. Через месяц вышел первый номер нашего журнала «Смелая мысль». Редактором его подписался я. К алхимику мы почти не ходили. День был занят библиотекой. По вечерам в читальне вслух разбирали газетные новости. Это были «большие новости», но не швамбранские, а с настоящих фронтов. Где-то в этих новостях участвовал Степка Атлантида и, может быть, отец.

Мы проводили доклады, устраивали широкие споры о книгах, литературные вечера и утра. Актеры и зрители были одинаково азартны. Слава о нашей библиотеке расходилась по Покровску все шире и шире. Десятки новых ребятишек ежедневно тянулись сюда со всех окраин — из Краснявки, из Тянь-Дзиня, с Осокорьев...

Мы отбивали свои пятки и пороги учреждений, добывая керосин и дрова для нашей библиотеки. Дина и ее помощница Зорька, тихая, добрая девушка, устраивали громкие скандалы в исполкоме из-за каждого полена. А когда раз дров все же не хватило до конца месяца, каждый из нас принес кто сколько мог. Маленькие замерзшие ребята приносили кто доску, кто филенку от шкафа, кто груду щепок. Хотя у самих дома нечем было вытопить печи, они тащили. И снова затрепыхались дверцы печей. Вечером маленькие читатели, оторвавшись от книжек, слушали, как победоносно палят, салютуют искрами в печи их дрова. Каждый владетельно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей, каждый чувствовал себя хозяином. И веселая канонада голландок заглушала урчанье пустых желудков.

Чубарьков менял книги чуть ли не ежедневно. Он читал запоем и аккуратно посещал все наши спектакли, диспуты,

вечера. Его звонкие, словно металлические, аплодисменты воодушевляли нас. Самого же его больше воодушевляло присутствие Дины. Дина имела на него, как он сам говорил, большое культурное влияние. Разные несознательные говорили, что комиссар просто влюблен. Но это нас не касалось.

ПРОСТАЯ ЗЕМЛЯ

В разгар работы мы устроили большой вечер. Пригласили родителей наших ребят. В библиотеке произвели генеральную уборку, сняли всю паутину и повесили новые плакаты. Пришли почему-то только матери. Они поправляли гребешки на затылках и прятали большие руки под платком на животе. Им предоставили лучшие места. Дина и Зорька угощали их чаем без сахара, хотя и с повидлом.

Но совсем новое чувство общего хозяйствования и какого-то особого, огромного гостеприимства толкнуло меня и Оську на подвиг.

Я оделся, чтобы сбегать домой.

— Швамбранский сахар?— спросил Оська, поняв меня.

— Безусловно!— сказал я.

Дина была искренне тронута. Я представлял себе, что бы вышло, если бы все это видел Степка Атлантида.

«Вот, Степка,— сказал бы я,— отдаю на общую пользу всю сладкую частную собственность».

«Молодец парень!— сказал бы Степка.— Так и должен действовать матрос революции».

И с гордостью, распирающей наши сердца, наблюдали мы, как матери пили чай со швамбранским сахаром вприкуску.

Мы ставили в этот вечер второе действие «Женитьбы» Гоголя.

— Глянь, глянь, Петровна,— восхищались в зале матери,— мой-то как ногами выступает! Чистый кавалер!

— Батюшки! Нюрка это, ей-богу, Нюрка... Обрядилась до чего... Не признаешь.

— А Нинка-то, Нинка наша!.. Скажи на милость, ну откуда форс берется?

— Энтот тощенький чей?.. Докторов?.. То-то, я вижу, больно аккуратно выражается.

— Сергунька-то мой до чего свою обязанность выучил... Вот бес!.. Поперед всех частит... Который в будке, взопрел небось ему подсказывать.

— Степанида, а Степанида, где ж твой-то?

— Моего не видать: он занавес держит.

Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись

в материнских объятиях зрителей. После спектакля Оська читал описание украинской ночи из «Сорочинской ярмарки».

Зал уселся и затих.

— «Знаете ли вы украинскую ночь?»— с чувством начал Оська.

— Нет, нет!!!— закричал зал.— Не знаем! Просим! Просим!

— «Нет, вы не знаете украинской ночи!»— продолжал немного смущенный Оська.

— Ясно, не знаем,— согласились матери.— Откуда нам знать? Какое наше воспитание было!

Потом ребята водили матерей и показывали свои плакаты, рисунки, журналы, доску газетных вырезок.

— Ишь ты, целое у них тут государство!— говорили матери.

Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущались, но Динка и Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул «Барыню» в четыре руки, считая пару Оськиных, и комната завертелась, как огромный волчок. У нас дома бывали елки и «вечера рождения», но никогда не было так весело и хорошо.

— Ну спасибо вам, Донна Диновна,— говорили матери, безудержно улыбаясь,— и вам, Зоренька, и вам, ребятишки. Спасибо. Наша-то молодость сгибла уж... Дожили хоть на ребят своих в радости посмотреть... Спасибо вам.

— Себя благодарите,— говорила Дина,— все это в ваших руках.

Озорница Клавдюшка потащила меня в «комнату сюрпризов». Один угол комнаты был задрапирован красивыми занавесками. Сверху висела доска с надписью: «Панорама. Вид в лунную ночь зимой».

— Хочешь посмотреть?— спросила Клавдя.— Плати фантик.

Я заплатил какой-то фант. Клавдя привернула лампы в комнате.

— Гляди!— сказала она, раздергивая занавески.

Я увидел золотую раму. В нее был вправлен чудесно изготовленный ночной зимний ландшафт. Голубое молоко луны заливало панораму. Отлично были скопированы покровские амбары. Стройная водокачка стояла посреди пустынной площади. В крохотных домах горели красные огоньки.

— Похоже?— спросила Клавдя.

— Очень!— сказал я.— Только красивее гораздо, чем в действительности. Кто это сделал?

— Дина это сделала,— смеялась Клавдя,— и тебе обязательно показать велела. Гляди, гляди!

Вдруг я увидел, что через панораму движется миниатюрный извозчик. В ту же минуту игрушечная ночь отпрыгнула назад. Перспектива углубилась. Амбары обрели нормальные масштабы, я и понял, что никакой панорамы нет. Рама была вставлена в большом окне. Окно выходило на площадь. Я смотрел на обыкновенную ночь в настоящем Покровске. Никогда бы я не подумал, что эта прекрасная ночь и все, что было сегодня на нашем вечере, могло происходить на простой земле. Туман скучной недействительности пал на Швамбранию. Швамбранская почва ускользала у меня из-под ног. Но в эту минуту я услышал обидный смех. Я оглянулся. Дина стояла за мной в толпе ребят.

— Ну что?— сказала Дина.— Значит, тебе, выходит, золотая рамочка нужна? Тогда и Покровск в Швабранию превращается? Эх, ты!

Ребята смеялись. Оська подошел ко мне. Он взял меня за руку. Мы стояли с ним в кругу хохочущих ребят. Смеялся Феоктист Ухорсков. Смеялась Клавдя. Мы с Оськой тоже собрались было принять участие в общем осмеянии страны Большого Зуба, но горячая кровь швамбран ударила нам в голову. Как они смели издеваться, в самом деле?

— Ну, поняли теперь, в чем фокус?— спросила Дина.

Мы молчали.

— Я вам объясню, ребята,— сказала Донна Дина.— Тут виной всему старая пословица: там хорошо, где нас нет. Но вот один известный коммунистический писатель так писал: пролетариату незачем строить себе мир в облаках, потому что он может основать, и основывает, свое царство на земле. И для того у нас пролетарская революция, чтоб было там хорошо, где мы...

В треске аплодисментов я услышал отзвуки гибели развенчанной Швамбрании.

Мы с Оськой, взявшись за руки, гордо вышли из грохочущей комнаты.

— Куда?— закричали ребята.— Обиделись, швамбраны?

— Ничего, ничего, они вернутся,— уверенно сказала Дина.— Эй, кузнечики, послушайте!.. Ничего, они вернутся!.. Они вернутся работать, а не играть.

НАШЕСТВИЕ ИОГОГОНЦЕВ

Кроме Уродонала Шателена, теток и адмирала Колчака, у революционного человечества имелся, по слухам, еще один опасный враг. Это была банда иогогонцев. Иогогонцы водились на Аткарской улице, на Петровской и Саратовской. Атаманом у них был рыжий Васька Кандраш (Кандрашов),

идейным же шефом и вдохновителем состоял наш великовозрастный Биндюг-Мартыненко.

«Ио-го-го! Ио-го-го! Не боимся никого!..» — таков был воинственный клич иогогонцев, с которым они обходили свои уличные владения.

Наша библиотека не избежала их нападения. Они явились в воскресенье, за неделю до того вечера, когда мы ушли. Их было человек пятнадцать. Они шли тесной настороженной толпой. Васька Кандраш вышел вперед, к столу Донны Дины.

— Ну-ка, отпустите мне какую-нибудь книговинку,— сказал Кандраш,— только поинтереснее. Буссенар Луи, например! Нет? А Пинкертон есть? Тоже нет? Вот так библиотека советская, нечего сказать!

— Мы таких глупых и никчемных книг не держим,— сказала Дина,— а у нас есть вещи гораздо интереснее. Вот, я вижу, вы парни боевые. А у нас каждый читатель — хозяин библиотеки. Хотите быть «боевой дружиной порядка»? Будете охранять порядок в читальне, нести караул у книжной выставки. А то у нас разные хулиганы книги рвут и сорят. А я на вас надеюсь.

Это было очень неожиданно. Иогогонцы опешили. Банда переглядывалась.

— Небось ты у них главный атаман?— спросила Дина Кандраша.

— Я,— отвечал тот, польщенный.— А откуда ты... вы узнали?

— Кто же не знает!— сказала Дина.— Ну, так как же? Можно доверить тебе порядок?

Иогогонцы опять застеснялись.

— Вполне можно!— скромно сказал Кандраш.— Чего снегу натаскали в помещение?— накинулся он вдруг на своих.— Хворые, что ль, не можете валенок обмести? Вон как навозили!..

Иогогонцы, неловко толпясь, вышли в сени. Они долго и тщательно вытирали там ноги. Потом они повесили свои шапки на вешалку.

Но Биндюг не простил своим иогогонцам измены. Мстительный и разъяренный, настиг он меня, когда я проходил однажды мимо библиотеки. Биндюг считал меня главным соблазнителем иогогонцев. Он сграбастал меня за лацкан шинели. Разговор был краток:

— Ты?

— Я!

— Н-на!!

Когда я с трудом открыл глаза, была драка. Ухорсков и

иогогонцы валили Биндюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня приняли как своего.

— Все на одного?!— кричал Биндюг.

— Нет! Все за одного,— отвечали ему и били.

Никогда еще, наверно, Биндюг не получал такой трепки. Я твердо знал, за что бьют Биндюга. Это был настоящий и окончательный враг. Может быть, он и был парень-«гвоздь». Все равно его надо было так. Линия, разделяющая мир на два лагеря, стала для меня ясной. Биндюг был там. Я был здесь, с ребятами, к которым вернулся из Швамбрании. Меня приняли в драку, и я бил Биндюга с огромным удовольствием. Я лупил его от себя лично и за Степку. Я колошматил его, как беглый швамбран, и дубасил, как матрос революции. И мы отколотили его.

БОЛЬШИЕ НОВОСТИ

Ликующий, возвратился я с поля битвы. Голова кружилась от победы и от жестокой затрещины Биндюга. Оська встретил меня в передней.

— «У-ра, у́-ра!— закричали тут швамбраны все»,— пел я.

— Большие новости,— глупым голосом сказал Оська.

Все сидели вокруг стола. Несчастье лежало на столе, длинное, как щука.

— У папы сыпняк...— сказала больничным шепотом мама.— Сообщения с Уральском нет... Телеграмма шла девять дней... Может быть, он уже...

(«У-ра... у́-ра...— и упали...»)

Мне дали воды, и я сам поднялся с пола.

Две недели потом мы ничего не знали об отце. Две недели мы не знали, как надо говорить о нем: как о живом или как о покойнике.

Две недели мы боялись говорить о нем, ибо не знали, как спрягать глаголы с папой: в настоящем времени или уже в прошедшем.

И в эти трудные дни нам сказали, что убит Степка. Он умер как герой, Гавря Степан, искатель Атлантиды, и об этом говорили разное. Лабанда, Володька Лабанда, рассказывал, что ему говорил один боец, будто захватили Степку белые и сказали:

«К стенке!»

И будто сказал Степка:

«Мне не привыкать... Меня в классе каждый день к стенке становили».

Может быть, это Лабанда сам выдумал, не знаю. Но факт: убили. Погиб Гавря Степан, по прозванию Атлантида. Не

увидит он меня матросом революции. Я не выйду встречать его в латаных валенках, с прелой соломой в опухших руках, и писать о нем дальше уже нечего.

Плохо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Город глохнет в снегу, как ухо, заложенное ватой. Сугробы катятся по вспухшим улицам. Дворы полны до края заборов, как мучные лари. Холодно. Мглистое небо течет, цепляясь о трубы. На трубах небо навязло, как водяные травы на сваях, и струится кизячными дымками. Холодно. Заносы осадили город. Где-то в степи мерзнут санитарные поезда. И, может быть, отец...

Вчера один поезд вырвался из заносов. Я побежал встречать его. Поезд подошел. Стал. Никто не выходил из вагонов... Это был поезд мертвых. Больные померзли в дороге. Трупы складывали на перроне.

Но папы среди них не было.

Холодно. Тоскливо. Очень хочется пойти в библиотеку поработать с ребятами, разобрать книги, потолковать о сегодняшней газете. Но мне все еще неловко показываться туда после разгрома Швамбрании. А что Швамбрания? Львиное чучело, набитое трухой. Хлопушка без сюрприза. Даже Оське скучно уже играть в нее.

От скуки мы идем навестить алхимика. Утопая в снегу, пробираемся в подземелье. Отвратительная картина. Они, очевидно, все перехватили лишние дозы эликсира. Филенкин валяется на полу. Жену швамбранского президента Агриппину тошнит в углу. Только алхимик еще держится на табурете.

— Хочешь... эликсиру?— предлагает он мне плещущийся стакан.— Бу... будешь веселый, как я...

Я беру стакан из его неверных пальцев. Мерзкая вонь сивухи бьет мне в нос. Да ведь это же... Ужасная догадка!.. Это самогон!

— Хе-хе! Конечно, самогон,— говорит алхимик,— чистый изюминский... э-мюэ... собственной гонки... э-э... мой эликсир «Швамбрания»... Ваша Швамбрания тоже... э-мюэ... самогон своего рода... Кустарная фантазия, мечта собственной перегонки...

Не дослушав, мы выбегаем. Что за несчастья сыплются на нас! Неужели мы были помощниками самогонщика?.. Кустарная фантазия!.. Мечта собственной перегонки!.. Совершенно удрученные, мы рано ложимся спать. Без мечты и свист-

ков. Сон, неуютный и рыхлый, как сугроб, принимает нас.

Глубокой ночью нас будит резкий стук. Оська продолжает спать. Я вскакиваю. Я слышу слабый голос отца. Жив!!! Его вводят по лестнице. Шаги неуверенны, редки. Он желт и страшен, папа. Борода, огромная, как манишка, лежит на груди. Он снимает шапку. Мама бросается к нему. Но он кричит:

— Не смейте никто подходить!.. Вши... Я вшивый... Умыться сначала... И поесть... Картошки бы...

И голос его трясется вместе с головой. Мы разжигаем «буржуйку», жарим картошку, греем кофе. Мы ставим на стол праздничную лампешку. Прямо пир горой...

Вода для мытья согрелась. Мы уходим в другую комнату. Мы слушаем, как стучит мыло о папины кости. Через четверть часа нас зовут обратно. Папа, в чистой рубахе, умытый и не такой уж страшный, рассказывает о фронте. Пока он рассказывает о себе, он говорит спокойно. Кажется лишь, что непривычная борода тяжелит речь. Но вдруг он начинает задыхаться от волнения. Он плачет:

— У меня больные... умирающие... в коридорах валялись на замерзшей моче... в три вершка... Я же врач... и я не могу...

Мама успокаивает его. Отец приходит в себя. Он пьет кофе и наслаждается комфортом. Он глядит на меня.

— Здорово вытянулся,— говорит он и знакомым жестом ущемляет мне нос.

— От рук совсем отбился,— спешат пожаловаться тетки.— Все книжки растаскали пролетариям...

— Оставьте вы свои мерки,— говорит, волнуясь, папа.— Мне странно... как можно в такое время корпеть над мелочами? Если бы вы видели, какие лица были у н а ш и х, когда они гнали этих... Если бы вы...

Через час мы расходимся спать. Итак, я сдал дежурство главного мужчины. Но тут я чувствую, словно какой-то пояс, стягивавший меня все это время, словно этот пояс распустился. Я ощущаю, как у меня внезапно разрежается дыхание. И, бросившись головой в подушку, я невыносимо глубоко и сладостно плачу. Я плачу сразу и за папин сыпняк, и за свои волнения, и за уральских красноармейцев, и за бедного Степку, и за самогонную обиду, и за многое еще другое... Но ни одна из этих слез не орошает почвы Швамбрании. Ни одна.

Утром я пойду в библиотеку.

Бронепоезд влетел в город. С вокзала его перевели на внутреннюю городскую ветку. На этой ветке почковались все старые амбары, и она называлась Амбарной.

Бронепоезд, лязгая, появился на Амбарной ветке. Он невежливо и назидательно ткнул в лицо Брешки и Лабазов свои орудия. Пегие, в камуфляже, бока броневагонов были помяты в боях. Особенно пострадал паровоз. Ему разворотило перед. В грязно-зеленом своем панцире он напоминал огромного воинственного рака с оторванной клешней. Выведя свой бронесостав на ветку, он, пятясь, ушел на станцию чиниться.

Мы в это время, по заданию комиссара, снова рисовали в библиотеке плакаты:

На борьбу с тифом!

Опять, не щадя сил и красок, мы уснащали изображаемых насекомых чудовищным количеством ножек, сяжков, усиков. Опять многоножки, сороконожки, стоножки выползали на наши устрашительные плакаты, а под этим назывались уже заученные строчки стихов собственного изготовления:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей.

Через несколько дней все было готово. Мы собирались сдать работу. Мне сказали, что комиссар заседает в бронепоезде. Я понес туда готовые плакаты. Глухой и замкнутый в себе, костенел в тупике бронепоезд.

— Куда ходишь?— спросил меня часовой.

— К товарищу Чубарькову с личными плакатами,— гладко отвечал я.

— Предъявь,— сказал часовой и долго смотрел на плакаты, развернутые мною.— Здóрово! В точности,— сказал он наконец.— Ну, проходь.

Я тихонько вошел в вагон. Меня не заметили.

Там было накурено. Председатель Чека был там, комиссар и еще много народу. Было полутемно и глухо, как в каземате. Люди в вагоне были взволнованы. Броневая толща, надетая на вагон, давила и успокаивала их. Говорил очень худой человек в кожаных штанах и коротком тулупчике.

— Я, как командир бронепоезда,— говорил он, — заявляю, что бойцы, орудия и боеприпасы в полной мере готовы. Задерживает ремонт паровоза. За железнодорожниками — вот за кем дело стало.

— Ну что же,— сказал председатель Чека,— в таком разе обсуждать нечего. Подождем, что железнодорожники ска-

жут. Сейчас Робилко явится, расскажет... Спать вот только клонит. Я четыре ночи не рассупонивался...

— А если нет? Точка!— сказал комиссар и яростно задымил, с остервенением стряхивая пепел на стол.

— Слушай, друг,— обратился к нему командир бронепоезда,— соблюдай боевую гигиену и не сори. У меня тут чистота и порядок. Пепельницу, видишь, специально приспособил. Ребята где-то выменяли... Диковинная вещица. Тряхай туда.

И он подвинул к комиссару едва различимую в полумраке странную на вид пепельницу. Комиссар зло ткнул окурок в ее отверстие.

— Удар их назначен на завтра,— сказал комиссар.— Если броневик не заслонит, то нашим зайдут в тыл. Дело в паровозе. А если нет?— повторил он.

— А если нет,— сказал председатель Чека,— так я сам поеду туда. Покалякаю. Я за рабочую братву не опасаюсь. Не выдадут. Свои. Вот мастера, техники... Ну, если саботаж, так у меня разговор будет короткий.

И он встал. Он тяжело прошелся по вагону, упорный, беспощадный, совсем не такой, как тогда был в Чека, когда хохотал над швамбранской историей. И комиссар здесь был совсем новый, иной, чем обычно. Он и говорил проще, почти без «точек и ша», хорошо, ладно говорил. Он был среди своих, до конца своих. Он был в деле, в своем деле. Огромная забота стискивала его сердце и челюсти. Впервые застиг я революцию в ее рабочей, деловой маете. Впервые вот так, в упор, вплотную, разглядел я ее не с швамбранских вершин и не из домашней подворотни. И дело этих по-новому увиденных людей показалось мне трудным, опасным, но единственным настоящим делом.

Робилко ворвался в вагон. Я знал машиниста Робилко. Он в февральские дни семнадцатого года помогал нам, гимназистам, свергнуть директора. Робилко ворвался в вагон.

Все вскочили.

— Ну?!— закричали все.

— Рабочие-железнодорожники,— сказал Робилко,— велели вернуть вам ваше воззвание. Оно не нужно им, говорят они. Они, говорят, наизусть помнят, что для них такое есть революция... И свою пролетарскую обязанность в смысле ремонта паровоза заверяют выполнить, хоть и не спамши, завтра к утру...

. . . .

Бронепоезд уходил днем. Играл оркестр железнодорожников. Комиссар сказал речь. Паровоз рявкнул. Потом рванул.

В эту минуту сквозь бойницу среднего вагона высунулась чья-то рука. Она держала вчерашнюю диковинную пепельницу и вытряхивала ее. Бронепоезд уходил. Бойница поравнялась со мной. И теперь только я узнал в пепельнице наш ракушечный грот — грот Черной королевы, былое вместилище нашей тайны... Пепел и окурки сыпались из него, пепел и окурки.

ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ!

В библиотеке происходило экстренное собрание всех читателей. На этот месяц мы остались без дров. Отдел отказал. Библиотеку приходилось закрывать. Комиссар мрачно шагал по залу. Ребята чуть не плакали.

Вдруг мне в голову пришла такая ослепительная мысль, что я даже зажмурился. Все посмотрели на меня, ничего не понимая.

— Товарищи,— закричал я,— предлагаю разобрать на дрова Швамбранию!

— Швамбранские дрова годятся только для отопления воздушных замков,— сказала Дина.— Забудь про Швамбранию.

— Да нет же,— сказал я,— я не про то... Дом Угря знаете? Там досок всяких, бревен, обломков полно внутри... Это наша тайна была... Мы там играли с Оськой и видели... Давайте сделаем субботник и запасемся дровами. Черт с ней, со Швамбранией... Для своих не жалко.

Сначала все молчали — так было неожиданно это заявление. Потом кто-то захлопал. Через минуту все кричали, скакали, аплодировали. Комиссар подхватил меня. Потолок трижды опустился над нами. Сердце замирало. Нас качали.

— Только оттуда надо двух алфизиков выгнать,— сказал вдруг Оська, когда его поставили на пол.

— Каких алфизиков?— спросила Дина.

— Алхимиков,— объяснил я.

— Ну, алхимиков,— сказал Оська.— Они там самогоном пьянствуют.

Комиссар ничего не сказал. Он что-то черкнул в блокноте и быстро вышел.

. . . .

Швамбрания рушилась. Субботник подходил к концу. Отъезжали груженые сани. Я стоял в цепи и передавал налево доски, которые получал справа. Доски в руках у меня перевоплощались. Справа я получал их еще как куски Швамбрании. Налево я передавал их уже только как дрова для

библиотеки. Работа шла мерно и четко. Поцарапанные руки устали; мороз ел кожу сквозь прорехи рукавиц. Но было приятно чувствовать, что левый товарищ так же связан с тобой, как ты с правым, а правый — со следующим, и так далее. Я стоял ступенькой живой лестницы, по которой шла на полезное сожжение призрачная Швамбрания...

Группа наших ребят вместе с комиссаром, Зорькой, Динкой и Ухорсковым валили уже расшатанную стену высокой галереи. Вдруг раздался чей-то исступленный крик:

— Стойте! Погодите!..

Все всполошились. На верхушке шатающейся галереи показалась маленькая уверенная фигурка. Это был Оська.

— Отсюда как красиво! — сообщил сверху Оська.— Далеко все видно...

— Ша! Слезай оттуда сейчас же! — закричал не своим голосом комиссар.— Нет! Стой!.. Я тебя сейчас сам сниму.

И комиссар, как кошка, полез вверх сквозь отверстия этажей. Галерея грозно трещала. Комиссар показался в верхнем окне дома.

— Осторожно! Товарищ Чубарьков! — кричали комиссару снизу.

Но комиссар бесстрашно вылез на карниз. Одной рукой он цепко держался за осыпáвшийся край оконного проема, другой он водил по стене, ища опоры. Так он, осторожно двигаясь по карнизу стены, почти уже дотянулся до Оськи.

— Тихо, спокойненько, ша! Не балуй,— приговаривал комиссар.

— Правда, отсюда красиво? — спросил спокойно дожидавшийся его Оська.

— Сигай сюда, и ша! — зарычал комиссар, протягивая руку.

Он подхватил Оську и втянул его в окно. Через секунду галерея обрушилась. Она осела, как лавина, грохоча и подымая клубы снега.

— Всю бы ты нам музыку изгадил,— сказал комиссар, ставя Оську на землю.

Обломки Швамбрании лежали вокруг нас.

— Все швамбраны погибли, как гоголь-моголь,— сказал неожиданно Оська.

— Не как гоголь-моголь, а как Гог и Магог, ты хочешь сказать,— засмеялась Донна Дина.

Я стоял среди этих воображаемых трупов, среди останков нерожденных граждан. Я стоял, как полководец на поле брани.

— Товарищи,— сказал я,— слушайте: я последние швамбранские стихи сочинил.

Стою на поле брани я...
Разрушена Швамбрания.
С ней погиб имен набор:
Джек, Пафнутий, Бренабор,
Арделяр, Уродонал,
Сатанатам — адмирал,
Мухомор-Поган-Паша,
Точка, и ша!
Каких имен собрание!
Прощай, прощай, Швамбрания!
За работу пора нам!
Не зевать по сторонам!
Сказка — прах, сказка — пыль!
Лучше сказки будет быль!
Жизнь взаправду хороша...

И все подхватили:

Точка, и ша!

Глава с глобусом

ЗАМЕНЯЕТ ЭПИЛОГ

Повесть вся! Сейчас кончается книга.

Одну минуту! Я только возьму глобус. Глобус — вещь круглая и правильная. Сверяться с ним необходимо.

Цветистый шар вращается на подставке, словно его выдули из этого черного стебля. Но в нем нет радужной шаткости, готовности тотчас лопнуть, обязательных для мыльных пузырей. Глобус тверд, устойчив, весóм.

Его берут за ножку и поднимают, как лампу или кубок.

Мы с Оськой были книжными мальчиками. Наше уважение к глобусу было чрезмерно. Мы не хватали его за ножку. Мы бережно принимали шар в руки. Он покоился на ладонях, в ореоле где-то слышанных от взрослых фраз про суету сует, про великое в малом... Он выглядел нагло, многозначительно и немного жутко, как череп Йорика в пытливых пальцах датского принца.

— А я догадался, почему знают, что Земля кругленькая,— говорил Оська, убедившись в ненаучности гипотезы о местах, где Земля закругляется.— Я знаю почему,— говорил он.— Потому что глобус... шарообразный. Да, Леля?

Так бы и выросли мы, вероятно, пополнив известный отряд человеческого рода — отряд людей, на глобусе постигающих, что Земля — шар, людей, удящих рыбу в аквариуме, созерцающих жизнь через оконные стекла и узнающих голод по случаю диеты, назначенной врачами.

Спасибо эпохе! Размозжен быт, заросший седалищными мозолями. Нам крепко наподдали... Пришлось соответствующим местом убедиться, что Земля поката.

Что же касается глобуса, то мы давно поняли его истинную пользу и назначение: это не откровение, а просто наглядное учебное пособие. Шар вращается. Проплывают океаны, проходят материки. Швамбрании нет. Нет и Покровска. Он переименован в город Энгельс.

Я был недавно в Энгельсе. Я ездил поздравить Оську-отца. У него дочка. Когда я в Москве получил это известие,

мною овладел, каюсь, приступ былого швамбранского тщеславия. Я придумал высокопарное надколыбельное слово, приготовил речь. (О беглянка из Страны Несуществующего! О дочь швамбрана!..) Я заготовил ряд пышных имен на выбор: Швамбраэна, Бренабора, Деляра... Но вот пришло письмо от Оськи:

«Довольно! Довольно мы наплодили с тобой несуществующих ублюдков. Дочка у меня настоящая, и никаких швамбранцев и кальдонцов. Извини меня, но я назвал ее Натуськой. Будет, значит, Наталья. С братским приветом. Ося.

Кстати, если есть возможность достать в Москве материал на пеленки, купи какого-нибудь там полумадама».

Тут же была приписка Оськиной жены:

«Господи! Ответственный работник, диаматчик, Беркли и Юма прорабатывает, никогда ни одного тезиса не спутает, а вот вместо мадаполама — полумадам пишет».

И я снова посетил дом в Покровске.

Мы сидели в той самой комнате, откуда двенадцать лет назад я вышел походкой главного мужчины. В шахматном столике лежала дублерша нашей знаменитой королевы. На крышке пианино я отыскал царапины, полученные в Тратрчоке... Полугодовалая Натка таращилась кругло, розово и уже осмысленно. Я подарил ей погремушку: маленький глобус на длинной ножке.

Седой папа вернулся из штаба санпохода. Мама отзанималась с приходящими ликбезницами. Семейный натопленный вечер густел в комнате. И к ночи приехал из Саратова Оська. Он был курчав, хрипл и мужествен.

— Здорово, Леха!— закричал Оська.— Еле выдрался. Утром по судоремонту, днем в техникуме читал. Потом в райком! Сейчас с актива водников. Доклад делал об испанской революции. Ну, как Натка?

Я произнес прочувствованное надколыбельное слово, приветствие, речь.

— О ты,— говорил я,— ты, которая...— говорил я.

— Ну, хватит,— сказал Оська, закуривая,— хватит петь эти самые гамадрилы.

— Оська,— воскликнул я,— пора уже знать: не гамадрилы, а мадригалы!

— Тьфу!— сплюнул Оська.— Осталась дурацкая путаница с детства... Кстати, Леля, разъясни, пожалуйста, мне раз навсегда: драгоман и мандрагор — кто из них переводчик и кто — ягода?

Потом я читал нашим «Швамбранию». Это было не совсем обыкновенное чтение. Герои повести вторгались в изложение. Они громогласно обижались и торжествовали, дополняли, опровергали, ссорились с автором и прощали его.

А Натка совала в рот свой глобусик. Потомок швамбран, она потрясала маленькой гремучей булавой.

— Я буду официален, товарищи,— сказал Оська.— Книга справедливо свидетельствует, что мы были никчемными и солидными дураками. Автору удалось разоблачить всю беспочвенность подобных мечтаний. Но он, к сожалению, не избежал мелкобуржуазной расплывчатости в отдельных характеристиках. Зачем, разоблачая никчемность и беспочвенность швамбранских мечтаний, ты как будто допускаешь перегиб... Ты хочешь лишить современность права на мечту. Это неверно! Надо это оговорить. Я сейчас...

И Оська вывернул на стол содержимое своего портфеля.

Книги и тетради выползли, трепыхаясь, на стол, как рыбы из кошелки. Среди них я увидел маленькую записную книжку «Спутник коммуниста» и вспомнил покойного Джека, Спутника Моряков.

— Вот,— сказал Оська, открывая свой блокнот.— Вот что я здесь записал: «И если скажут: ну какое нам дело до всего этого, ведь мы для поддержания нашего энтузиазма не нуждаемся ни в какой иллюзии, ни в каком обмане... Это великое наше счастье. Но следует ли из этого, что мы... не нуждаемся ни в какой мечте? Класс, имеющий силу в своих руках, класс, действительно в трудовом порядке изменяющий мир, всегда склонен к реализму, но он склонен также и к романтике». Тут, понимаешь, надо разуметь под этой романтикой то же, что Ленин разумел под мечтой. И это больше не недостижимая фантастическая звезда, это не утешающая химера. Это просто самый наш план, самая наша пятилетка и дальнейшие сверхпятилетки. Здесь проявляется наше стремление сквозь все препятствия двигаться вперед. Это тот «практический идеализм», о великом наличии которого у материалистов говорил Энгельс в ответ на упреки узких материалистов в «узости и чрезмерной трезвости». Вот о чем надо было сказать,— закончил ученый Оська.

— Оська,— сказал я смиренно,— в книге много ошибок. Я сам это чувствую, но не умею еще исправить их. И не торопи меня. Все это надо пережечь в себе. Мне уже самому горько быть Джеком, спутником коммунистов. Я не хочу быть спутником, Оська! Я хочу быть матросом и буду им, даю тебе слово как брату, как коммунисту, как сказал бы я Степке Атлантиде.

Мы долго говорили потом с Осей. Дом улегся. А мы разговаривали шепотом, от которого першило в горле, как от воспоминаний. Последним парадом провели мы героев повести. Мы устроили как бы перекличку нашего класса «А».

— Алипченко Вячеслав!— вызывал я.
— Умер от тифа,— отвечал Ося.
— Алеференко Сергей?— спрашивал я.
— Секретарь парторганизации пристани,— отзывался Ося.
— Гавря Степан, по прозвищу Атлантида!
— Убит на Уральском фронте.
— Руденко Константин, по прозвищу Жук!
— Ассистент по кафедре аналитической механики.
— Лабанда Владимир!
— Инженер-кораблестроитель.
— Мартыненко, по кличке Биндюг!
— Раскулачен и сослан.
— Новик Иван!
— Директор МТС.
— Мурашкин Кузьма!
— Старпом парохода «Громобой».
— Портянко Аркадий!
— Ученый-ботаник.
— Федоров Григорий!
— Красный командир.
— Шалферов Николай!
— Погиб на хлебозаготовках.

. . . .

Утром отец повез меня за город похвастаться новой больницей. Город был неузнаваем. На месте, где земля закруглялась, простирался прекрасный парк культуры и отдыха. Пустырь, оставшийся после разрушения швамбранского дворца Угря, застраивался домами мясокомбината. Пробегал автобус. Торопились на лекции студенты трех вузов. На бывшей Брешке выросли большие дома. Аэропланы рокотали над городом, но я не видел задранных к небу голов. Строились новый театр, клиника, библиотека. На горе красовался великолепный стадион. Я вспомнил, что слышали швамбраны в Чека:

«И у нас будут мускулы, мостовые и кино каждый день...»

Пока сказка сказывалась, дело делалось. Больница ослепила меня блеском окон, полов, инструментов.

— Ну что,— говорил папа, наслаждаясь моим восторгом,— было в вашей Швамбрании что-либо подобное?

— Нет,— признавал я,— ничего подобного не было.

Папа торжествовал.

Перед нашим отъездом в Москву мама извлекла из семейного архива в чулане большой щит с гербом Швамбрании: Королева, Корабль, Автомобили и Зуб... Щит с гербом Швамбрании красуется теперь у меня в комнате. Он ехидно и весело напоминает со стены о наших заблуждениях и

швамбранском плене. Так, по преданию, повесил князь Олег свой щит на вратах Царьграда: дескать, помни, греки.

Но вот глобус полностью обернулся. Швамбрании на нем не обнаружено. Вместе с тем замыкается и круг повести, которая тоже совсем не откровение, а всего лишь наглядное пособие.

1928—1931; 1955

Дорогие мои мальчишки

Светлой памяти
Аркадия Петровича
ГАЙДАРА

Глава I

ТАЙНА СТРАНЫ ЛАЗОРЕВЫХ ГОР

Так как в своей жизни я сам не раз открывал страны, которых не нанесли на карту лишенные воображения люди, то меня не слишком удивляло, когда мой сосед по блиндажу, задумчивый великан Сеня Гай, признался мне, что открыл Синегорию — никому не ведомую страну Лазоревых Гор. Там он и свел дружбу с прославленными Мастерами-синегорцами Амальгамой, Изобаром и Дроном Садовая Голова.

С техником-интендантом Арсением Петровичем Гаем я познакомился на краю света летом 1942 года, когда плавал на Северном флоте. Гай был здесь синоптиком одного из военных аэродромов Заполярья, пожалуй, самого северного авиационного стойбища мира. Место это обозначено на карте, но нам от этого было не легче. Мы бы скорее предпочли, чтобы немцы считали, будто этой маленькой каменистой площадки, острозубых скал и мшистых сопок вообще нет на свете. Может быть, нас тогда оставили бы в покое...

Полярный круглосуточный день не давал нам ни сна, ни отдыха. Нас бомбили с утра до вечера, а утро в этих краях началось недель пять назад и до вечера надо было ждать еще не меньше трех месяцев. Раз по десять в сутки нам приходилось залезать в щели, а над головой взлетали обломки расколотых валунов, градом сыпались пластинки шифера.

По сигналу «воздух» Сеня бросался снимать с маленькой вышки полосатую матерчатую колбасу — длинный сачок для ловли ветра,— хватал термометр и еще какие-то приборы, и всегда бывало так, что являлся он в укрытие последним, когда все уже кругом ухало, трещало и сыпалось.

— Сегодня, кажется, дают на все двенадцать баллов,— негромко ворчал он и, роясь в каких-то прихваченных им бумажках, тихонько мурлыкал про себя песенку, которую я уже не раз слышал от него:

И, если даже нам придется туго,
Никто из нас, друзья, не струсит, не соврет.
Товарищ не предаст ни Родины, ни друга.
Вперед, товарищи! Друзья, вперед!

Я знал, что Сеня Гай между делом пишет стихи. И вообще мне было известно о нем все, что может быть известно о человеке, с которым уже две недели живешь в одном блиндаже. А с Гаем мы быстро сошлись. Оба мы были волжане и наверняка знали, что нет на свете реки лучше, чем наша Волга. До войны Арсений Петрович Гай изучал направление и особенности ветров в волжском низовье, где летом всегда дует горячо и засушливо. Был он прежде учителем в средней школе, потом работал с пионерами. Он мог часами рассказывать увлекательнейшие вещи о погоде, о засухе, об изменчивых течениях воздуха. Он знал все ветры наперечет и обычно свой рассказ заключал фразой: «Мы все еще изучаем направление ветров, а задача состоит в том, чтобы повернуть их». И, сказав так, он снова брался за свои кальки, планшетки, карты и вычеркивал какие-то сложные кривые, напевая под нос:

Отца заменит сын, и внук заменит деда,
На подвиг и на труд нас Родина зовет!
Отвага — наш девиз,— Труд, Верность и Победа!
Вперед, товарищи! Друзья, вперед!

— Это о каком же таком девизе вы распеваете, Сеня?— спросил я однажды у него, когда мы лежали рядом в укрытии и треск зениток, уханье бомб стихли настолько, что можно было уже разговаривать.

— Это в нашей Синегории... Ну, кажется, отбой. Пойду шар-зонд запущу, верхние слои прощупаю.

Так я впервые услышал о синегорцах. Естественно, мне захотелось узнать больше. Однако когда я пробовал расспрашивать Гая, этот большой, широкоплечий, громоздкий человек со свежим мальчишеским лицом смущался, отнекивался, обещал каждый раз рассказать при случае все подробно, но откладывал дело со дня на день.

Меня очень влекло к Арсению. Я чувствовал, что ласковая и веселая тайна Гая очень дорога ему, и был осторожен в расспросах, не торопил, не настаивал. Срок моей командировки на Север истекал, пора было собираться в Москву, но мне было жаль расставаться с Гаем: я очень привязался к нашему синоптику. Если выпадали свободные часы и не было налета, мы бродили с ним по сопкам, лазили на скалы, пугая птиц. Гай показывал мне места, где весной бывают птичьи базары, определял по положению валунов направление древ-

них ледников, рассказывал об особенностях полярной карликовой березки-стланки и оленьего мха-ягеля, в котором глохли наши шаги. Гай много знал и умел обо всем рассказать по-своему, неожиданно; все вокруг — и мох, и валуны, и облака открывали ему свои секреты, и казалось, что даже нелюдимая природа Заполярья доверяет Гаю и считает его своим человеком.

Ему часто приходили письма. Я видел на конвертах старательно выписанный адрес: «ВМПС № 3756-Ф», и заметил раз в уголке одного письма что-то вроде герба, никогда не виданного мною ни в одной геральдике: по светлому полю выгибалась радуга, и ее пересекала стрела, повитая плющом. Однажды пришел Гаю подарок — кисет и маленькое скромное зеркальце с крышкой, как у блокнота. И на кисете и на крышке был тот же герб со стрелой и радугой. А вокруг герба было выведено нечто вроде девиза: «Отвага, Верность, Труд — Победа».

— Вот,— сказал Гай, давая мне полюбоваться подарком,— не забывают меня у Лазоревых Гор. Синегорцы — народ верный. Это, конечно, Амальгама сообразил... Синегорчики мои дорогие!— И он улыбнулся скрытно и застенчиво.

Потом осторожно отобрал у меня зеркальце, погляделся в него, потер коротко стриженную голову и, заметив, что я хочу что-то спросить, опередил меня.

— Ладно, ладно,— сказал он,— расскажу. Придет время — и расскажу.

Он, видимо, хотел поближе узнать меня и пока не считал еще достаточно созревшим, чтобы делить со мной свою тайну. Но я после этого разговора немножко осмелел и, когда Гай снова получил письмо, уже сам спросил:

— Ну, что в Синегории слышно? Как поживают синегорцы и этот... как его... Альбумин?..

— Амальгама,— чуть усмехнувшись, но тотчас снова став серьезным, поправил меня Арсений.

— Нет, правда, откуда же это письмо и кисет?

— Из Синегории... Откуда же еще?

И лишь в день моего отъезда, когда я уже завязывал свой рюкзак, Арсений Петрович, закончив составление сводок всем, кто заказывал погоду, сказал мне:

— Улетаете сегодня?.. Ну что ж, хотите, я расскажу вам напоследок? Только, чур, не перебивать меня. Хотите слушать, так уж слушайте и принимайте все на веру...

Мы сидели с ним у землянки, где помещалась метеостанция. Ночью сильно штормило. Море в заливе было темно-сиреневое после дождя и не совсем еще уходилось. Радуга гигантской семицветной скобой охватила небо, одним своим полупрозрачным концом слегка врезалась в горизонт и каза-

лась потому совсем близкой. Истребители прошлись под радугой, как под огромной воздушной аркой. В капонирах, сложенных из камней, укрытые ветвями притаились самолеты-штурмовики. Под навесом с маскировочной сеткой летчики играли в «козла» и громко стукали о стол. Они играли молча и только крякали, когда с размаху выкладывали подходящее очко. В одной из ближних землянок запустили патефон. Песня была про златые горы, про реки, полные вина, которые певец отдал бы за чей-то ласковый взор,— на, бери все, не жалко, только люби... И оба мы — Арсений и я — вздохнули вместе, хотя и каждый о своем.

— Ну ладно,— начал Арсений,— давайте расскажу.

Глава 2

СКАЗАНИЕ О ТРЕХ МАСТЕРАХ

— Была некогда такая страна Синегория,— начал свой рассказ Гай.— И там, у Лазоревых Гор, жили работящие и веселые люди — синегорцы.

Путешественники из дальних стран приезжали сюда, чтобы полюбоваться Лазоревыми Горами, отведать чудесных плодов, которые в изобилии зрели тут, и приобрести несравненной чистоты зеркала, а также знаменитые мечи, острые и прочные, но столь тонкие, что стоило повернуть их ребром, и они делались невидимыми для глаза. Плоды, зеркала и мечи Синегории славились на весь свет, и кто же не знал, что именно тут, у подножия горы Квипрокво, живут Три Великих Мастера — славнейший Мастер Зеркал и Хрусталя ясноглазый Амальгама, искуснейший оружейник Изобар и знаменитый садовник и плодовод, мудрый Дрон Садовая Голова!

Могучие руки Изобара легко гнули самое толстое железо, но могли сплести и тончайшую кольчугу. Он ковал и мечи и плуги, а дети синегорцев играли затейливыми погремушками, которые мастерил для них добрый оружейник. Дрон Садовая Голова выращивал виноград, крупный, как яблоки, и яблоки, огромные и тяжелые, словно арбузы. В садах его цвели розы и лилии невиданной красоты. От аромата их люди веселели, как от самого крепкого вина. Но больше всех синегорцы любили Великого Мастера Амальгаму. Он отливал стекло, в гранях которого всеми семью своими цветами жила радуга, а зеркала славного Мастера обладали таинственным свойством сохранять в своих глубинах солнечный свет и излучать его в темноте. Причем тончайшие лучи, если перебирать их пальцами, пели, будто струны арфы. Все любили Мастера, ибо люди в Синегории были красивы и зеркала ма-

ло кого огорчали, а дети радовались семицветным зайчикам, которые целыми стайками спрыгивали с зеркал Амальгамы.

Но потом случилось так, что долгие годы ни один путешественник не мог проникнуть в Синегорию. Жестокие бури преграждали путь кораблям, желавшим приблизиться к острову Лишь одному смелому мореплавателю и его отважным товарищам удалось наконец пробиться на корабле к берегам Синегории. Но когда корабль бросил якорь и усталые путешественники сошли на землю, они не узнали некогда веселой и цветущей страны, где прежде не раз вкушали сладкие плоды, дышали веселящим ароматом цветов, фехтовали легкими невидимыми мечами и разглядывали себя в хрустальных зеркалах...

Пустынно было на улицах. Хлопали ставни и распахнутые настежь двери домов. Ветер, ни на миг не унимаясь, выл в переулках, свистел в печных трубах, как злая собака, трепал и рвал одежду людей. А люди шли сгибаясь, словно низко кланялись ветру, и деревья гнулись к самой земле. Ветер мел сухие листья по испорошенной земле, и ниоткуда не доносилось ни аромата цветов, ни детского смеха, ни пения птиц. Только скрипучий жестяной визг слышался отовсюду.

Это гремели, крутились на всех крышах вертушки флюгеров.

«Что произошло у вас?» — спросили у жителей озадаченные путешественники.

«Разве вы не знаете? — отвечали им.— Нас разорили ветры... Все пошло на ветер».

И путешественники узнали, что страной завладел злой и глупый король, который жил на соседнем острове. Звали его Фанфарон.

Король Фанфарон был человек крайне легкомысленный. Он ходил расфранченный в пух и прах и в конце концов пустил все свое состояние по ветру. И в народе стали говорить, что король продулся, у короля ветер в голове, король болтун и что ни скажет — всё на ветер. И это было справедливо. Поэтому ветры всего света решили, что Фанфарон — самый подходящий для них, самый ветреный в мире король. Они слетелись на остров и стали уговаривать Фанфарона:

«Хочешь, мы развеем все печальные мысли твои, о король, мы раздуем твою славу на весь свет?»

«Дуйте!» — сказал глупый король.

И ветры стали хозяйничать в стране. Власть захватил Тайный Совет Ветров. Всем жителям было приказано поставить на крышах флюгера́, чтобы всем и каждому было видно, куда ветер дует. Под страхом смерти жители обязаны были держать двери раскрытыми настежь. Сквозняки проникали в дома через все двери, окна и щели, подхватывали каждое сло-

во и доносили его Фанфарону. Специально назначенные королем начальники Печной Тяги следили за тем, чтобы люди не закрывали вьюшками трубы своих очагов. Король окружил себя ветродуями и ветреницами. Первым министром и, по сути, правителем страны стал главный придворный Ветрочет, хитрый Жилдабыл, продувная бестия. Король наградил его знаком Опахала, цепью Большого Веера и высшим отличием —«Розой Ветров».

Три славных Мастера были схвачены королевскими ветродуями и доставлены на остров. Дрону Садовая Голова разрешили выращивать лишь одуванчики. Оружейнику Изобару приказали мастерить флюгера, одни лишь флюгера — ничего больше. А славному Амальгаме велели перебить все зеркала и больше никогда не отливать их, ибо король был крайне безобразен лицом и не раз уже бывало, что, посмотревшись в зеркало, он в ярости разбивал его. Ветры же ненавидели вообще всякие стекла, потому что они мешали дуть в окна. А злой, алчный Жилдабыл запретил зеркала, чтобы люди не могли сами разглядеть, как иссушили их ветры. И Великого Мастера, зеркала которого были жилищем света и красоты, заставили теперь быть поставщиком мыльных пузырей. Король Фанфарон очень любил пускать мыльные пузыри, а Мастер Амальгама знал секреты особых составов. Он подмешивал их в мыло, и король выдувал пузыри невиданного размера, серебристые, зеркальные. Они взлетали высоко и лопались не сразу. Но Амальгама знал, что все равно это дело лишь на полминуты, ибо искусство долговечно только тогда, когда человек с любовью вложил в труд всю свою вольную душу...

Глава 3

ЗЕРКАЛО И ВЕТРЫ

Гай прервал свой рассказ и вынул из кармана трубку. Я тоже достал свою, угостил Гая морским табаком —«капитанским». Мы закурили. И Арсений Петрович продолжал:

— Тяжелые времена настали в Синегории. Злые ветры иссушили поля и сады; где шумели прежде леса, там теперь громоздился бурелом, где благоухали розы, все заросло бурьяном и трын-травой. Только ветры выли в трубах да гремели жестяные флюгера. А король пускал мыльные пузыри, слушал, как верещат на крышах вертушки да рявкают духовые оркестры, и любовался облетающими одуванчиками.

Тем временем у Дрона Садовая Голова выросла дочь Мельхиора, в тысячу раз более прекрасная, чем самая лучшая

лилия, которая когда-то украшала цветники Дрона. И ясноглазый Амальгама, томившийся в сумрачном замке, полюбил ее. Глаза Мельхиоры напоминали ему радугу, смех ее похож был на хрустальный звон лучей, отраженных зеркалом.

И девушка тоже полюбила Мастера за его лучистые глаза, за светлую голову и солнечный нрав. Дрон Садовая Голова скрывал дочь от короля, но сквозняки пронюхали об этом и донесли Фанфарону.

«Фью-фью!— присвистнул Фанфарон, увидав, как прекрасна Мельхиора.— Я и не знал, что старый садовник утаил от нас свой лучший цветок... Почему бы твоей дочке не стать моей придворной ветреницей?»

Красавица в ужасе отшатнулась от жадного урода.

Король понимал, что Мельхиора никогда не полюбит его, и потому пустился, по совету Жилдабыла, на хитрость. Он знал, что во дворце нет ни одного зеркала, Мельхиора никогда не видела своего лица и даже не подозревает, как она хороша. И Фанфарон приказал всем, кто окружал прекрасную дочь Дрона Садовая Голова, говорить ей, что она чудовищно уродлива. Отныне придворные, встречая Мельхиору, отворачивались якобы от ужаса и омерзения, а король пользовался каждым удобным случаем, чтобы сказать ей:

«Видишь, как я добр! Я, король, могучий повелитель Ветров, предлагаю тебе свою любовь и зову тебя стать моей ветреницей. Смотри, все отворачиваются от тебя, так ты безобразна. Но у меня доброе сердце, я помню заслуги твоего отца и не брезгаю тобой. Соглашайся же, быть может, я сделаю тебя королевой».

Но Мельхиора продолжала упрямо отвергать любовь короля.

«Неужели я так безобразна?— в тоске спрашивала она у Амальгамы.— Как же ты полюбил меня?»

«Ты прекрасней всех на свете, поверь мне,— говорил ей Амальгама,— и я готов повторить это где угодно, хотя бы Ветры и разорвали меня за такие слова. Ах, если бы у меня было хоть одно из моих зеркал, я бы дал тебе поглядеть в него, и ты сама не могла бы насмотреться на себя!»

Но Мельхиора нигде не могла увидеть своего лица. Когда она выходила на улицу, король приказывал ей закрывать лицо покрывалом, чтобы народ не пугался ее уродства.

«Взгляни в мои глаза,— говорил ей Амальгама.— Разве ты не видишь, как ты хороша?»

«Нет,— отвечала Мельхиора,— я вижу в твоих глазах только любовь, которая заслоняет все и так же слепит меня, должно быть, как и тебя, и больше ничего не вижу».

«Тогда пойди к пруду и посмотрись в него — вода скажет тебе правду!»— воскликнул Амальгама.

И прекрасная Мельхиора побежала к пруду. Она наклонилась над его зеркальной поверхностью и стала смотреть на свое отражение. Но один из Ветров тотчас же прилетел сюда и принялся дуть на воду. Зеркало воды зарябило, и прекрасные черты Мельхиоры безобразно исказались. Она в ужасе отпрянула, закрыв лицо руками.

«Да, король прав, я действительно уродлива до крайности. Должно быть, Амальгама полюбил меня только из жалости».

Однако ей захотелось еще раз и окончательно убедиться в своем безобразии.

«Если я так уродлива, ваше величество,— сказала она королю,— то почему бы вам не помочь мне самой убедиться в моем уродстве? Разрешите Мастеру Амальгаме изготовить лишь одно, хотя бы самое маленькое, зеркало».

Король не знал, что ответить. Он был не очень-то умен и догадлив, этот повелитель Ветров. Но хитрый Жилдабыл опять подсказал ему совет.

«Заставь его отлить неверное стекло,— сказал Ветрочет королю.— Пусть она полюбуется на себя в кривом зеркале».

Король позвал Амальгаму и сказал:

«Говорят, что ты очень скучаешь без своих стекол, Мастер. Я разрешаю тебе отлить одно зеркало, но только это зеркало должно быть кривым, и каждый, кто взглянет в него, пусть увидит себя в самом смешном, непривлекательном виде. И чем красивее человек, тем пусть страшнее выглядит он в зеркале. Пусть нос его перекосится и встанет поперек лица, глаза вылезут на щеки, рот расползется до ушей, а уши повиснут, как у собаки».

«Нет! Никогда!— отвечал Амальгама.— Мои зеркала не могут кривить душой перед лицом истинной красоты».

Король разъярился:

«Ты посмел ослушаться моего приказания! Ты хочешь попасть в вентилятор?.. Эй, ветродуи! Взять его!»

«Погоди... Сперва дай мне подумать»,— сказал Амальгама.

Он помолчал несколько минут, потом, словно решившись и глядя своими ясными глазами в лицо короля, промолвил:

«Ладно, пусть будет по-твоему, я сделаю такое зеркало».

«Но не вздумай хитрить,— предупредил его король.— Сперва я сам взгляну в зеркало и проверю его на себе».

Амальгама пошел к себе в мастерскую, раздул огонь под горном, поставил тигель. Он отливал стекло три дня и три ночи. Еще три дня и три ночи гранил и шлифовал его. И он изготовил зеркало, лучше которого никогда еще не делал. Потом он доложил королю, что работа готова. Король посмотрел на зеркало сбоку и сказал:

«Я не замечаю, чтобы поверхность его была кривой».

«В этом-то и весь секрет, ваше величество,— ответил

Амальгама.— С виду это обыкновенное стекло. Не угодно ли посмотреться в него?»

Король взглянул на себя в зеркало, и так как был он несказанно безобразен, но уже много лет не видел себя в зеркале, то захохотал от восторга:

«Ты молодец, Мастер, я награжу тебя знаком Опахала! Ну и коверкает же человека твое зеркало! Смотри — нос поперек лица, глаза вылезли на щеки, рот растянулся до ушей и уши висят, как у собаки. Слава богу, что это лишь кривое зеркало».

И, уже ничего не опасаясь, Фанфарон приказал явиться Мельхиоре.

«Я выполнил твою просьбу, Мельхиора,— сказал король.— Вот самое правдивое зеркало, его сделал твой друг Амальгама. Взгляни в него и согласись, что я говорил тебе правду». Так сказал король посмеиваясь.

Но едва Мельхиора взглянула в зеркало, она отшатнулась и закрыла рукой глаза, не сразу поверив им.

«Теперь, надеюсь, ты убедилась, какова ты?»— спросил довольный король.

«Да, теперь мне известно, какова я»,— тихо произнесла Мельхиора и снова приникла к зеркалу, не в силах оторваться от него.

«То-то же,— сказал король.— Ну, теперь ты не будешь больше упрямиться».

И, повеселев, король позвал придворных и велел им всем глядеться в зеркало.

Министры и вельможи, ветродуи и начальники Печной Тяги смотрелись в зеркало и отплевывались:

«Ну и рожи у нас получаются в этом стекле!»

Им и невдомек было, что Амальгама изготовил зеркало совершенно прямое и верное. Только хитрый Жилдабыл заподозрил что-то неладное. Он схватил зеркало, внезапно поднес его к лицу Амальгамы и увидел, что мастер отражается в стекле таким же ясноглазым, каким он был на самом деле.

«Смотрите, ваше величество,— завопил Жилдабыл,— негодяй обманул вас! Он изготовил зеркало с коварным свойством: наши лица и прекрасный лик самого короля стекло уродует, а лица Мастера и этой упрямицы оставляет неискаженными».

«Ну, не миновать теперь тебе вентилятора!»— сказал Мастеру взбешенный король. Он хватил зеркалом о каменный пол с такой злобой, что стекло брызнуло во все стороны, и стал топтать осколки.

Королевские ветродуи схватили Амальгаму. Его бросили в темный подвал, куда не проникало ни искорки света.

На другой день ослушника судил Совет Ветров.

«Признаешь ли ты себя виновным?» — спросил король.

«Я виновен только в том, — гордо отвечал Мастер, — что всю жизнь не искажал прекрасного, не скрывал уродства, не льстил безобразию и говорил людям правду прямо в лицо».

«В вентилятор его!» — закричал король.

«В вентилятор!» — повторили ветры.

Это была самая лютая казнь.

Амальгаму заключили в высокую башню одной из стен замка. Казнь была назначена на утро.

Глава 4

В ПОИСКАХ СИНЕГОРИИ

Гай замолк.

— Что же случилось дальше? — спросил я нетерпеливо.

— Прекрасная Мельхиора... — начал было Арсений.

Но тут сигнальщики закричали «воздух». У командного пункта взвыла сирена. Под навесом посыпались со стола кости домино. Румяная подавальщица Клава промчалась мимо нас к щелям укрытия, опережая всех.

— Клавочка, самовар поспел, бежит! — крикнул кто-то из летчиков.

Клава выскочила из укрытия, схватила горевший яркой медью самовар — гордость аэродромной столовой — и, как ни фыркал он, как ни плевался, утащила его под скалу.

Немцы шли от солнца. Крылатые тени ударили нас по глазам.

Ды-ды-ды-ды!!! — оглушительно зачастили счетверенные пулеметы.

Даранг-даранг-даранг! — задергались скорострельные зенитки.

Мы едва успели добежать до щели, как над нами, переходя с тонкого свиста на тошнотворный вой, что-то просверлило воздух и, покрывая все тяжким, стопудовым обвалом, ахнулось оземь на аэродроме. Потрясенная окру́га долго не могла прийти в себя, и каждое ущелье спешило скорее сбыть подальше этот ужасный, не вмещающийся в мире гром. Только мы подняли головы, как земля снова судорожно забилась под нами, и стало темно от взброшенных к небу камней. И в эту минуту я увидел, как Арсений Гай вскочил и, сгибаясь, побежал к своей землянке.

— Я сейчас... термометр снять...

— Ложись!..

Поздно... Бомба рассадила до основания скалу возле ме-

теорологической станции. Когда мы подбежали туда, на мху и расщепленных бревнах блестели капли ртути.

Я бросился на колени, подвел руку под тяжелое, большое тело Гая, лежавшего ничком, повернул его лицом к себе. Он посмотрел на меня словно очень издалека, губы его разжались, но зубы оставались стиснутыми, и сквозь зубы, чуть слышно, он проговорил:

— Если доведется... встретите если... зеркало...

Он попытался нашарить карман на груди, но пальцы у него свело, и рука на полпути вывернулась ладонью вверх. Я осторожно вынул у него из кармана гимнастерки зеркальце, раскрыл, приложил ко рту Арсения. Стекло не замутилось. Зеркальце оставалось ясным. И говорить больше было не о чем.

Злой ветер, мы знаем, из какого гнезда прилетел ты, злой, черный ветер, чтобы унести на своих желтым крестом меченных крыльях жизнь нашего синоптика... Комкая в стиснутых кулаках пилотки, молча стояли вокруг летчики и бойцы батальона обслуживания. Тихо плакала, уткнувшись в передник, подавальщица Клава. А полярное бессонное и немигающее небо смотрело сверху на нас, и все окрест было таким же, как и пятнадцать минут назад. Но мне показалось, что и море, и сопки, и скалы — все, что было перед этим таким знакомым, теперь облеклось в сумрачную тайну, которую нам было уже не разгадать без нашего Гая.

В разбитом блиндаже все было искромсано и опалено. Я нашел лишь обрывок начатого письма:

«Привет вам, славные синегорцы, привет тебе, прилежный Изобар, здравствуй, солнечный Амальгама, добрый день, Дрон Садовая Голова. Как живете, дорогие мои ма...»

...Мы похоронили Арсения Петровича Гая на вершине одной из сопок. Могилу подкопали под большим валуном, похожим на дремлющего белого медведя. Камень, выбранный нами в надгробье Гаю, был надежным: никакая фугаска не свернула бы такую махину. Клава обложила могилу серебристым мхом-ягелем. На валуне большими буквами написали: «Арсений Петрович Гай». А я нарисовал на камне герб страны Синегории: радугу и стрелу, повитую плющом. Я срисовал это с треснувшего зеркальца, которое взял себе на память об удивительном человеке Арсении Гае и тайне его, которую он унес в собой в могилу.

Через час мне пришлось улететь. С тяжелым сердцем покидал я аэродром, где остался лежать под каменным белым медведем Сеня Гай — добрый великан из страны Лазоревых Гор.

Так и не узнал я, что же стало с Мастером Амальгамой и красавицей Мельхиорой.

Потом я вернулся в Москву, занимался своими делами, но у меня не выходил из головы Арсений Гай и его рассказ, конец которого я не успел дослушать. Мне подумалось, что надо будет рассказать об этой истории по радио, и тогда, может быть, откликнутся люди, знающие, где находится Синегория и как найти мне славных Мастеров. Сделать мне это было нетрудно. Я работал на радио и раз в месяц собирал за Круглым Столом разных интересных людей. Тут были и знаменитые артисты, и герои-воины, и прославленные мастера заводов, и известные писатели. И каждый рассказывал у микрофона что-нибудь занятное, интересное. И вот я тоже рассказал однажды об Арсении Петровиче Гае и о трех его неведомых Мастерах из страны Лазоревых Гор.

Не прошло и недели, как я получил письмо из волжского города Затонска:

«Уважаемый Председатель Круглого Стола! Добрый день! Привет Вам от синегорцев Рыбачьего Затона. Мы слышали передачу, как Вы говорили по радио о нашем славном родоначальнике товарище Гае А. П., который пал смертью храбрых на фронте. Мы знаем дальше о Трех Мастерах. Если, конечно, это Вас интересует. Приезжайте к нам в Затонск. Мы еще можем сообщить Вам много всего для рассказов за Круглым Столом. Только не забудьте захватить то зеркальце.

Отвага, Верность, Труд — Победа!

По поручению синегорцев — Амальгама». (Подпись и герб синегорцев.)

Обратного адреса в письме не было, других подписей также не оказалось. И я подумал: уж не подшутил ли кто надо мною?..

Недавно я был на Волге, в своих родных краях. У меня выкроилось немного свободного времени, и я решил съездить на денек в Затонск. Сойдя с парохода, я отыскал дом для приезжих. Конечно, комнат свободных не было. Мне дали койку в номере на несколько человек. Я оставил чемодан и пошел в горсовет, чтобы узнать, где находится Дом пионеров; там уж наверное слышали об Арсении Петровиче, и я, может быть, выяснил бы все, что мне требовалось. В горсовете мне дали нужный адрес, но сказали, что пионеров я застану позже, пообещали к вечеру устроить отдельный номер в гостинице, а пока что я решил погулять по городу.

Городок был небольшой и всем обликом своим очень напоминал тот, в котором я сам вырос. И, хотя я был в Затонске первый раз, мне все казалось тут уже знакомым: и пески на Волге, заросшие ивняком, меж ветвей которого с легким звоном ветер нес песчаные струйки, и акации вдоль кирпичных тротуаров, и горбатые землечерпалки в Затоне, и базар с каланчой.

Лазоревых Гор я нигде не заметил. На левом берегу Волги вообще горы встречаются редко — луговая здесь сторона. А ветер действительно дул не унимаясь, горячий, сухой ветер Заволжья.

Когда я вернулся к себе, мой сосед по комнате, сидевший на своей койке, роясь в толстом портфеле, сообщил, что мне есть письмо. Я увидел на своей подушке хитро сложенный ромбиком пакетик и, развернув его, прочел:

«Синегорцы знают, что Вы прибыли, и приветствуют Вас в своем городе. Добрый день, с приездом. Отвага, Верность, Труд — Победа!

Привет, Амальгама».

И внизу стоял значок синегорцев — оплетенная вьюнком стрела, положенная на радужный лук.

Я утомился с дороги и лег вздремнуть. Когда я проснулся, внимание мое невольно привлекло что-то, настойчиво мелькавшее по потолку. Я поднял глаза кверху и увидел светлое радужное пятнышко, обегающее карниз комнаты, прыгающее на потолок и снова соскальзывающее на стены. Сперва я не придал этому никакого значения, но потом зайчик заинтересовал меня. Я заметил, что он делает правильные круги по потолку и останавливается на запыленной люстре, висюльки которой вспыхивали при этом красными, фиолетовыми, оранжевыми и зелеными огоньками. Слегка задержавшись на хрустальных подвесках люстры, зайчик спрыгнул на стену.

Я встал с постели и выглянул на улицу. Зной плыл над ней. Запыленная трава пробивалась сквозь унылый булыжник, и против окна, на другой стороне улицы, стоял под акацией паренек в пионерском галстуке с толстой папкой под мышкой. Увидев меня, он отдал салют, потом показал мне издали что-то красное, сверкнувшее у него в руке, спрятал этот предмет в карман и снова отсалютовал.

— Это ужас глядеть, до чего дети распустились! — проворчал мой деловитый сосед, приподнявшись на своей койке.— Буквально драть бы следовало, да некому... Я вот тебе! — погрозил он в окно.— По твоему возрасту люди в настоящее время знаешь уже какие дела делают? А ты в кошки-мышки балуешься. Еще пионер...

Мальчуган, словно бы не слушая его, смотрел на меня во все глаза. А глаза у него были огромные; казалось, что от них самих сейчас побегут солнечные зайчики. Я крикнул ему из окна:

— А ну, довольно там тебе мешком солнышко ловить! Так, что ли, в песенке поется? Заходи!

Мальчишку словно ветром сдуло. Затопали, застучали

внизу деревянные стукалки-сандалии, и я еще не успел дойти до двери, как за ней раздалось:

— Можно?

— Прошу пожаловать.

Вошел мальчик, небольшой, очень худенький, но стройный, светлоглазый, в выгоревшей тюбетейке на макушке.

— Здравствуйте. Это я вам сигналил.

— Что же это ты мне сигналил?

— Вызов давал.— И он внимательно, испытующе посмотрел мне в лицо. Затем продолжал чуточку с недоверием:— А разве вы сигнал не знаете, у вас нет с собой зеркала?

Тогда я что-то понял и предъявил свое заветное зеркальце.

— Значит, Отвага и Труд?— сказал я.

— Верность и Победа!— откликнулся он.

— Так это ты мне писал?

— Я,— сказал он, чуть покраснев, но продолжая глядеть мне прямо в глаза.

— Стало быть, ты и есть Амальгама?

Он кивнул головой:

— Я тоже. Но только вам Арсений Петрович про другого говорил. Вот тут все написано.— И он протянул мне большую папку, завязанную тесемочками. На ней красовался цветной герб синегорцев.

Я развязал папку, открыл ее и на первом листе прочел крупный заголовок:

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА ЗАТОНСКА.

Составлено Валерием Черепашкиным, учеником 5 «А» класса средней школы гор. Затонска.

«В окрестностях нашего города было всегда полно неископаемых сокровищ»,— прочел я далее и перевернул страницу.

Мне бросились в глаза строки:

«По-моему, кто не любит свой город, где сам родился и вырос, так города, где другие родились, он совсем уж не полюбит. Что же он тогда, спрашивается, любит на земле?»

Обратил я внимание еще на одно место, подчеркнутое внизу той же страницы:

«Великие люди из нашего города пока еще не выходили, но, может, они уже родились и живут в нем».

«Кажется, недаром приехал я сюда»,— подумалось мне. И я не ошибся. Действительно, я провел в Затонске не один день, а целых двадцать. Я выяснил не только, чем кончилась история Трех Мастеров, но узнал еще очень много интересного. Обо всем этом я написал в повести, которая и начнется, в сущности, лишь со следующей главы, называющейся:

Глава 5

УТРО ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

— Капка!

Капка не шевелился.

— Капка, время уже...

Он не отзывался. Ему было не до того. Он ничего не слышал. Лешка Дульков был перед ним, долговязый Лешка, по прозвищу Ходуля, и его следовало проучить раз и навсегда, чтобы знал, чтобы помнил. Да, раз и навсегда!

— Но, но, легче! Не имеешь права физически!— сказал Лешка, отодвигаясь.

— А дело делать на шаляй-валяй у тебя есть право? Манкировать у тебя откуда право взялось? Я тебя отучу манкировать!

Манкировать — это было новое модное словечко у мальчиков Рыбачьего Затона.

— Я не манкирую,— сказал Лешка.— Сами брак даете, а Дульков отвечает. Тоже не разговор.

— Нет, ты скажи, совесть у тебя имеется? По твоей милости мы с *самолета* на *паровоз* перешли. А сейчас нас на *велосипед* пересаживают, на общий смех. Так и до *улитки* недалеко!

— Можешь словами высказываться, а насчет рук это оставь, говорю. Ну, слышь, Бутырев?..

Капка ударил левой. Он был левша, и это было его преимуществом в драке. Противник не ожидал удара с этой стороны. Ходуля покачнулся и сказал:

— Не имеешь полного права! Попробуй только еще раз!

Капка попробовал еще раз. Хорошо ударил, сильно ударил. Все видели: он маленький, а не боится длинного.

— Капка, время!— кричала ему в ухо сестра Рима и тормошила его.

Он не слышал, он ничего не слышал. Он расправлялся с Лешкой, этим лодырем Лешкой, этим всем надоевшим, все дело портившим Лешкой.

— Что, получил? Нá еще! Мало? На! Будешь? Прими за это! Сыт?

Он услышал, что сестра подсказывает что-то насчет времени.

Да, такое время, а этот Лешка срамит всех ребят. И вот вчера они еще были на щите в первой графе, на самолете, а сегодня уже по вине Лешки еле держатся на паровозе, а того и гляди, их перенесут в пятую графу, под велосипед.

— Капитон, довольно тебе, хватит спать! Время уже.

— А ну тебя, Римка, вот пристала!.. Уйди. Мм.. Вот как встану, да...

Все стало уплывать куда-то вбок, порвалось, как в кино, когда происходит обрыв ленты.

Капка открыл один глаз. Над ним склонилась старшая сестра Рима.

— Уйди, Римка, уйди ты!.. Всегда ты доглядеть толком не даешь! Видишь, человеку снится чего-то, можешь обождать!

Капка со злостью посмотрел на сестру одним глазом и попробовал открыть второй. Но глаз не открывался. Вот еще неприятность! Это все вчерашняя история. Конечно, это он подстроил, Лешка. Парни со Свищевки сами бы не полезли. Да, дело было совсем не так, как сейчас приснилось. Еще бы: он был один, а их трое.

Капка отвернулся от сестры и украдкой пощупал глаз. Эге, вот так гуля! Здорово запух. Наверно, заметно будет. Глаз медленно приоткрывался, словно и на свет смотреть не хотел. И верно, мало́ хорошего на свете, товарищи, особенно если вас так стукнуть.

— Мойся, Капка, да садись поешь, я сейчас лепешек дам. С вечера тесто ставила.

— Некогда мне твоих лепешек дожидаться, и так чуть не проспал. Говорил, вовремя буди!— Капка старался не поворачиваться к сестре правой скулой.

Рима ушла в сени. Он вскочил с отцовской кровати, вытащил из-под матраца аккуратно сложенные, чтобы прогладились за ночь, брюки, пошел умылся. Глаз не то чтобы болел, но ныл легонько.

Проснулась маленькая Нюшка, села на кровати:

— Я уже поспала... Рима, а лепешки будешь печь? Мне сколько дашь?

— Иди умойся сперва!— крикнула из сеней сестра.

— А почему Капка не умывался?

— А я умылся.

— Ну да, а у самого под глазом черное совсем.

— Нюшка, битой будешь, предупреждаю!— пригрозил вполголоса Капка.

— Не мылся, не мылся!

— Да раз не отмывается,— проворчал Капка.— Это кислотой попало.

Вошла с чайником Рима.

— Капка, глаз-то, вот так да! Это как же?

— Сказал, кажется, ясно: кислота. Ну, мне идти время.

— Глаз-то смотрит?— озабоченно спросила Рима, заглядывая в лицо брату.

Капка прищурил здоровый глаз и посмотрел ушибленным.

— Глядит. Полная видимость.

— Ты хоть в зеркало взгляни, какая у тебя видимость!

— Некогда мне по зеркалам смотреть, это твое занятие главное.

— Да, а у самого вон что я вчера подобрала, из кармана выпало.

Капка увидел в руках у сестры маленькое зеркальце-книжку. Он подскочил к Риме:

— Дай сюда сейчас же и запомни на всю свою жизнь, что хватать его никто тебя не просит. Учти — это для твоей же пользы.

— Ну, с левой ноги встал!— сказала Рима.

Капка промолчал. Он налил в кружку кипятку и стал сердито макать туда пригорелый сухарь. Маленькая Нюшка, торопясь, напяливала на себя платьице, путалась в рукавах, никак не могла выпростать голову и, зная, что брат спешит уйти, тыкалась изнутри в материю, лезла с вопросами:

— Капка, а когда ты мне фырчалку, чтобы сама крутилась, починишь? Ты обещал.

— Ладно, сделаю. Погоди.

— Нюшка,— послышался из сеней голос Римы,— ты в тесте ковырялась? Кто же это у меня разворочал все тут?

— Рима, я правда не лазила, ей-правду, не лазила!— заспешила Нюшка, выбравшаяся наконец головой из ворота.

— Это, может, я,— признался Капка, уткнувшись в кружку.

— Кто же тебя звал туда лазить?

— Это я ночью на глаз лепешки клал вроде примочки. Горело очень. Я клал сперва тряпку мокрую, а она больно быстро сохнет; а тесто хорошо: долго сырое. Я хотел обратно потом в квашню, да заснул.

— И не совестно тебе? Муки и так нет, а он...

— Чего ты привязываешься сегодня ко мне все утро!— рассердился Капка. Он был не в духе.— Уйду вот от вас в общежитие, и существуйте тут одни без меня. Не дадут человеку поесть толком!— Капка, нагнувшись, собрался было утереть рот углом скатерти, но Рима выдернула ее из-под рук.— Обойдусь без твоих лепешек, не помру.

Он встал и большими пальцами обеих рук заправил складки гимнастерки под пояс назад, поправил пряжку с буквами «РУ».

— Капка,— попросила Рима,— ты поколи дров мне, а я воды наношу. Постираться хочу сегодня. Да, еще тетя Глаша вчера примус принесла. Иголка застряла, а у тебя магнит есть. И от Маркеловых костыль притащили. К ним сын вернулся, перекладинка отскочила. Ты почини, Капа.

— Ладно, вечером, как с работы приду, сделаю. Ну, где дрова? Давай колун, да живей, а то опоздаю.

Рима разжигала чурки, сложенные на шестке под маленьким таганком. Она чиркнула зажигалкой, из-под пальца метнулись остренькие искры, похожие на раскаленные гвоздочки. Щепки были сырые, не разгорались.

— Стой, дай-ка сюда,— сказал Капка, увидев зажигалку.— Это ты откуда взяла?

— Лешка дал, Дульков.

— Так,— промолвил Капка и положил зажигалку в карман.

— Капитон! Это, кажется, не тебе подарили.

— Ты-ы-ы,— с уничтожающим презрением проговорил Капка,— привадила долговязого! Надо иметь все-таки понятие, у кого берешь!

— Не знаю я всех ваших делов.

— «Делов»! Семилетку кончаешь, а говорить, как правильно, не знаешь.

— Ну дел, все равно.

— Нет, не все равно. Он в Затоне у нас медь ворует, на базаре чиркалками торгует. Гнус он, спекулянт вредный, а ты его приваживаешь.

— Ну, и не твоя забота!

Капка, который был уже в сенях, вернулся, медленно подошел к сестре. Маленький, плечистый, он смотрел на красивую рослую сестру снизу.

— А чья же еще забота? Скажи! Ну? Отец что наказывал, когда уезжал? Ты это помни. А с сурпризом этим простись.

Он вынул из кармана зажигалку, пальцем провернул колесико, зажег, плюнул на огонь, повертел перед лицом Римы и сердито сунул в карман.

Вскоре со двора послышались глухие удары. Это Капка колол дрова. Дрова попались сырые, суковатые, осина. Колун застревал, поленья разваливались нехотя, со скрипом. Но Капка, рассадив с размаху толстый чурбак, вогнав клин колуна по самую середину, по-мужичьи ухая, ловко разваливал самые кряжистые и упрямые поленья.

Но вот дрова переколоты. Нюшка подобрала приглянувшиеся ей щепочки.

— Рима, я пошел.

И Капка, надев фуражку и шинель, перепоясавшись поверх хлястика кушаком с латунной бляшкой, отправился в Затон на свой Судоремонтный.

Глава 6

«ИСПЫТАЙТЕ ВАШИ НЕРВЫ»

День был свежий, с Волги дул резкий ветер. Еще не подсохла весенняя грязь. На пустыре стояли большие лужи. В них отражались тягучие облака и синие просветы неба. Из одной лужи пила курица. Попив немного, она всякий раз закидывала вверх голову, словно каждый глоток заучивала наизусть. Капка присвистнул и вспугнул курицу. Она шарахнулась, растопыря крылья. Капка прошел через пустырь. В стороне остался школьный сад. Галочьи гнезда темнели в еще сквозной путанице недавно обзеленившихся ветвей. За кирпичной оградой сада, чем-то крайне обеспокоенные, галки то и дело срывались стаей с деревьев и, крича, носились над парком. В саду пропела какая-то незнакомая дудка.

«Что это, пионеры, что ли?— подумал Капка.— Не похоже что-то. Рань такая, и галки разорались...»

Потом ветер донес сдвоенные удары колокола. Звон был тоже незнакомый. Капка даже приостановился, вслушиваясь. Будто склянки бьют, как на пароходе. А с пристаней сюда не слышно.

Но Капке было некогда разузнавать, что все это значит. Ему надо было еще заглянуть па базар.

Капка свернул в переулок, а потом перешел на другую сторону, чтобы не проходить близко от сада, где жила презлющая старуха и не менее злопамятная собака. Отношения с обеими у Капки были испорчены еще с давней поры.

Но собака и старуха уже заметили спешившего по другой стороне Капку. Пес сварливо залаял, гремя цепью, ходившей по проволоке. Пес бегал, проволока гудела, словно трамвай шел. А старуха, грозя колючим кулаком через палисад, кричала Капке издали:

— Иди, иди сторонкой! Знаем мы вас, так и зыркают глазами, чего бы такое схватить!

Капка шел, не глядя в эту сторону и как бы не слыша крика.

Соседка, выйдя из своей калитки, успокаивала старуху:

— Это ты, Митревна, напрасно. Что ты его костеришь? Они, ремесленники, ребята старательные.

— Уж я знаю, какие старательные,— не унималась старуха.— Вчера, скажи, глянуть не успела, а вот такой же «старательный» мигом полотенце с веревки и сдернул. А тоже при фуражке, и пуговицы казенные. Да сам здоровый такой, цельный мужик ростом, а как припустился!

(«Проклятый Лешка! Верно, это он побывал тут!»)

Вот и базар. Час был ранний, народ пока только собирал-

ся. Длинные тени тянулись от возов. Базар еще был чистым, не замусоренным. Ветер гнал пучки сена между пустовавшими пока рядами. Но уже сидел близ дороги рябой, коротко стриженный слепец, вперив свой незрячий взор в подымавшееся солнце. Слепца окружали тихие бабы. Одна из них качала головой в такт словам слепого, который медленно водил пальцами по выпуклым знакам на странице гадальной книги.

— Ожидается ему вскоре подполнение жизни,— говорил певучим голосом слепец,— и выходит ему при большой награде благополучные обстоятельства.

— А сам-то живой, здоровый?— спрашивала баба.

— Книга на сие ответствует, что можете иметь надежду и судьба придает счастливое свидание, если не выйдет исход фортуны.

И, слушая эти туманные предсказания, кивала бедная баба головой и крестилась:

— Ну, слава тебе господи! Спасибо, дорогой.

Уже хлюпала где-то, пиликая и подтявкивая, шарманка. Эвакуированный из Ялты чистильщик сапог уже успел развернуть свой полотняный зонт с фестонами под высоким стулом красного бархата и присел на скамеечке подле ящика, на котором под деревянным следом был звонок, что было новинкой в Затонске. Мальчишки молчаливой толпой окружали чистильщика, который уже прошелся алой бархоткой по сапогам какого-то лейтенанта, хлопнул щеткой о щетку, перевернув, сложил их и, ударив по рычажку звонка, возвещая конец сеанса, небрежно бросил скомканную трешку в ящик, снова звякнув при этом.

Но Капке некогда было любоваться работой мастера, хотя только что на красный бархатный трон взошел человек в ярко-желтых, совершенно желтых ботинках, и мальчишки замерли, предвкушая роскошное зрелище.

Встретился лоточник, веселый, разбитной, как всегда изумивший Капку своим красноречием. Удивительно легко и гладко получалось у него: «Имеется, граждане, курительная бумага на закурку для махорки, марки почтовые, заколки для женского персонала, годится бумажка на оберточку для пудры и для других надобных целей, марки кому угодно, художественные открытки с видами роз и цветов». Но не до цветов и видов было Капке. Не остановился он и у замечательного сооружения, около которого сидел интеллигентный старичок в соломенной шляпе. Полукруглый циферблат венчал высокую деревянную колонку, дрожала стрелка-егоза, вились зеленые провода, висели по бокам две ручки, какие бывают на детских скакалках. И надпись гласила: «Испытайте ваши нервы». А снизу была прибита еще одна дощечка, и

на ней значилось: «Аппарат изобретен Эдисоном, безвреден для здоровья. Только один рубль».

Конечно, это было очень соблазнительно. Всего лишь один рубль! Чистая выгода: всего лишь за один рубль узнать, какова у тебя выдержка и на что ты годишься. Но Капка не остановился и здесь. Ему предстояло в этот день более серьезное испытание нервов, чем на аппарате Эдисона, вполне безвредном для здоровья.

Капка отправился туда, где сбывали с рук всякие случайные вещи. Здесь какие-то темные личности в некогда военных стеганках и пилотках без звездочек торговали махоркой, пробками к электрическим счетчикам, примусными иголками, телеграфными фарфоровыми роликами. Здесь можно было купить случайно щипцы для завивки волос, старый велосипедный насос, ванночку для промывания негативов, спиральку для электрической плитки, старый пугач и всякий иной ржавый технический хлам.

Прежде Капка частенько заглядывал сюда в поисках нужной гайки или шурупа, которого недоставало в сложном Капкином хозяйстве. Руки у Капки были золотые, и он сам вечно мастерил то детекторный радиоприемник, то флюгер с вертушкой, то чинил звонок, исправлял керосинку «Грец» или какой-нибудь другой аппарат домашнего обихода. Но сегодня Капка зашел сюда не как покупатель. Долговязого Лешку, позор и несчастье всей бригады, Лешку Дулькова хотел поймать тут с поличным Капка Бутырев — вожак фронтовой бригады ремесленников, которая недавно еще значилась в графе под самолетом на доске соревнования, а сегодня из-за проклятого Лешки едва не оказалась под велосипедом.

Известно было, что Лешка Дульков свободное время слонялся здесь, на базаре, промышляя чем попало, от срезанного им где-то выключателя до зажигалок, которые он искусно мастерил из краденной на заводе меди.

Вчера, когда щит соревнования, выставленный на заводском дворе, окончательно обесславил Капкину бригаду, с Лешкой было крепко поговорено на собрании в самом высоком стиле и затем растолковано в более крепких выражениях за воротами завода. Лешка прикинулся больным: и так, мол, он пострадал на производстве — у него нарывает палец, поврежденный резцом. Он заявил, что уйдет на бюллетень. И действительно, палец у Лешки распух и потемнел, потому что он его чем-то искусно растравил. И вот теперь Капка был уверен, что встретит здесь своего нерадивого бригадника. Так и вышло. Капка сразу увидел в толпе долговязую фигуру не по годам вытянувшегося Лешки Дулькова. Но Лешка тоже сразу заметил своего бригадира и, выхватив из рук оторопевшего покупателя новенькую зажигалку, живо

упрятал ее под полу шинели и пытался скрыться в толпе. Капка бросился за ним и быстро настиг.

— Дульков, что так спешишь?

Дульков остановился, не оборачиваясь, посмотрел через плечо на маленького Капку.

— А чего мне спешить, я на бюллетене. Палец, понимаешь, нарывает. Всю ночь, понимаешь, дергало так, прямо терпежу нет.

— Да ну?— иронически протянул Капка.

— Вот тебе и «ну». Доктор говорит, придется, понимаешь, вскрытие делать.

— Вскрытие только покойникам делают,— мрачно сказал Капка,— а ты еще заметно живой. Я лично еще не замечал, чтобы покойники зажигалками торговали.

— А кто торговал? Ты видел? Докажи.

— Ох и гнус же ты, Лешка!— медленно, негромко, от всего сердца сказал Капка и пожалел, что дело происходит не во сне, где можно было бы дать волю рукам.

Он отвернулся, чтобы не глядеть на долговязую, нескладную фигуру Лешки, не видеть его маленьких нагловатых, а сейчас с деланной обидой моргающих глаз.

— Чего вы ко мне все прицепляетесь!— заговорил Лешка своим писклявым, очень не вяжущимся с высокой фигурой голосом.— У меня и так покоя нет, палец донимает, а тут еще ты привязался, как болячка! Ну вас, на самом деле! «Отец, отец, оставь угрозы...»

Лешка Дульков любил неожиданно щегольнуть литературным оборотом речи. Для этого применялись им ни к селу ни к городу подписи под иллюстрациями в собрании сочинений Лермонтова. Самой книги Лешка, конечно, не читал, но то, что было напечатано под картинками, запало ему в голову, и, надо не надо, он пускал в ход: «Вы странный человек!..», «Так вот все то, что я любил!..», «О други, это мой отец...», «Мне дурно,— проговорила она...», «Блеснула шашка, раз и два, и покатилась голова...» Ходуля вполне обходился этими познаниями.

— Слушай, Лешка,— произнес Капка, и голос у него был такой, что Лешка сразу замолк.— Слушай, Лешка, я не доктор, болячки твои под микроскоп класть не собираюсь, но только скажу тебе, чтобы ты сегодня же был у места, а не то жить тебе на свете будет очень даже тошно. Это я тебя честно предупреждаю.

— Не ты ли уж мне эту повесточку прислал?— сказал вдруг Лешка, вынимая из-за пазухи скомканную бумажку и расправляя ее.

Капка увидел в уголке бумажки радужный лук и стрелу. Он плотно сжал свой маленький рот.

— Какие-то еще синегорцы мне грозятся, про то да се пишут, корят, стыдят... «Мне дурно,— проговорила она...» Нечего незнайку строить!.. Твоих рук дело, ваша бражка работает?

— Стану я на тебя бумагу тратить!— сказал Капка.— И ты мне зубы не заговаривай, Лешка. Чтоб был на заводе, и все. Да, погоди,— остановил он двинувшегося было Лешку.— Ты вчера у сестры, видно, забыл, так возьми.— И он протянул ему зажигалку, взятую у Римы.— Твоя?

— Ну, моя,— пробормотал Лешка.

— На́, забирай,— сказал Капка,— и не приваживайся.

Ходуля в нерешительности повертел в руках свою зажигалку, не зная, спрятать ли ее скорей в карман или еще поломаться немножко.

— Взял бы,— протянул он,— пригодится все-таки. Вы странный человек,— добавил Лешка напыщенно.

— Обойдемся,— ответил Капка.

Тут Лешка впервые за весь разговор рискнул посмотреть Капке в лицо, заметил с удовольствием отек под глазом и не удержался.

— Висит скелет полуистлевший, из глаз посыпался песок,— сказал он насмешливо.— Зачем тебе зажигалка, когда свой фонарь под глазом! Где это тебе колотовка была? Аж закуривать можно.

Капка до хруста сжал кулаки. Эх, если бы он не был бригадиром...

— Давай, Дульков, про то не будем,— глухо проговорил он,— а то как бы на тебя самого не отсветило.

— А я тут при чем? Докажи.

— Я на тебя не доказываю,— спокойно сказал Капка.— Ты свое знаешь, и я свое знаю.

— Ну вот, оба знаем — и хорошо.

И они разошлись: Лешка — в одну сторону, Капка — в другую. Он не видел, как из толпы вынырнули трое парней и подошли к Ходуле.

— Чего он?— спросил один из них, с изрядно вспухшим носом.

— На завод велел идти.

— Так ты же на бюллетене.

— Мало ли что. Грозился чего-то, верно, прознал.

— А чем докажет?

— Это верно. А здорово, видно, ему вчера вклеили! Глаз-то как чугунка.

— Это его Бирюк так.

— Я,— скромно признался тот, кого назвали Бирюком.

Губа у него была рассечена. На лбу справа набрякла хорошая шишка: верно, Капке вышло вчера под левую...

Они не видели, как сторонкой за ларьками прошли два мальчугана в пионерских галстуках. Один был маленький, с нежным лицом и большими глазами. На нем были деревянные сандалии-стукалки и тюбетейка. Другой — тяжеловесный, плечистый, очень рослый, с большим пухлым ртом. Пока шел разговор Капки с Ходулей, эти двое все время стояли в стороне, за ларьком, готовые вмешаться при первой же необходимости. Теперь, никем не замеченные, они продолжали издали следить за Капкой.

Глава 7

ТВЕРДАЯ РУКА

Вот он идет по берегу в черной фуражке, сверкая серебряными пуговицами на длинной, не по росту, шинели.

— Гей-тя-тьё-оу!— кричат ему из воды мальчишки. У них красные с синевой тела. Вода еще очень холодна, а купальщикам уже не терпится.— Капка, гляди!

И мальчишки ныряют, показав пятки. Капка, не глядя, спешит на работу.

День начался правильно. Все идет, как намечено. Вот уже протрубил первый гудок на Судоремонтном, надо прибавить шагу. Проехала длинная машина «ЗИС»— за товарищем Плотниковым, секретарем горкома. Разбрызгивая лужи, мелькнула за углом черная «эмка» с начальником Затона. Промчался военный комендант на зеленом «газике». Затарахтел по мостовой тарантас — это поехал директор Судоремонтного завода. Посыльный проскакал верхом. Бухгалтер из заводской конторы, степенно объезжая лужи, прокатил на своем велосипеде, держа портфель у руля. Сережа, знакомый паренек, пронесся вниз по взвозу на самодельном ролике. Верхом на хворостине, волоча ее через лужи, заносся немного вбок и нахлестывал кнутиком, проскакал до бровей измазюканный в глине малыш, похожий на маленького кентавра из Риминой книжки. Он сам погонял себя, гикал, ржал и бил пятками по мутной воде.

И только Капка шел совсем пешком. Верхом на палочке он, ясное дело, уже давным-давно не ездил. На самокате прокатиться Капка был бы не прочь, но не к лицу бригадиру фронтовой бригады ремесленников скакать на одной ножке при всем честно́м народе. Вот если бы велосипед, когда-то обещанный отцом... Со звонком, фонариком, педальным тормозом, насосом и багажником... Но где уж в военное время думать о велосипеде, когда Риме скоро и пешком-то ходить будет не в чем!

Капка взялся за козырек и, сдвинув фуражку слева направо и обратно, несколько раз потер ею лоб, что было у него признаком глубочайшей и невеселой задумчивости.

Да, забот хватало. Много их легло ему на плечи. За все отвечал он, Капка,— и на заводе, в бригаде, и дома. Недаром соседки, носившие чинить ему ходики, примусы и плитки, говаривали: «Все-таки как-никак мужские руки в доме».

А горе пришло в дом Бутыревых в первый же год войны. В мае сорок первого года мать уехала под Белосток проведать заболевшую сестру, которая там работала. И больше Капка не видел матери. Потом какие-то люди написали, что мать вместе с другими беженцами шла пешком по шоссе, и на них в жаркий полдень среди поля спикировал немецкий самолет и сделал один заход, а потом второй и третий. И на третьем заходе пулеметной очередью в упор скосил мать. В семье уже давно подозревали, что с матерью что-то неладно, но, когда пришло то страшное письмо от незнакомых людей, на руках у которых умерла мать, с горя словно заново содрали кожу, и оно зазияло всей своей безнадежной достоверностью. Когда отплакались, отец сказал хриплым, незнакомым голосом: «Им же хуже: злее будем». И вскоре уехал на фронт, хотя у него была броня на заводе и его сперва не хотели отпускать. Было непривычно видеть, как этот коренастый, прежде веселый, добродушный человек, внезапно осунувшись, твердил: «Нет, не уговаривайте, мою беду только ихней кровью оттереть можно, и вы мне не доказывайте...» И, наверно, беда долго не оттиралась, велика была обида и крепко томило горе этого славного человека, потому что уже через полгода был он награжден двумя орденами и медалью за неистовую отвагу в бою. Был он и у партизан, отличился под самой Москвой, потом сражался у Воронежа. Но вот уже четыре месяца не приходило писем. И Рима с Капкой старались не говорить про отца при маленькой Нюше.

В первую осень войны Капка пошел в ремесленное училище. Теперь ему уже дали четвертый разряд — он работал фрезеровщиком на Судоремонтном заводе в Рыбачьем Затоне. Тут чинились небольшие волжские пароходы, нефтеналивные баржи, ледоколы, землечерпалки. Капка перенял страсть отца ко всякому техническому ремеслу. Руки у Капки были действительно золотые. Он и прежде мог мастерить всякую всячину. Мастер Корней Павлович Матунин сразу отметил старательного и ловкого в деле паренька.

— В отца идешь, в Василия Семеныча,— говорил мастер.— Соображение у тебя, Бутырев, имеется.

Капку никто не называл Капитоном Васильевичем, как иногда называют с полушутливым уважением хорошо работающих авторитетных ребят. В этом всегда есть чуточку сни-

сходительного умиления. А Капку в училище и на заводе уважали по-настоящему, всерьез, без лишних ахов.

«Работник!» — говорили про него. Только ростом он был еще очень мал, да и годами еле-еле вышел для училища. Не в меру длинная шинель стегала его по пяткам. Издали казалось, что движется большая черная кадка, из которой торчит голова в фуражке. Но, когда дразнили его, мастер Корней Павлович Матунин останавливал задир:

— Шинелка, конечно, маленько свободна, а насмешки ни к чему. У Бутырева все на рост покроено — и шинелка и работа сама. Все чуток не по годам, чтобы развитию простор был. Ничего, подрастет — догонит, войдет в размер. Обуживать такого нет расчета... А ты не слушай их, Бутырев, шагай себе.

И Капка шагал.

Он шел сейчас, искося поглядывая на свою тень, которая стала короче, так как солнце уже довольно высоко поднялось над Затоном. Хозяйки шлепали бельем по воде у мостков. Рыбаки возвращались на исады после утреннего осмотра вентерей, и длинные остроносые лодки глубоко сидели в воде. Видно, богатый был улов. На берегу у клуба водников знакомые мальчишки играли в городки. Капка невольно замедлил шаг. Когда-то он был непобедим по этой части. Мало кто в Затоне имел такой точный удар и мог с одной биты выбить *бабушку в окошке,* или *покойника с попом,* или *паровоз со стрелочником,* или *пушку,* не завалив при этом ни одной чурки. Но теперь ему было не до этого: время пришло серьезное. Некогда бросаться палками, да и поотстала, верно, рука, отвык глаз, нет уже, должно быть, прежней точности.

Когда Капка поравнялся с площадкой, где ребята играли в городки, там как раз была выложена самая трудная фигура — *письмо.* Четыре чурки, называвшиеся *марками,* лежали по углам квадрата, а одна стояла посередине городка. Это была *печать.* Капка с насмешливым сожалением глядел на игрока, который прокинул даром уже третью палку и только одной чуточку зацепил левую переднюю *марку,* что, по правилам игры, не считалось, так как сперва надо было выбить задние *марки.* Времени оставалось уже в обрез, надо было спешить. Но тут Капка не выдержал.

— А ну-ка, дай я *распечатаю,* живо только,— сказал он, подходя к играющим.

Мальчишки разом бросились собирать для него биты. Все знали, каким игроком был когда-то Капка Бутырев. Капка расстегнул пояс, потом шинель. Пояс бросил на землю, чтобы замах был свободнее, шинель спустил с левого плеча, ибо был он, как вам известно, левшой. Прикинул на руку несколько бит, одну за другой, выбрал сперва самую тяжелую,

прицелился, держа палку двумя руками, как ружье. Потом, измерив расстояние до цели одним глазом, благо другой и закрывать особенно не приходилось сегодня, он резко отвел левое плечо назад, занеся биту далеко за спину, отступил и, коротко шагнув вперед на черту, с силой метнул. С порхающим свистом понеслась бита к городку, раздался звонкий, будто на ксилофоне, удар — клёк!— и одной *марки* как не бывало. Не сходя с места, Капка нагнулся за второй битой, прицелился, отступил, шагнул. Мальчишки рты раскрыли от уважения. Исчезла вторая, задняя, *марка*.

Клёк!.. Клёк!.. Одна за другой Капкины биты выхватили из углов городка две передние *марки*. Теперь оставалась одна лишь *печатка*. Но это было уже нетрудное дело, и Капка, уверенный в успехе, решил блеснуть особым ударом. Он метнул биту с оттяжкой, так, что она полетела, вертясь на лету, как бумеранг. Искусство здесь состояло в том, чтобы рассчитать точно вращение биты, которая, казалось, сперва летела как бы с промашкой и вот уже словно миновала цель, но в самое последнее мгновение, развернувшись в воздухе, задним концом своим выбивала чурку из городка. Причем трудность была еще в том, что, если бы чурка выкатилась за переднюю черту, удар был бы недействительным. Но удар был на славу, и *печатка* далеко отлетела в сторону, так что мальчишки, стоящие там поблизости, чтобы видеть своими глазами эту чудо-игру, присели: свистящая чурка едва не задела их по головам.

Капка обил ладонь о ладонь, сунул левую руку в рукав, застегнул шинель, стянул ее кушаком и зашагал к заводу, провожаемый восхищенными взорами мальчишек. Каждый из них видел, какая гуля была у чемпиона под глазом, но никто не спросил об этом у Капки, и только в душе ужасались мальчишки, какие же есть на свете силачи, если они осмелились поднять руку на такого парня, как Капка Бутырев.

Глава 8

ИСТОРИЯ ГОРОДА ЗАТОНСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Когда Капка скрылся в проходных воротах завода, слева, из-за опрокинутого дощаника на берегу, и справа, из-за угла амбара, высунулись две головы. Они тотчас исчезли. Потом над дощаником заблестело и кинуло зайчика в сторону амбара маленькое зеркальце. Из-за угла амбара вышел высокий парень, толстый и круглоголовый, и, тяжело, по-медвежьему

ступая, слегка переваливаясь, зашагал навстречу мальчугану в тюбетейке, который тут же перелез через дощаник. Они двинулись посередине улицы, ведшей к заводу.

— Видел, Тимка, как ему присадили под глазом? — спросил маленький.

— Есть будто,— буркнул большой. Вопрос был ему явно неприятен.

— Как же это ты вчера недосмотрел? А сказал — провожу. Эх ты, Тимсон!

— А если он мне не велел!

— Мало ли что! Надо было сторонкой идти, незаметно.

— Ладно, в следующий раз пусть только полезут еще.

— «В следующий раз»! — кипятился маленький, развязывая и завязывая тесемки над папкой, которую он прижимал локтем к боку.— Жди теперь! Что они тебе, каждый день будут, что ли?

— Ничего, еще попадутся мне,— проворчал большой, которого товарищ назвал Тимсоном.

Это и были Тимка-Тимсон с Валерием Черепашкиным, которого попросту звали Валерка. Валерий Черепашкин занимался в историческом кружке затонского Дома пионеров. Он не расставался со своей папкой, в которой вечно таскал дневник для *собственноумных мыслей* и общую тетрадь, куда заносилась «История города Затонска и его окрестностей», ибо Валерка Черепашкин был историком города Затонска и аккуратно записывал в свою памятку все выдающиеся события и явления и интересные случаи, которые были в городе. Впрочем, событий пока что было немного, и это очень удручало Валерку.

Отец у Валерки работал механиком на теплоходе, и всю навигацию его не было дома, а мать служила библиотекаршей в клубе водников. Маленький историк города Затонска был человеком начитанным, ибо хватал без разбору все книги, которые ему удавалось достать у матери. Был он из тех ребят, о которых отцы обычно говорят: «Вы об этом моего Ваську (или Петьку, или Гришку) поспрошайте. Он уж это в точности вам изложит». И действительно, у Валерки всегда можно было узнать, что сегодня сообщает Совинформбюро — какое новое направление появилось на фронте, и что за картина будет завтра в кино у водников, и какой пароход придет из Астрахани, и у кого выиграл Ботвинник, и каков размах крыльев у южноамериканского кондора.

Он был очень тщедушный и часто прихварывал. Его мучили приступы малярии, но это не мешало ему быть очень живым, подвижным, хотя в драке он мало чего стоил — слишком легко его сбивали с ног. Валерку обычно и не допускали

до крепкого дела. Перед началом схватки ему обыкновенно сдавали на хранение карандаши, перочинные ножички, вставочки, чтобы не потерять или не повредить их в бою. Зато был Валерка невероятный фантазер и выдумщик. Ему вечно приходили в голову необыкновенные затеи, и если уж он над чем-нибудь задумывался, то непременно старался сам найти решение вопроса, а когда затевал что-нибудь, то обязательно упрямо и неукоснительно добивался своего. Мальчик он был мечтательный и безобидно озорной. В школе и Доме пионеров его любили, так как он вечно всех забавлял своей выдумкой, неожиданными, часто странными суждениями и сказками своего собственного сочинения. Все, например, знали смешную сказку Валерки Черепашкина о том, как верный цепной пес поспорил с верными часами на цепочке, кто из них вернее. И часы нарочно стали ночью, так что хозяин утром проспал, как ни лаял пес, стараясь разбудить его. Мало того: веря часам, хозяин выдрал беспокойного пса. Тогда верный пес обиделся и на следующую ночь, когда воры влезли в дом, нарочно не залаял, и верные часы были украдены...

Раз, когда пионеры трудились на школьном огороде, Валерка после работы со всей серьезностью вырыл в грядке ямку и посеял туда пиджачную пуговицу, уверяя, что из посеянной пуговицы при хорошем уходе может вырасти пиджак. Все потешались над ним, а он аккуратно ухаживал за своей грядкой с пуговицей, поливал ее и даже огородил маленьким палисадом. Каково же было удивление ребят, когда, вернувшись из лагеря, они увидели, что на Валеркиной грядке взошло большое огородное пугало, которое размахивало обтрепанными рукавами рваного пиджака.

Валерка, как уже было сказано, вел, кроме исторических записей, дневник. Там записывались разные случаи из личной жизни Валерия, а также его суждения по различным поводам. Например, про одного из старожилов Затонска, своим возрастом поразившего воображение Валерки, написано было следующее: «Этот глубокий старик прожил ужасно громадную жизнь. Он родился так давно, что тогда еще было крепостное право и нигде еще не проводили никакого электричества. Авиация была только шарообразная. Пароходы не ходили паром, а баржи шли по Волге самобичеванием при помощи бурлаков. Кино тоже еще не было, даже немого. А когда стало звуковое кино, то он уже совсем оглох».

Капку Бутырева Валерка считал человеком выдающимся, предназначенным судьбой для прославления города Затонска. О Капке то и дело упоминалось в истории города: «Он был сильно развитой и дал с размаху как следует, потому что мускулы делаются у человека, чтобы быть здоровым, хо-

рошо пригодиться в жизни, все мочь делать и никого в жизни не бояться».

Сам Валерка не лишен был честолюбия, о чем свидетельствовали выписанные им на отдельной страничке знаменитые фамилии, которые, так же как и его собственная, начинались на букву «Ч». Здесь были и Чкалов, и Чапаев, и Чехов. Был тут и шахматист Чигорин, и монгольский маршал Чойбалсан, и композитор Чайковский, ну и, конечно, Чарли Чаплин, и пристанский силач Чухрай, и даже неизвестно как попавший сюда чардаш — популярный венгерский танец, принятый, очевидно, понаслышке за фамилию знаменитого танцора.

Отца с матерью Валерка нежно любил, но дома держали его строго, и что говорить — были разные неприятности в семейной жизни Валерия Черепашкина. Это и отразилось в разноречивых записях:

«Родители мне попались очень хорошие, а могло ведь легко бы случиться так, что я бы родился, а папа с мамой совсем и не те — вот был бы номер...»

А другой раз, когда Валерке не позволили прокатиться с ребятами на лодке, так как мама боялась, что они будут качать лодку и опрокинутся, Валерка, видимо, здорово обиделся, но все же написал:

«Надо любить своих родителей, потому что без них еще хуже».

Были тут всякие иные заметки. Например:

«Это случилось тогда, когда я закалял свой характер и силу воли, совсем не держась руками, и опять упал с крыши сарая. Но ушибся не до крови, потому что был уже почти закаленным с этого боку».

«Будьте же сами благоразумны, дети,— так говорила нам сегодня Ангелина Никитична,— берите пример с природы. Видали ли вы, дети, как лошадка сама подставляет кузнецу свое копыто, чтобы ее подковали?.. Видали ли вы, как ветка дикой яблони послушно тянется к садовнику, чтобы он сделал ей прививку?» Нет, мы этого не видали, потому что так в жизни, по-моему, не бывает».

Встречались в дневнике и такие философские рассуждения:

«Людей на Луне нет. А если бы они были, то смотрели бы вниз на Землю и думали — есть на ней люди или нет? А мы-то как раз и есть!»

«Интересно, почему это, когда болеешь долго в постели, то очень вырастаешь. По-моему, это потому так бывает, что когда человек ходит, он может расти только в одну сторону — вверх, снизу ему пол мешает, а когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны — и макушкой и пятками».

«Когда на земле еще не было людей, интересно, как же тогда называлось «дерево»?»

И, наконец, тут можно было встретить большие записи, которые говорили о принадлежности Валерия Черепашкина к таинственным синегорцам:

«Мы поклялись все быть как родные братья и постановили не расставаться на всю жизнь, во всем сговариваться вместе, никогда не становиться против друг дружки, и пусть будет Отвага, Труд, Верность и Победа! Каждый из нас сильно стремился дать свою помощь Красной Армии, а кто не очень стремился, таких мы не принимали вовсе и довольно не уважали, потому что это были-таки порядочные типы».

Тут же был приведен первоначальный текст марша синегорцев:

Вперед, товарищи, вперед!
За Труд, за Верность, за Победу!
Вперед нас Родина зовет
Назло надменному соседу.

Досадное совпадение, необыкновенное сходство последней строки, с, увы, известной, как оказалось, строкой из пушкинского «Медного всадника» послужило, очевидно, причиной тому, что текст марша был отвергнут...

Таков был Валерка Черепашкин — мыслитель и поэт, историк города Затонска и один из старейших синегорцев. Ему было двенадцать с половиной лет.

Глава 9

СЛОВО ИМЕЕТ ТИМСОН

Толстый Тимка Жохов, большеголовый увалень, прозванный Тимкой-Тимсоном, был верным спутником и телохранителем слабенького Валерки. Тимке недавно минуло четырнадцать лет. Больше всего любил он арбузы и дыни, слыл бахчеводом. Человек он был положительный, двигался и думал не спеша, не отличался многословием и обычно во всех случаях жизни представлял за себя слово речистому Валере.

Так было и на этот раз.

Увидев, как из-за угла, где стоял на дозоре один из приятелей Тимки, трижды блеснуло зеркальце, что было условным знаком, Валерка встрепенулся, поправил галстук и вопросительно посмотрел на товарища:

— Юрка сигналит. Ты сам подойдешь, Тимка, или я первый?

— Сам,— отвечал Тимсон.

Глистообразная фигура Ходули показалась из-за угла. Тимка заложил руки в карманы широких штанов и не спеша пошел навстречу. За ним неотступно следовал Валерка.

— А, обнявшись крепче двух друзей! Пионер — всем детям пример! В полной амбиции при всей амуниции! — заговорил своим писклявым голосом Ходуля.— Будь готов — всегда готов. Сколько зим, сколько лет, гутен таг, бонжур, привет!

Он паясничал, тараторил, но его нагловатые глазки посматривали на карманы Тимки, в которых грозно шевелились тяжелые кулаки. Тимсон молча напирал.

— Ну, вы чего?— забеспокоился Ходуля.— Вы не очень-то, а то как крикну наших ребят рядом тут, тогда узнаете. Что вы за мной ходите? Я еще на базаре вас заприметил. Думаешь, если палец больной, так я приложить не смогу? Знаешь, блеснула шашка, раз и два, и покатилась голова...

— Тимка, дай я ему все скажу, ладно?— спросил Валерий у Тимки.

— Валяй!— сказал Тимсон.

— Лешка, имей в виду,— заторопился Валерка, бледнея от волнения,— имей в виду, что мы всё знаем, и тебе это так, даром, не пройдет. Тебя, кажется, предупреждали, чтобы ты Бутырева не трогал. Если добром не понимаешь...

— Чего такое?— завопил уже совсем фистулой Ходуля.— Ты видел, чтобы я Капку трогал? Нужен он мне, Капка ваш! Подумаешь, в песчаных степях Аравийской земли три гордые пальмы высоко росли... Охота была связываться! Ты видел, чтобы я его трогал?

— Тимка, сказать ему все? Пускай все знает.

— Пускай,— сказал Тимка.

— Так имей в виду, Лешка,— почти закричал Валерка,— мы всё знаем! Это ты подговорил Юрку Гундосова, Петьку Бирюка и Митьку с переправы, всех свищевских ваших, чтобы они Капку так... Нам все известно.

— Факт,— подтвердил Тимсон.

— Чем докажешь?— высокомерно сказал Ходуля.

— Гляди,— сказал Тимка, поднося к носу Ходули свой тяжеловесный кулак,— раздокажу. Вещественно.

— Тимсон, Тимсон, забыл уговор?— предупредил Валерка.

— Знаю,— пробормотал Тимка, вздохнул и вытер вспотевший лоб.

Он упарился от такого длинного разговора. Эх, если бы только не запрещение, он бы сейчас показал этому долгоногому!

Валерка взял приятеля за локоть. Тимка еще тяжело дышал.

— Можно, я разок ему?— умоляюще шепнул он Валерке.

— А Капка что говорил, забыл? Вчера бы действовал, а сегодня уж нечего после драки кулаками махать. Молчал бы уж лучше!

— Молчу,— сказал Тимсон.

А Ходуля, воспользовавшись тем, что они оставили его в покое, быстро пошел к воротам завода, но у самой табельной будки обернулся и вытащил из кармана бумажку. Он показал ее издали, оторвал угол, скрутил цигарку, а остаток скомкал, бросил в траву и притопнул ногой. Валерка и Тимка успели заметить на клочке знакомый герб.

— На перчатку средь диких зверей он глядит и смелой рукой поднимает!— крикнул Ходуля и скрылся в проходной.

— Кажется, догадался, что от нас,— с испугом произнес Валерка.

— Похоже,— согласился Тимсон.

— Ну и пускай!— воскликнул Валерка.

— Пора,— сказал Тимсон.

Они были еще так захвачены только что состоявшимся разговором, что не заметили сигналов с угла, где стоял их дозорный. Напрасно бедняга сигналил им зеркальцем: они не видели. Тогда паренек подбежал к ним и сообщил что-то вполголоса.

— Ну да, ври!— не поверил Тимка.

— Честное слово, Отвага и Верность!.. Сережка прибежал, сам видел.

— Вот это новость, а?.. Тимсон,— возбужденно заговорил Валерка,— который теперь час?

Как бы в ответ на это, высоко и заливчато затрубил гудок Судоремонтного. Валерка выхватил из папки тетрадку, послюнил карандаш и вписал: «Сегодня в 7 часов 00 минут было обнаружено...»

Но что было обнаружено в 7 часов 00 минут этого исторического дня, об этом можно будет узнать лишь в следующей главе.

Глава 10

ЮНГИ С ОСТРОВА ВАЛААМА

В истории нашего города это был очень исторический день.

В. Черепашкин «История гор. Затонска и его окрестностей»

Новость, которую решил занести в летопись города Затонска Валерка Черепашкин, первыми узнали галки в школьном саду. Их всполошили резкие непривычные звуки дудок, голосивших в пустых еще вчера коридорах школьного здания, и многолюдье на дворе школы. И окончательно всполошил галок плотный узелок материи, который быстро взлетел по высокой мачте и с треском развернулся над деревьями, превратившись в большой флаг с синей полосой внизу и с красной звездой рядом с серпом-молотом на белом поле. Галки, проклиная все на свете, грозя страшными карами, кружились над потревоженным садом.

Потом эту новость узнала Рима Бутырева. Она поставила дома греть воду для стирки, отвела Нюшку в детский сад, а сама побежала в булочную за хлебом. Она быстро шла, размахивая пустой кошелкой, платок размотался и съехал с головы, ветер трепал ее красивые, с золотистым отливом волосы. Она переходила большие лужи, смотрясь в воду. Небо с облаками отражалось в лужах; казалось, что под ногами бездонная глубина, легонько кружилась голова, и боязно было ступать в зеркальную пустоту. Кроме того, галоши, оставшиеся от матери, были велики Риме, и ей всю дорогу приходилось воевать с ними, а шоссе было мокрое, раскисшее, и галоши вязли в грязи. Вот теперь левая галоша отстала.

«Стой ты!— сердилась про себя Рима.— Вот так... надевайся обратно.— Тут она спохватилась, что с правой ноги галоша исчезла.— Ой, миленькие, правую совсем потеряла!.. Опять надо возвращаться назад. Честное слово, целый час хожу!.. Как найду сейчас правую, так обе галоши в руки возьму и так пойду. Мимо школы буду идти, тогда обуюсь».

Она повернулась, чтобы идти назад за потерянной галошей, и сошла с середины улицы на тротуар, как вдруг с подъезда школы раздался громкий оклик:

— Эй, на берегу, малость возьми курс левее! Слышишь, девочка или гражданка, как ты там?.. Я тебе, кажется, ясно семафорю.

Рима остановилась, изумленная. На знакомом подъезде

школы, в которой она сама еще училась этой зимой, стоял молоденький моряк; пояс туго перехватывал его аккуратную шинель, матросская шапка-бескозырка, приплюснутая блином, была надвинута на правую бровь, прямую и тонкую, ленточки вились за плечами у моряка.

«Ишь ты, флотский с винтовкой! Чего это он у нашей школы делает?» — удивилась Рима и на всякий случай натянула платок на голову и поправила волосы.

— Чего стала? Сигналов, что ли, не видишь? Говорю, сворачивай, не подходи к трапу, тут теперь нет хода, отверни в сторону.

— Да ну вас! — рассердилась Рима. — Я к вам вовсе не собираюсь. Раскричался тоже! Может быть, это наша школа как раз.

— Может быть, и была ваша, — ответил флотский, — а теперь мы тут будем.

— А что это за такие «мы»?

— Ты что это, с виду не различаешь? — наставительно произнес флотский. — Юнги мы Балтийского флота. Школа юнгов. Ясно, кажется.

— К нам, значит, эвакуированные? — спросила Рима. Любопытство ее преодолело обиду.

— Кто это — эвакуированные? Соображать надо все-таки... Мы с острова Валаама, из Ладожского озера. Нас сперва под Ленинград, а теперь сюда перевели, на берег к вам. Вроде как морская пехота. И вообще я с тобой разговаривать не обязан, я вахтенный. Ясно, кажется, говорю. Ну, отваливай, отваливай на ту сторону! Должна понимать, раз военный объект!

Рима совсем разобиделась и повернулась спиной.

— Ну и не больно нужно! Подумаешь, какой объект! Это наша школа, а не объект. Моряк с разбитого корабля! Вот я скажу нашим мальчишкам, так они тебе покажут «объект». У наших форма-то почище вашей будет — с козырьком. У меня знаешь какой брат есть?

— Хватит разговорчиков! — отрезал флотский.

— А я, кажется, с вами не разговариваю. Не собираюсь даже. Вы сами же начали. Подумаешь, флотский! Надел фуражку набекрень и уж воображает!

— Первым дело, это не фуражка, а бескозырка, по-нашему — беска. Надо знать. Выросла уже порядочно, а различать не можешь. И вообще это не твое дело... Ты вот лучше скажи, куда у тебя с правой ноги галоша ушла? — спросил он неожиданно, бросив взгляд на ее ногу и улыбнувшись. А улыбка у него была славная, зубы так и блеснули.

— Ой, и правда! — вспомнила Рима. — Вы случайно мою галошу не видели?

— Только мне и занятие, что за твоими галошами смотреть!— Морячок уже внимательнее оглядел ее и вдруг перешел на «вы».— Стойте, у вас же на левой ноге обе галоши, надели одну на другую! Эх вы, сухопутные!..

— И правда!— обрадовалась Рима.— А я-то смотрю, что это у меня левая нога заплетается!

И оба они стали смеяться и смеялись долго и весело.

Потом Рима, сочтя неловким это уличное знакомство, резко оборвала смех, степенно поджала губы, вздернула кверху упрямый, как у брата, подбородок:

— Ну, спасибо вам, а то бы я искала, искала... Теперь пошла.

— Добро́,— крикнул ей флотский,— счастливого плавания! Виноват, погодите, как позывные-то ваши?

— Какие это позывные?— не поняла Рима.

— Ну, как зовут это по-нашему значит.

Рима глянула на него через плечо:

— А как звать, не вам знать. Сперва наорал, а потом — как звать! Рима звать, а вас это и не касается.

— Рима?— переспросил флотский.— Интересное имя.

— По-моему, самое обыкновенное. А фамилия какая, не скажу.— Рима помолчала немножко, но флотский не просил сказать фамилию, она сама смилостивилась.— Ну ладно, скажу, так и быть. Бутырева фамилия. Капку Бутырева еще не знаете? Его все тут знают в Затоне. Он в ремесленном училище самый главный мальчишка, а я его родная сестра. Ну, всего вам.

— Рима, погодите,— остановил ее флотский. Голос у него был теперь совсем другой — вежливый, тихий.— Как тут у вас?.. Населенный пункт большой?

— Какой населенный пункт?

— Ну, этот самый... как его... Затонск, что ли, по-вашему.

— Так это же город.

— Для кого город, для нас — населенный пункт. Кино бывает?

— Бывает, конечно. В клубе водников.

— Водников?— насмешливо протянул флотский.— Откуда же у вас тут, на сухом месте, взялись во-о-дники?

— Да тут же у нас Волга!— искренне возмутилась Рима.— Вон, видать ее. Знаете, у нас пароходы какие ходят!

— Тоже река! Водники-мелководники. Вот у нас на Ладоге как рванет штормяга да как двинет зыбайло, так это вот дает жизни!

— Это что там за разговорчики на трапе!— послышался густой, раскатистый бас, и в дверях показался пожилой седо-

усый моряк с четырьмя узкими нашивками на рукаве. Углом вниз шли широкие золотые шевроны.

«Это, наверно, самый главный, у них, капитан»,— подумала Рима.

— Вахтенный!— гаркнул моряк с нашивками и перешел вдруг на зловещий шепот:— Сташук, галок считаешь, разговоры разговариваешь! Кажется, ясно сигнал играли. Кончай возиться!..— загремел он опять.— Свистать всех на верхнюю палубу. Юнги, на занятия! Разболтались уже, подтянись! Живо-два, ходи веселей, моментом!

— Есть всех на верхнюю палубу!— И юнга, звонко щелкнув каблуками, скрылся в подъезде школы.

А Рима пошла в булочную и все оборачивалась. Над школой на высокой мачте вился большой серебристо-белый флаг, синий снизу, с красной звездой и серпом-молотом. Рима шла и заранее предвкушала, как она первая сообщит новость всем подругам — и Лиде Бельской, и Шуре Куличевой, и всем другим девочкам.

Юнга ей понравился. Росту высокого, собой хорош и совсем настоящий моряк. Задается немного, воображает из себя, но, видно, симпатичный. Наверно, придет вечером к водникам.

И, увидев в очереди за хлебом свою подругу Лиду Бельскую, черноглазую смуглянку, эвакуированную из Одессы, Рима кинулась к ней:

— Знаешь, Лида, в нашей школе теперь флотские жить станут. Их там много, мальчишек. Одеты на манер матросов, вот тут ленточки. Один там такой есть, Сташук, с винтовкой на крыльце стоит и на ту сторону всем велит сворачивать. А я все равно не свернула. Обещал к водникам прийти. Выйдешь вечером?

— Хо! Новость тоже!— протянула Лида.— Моряков, что ли, я не видала? У нас их знаешь сколько...

Но все-таки пошла проводить Риму до дому, чтобы по дороге хоть одним глазком посмотреть на моряков. Весть о том, что в затонскую школу приехали моряки, балтийские юнги, быстро облетела весь Затон, и мальчишки уже лезли на ограду, чтобы посмотреть, что там делается, на школьном дворе. Потом они наперебой рассказывали, как юнги стоят, выстроившись во дворе, а самый главный, с нашивками — усищи во!— командует и распоряжается, и все перед ним в струнку. А у самых маленьких юнгов бескозырки без ленточек, но остальное все как и у настоящих флотских.

Галки, немного поуспокоившись, сидели на ветках у своих гнезд и внимательно поглядывали то одним, то другим глазом на снующих по двору, бегающих вниз и вверх по лестницам незнакомцев.

Глава 11

И СТАР И МЛАД

В пролете гудели вентиляторы, стучали дробно, цокали и жужжали работающие станки, трансмиссии, сверла. В слитный шум цеха врезался минутами звенящий, взывающий визг электрической пилы со двора. Капка в старой спецовке, замасленной и местами протравленной чем-то, стоял у своего станка, самого крупного в пролете. Под ним была небольшая скамеечка, которую в цехе называли *трибункой.* Капка был человек аккуратный; станок был ему велик, но подставлять себе, как это делали другие, пустой ящик он считал невозможным. Он сам сколотил себе трибунку, выкрасил ее кубовой краской, а по его образцу стали делать себе трибунки и другие ремесленники, если станок был им не по росту.

Вчерашняя обида прошла, глаз почти не беспокоил, налаженный с вечера самим мастером станок слушался руки, лилась, брызгала белая эмульсия, топорщилась взрытая фрезой металлическая стружка. Настроение у Капки улучшилось после решительного разговора с Ходулей. Он был доволен, что Лешка не посмел ослушаться и явился-таки в цех. Вид у Ходули был жалкий, перевязанный палец он все время держал на виду. К станку Лешку ставить было нельзя, так как палец действительно раздуло, но подносить детали, убирать стружку и выполнять всякую подсобную работу он вполне мог.

Когда работа шла споро, станок не капризничал, внизу у левой станины быстро вырастали колонки готовых деталей и все в бригаде были заняты делом, как надо. Капка чувствовал сам, что в эти часы на своей кубовой трибунке он, как говорили товарищи, «силён парень». В такие минуты никто уже не посмел бы даже втихомолку назвать Капку *шпинделем,* как дразнили его на улице за маленький рост.

По пролету цеха шел мастер Корней Павлович Матунин, общий дядька ремесленников, воспитатель молодых производственников. На нем был аккуратный туальденоровый халат, из кармана которого торчали железная линейка с делениями, узенькая расческа и красный карандаш. Пощипывая коротенькие седые усики, он не спеша переходил от станка к станку, посматривая на своих учеников поверх старомодных железных очков.

Капка, с головой ушедший в работу, не видел приближавшегося мастера и орудовал на своем станке, легонько насвистывая сквозь зубы.

— Это что за соловьи в цехе заливаются?— услышал он над самым своим ухом.

Не прекращая работы, оглянулся на мгновение и увидел возле себя мастера.

— Это я сам себе подсвистываю, Корней Павлович,— смутился Капка, удивившись, как это мастер в таком гуле расслышал его свист.

— Ты бы уж в таком разе про себя свиристел, а то, как говорится, свистунов на мороз!— строго заметил мастер.

— Я сперва, Корней Павлович, пробовал про себя, в уме мотив держал, а потом слышу, кто-то свистит, а оказывается, я сам. Очень песня хорошая, вчера красноармейцы на пристанях пели. И военная песня и душевная.

— Ну, Капитоша, как дело-то двигается?— спросил мастер.

— Маленько подвигается, Корней Павлович. Вот уже, видите, сколько снял.

Мастер опытным глазом окинул столбик готовых деталей.

— Молодец, Бутырев, молодец, Капитон, с превышением идешь! Только работай ровненько, без дерганья. Станок не дурит? Дай-ка я тебе делительную головку проверю. Вот так... Васенин, Васенин!— закричал он в сторону белесоватому парню, который бросил на пол деталь.— Ты зачем на пол так несуразно швыряешь? Ты ложи деталь аккуратненько, а то будут у тебя заусенцы. Деталь этого не любит, чтобы ее швырком, ты с ней поласковее обращайся, тем более, я уже говорил, что сегодня почетный урок выполняем, спецзадание. Это дело на фронт пойдет. Ты гляди, Васенин, как Бутырев щепетильно работает. Даром что маленький, из-за станка макушку чуть видать, а занимается вполне аккуратно.

Тут взгляд мастера упал на зловещее украшение Капкиной скулы. Он поймал Капку за подбородок, сам пригнулся, поправил очки.

— Батеньки-матеньки!— сказал мастер (это было его любимой поговоркой).— Батеньки-матеньки! Это кто же тебя так, а, Бутырев?

— Никто. Это я сам, Корней Павлович.

— С чего же это ты сам на себя так осерчал?

Капитон мотнул головой, высвободил подбородок и наклонился над станком, сам очень удивившись тому, что еще бы немножко — и у него выступили бы слезы на глазах.

Корней Павлович постоял у станка, отошел было, опять вернулся. Капка видел, что мастер хочет о чем-то поговорить с ним. Корней Павлович действительно откашлялся и сказал негромко:

— Я вчера разговор ваш с Дульковым слыхал ненароком,

когда за воротами вы с ним схлестнулись. Знаешь, Капа, ты бы сказал ребятам, чтобы по-скверному-то не выражались. Иной хороших слов и не стоит, это верно, а язык-то свой марать не след. Мальчики вы еще молодые, разговор должен быть у вас аккуратный. Кто черным словом содит, у того язык как помело, весь мусор в душу-то и сгребает. Не надо так...

А потом огромный, все заглушающий рев заполнил пролеты цеха и двор. Это был гудок на обед.

Повалили в столовку. За обедом ребята говорили, как всегда, о военных орденах, о самолетах и о кино. Во всем этом они хорошо разбирались. И каждый успел высказаться с полным знанием дела.

После перерыва мастер собрал всех в пролете и опять сообщил, что урок они получили очень серьезный и особого задания. Тут же он объяснил на образце и по чертежу, какова будет работа.

— Значит, тут так: двойная бороздка пойдет, продольная, будет проходить фрезой с торца четыре миллиметра. А отсюда, значит, нарезная пойдет, на образец втулочки. Гляди сюда... Вот таким манером. А с этого боку получается наподобие уже как мы делали. Всем ясно?

— Корней Павлович, а Корней Павлович!— Капка просунулся под самый локоть мастера, заглянул ему под очки.— Эта деталь на что пойдет?

— А ты не любопытничай. Раз сказал — специальное задание, так лишние вопросы тут уж ни к чему. Понятно?

— Понятно,— протянул Капка,— только очень охота бы узнать. Интересно ведь!

— А мне, может быть, тоже охота вам сказать, да нельзя. Понятно? Сказано раз — нельзя, и шабаш. Боевой секрет, военная тайна. Доверили нашему заводу, сверх задания делать будем, и молчок. Придется, конечно, лишний часик-другой понатужиться.

— Может, на танки пойдет?— не унимался Капка.

— Вполне допустимо,— согласился мастер.

— Или на *катюшу?*

— Возможное дело.

— А не к самолету, Корней Павлович?

— Мыслимо и так...

А ближе к вечеру пришла на завод не совсем обыкновенная экскурсия. В Затоне узнали каким-то образом, что Судоремонтному заводу поручено особое задание сверх обычной работы. Явились местные старожилы, пенсионеры, ветераны труда, старая затонская гвардия, волгари. Пришли сказать, что они готовы, если надо, подсобить народу. Пришли из Свищевки Егор Данилыч Швырев и Макар Макарович

Расшивин. С пристаней заявились Парфенов Маврикий Кузмич, престарелый Бусыга Михайло Власьевич, Устин Ермолаевич Скоков и сам Иван Терентьевич Яшин, тот самый, о котором в дневнике Валерия Черепашкина говорилось, что он жил еще при крепостном праве и оглох к моменту изобретения звукового кино. Лет им всем вместе насчиталось бы полтысячи верных. Это были кряжистые, могучие старикашы, ходившие в свое время по всей Волге бурлаками, плотогонами, крючниками и водоливами. Некоторые, например Швырев и Бусыга, плавали кочегарами и механиками, а потом работали по судоремонту или доживали свой век бакенщиками.

Затонских стариков сопровождал сам директор Леонтий Семенович Гордеев, за ним, немного отступя, шел Корней Павлович Матунин. Ребята видели, как волнуется мастер. Он то и дело пощипывал коротенькие свои усики, оправлял халат, вынимал клетчатый платок и вытирал вспотевший лоб. Ведь когда-то сам он поступил учеником в ремесленные мастерские Затона, и Михайло Власьевич Бусыга с Егором Данилычем Швыревым были его наставниками.

Старики не спеша, опираясь на палки, шли по цеху. Они останавливались у станков, заглядывали под низок, брали готовые детали, щупали их взыскательными пальцами, близко подносили к подслеповатым глазам, покряхтывали строго.

— В этом пролете мои работают,— застенчиво сообщил мастер.

— Ничего ребятишки подобрались у тебя, Матунин,— признал старик Швырев,— толк будет. Поддерживай, затонские! Вот и нашему делу управка!

Подошли к станку, из-за которого была видна макушка Капки Бутырева.

— А это Бутырева, Василия Семеновича, сынок,— представил Капку мастер,— отличается. Видали? На трехшпиндельном уже поставлен!

— Ну-коси прогони разок,— сказал Бусыга.

Мастер Корней Павлович даже заранее вспотел от волнения.

— Давай, Бутырев! Показывай, чему Матунин обучил.

Капка весь покраснел, в ушах стало жарко. Капка вспомнил, как давно уже, когда был он еще маленьким, заходил к ним в воскресенье попить чайку Михайло Власьевич Бусыга. Стол накрывали во дворе, под деревом. Мать наливала почтенному гостю чашку за чашкой — Бусыга один мог выпить полсамовара. А к вечеру отец звал уже сонного Капку, ставил его на стул и, придерживая рукой, чтобы не свалился, приказывал сказать стишок, желая похвастаться перед гостем талантами сына. «Ну-коси»,— грубым голосом просил

гость. И пятилетний Капка, поглядывая то на сладкий кухен, стоявший посреди стола, то на огромного и страшного гостя, читал: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?..» Римка, не нашептывай, без тебя знаю... «Ездок запоздалый, с ним сын молодой...»

Глаза у Капки слипались, рот тоже: он уже успел попробовать варенья. Стул шатался под ногами, и в сумерках лохматый, зеленобородый Бусыга сам становился похожим на Лесного царя, о котором говорилось в стихотворении. Потому у Капки очень искренне выходило: «К отцу, весь издрогнув, малютка приник...» И он тесно прижимался к прочному и теплому плечу отца. «Ну, хватит с него, молодец!»— говаривал Бусыга. «Я дальше тоже знаю»,— обижался Капка и, уже спущенный на землю, торопился дочитать стишок до самого конца...

Но сейчас предстояло испытание посерьезнее...

Одной левой рукой он быстро, не глядя, взял деталь, вставил в заправку, проверил шпиндели, правой пустил станок вручную и включил самоходную подачу так мягко, что старики одобрительно крякнули. Потом Капка снял готовую деталь, обтер ветошью и подал мастеру. Деталь пошла по рукам.

— Ну как, Васильич, отец пишет чего?— спросил старый Бусыга у Капки, поковыривая деталь зелено-фиолетовым ногтем, толстым, как у носорога.

Капка глотнул комок, внезапно возникший в горле, и собрался было что-то ответить, но директор опередил его:

— Напишет еще, напишет. Знаете, теперь как почта идет... Ну, пошли дальше, товарищи.

Старики проследовали к другому станку, а Корней Павлович, чуточку поотстав, оглянулся и подмигнул своему питомцу: молодец, мол, Бутырев, не подкачал.

С этого же дня решили работать по два лишних часа вечером. День этот с непривычки казался нескончаемым. Освоить новый урок было не так-то легко. Детали заедало на станках. Мастер-наладчик сбился с ног. У ремесленников были усталые лица, посеревшие от металла, глубоко въевшегося в поры кожи.

Глава 12

МОРЕЙ АЛЬБАТРОСЫ И ВОЛЖСКИЕ ЧАЙКИ

Уже темнело, когда шли с Судоремонтного ремесленники. Бледны были плохо отмытые, словно задымленные лица. Ремесленники шли молча, и огромными казались глаза, подведенные темным налетом копоти и металла.

А у «Сада водников» толпился народ перед афишей кино. В парке играла музыка, а по аллеям, метя песок дорожек широкими отутюженными клёшами, в чистеньких бушлатах, сдвинув бескозырки на правую бровь, по четыре в ряд прохаживались затонские новоселы — юнги с острова Валаама. И, когда проходили они мимо не затемненного еще входа в кино, выделялись на бескозырках буквы темного золота: «Краснознаменный Балтийский флот». Девчонки с пристаней Затона и Свищевки, сидевшие в ряд на скамьях, перешептывались, провожая любопытными взорами молодых балтийцев.

Мальчишки с уважением, без особой приязни, но зато не без зависти смотрели, как, покачиваясь по-морскому, шли аллеей юнги. И общее мнение было уже таково, что «ремесленникам нашим теперь крышка. Морячки верх возьмут по всем статьям».

Пронырливый Лешка Ходуля был уже тут как тут. Он так ныл в цеху, что всем осточертел, и добился своего: мастер отпустил его из-за больного пальца раньше других. Сам Ходуля никогда на море не бывал и по Волге ниже Ахтубы не плавал. Но он любил уснащать свою речь морскими словечками, хвастался, что непременно будет служить во флоте, и на руке у него был грубо вытатуирован якорь. Поэтому сегодня он смело подошел к юнгам, присевшим отдохнуть на длинной садовой скамье.

— Разрешите пришвартоваться? С благополучным прибытием. Надолго бросили якорь у нас, в песчаных степях Аравийской земли?..

— Там видно будет,— сдержанно ответил худощавый юнга с длинными и тонкими бровями. Это был Виктор Сташук, с которым утром познакомилась Рима.— А вы местный?

— Тутошний, как говорится,— отвечал Ходуля.— Здесь родился, и это все, что я любил...

— Ну, как у вас тут ребята, ничего?

— Ребята, конечно, имеются,— заискивающе поспешил сообщить Ходуля.— Всякие, конечно, есть. Есть чересчур кляузные, к начальству подъезжают. Вообще, конечно, вы тут всем этим шпинделям сто очков дадите. Одно слово —

моряки, флотские, морей альбатросы. Сам давно имею мечту. Курите?

Юнги покосились на предложенные им Ходулей папиросы, потом посмотрели на Сташука. Он, очевидно, был у них вожаком. Сташук чуть заметно сделал головой знак: ни боже мой. Юнги вздохнули и отвернулись.

— Некурящие,— жестко отрезал Сташук.

— Могу зажигалочку предложить, собственной работы,— сказал Ходуля, вынимая зажигалку, которую ему вернул утром Капка.— Пожалуйста, для приезжего человека, тем более морякам, без всякого возмездия. Насчет расходов не беспокойтесь, сочтемся как-нибудь. Вы — альбатросы, мы — волжские чайки. Одно к одному, и все в порядочке.

Сташук смутился было, не хотел брать, но Ходуля насильно вложил ему в руку зажигалку, прихлопнул ладонью сверху и сказал при этом:

— Шито-крыто, взято-бито и с кона долой.

Однако Сташук уже не смотрел на Лешку. Машинально опустив зажигалку в карман бушлата, он привстал, завидя появившуюся в аллее Риму Бутыреву с подружкой.

— А, по синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах,— задекламировал Ходуля,— уж Римочка наша несется, несется на всех парусах...

Сташук не слушал его. Он во все глаза смотрел на Риму, с трудом узнавая в этой красивой приодевшейся девушке простенькую девчонку, с которой он так небрежно разговаривал утром.

— Что? Познакомить?— заторопился Ходуля.

— А мы уже с ней немного знакомые,— ответил Сташук и четко откозырял Риме.

— Здравствуйте,— сказала она.— А это подруга моя... Здравствуйте, Леша.

Ходуля так удивился, что даже не сразу ответил, и только через минуту спохватился:

— Здравствуй, Римочка, здравствуй, Лидочка. Добрый вечер, честь имею. А мы тут, знаете, с морячками то да се, обнявшись крепче всех друзей...

— Кино будем смотреть?— спросил Сташук у Римы.

— Так билеты, наверно, уже все.

— А у меня и у одного моего товарища уже имеется как раз четыре, случайно рядом, вон дожидается стоит,— сказал Сташук, и они пошли в кино, оставив в аллее оторопевшего Лешку Ходулю, который все же пробормотал:

— Мне дурно, проговорила она...

Сташук познакомил девочек со своим товарищем Сережей Палихиным. Вчетвером они направились в кино. Рима и Лида шли под руку и посередке, а юнги по краям и чуточ-

ку на отлете. Причем оба так отчаянно вышучивали друг друга, что девочки то и дело покатывались со смеху, не замечая, как ловко товарищи помогают один другому сострить и показать себя с наилучшей стороны.

— О, он у нас рыбак известный,— говорил Сташук про Палихина.— Вы его спросите, как он на Ладоге камбалу ловил, а сам немецкую мину выудил...

— Нет уж,— отвечал Палихин,— пускай сам расскажет лучше, как он трубочистом сделался, когда в Ленинграде на крышу зажигалка упала в трубу, а он за ней туда полез... Красивый фасон после имел!

Потом Палихин и Лида ушли немного вперед. Рима и Сташук поотстали.

— Да, Рима,— сказал вдруг Сташук,— вы, кстати, местная?

— Да, родилась тут.

— Тогда вы, может быть, мне скажете, кто это такие тут у вас синегорцы. Я тут никого не знаю, а не успел приехать, уже письмо получил. И написано что-то не разбери поймешь. Стою на вахте, а какой-то мальчонка подбежал, сунул мне письмо, а сам драла.— Он протянул Риме письмо.— Вот видите? «Синегорцы Рыбачьего Затона приветствуют Вас на своем берегу. Да скрепит верность вашу боевую дружбу и закалит отвага ваши сердца, и пусть будет сладок плод ваших трудов, и да взойдет над вами радуга победы. Синегорцы Затонска надеются, что балтийские юнги послужат делу процветания и славы города. По поручению штаба синегорцев — Амальгама».

Сбоку был нарисован знак — радуга со стрелой.

— Вот уж ничего не пойму!— сказала Рима.

— Да и я не знаю, что это такое. Может быть, командованию показать?

— А это который выходил, усатый такой, нашито много вот здесь... Он у вас главный командир? Капитан?

— Не капитан, а мичман. Пора разбираться, Римочка. Антон Федорович Пашков. Известно: четыре узкие нашивки — это значит мичман, а шевроны углом на рукаве — это за сверхсрочную службу. Он еще в ту войну кондукто́ром был.

— На поезде?

— При чем тут, извиняюсь, на поезде? На корабле. На поезде конду́ктором, а на флоте кондукто́р. Надо понимать.

А ремесленники шли усталые и злые. Юнги казались им бездельниками и щеголями. Не знали ремесленники Рыбачьего Затона, что эти аккуратно подобранные парни в бушла-

тах и в бескозырках хлебнули такого, что и не снилось затонским. Под огнем и бомбами финских самолетов ушли юнги с острова Валаама в Ладожском озере. Лютую голодную зиму провели они под осажденным Ленинградом. И немало их еще прошлой осенью пало в главном деле у Невской Дубровки, когда юнги, сами совсем еще мальчишки, задержали немецких десантников и отстояли важнейший рубеж до прибытия частей Красной Армии. Не знали затонские, что у самого Вити Сташука с голоду умерла в ту зиму близ Нарвской заставы мать. Не подозревали затонские, что Сережа Палихин в ледяной воде Ладоги своими руками отвел мину, на которую едва не наскочила шлюпка с балтийцами. Много не знали ребята и с пренебрежительным как будто, а на самом деле с завистливым высокомерием посматривали на приезжих. Но юнги словно и внимания на них не обращали.

Глава 13

ВЕЧЕР КОМАНДОРА

Валерка и Тимсон ждали Капку у сада. Они встретились, как встречаются обычно мальчики, хорошо знающие друг друга, то есть без приветствий, рукопожатий и других церемониальных проволочек.

— Слыхал новость?— спросил Валерка, подстраиваясь на ходу, спотыкаясь и никак не попадая в ногу с шагающим Капкой.— Девчонки-то наши с этими флотскими ну прямо с ума тронулись.

— И пусть их,— буркнул Тимсон.

— Вы когда про них узнали?— не останавливаясь, спросил у Черепашкина Капка.

— Еще утром.

— Ну и как?

— Все в порядке. Послал приветствие. В восемь ноль-ноль. Колька отнес, Венькин брат.

— Исполнение проверил?

— Ну ясно. Доставил в срок. Дежурному сдал. Я сам видел с дерева.

— А чего написал?

— Ну, как Арсений Петрович нам говорил. Приветствие прибывшим. Как всем эвакуированным писали.

— Это хвалю.

— Только имей в виду, Капка,— Валерка сделал небольшую пробежку вперед, чтобы в темноте заглянуть в лицо Капке,— имей в виду — этот самый дежурный уже сестре

твоей бумажку показывал. А она смеется. Ты ей ничего про нас не говорил?

— Не хватало еще!— возмутился Капка.

— Чего же она смешного нашла?.. И в кого только она у вас такая!

Валерка был возмущен до глубины души, что у Капки Бутырева может быть такая сестра. Некоторое время шли молча. Потом Черепашкин несколько раз толкнул локтем в бок Тимку и переглянулся с ним. Тимсон кивнул головой, и Валерка решился.

— Собраться бы вообще надо, Капа! А то как-то дело у нас вянет. Правда, у меня все тут записано. Показать?

— Покажешь потом как-нибудь.

Валерка опять переглянулся с Тимсоном.

— Капка, можно тебе от меня вот лично и вот от Тимки тоже — от нас обоих то есть — замечание сказать?.. Верно, Тимсон?

Тимка моргнул, качнув головой сверху вниз.

— Давай говори,— ответил Капка.

— Ты, Капа, последнее время манкируешь.

— Вот так-так! Здравствуйте! Это я манкирую?— Капка даже приостановился.

— Да, да, манкируешь, спроси вот Тимсона... Да, Тимка?

— Точно,— отозвался Тимсон.

— Да ведь некогда мне,— начал Капка.— Знаешь, какая у нас работа. Особый заказ делаем. Вы бы как-нибудь пока без меня.

— Ты что же...— Валерка даже задохнулся на минуточку.— Ты что же, отрекаешься? Эх ты, а еще синегорец! Кто зарок давал, клятву говорил? Знаешь, Капка, это уж... это уж просто... Правда, Тимсон?

— Чего уж...

— Арсений Петрович, когда уезжал, как нам говорил? Кого назначил?

— Ну раз если так получилось!— виновато заговорил Капка.— Я же не отказываюсь навовсе, только командором сейчас мне нечего быть. Во-первых, я от пионеров уже отстал. Занятый, во-вторых, с утра до ночи. Теперь и выходные, говорят, у нас не будут целый месяц. Какой от меня толк вам? И потом еще, как-то уж я... ну, это самое... ну неловко получается. Мое такое дело теперь, что я уж из своих лет вышел. Опять-таки бригадир на производстве. Ребята узнают, так проходу мне не будет. Засмеют. Мне уже как-то не идет вроде. Деточка какой!

— Значит, мы деточки? Спасибо!— Валерка раскланялся.— Мерси. Ну, уж это, Капка, знаешь... Я считаю лично... Правда, Тимсон?

— Уж да,— изрек Тимсон.

— Эх, узнал бы Арсений Петрович! Вот, как назло, писем от него нет.

— Да я сам уже написал ему...— сказал Капка.— Адресто... ВМПС № 3756-Ф? Правильно? Не отвечает чего-то!

— Плохо без него,— заметил расстроенный вконец Валерка.

Тимка только рукой махнул. Они шли теперь по берегу. Волга, темная и молчаливая, дышала сыростью из черной, глухой дали. Ни огонька не было вокруг. Темен и дремуч был весь этот огромный, сейчас казавшийся безбрежным волжский простор. А когда-то там, куда уходила, повернув от Затона, Волга, небо по ночам всегда было словно приподнято, высоко расплывалось серебряное зарево. Это с правого берега отсвечивал в ночное небо тысячами своих бессонных огней большой город, город степной и волжской славы, гордый своим именем. Город был столицей этого края. Все в Затоне и вокруг тяготело к нему, все жило его славой, подобно тому как по ночам на всем лежали отсветы далеких огней великого города. Затонские редко называли его полным именем, но когда кто-нибудь говорил: «Я вчера в городе был»,— все и так знали, о чем идет речь.

Мальчишки шли молча, и все трое были удручены.

Молчание было так томительно, что даже Тимка не выдержал.

— А Ходуле еще будет!— вдруг сказал он грозно.— Поймаю.

— Верно, Капа!— обрадовался Валерка.— Ты позволь Ходуле и всем свищевским за тебя колотовку дать.

— Сказал, кажется, нет!— отрезал Капка.

— Ну, пока ты командор, так мы обязанные, а уйдешь, так уж как сами знаем... Я так считаю, Тимка.

— И дам!— заключил Тимсон.

Ребята проводили Капку до самого дома. Маленькая Нюшка была одна. Она уже давно вернулась из детского сада; Рима, уходя, уложила ее спать, но Нюшке было страшно и скучно спать одной. Не успел Капка зажечь коптилку, как Нюшка закричала:

— А я еще вовсе не сплю!— и, живенько перевернувшись на живот, сползла тотчас с высокой постели на пол.— Капка, а отгадай, чего я сегодня ела?

Капка, стянув гимнастерку через голову, плескался под рукомойником.

— У нас в саду сегодня баранки давали, с маком. Целую дали и еще откусочек вот такой.— И Нюшка показала из сложенной щепотки кончик грязного указательного пальца.— Капа, чур, я полотенце буду держать, можно?

Держать полотенце, когда брат умывается, придя домой с работы, было почетной обязанностью и священным правом Нюшки.

Она стояла чуточку в стороне у лоханки, над которой согнулся умывающийся Капка. А мылся он совсем как отец: шумно отплевывался, дул, фыркал и яростно тер шею.

— Ой, только не брызни смотри! Ты только смотри не брызгайся!— сказала Нюшка, ежась и замирая.

Она знала, что сейчас Капка сполоснет руки и непременно обдаст ее холодными, щекотными брызгами. И, конечно, Капка брызнул, и Нюшка, деланно визжа, бросив на руки брату полотенце, стала размазывать воду по лицу, заботливо вытирать рубашонку.

— Ну тебя... Всю избрызгал! Какой ты, Капка, баловной!

Потом Капка вынул из кармана тщательно завернутые в газету две черносливины.

— На, Нюша, это у нас в столовке компот давали. Одна моя, а другая Шурки Васенина — он чернослив все равно не ест, дурной такой.

— А Рима мне сегодня колобушечку медовую купила. И тебе одну оставила.

Колобушки из очищенных семечек подсолнуха, зажаренных на меду, были любимейшим лакомством затонских ребят. У Капки даже глаза разгорелись.

— А Рима-то ела сама?— спросил он, глотая набежавшую слюну.

— Ела, ела, правда, ела!— заторопилась Нюшка, помня, что старшая сестра наказывала ей именно так ответить Капке.

А сама она глаз не сводила с зернистого шарика, который лежал на блюдечке, отливая медовым золотом.

— Капа... дай куснуть разочек...

— Нюшка, мне чего-то неохота, ешь все,— сказал Капка.

Нюша зажала рот обеими руками и замотала головой.

— М!.. М!.. Ешь сам,— промычала она в ладошку, отталкивая другой рукой брата.

Сошлись на том, что разделили колобушку пополам. Капка сел за стол, где Рима оставила для него хлеб, несколько запеченных в мундире картофелин, половину селедки. Все это было заботливо укрыто обрывком газеты «Ударник Затонска».

— Почта сегодня не приходила?— спросил Капка, глядя в сторону.

— Нет, не приходила.

Капка незаметно вздохнул. Пятый месяц нет писем от отца. Плохо дело. Усталость, которую Капка прежде не ощущал, теперь вдруг легла на плечи, пригнула голову к столу.

— Капа, а мама скоро наша приедет?

— Скоро.

— А отчего она все не едет и не едет?

— Нюшка, ты бы спать легла лучше, чем человеку мешать. Видишь, кажется, человек кушает, а ты «тыр-тыр-тыр»...

Нюшка, положив локти на стол, прижавшись щекой к руке, смотрела боком и снизу, как он ест, крепкими пальцами облупливая картошку и тыкая ее в солонку. Нюша любила смотреть, как брат колет дрова, как он умывается, как ест. Она могла часами глядеть вот так. Все это было очень интересно. Капка ел молча, старательно разжевывая, собирая крошки со стола в ладонь и отправляя их в рот. Так едят тяжело наработавшиеся за день люди, хорошо знающие, как достается человеку хлеб. Усталость понемножку отваливалась. И Капке уже хотелось рассказать об училище, о работе в Затоне, о мастере Корнее Павловиче, о дураке Ходуле. Нужно же поделиться с кем-нибудь тем, что заполняло целый день и от чего никак не выпростать головы. Рассказать старшей сестре — эта не поймет как надо. Валерке и Тимсону следует говорить не так. С ними приходится говорить кратко и как о самом обыкновенном — подумаешь, мол, всё пустяки,— чтобы они чувствовали, каков человек Капка Бутырев. А ведь хочется иногда по душам и все как есть выложить. Вот был бы отец дома или Арсений Петрович, эти бы всё поняли как надо. А Нюшка хоть и мало что смыслила, но очень уж хорошо слушала, а главное, всему верила сразу.

— Вот у нас сегодня в инструментальном номер был! Есть один, Терентьев фамилия. Мишка. Двадцать седьмого года рождения.

— Ой, двадцать уже седьмого?— восторгалась Нюшка.

— Да... Шестнадцатый год пошел. И вот он вчера, понимаешь, четыре с половиной нормы выгнал.

— А!.. С половиной!— умилялась маленькая.

— Ну что, я тебе врать буду?

— А откуда он выгнал?— осмелев, решилась наконец спросить ничего не понимавшая, но жадно слушавшая брата Нюшка.

— Э, рассказывай тебе!— махнул рукой Капка.— Иди спать лучше.

Нюшка уже зевала вовсю и терла глаза. Капка уложил ее на кровать, где она обычно спала с Римой, прикрыл стеганым одеялом. Нюшка уцепилась за брата обеими руками:

— Ты только не уходи. Как буду спать, тогда только иди, ладно?

— Ладно, ты спи скорей. А то мне еще надо тети Глашин примус починить.

Капка, сам зевая, сел на краю постели.

— Капка, а правда, если змею разрубить, то половинки опять сползутся? Мне Маруська сказала. Наврала, наверно, да?

— Слушай больше!

— А ты можешь в руки змею взять?

— А с какой радости ее брать?

— Ну нет, ты только, Капка, скажи: возмешь или сбоишься?

— Надо будет, так и возьму. Спи ты!

Нюшке стало ужасно хорошо от безграничного уважения к брату. С ним, когда и темно, не страшно. Вот он, рядом, всех сильнее, и самый смелый. Он ничего не боится. Он прямо руками может схватить змею. Нюшка открыла один глаз, убедилась, что Капка еще сидит на краю постели, и, успокоенная, заснула.

Капка еще с полчасика повозился над примусом тети Глаши, а потом задул коптилку и улегся на своей койке. Нюшка сквозь сон почувствовала, что брата уже нет рядом. Она села, прислушалась. В комнате было темно и жутко, громко стучали ходики на стене. Нюшка легла плашмя поперек постели, свесила ноги, поболтала ими в темноте, пока не нащупала пол, и, осторожно ступая босыми пятками, добралась до Капки. Она вскарабкалась на его койку, подвалилась тихонько, пристроилась под бочок. Капка громко и мерно дышал. Она тоже стала громко вбирать в себя воздух, тогда же, когда и он, чтобы дышать вместе. Сперва у нее это не вышло, она не дотянула, сорвалась, захлебнулась воздухом, а потом приноровилась, задышав громко и старательно в один лад со старшим братом, и вскоре уснула.

Через час вернулась из кино Рима. Витя Сташук проводил ее до угла их улицы. На первый раз это было вполне достаточно, да, кроме того, увольнительная дана была юнгам только до десяти часов. Расставаясь, Сташук заботливо спросил:

— А вы, Рима, тут с курса не собьетесь? Смотрите, местность ведь у вас сильно пересеченная, можно и ноги поломать. Вы вот возьмите зажигалку, в случае чего посветить можно.

И как ни отнекивалась Рима, бравый юнга поймал ее за руку, почти насильно разжал пальцы и втиснул в ладонь теплую, согревшуюся в его руке зажигалку — подарок назойливого Ходули.

«Господи, и что это за привычка у них у всех зажигалки дарить?»— подумала про себя Рима.

Придя домой, она наскоро поела и осторожно перенесла Нюшу на свою кровать. Капка не проснулся. Он спал, свесив с койки руку. Рима подняла ее и положила поверх одеяла. Рука у Капки была грубая, залубеневшая от работы, не по-мальчишьему большая, широкопалая, совсем как у отца. Капка спал в майке-безрукавке, и у локтя, над самым сгибом, Рима заметила крохотный, нанесенный не то кислотой, не то краской значок: лук и стрела, чем-то обвитая... Больше ничего не смогла рассмотреть Рима при слабом свете коптилки. Но она стала припоминать, что видела нечто похожее совсем недавно. Ну конечно, этот же значок был нарисован на том смешном и непонятном письме, которое какие-то мальчишки прислали юнгам! Неужели это Капкиных рук дело? Рима почувствовала себя взрослой, куда старше, чем брат, который воображает себя дома хозяином, а сам дурит с мальчишками. Она наклонилась над братом. Спит. Устал, наверно. Им здорово сейчас достается. Он ничего парень, только уж больно научился командовать. А так ничего, другие мальчишки хуже. Хулиганят. А он ничего. Тяжело ему, верно, работать. Вон, не отмылся даже как следует. И дышит трудно. Устал. Рима села на свою постель, уронила голову. Трудно без отца. Может быть, еще напишет. У Лиды Бельской отец полтора года пропадал, а потом отыскался. А вот мать уж никогда не вернется. Плохо, пусто, ох как худо без мамы! Сейчас бы спросила: «Ну, Римочка, что в кино показывали? Из какой жизни? Домой одна шла? Небось провожал кто. Ах, красавица ты моя!..» И она бы рассказала маме, что картина была из жизни летчиков, очень видовая, а провожал ее до угла их улицы молодой военный моряк, юнга из-под Ленинграда, вежливый и ловкий... А сейчас и рассказать некому. Она сердито посмотрела на Капку. Завалился спозаранок! Дождаться не мог. Ей вдруг сделалось очень грустно, одиноко и стало жалко себя. Она зарылась головой в подушку.

Нюшка открыла один глаз и сказала ей шепотом, тепло дыша в самое ухо:

— Рима, ты пришла! А я уже сплю.

А вожак затонских синегорцев, бригадир с Судоремонтного, спал, уткнувшись подбитым глазом в подушку, отбросив в сторону крепкую, плохо отмытую руку, где у локтя над самым сгибом темнел таинственный знак.

Глава 14

ВСТРЕЧА НА ПЕРЕЕЗДЕ

Утром, когда Капка уходил в Затон, он увидел, что Рима растапливает печь знакомой зажигалкой.

— Римка, опять!

— Чего ты?.. Это мне флотский подарил. Юнга. Эх, вот ребята так ребята! Сто очков вам! А вы им всякие записочки посылаете... Он мне показал. Уж мы с ним смеялись-смеялись! Я думала сперва, что девчонки какие-нибудь набиваются, а оказывается, ты. Еще бригадир. «Я... я»! А сам как маленький.

— Римма,— сказал Капка так, как будто в имени сестры было по крайней мере пять «м»,— Рим-м-ма, смотри у меня! Я этому флотскому твоему ленточки пообрываю, так и знай!

Он схватил с шестка зажигалку и сунул ее в карман.

Пошел он сегодня в Затон не обычной дорогой, а сделал небольшой крюк, чтобы пройти мимо школы. Хотелось посмотреть на этих флотских. У школьного двора, несмотря на ранний час, уже толпились ребята. Припав к прозорам в ограде, они любовались диковинным зрелищем. На школьном дворе были уже устроены какие-то странные помосты с продольными углублениями. В них на маленьких не то тележках, не то салазках сидели юнги — друг другу в затылок. В руках у юнгов было по длинному веслу, положенному на высокие кочетки. Седой длинноусый моряк с нашивками и орденами ходил вдоль помоста и командовал, а юнги, занося назад весла, плавно и враз наклонялись вперед (причем тележки под ними скользили по рельсам), а потом резко откидывались спиной.

— Рррраз!— отсчитывал седоусый.— Навались! Ровно! Палихин, загребной, не части!.. Рраз!.. Дружно! От банки не отдирайся, хвостом не плюхай, сядь плотненько! Рррраз!

И юнги гребли, гребли посуху.

— Ай моряки!— кричали сквозь ограду зеваки.— Этак к вечеру до Астрахани уедете.

— Эй, флотские, гляди на мель не сядьте!

— Далеко ли плывете? А, моряки?

Юнги мрачно косились на ограду, но продолжали дружно работать веслами.

Как ни был гостеприимно настроен Капка, все же он остался в душе доволен, что флотским немножко посбивали спеси.

Встретив у табельной Ходулю, Капка подошел к нему и молча вручил зажигалку. Ходуля был так ошарашен, что дол-

го не знал, как ответить, и невпопад выпалил несколько лермонтовских строк, все сразу:

— О други, это... Коль не ошибся я... Блеснула шашка, раз и два...— Он, не веря своим глазам, разглядывал заколдованную зажигалку, снова вернувшуюся к нему.— Ах, флотский, флотский! Ну погоди!

В этот же день на переезде произошла памятная встреча. Ремесленники направлялись по случаю субботнего дня в баню. Они шли под присмотром Корнея Павловича Матунина. На них были шинели и на форменных фуражках буквы «Р» и «У». Капка Бутырев шагал в самом заднем ряду — рост подвел бригадира. И у самого переезда, там, где шоссе пересекало заводскую железнодорожную ветку, ремесленников нагнали юнги, перешедшие пустырь. Их вел мичман сверхсрочной службы Антон Федорович Пашков. Юнги также шли в баню. Они были в черных морских шинелях, туго перехваченных кушаками, в бескозырках, пришлепнутых блином и сдвинутых на правую бровь. Под мышкой у каждого был аккуратный сверточек с бельем. И в правом ряду, звучно печатая шаг, шел юнга Виктор Сташук. Шедший с ним Сережа Палихин, с лицом бледным, тонким, как у девушки, запевал высоким, чистым голосом:

Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе, моряк, всего лишь двадцать лет...
Не уезжай, побудь еще со мною...
Ну, и каков же твой ответ?

И дружно, как один человек, откликнулась вся колонна юнгов:

По морям, по волнам!
Нынче здесь, завтра там...
По морям, морям-морям-морям!
Эх, нынче здесь, а завтра там!

Завидя еще издали флотских, Корней Павлович приосанился и прошелся пальцами по пуговицам своего драпового демисезона.

— А ну, заводские, затонские!— прикрикнул он.— А ну, волгари, ремесленнички! Подтянись. Кадровые, ходи поаккуратнее, чтоб перед моряками во всей форме пройти. Дульков! Тебя что, это не касается?

Юнги также заметили идущих с пустыря затонских ремесленников. Мичман Пашков строго оглядел ряды своего войска.

— Твердо ногу, держи равнение! Разговорчики кончай! Ать-два! Ать-два! Пускай видят мелководные, как балтийцы ходят.

Оба отряда прибавили ходу. Ремесленники не хотели пропустить юнгов к бане первыми. Но крупно шагающие морячки вскоре настигли затонских.

Когда колонны поравнялись одна с другой, юнги узнали во многих ремесленниках утренних обидчиков, которые дразнили их через ограду во время занятий по академической гребле.

— Ребята,— сообщил своим Виктор Сташук,— гляди, ручок какой в самом заднем ряду топает. Вот смех! Словно кадушка, честное слово... Эй, замыкающий, подбери корму, на мель сядешь!

И пошло, посыпалось:

— Ручок! Держись за шинель, а то выпадешь!

— Полы подбери, малый! Чего улицы метешь! В дворники записался, что ли? Шпиндель!..

А Сергей Палихин, запевала и озорник, громким своим голосом пропел:

Рано, рано поутру,
Пастушок

И все юнги подхватили, рявкая «в ногу»:

Ру! Ру! Ру! Ру!

Капка не стерпел.

— Молчи, закройсь!— огрызнулся он, не поворачивая головы.— Моряки! Поперек борща на ложке плавали!

Ходуля, обозленный на всех моряков после коварства Римы, заметил, что у шагающих в последних рядах младших юнгов нет ленточек на бескозырках.

— Эй, стриженые моряки, тесемки-то еще не пришили?

— Что такое?— ответил за младших Сташук.— Я тебе вот сейчас пришью!

Мичман Пашков, который вначале ограничивался лишь замечаниями вроде: «Разговорчики, разговорчики слышу в строю, разговорчики»,— окончательно рассердился:

— Это что за базар такой? Слушай мою команду! Рота, стой!

У бани пришлось стать и дожидаться, когда кончат мыться военные курсанты. Мичман скомандовал своим «вольно».

— Стой, ребята! Повернись!— скомандовал и своим мастер Корней Павлович.

Обойдя голову колонны, он приблизился к Пашкову.

— Доброго здоровья! В нашей местности, значит, обучаться приехали,— заговорил он первым, как полагалось местному человеку при встрече с приезжим.— Очень приятно: Матунин, мастер.

Моряк козырнул:

— Пашков, мичман. Сверхсрочной службы. Будем знако-

мы. Нас сюда из-под Питера перевели. А вы, значит, на заводе тут, так получается?

— Именно. Молодые кадры готовлю. Помаленьку работают ребята. Дело свое делают. И довольно-таки неплохо, могу сказать. Так что я, извиняюсь, считаю, дразнить их неуместно со стороны флотских. Как по-вашему?

Мастер строгим взглядом окинул ряды юнгов.

— Точно! — сказал мичман. — Недопустимый факт. Форменная ерунда. Не сознают положение. Какие тут могут быть дразнилки? Что вы, что мы — в одну точку долбим.

— Вы разрешите, я им по-своему два слова скажу?

— Очень хорошо будет, — согласился мичман. — В самый раз уместно. Рота, смирно, слушай!

Мастер подошел к морякам.

— Вот вы, ребята, как истинные доподлинные сыны коренных моряков нашего Балтийского флота, должны сами понять, какое есть у нас теперь общее положение. Не в том суть, кто на воде, кто на тверди земной, а в том суть, что немца надо побить, шут его дери, паразита, совсем! И тут уж, конечно, никаких таких дразнилок у нас с вами допустить невозможно. Вот ребятки затонские, заводские наши, они есть, так сказать, поколение нового кадрового рабочего класса и приставлены к делу, каковое я вместе с их батьками достигал тут же, на Судоремонтном. Понятно? Понятно. В девятнадцатом году тут с Красной Армией Царицын отстаивать ходили со всей, конечно, нашей затонской рабочей гвардией. Понятно? Понятно. А вы нынче моих же, выходит, воспитомцев в смехотворный оборот ставите. Это никак невозможно. Вот вам и ваш командир то же самое скажет.

Мичман Пашков поправил фуражку, одернул рукава с нашивками и шевронами, откашлялся и начал, обращаясь, впрочем, скорее к ремесленникам, чем к юнгам:

— Правильно говорит вам товарищ руководитель. Но хочу коснуться, по ходу действия, одного вопроса. Чтобы вышла полная ясность. Кто в исторический момент, в октябре семнадцатого года, своим выстрелом дело решил? На это ответ имеется: крейсер «Аврора». На весь мир известный. И кто был на том славном крейсере «Аврора» в этот исторический момент? Кондуктóр Пашков был тогда на крейсере «Аврора» и не забудет вовек этой ночи и до деревянного бушлата, до гроба своего, будет гордиться ею. Выходит, мы с вашим товарищем руководителем с двух сторон на одну дорогу вместе пришли, одним курсом идем, и всякие, конечно, эти дразнения давно кончать надо.

Дул ветер с Волги. Гитарным строем гудели провода над линией. Ветер был теплый, но сильный. Он отворачивал полы шинелей у ремесленников и теребил ленточки юнгов.

Все было уже хорошо, но мичман сам неосторожно чуть было не испортил дело под конец.

— Да,— промолвил он после паузы и расправил усы,— наше дело морское, конечно, тонкое, с ним, конечно, равнять что-либо трудно. У нас боевая флотская выучка строго поставлена... Между прочим, рота, можете стоять вольно... Ну, я говорю, вот, например, компас: ведь ежели спросить ваших ребят, то они и насчет азимута, секстанта или, скажем, к примеру, «девияции» вряд ли что соображают. Сташук!

Сташук сделал два шага вперед:

— Есть, товарищ мичман!

— Скажите мне, Сташук, что есть такое «девияция»?

— Девиация, товарищ мичман, есть отклонение оси магнитной стрелки компаса от меридиана под влиянием каких-либо явлений, как, например, может быть...

— Гм, гм!..— перебил его нахмурившийся Корней Павлович.— Ну, ежели насчет синус-косинуса, то у меня ребятки тоже, слава тебе господи, разбираются. Бутырев Капитон!— вызвал он.

— Тут.

И Капка выскочил из строя.

— Ну-ка, Бутырев, скажи ты товарищам флотским, какие, допустим, на свете бывают фрезы!

Капка оглядел юнгов, бросил мельком взгляд на своих, замерших в заметном волнении, и, набрав в грудь воздуху, так что шинель вздулась пузырем, начал:

— Фрезы бывают и употребляются: радиусные, цилиндрические, спиральные, конические, угловые, торцовые, хвостовые, фасонные, ступенчатые... И еще также прочие.

— Ну, хватит с тебя, Бутырев,— заметил мастер.— Зайди обратно в ряд и стой покуда. М-да... А еще могу сказать, хотя лишь частично, чтобы не нарушить военного секрета, что вот эти мои ребятки хорошо ли, худо ли, а выполняют сейчас с превышением специальное задание. Да-с! Кое-какие деликатные вещицы соображают.

Мичман приподнял мохнатые брови:

— А я так полагал, что вы по части ремонта судов там и всего хозяйства прочего.

— Числимся по этой статье рубрики, но...— Корней Павлович лукаво прищурился, оглянулся и, снизив голос, продолжал:— Но ведь теперь знаете какое время. Военный момент. Вот, разрешите вам к случаю привесть, рассказ такой ходит. Работал один человек на эдаком заводе вполне мирного обихода и домашнего назначения, ну, словом, детские кровати они выпускали. И вот, стало быть, как война началась, взяли его в армию, пошел он на фронт. Ну, повоевал маленько, но вскорости ранение получил. И через это его

откомандировали обратно по излечении на тот же завод. И тут просит его один знакомый дружок-приятель: «Никак, говорит, я ордера на кроватку получить не добьюсь, а сынишка из люльки вырос, так что пятки поверх торчмя торчат. Удружи, говорит, сообрази мне как-нибудь, по личному свойству, как мы есть с тобой старые знакомые и кумовья...» Ну, тот, значит, ему обещает похлопотать: «Поговорю, мол, с кем надо на заводе, а уж тебе по дружбе кровать сам соберу — первый сорт!» А работал он как раз, заметьте, в сборочном: по номерам, по деталям, готовые кровати собирал. Ну, стало быть, взялся он за дело. Номер к номеру ставит согласно инструкции, приворачивает... Что, понимаешь, за притча?.. Как ни ладит, как ни собирает, а все вместо кроватки пулемет получается!.. Вот какая, значит, история. Суть смысла понятна вам?

Мичман смеялся, слегка согнувшись, собрав усы в кулак.

— Это вместо кроватки-то?.. Пулемет! Ах ты...

Корней Павлович похохатывал, довольный успехом своего рассказа, но вдруг оборвал смех, сурово кашлянул, одернул рукава и чуточку сконфуженно глянул на своих воспитанников: не сказал ли он чего-нибудь лишнего?

— Вот, стало быть, будем знакомы. М-да...

— Очень приятно,— откозырял мичман и рявкнул на своих:— Понятен разговор? То-то же!

Обе стороны были довольны, что не подкачали, каждый свое доказал.

А Волга вдали текла огромная и полноводная, конца-края не видно... По самые верхние ветви ушли в речку зазеленевшие деревья на затопленных островах, далеко на луговой берег, в поймы и займища, ушла разлившаяся громада воды, и мир, омытый этой щедрой и неистощимой влагой, был так свеж и неоглядим, так просторен, что всем тут хватало места — и своим и приезжим, и затонским и балтийским...

И, глядя на могучий покой, плывущий к морю, не верилось, что есть где-то всем этим краям чужеродные существа, которые замыслили прийти сюда, чтобы все наше железом вмять в землю, а самим жадно хозяйничать на этих вольных берегах и владеть широкими водами.

Глава 15

ПИОНЕРЫ-СИНЕГОРЦЫ РЫБАЧЬЕГО ЗАТОНА

Прошло пять дней. Валерка видел Капку лишь мельком. Маленький бригадир почти не появлялся дома. В Затоне гнали срочное задание, и были дни, когда Капка даже ночевать

не приходил домой и, сморившись, засыпал где-нибудь под опрокинутым дощаником прямо на заводской площадке. Он осунулся и словно бы вырос за эти несколько дней. И деликатный Валерка при молчаливом согласии Тимсона решил, что следует обождать и не тревожить командора.

Но на шестой день на трубе домика, где жили Бутыревы, неожиданно появился флюгер. Дул низовой ветер, вертушка, к радости Нюши, долго ждавшей обещанную фырчалку, звонко гремела. Валерка сразу заметил этот условный сигнал и помчался к своему командору. Капки он не застал, командор уже ушел в Затон. Рима передала Черепашкину записку. Она была заклеена смолой, что, правда, не помешало Риме раскрыть ее и полюбопытствовать, о чем там говорится. Рима ничего не поняла. В записке без единой запятой было сказано: «Амальгама зажигай Большой Костер где всегда в 9 Изобар».

Но Валерка все понял. Примчавшись домой, он сейчас же забрался на чердак, вылез оттуда через слуховое окно на крышу мезонина и, услышав, что на каланче у базара пробило восемь (это был час, когда синегорцы должны были наблюдать, не появится ли на горизонте условный сигнал), вынул карманное зеркальце и засверкал им. Проще было бы, конечно, сбегать к товарищам и оповестить их. Но Валерка свято берег сложные обычаи синегорцев и, пользуясь ясной погодой, решил прибегнуть к помощи солнечного телеграфа. Он недолго вертел зеркальцем, сидя на коньке крыши. Вот на другом конце улицы что-то блеснуло в ответ. Замигало, вспыхнуло зеркальце еще у одной трубы. И Валерка Черепашкин передал соседям, а те с крыши на крышу при помощи световой азбуки Морзе, что сегодня в девять назначен Большой Костер.

Все понимали, что произошло что-то крайне важное. Капка давно уже не созывал синегорцев на Большой Костер. После того как он пошел в училище и стал работать на заводе, командор как будто сторонился пионеров и тяготился своими обязанностями. Вообще вся затея как будто угасала после ухода в армию Арсения Петровича Гая. Ведь он и придумал все это,— собственно он, Валерий Черепашкин, Капка и Тимсон — все они вместе.

Началось это еще в прошлогоднем летнем лагере на Зеленом Острове. Сперва Арсений Петрович затеял там очень интересную игру в пионеров-мастеров. Каждый участник ее должен был отличиться в каком-нибудь полезном деле. Звание Мастера после многих увлекательных испытаний и таинственных приключений, которые нарочно подстраивал Гай, давалось самым верным, храбрейшим и искуснейшим. А потом, когда готовились к общелагерному костру, придумали

легенду о синегорцах. Синегорию открыл Валерка Черепашкин, а населил ее Великими Мастерами сам Арсений Петрович. И с этой сказкой о Синегории Валерка успешно выступал у костра, на смотре лагерной самодеятельности.

Но на том дело не кончилось. Ребятам захотелось продолжать игру, овеянную теперь высоким таинственным смыслом, открывшимся в рассказанной у костра легенде. И так как друзья наши продолжали встречаться в городском Доме пионеров с Арсением Петровичем, то они продолжали считать себя синегорцами. В игру вовлекались теперь и другие пионеры, не бывшие в лагере. Каждому отводилось соответственно его вкусам и наклонностям место в Синегории. То хорошее, что делал пионер в жизни, по-своему определяло его роль и положение у Лазоревых Гор; новую, тайную, биографию его придумывали сообща у костра. И славные, добрые, полезные дела, которые совершал каждый участник игры в жизни, заносились в летопись Синегории соответствующим образом и особым, сказочным шифром. Например, про мальчика, разводившего в Рыбачьем Затоне почтовых голубей, Валерка в своей летописи рассказывал как о Покорителе Подоблачных Гнезд.

Пионер, вышедший победителем на школьном шахматном турнире, принял в летописи Валерки звание Рыцаря Клетчатых Лат. Под его началом войска Синегории выгнали из ущелий Лазоревых Гор полчища Черных Коней. Лучший среди затонских пионеров собиратель металлического лома был в Синегории Будильником Вулканов и мог вернуть к бурной жизни самый заброшенный кратер. Трудолюбивый и спорый во всяком ремесле, Капка стал оружейником Изобаром. Большеглазый фантазер, летописец синегорцев Валера превратился в Мастера Зеркал Амальгаму. Бахчевод Тимка принял имя: Дрон Садовая Голова.

И всегда в их делах побеждали отвага, верность и труд. Это стало девизом синегорцев. А на гербе Синегории появились: радуга, стрела и вьюнок — знаки, тайный смысл которых станет вам ясным, если вы дочитаете эту книгу до конца и узнаете о судьбе Мастера Амальгамы и его возлюбленной.

Продавец в базарном ларьке, где торговали галантереей, был весьма озадачен, когда в один прекрасный день у него раскупили разом все карманные зеркальца. Он недоумевал, почему это затонских мальчишек обуяло вдруг такое повальное кокетство.

Ребята ценили прелесть тайны, и Арсений Петрович отлично понимал это. Гай говорил, что дела важнее славы, а слава придет с делами. После его отъезда на фронт дела, однако, не ладились, а теперь мальчики уже прослышали от

Черепашкина, что назначенный Гаем командор Капка намеревается уйти.

Это всех очень тревожило. Поэтому мальчики с нетерпением ожидали вечера.

Островок, отрезанный от города рукавом Волги, который все звали протокой, и почти весь залитый половодьем, носил у синегорцев прекрасное имя: остров Товарищества. Остров был песчаный, весь заросший ивняком, но посредине его вздымалась возвышенность. Выветрившийся известняк образовал здесь гряду утесов. Ветер выдул в них пещеры. В одной из них и собирались синегорцы.

К назначенному часу меж полузатопленных кустов и деревьев, обмакнувших свои ветви в струи Волги, стали пробираться лодки. Протока была тут узкой, на лодке ее можно было переплыть минуть за пять. Но нелегко было пробраться через затопленный ивняк до места, где находилась пещера. Лодки терлись бортами о тугие ветви, приходилось руками раздвигать кусты и, цепляясь за них, упершись ногами в днище шлюпки, подтягивать ее за собой. Шурша о плоские камешки, шлюпки вылезали носами на бережок, твердый и пористый.

День был свежий, солнечный с утра. А теперь небо было закрыто низкими тучами, и тьма сгустилась раньше времени. На берегу, у пещеры, Валерий Черепашкин проверял прибывших и принимал рапорты. В сумраке тускло поблескивали зеркальца, которые каждый вынимал из кармана, сойдя на берег.

У всех мальчиков на рубашках темнели пионерские галстуки.

— Отвага и Верность!— тихо говорил прибывший.

— Труд и Победа!— отзывался Черепашкин.— Будь готов!

— Всегда готов!— четко звучало в ответ.

— Сдай рапорт!— разрешал Черепашкин.

— Лому всякого, железок — сто двадцать кило, шурупчиков и гаек там разных — полторы кошелки, да еще рельса старая, не очень сильно ржавая, даже со шпалой... Сколько весит, не знаю: больно тяжелая.

— Проходи,— говорил Валерка.— А ты с чем?— обращался он к другому.

— Был в госпитале, провел громкое чтение вслух, да еще две книжки про себя, сочинения писателя Марка Твена, очень интересные... Отвага и Верность!

— Труд и Победа! Проходи. Следующий.

— А я накрасил плакат против Ходули и прочих подобных срывщиков... Ходуля меня стукнул два раза...

— Проходи.

Вот уже прибыл Степушкин Кира, лучший в городе сборщик металлолома. Соскочил с лодки Коля Кудряшов, прославившийся в Затоне своей тимуровской заботой о малышах, желанный гость в каждом доме, откуда отец ушел воевать. Явился главный барабанщик Павлуша Марченко — этот отличился как неутомимый песенник в госпиталях, где он вместе с другими пионерами развлекал раненых. Уже сдали рапорты Начальник Охоты — юннат Веня Куиц, Рыцарь Клетчатых Лат шахматист Юра Плотников и другие славные пионеры Рыбачьего Затона. Не было только самого Капки да Тимсона, который должен был сопровождать командора и ждал его на лодке у Рыбной пристани.

Долго не было Капки. А тьма все сгущалась, ветер порывами проносился в кустах, и деревья полоскали свои мокрые ветви в воде. Мальчики стали уже беспокоиться. Но вот заскрипели уключины, раздвинулись кусты, и длинный острый нос рыбачьей лодки вылез, шурша о камни, на берег. Тимка соскочил с носа на землю и вытянулся. В левой руке он держал лодочную цепь, правой отдавал салют. Капка, балансируя, чтобы не упасть, перепрыгивая со скамьи на скамью, сошел на берег. Валерка шагнул ему навстречу и отсалютовал:

— Товарищ Командор и Мастер Большого Костра! Пионеры-синегорцы Рыбачьего Затона собрались по вашему сигналу. Рапорты приняты и занесены в книгу. Зеркала проверены. Костер зажжен.

Капка поднял было руку для ответного салюта, но, не донеся ее до головы, тяжело махнул.

— Да ладно уж...— тихо произнес он.

Валерку покоробило это пренебрежение к обычаям. Совсем по-другому, не так, не таким голосом, не теми словами должен был ответить командор.

Все молча прошли к пещере. У входа ее Кира Степушкин, почетный Хранитель Огня, уже разжег костер. Он еле заметно тлел под ржавым листом жести, потому что время было военное и нельзя было палить огни — в районе проводилось затемнение, даже бакенов не зажигали на ходовом русле Волги. Ветер загонял дым костра в пещеру, ело глаза, но закон есть закон, обычай свят, и мальчики молча расселись вокруг небольшого возвышения, которое громко называлось Круглым Столом.

Тимка стал у выхода на часах.

— Ребята...— начал тяжелым, осипшим голосом Капка.

«Плохо дело! Сейчас откажется»,— подумал Валерка.

— Ребята, я сейчас вам...— Капка запнулся.

«Решил, все кончено»,— догадался Черепашкин.

— Ну... мне приходится,— продолжал еле слышно Капка,— мне вышло сказать вам плохое...

Все замерли.

Капка опустил голову.

— Арсения Петровича убили,— проговорил он быстро, и горло у него перехватило.

— А-а-а!— глухим стоном прошло по кругу.

И стало ужасно тихо.

Каждому казалось, что сердце его во мраке колотится о стены пещеры.

Потом кто-то, еще словно надеясь, спросил осторожно:

— Капка, ты правду говоришь?.. Ты верно это знаешь?.. Может, неизвестно еще... А, Капка? Может, это не так...

Но Капка замотал низко опущенной головой.

— Мне его мать из Саратова письмо написала. Ей похоронную уже прислали,— сказал он.

Было темно, и дым очень ел глаза, и некоторые всё откашливались.

— Ребята,— заговорил опять Капка,— конечно, горе. И даже очень большое. Хуже уж некуда. Таких, как Арсений Петрович, мало где сыщешь. А коли найдется, так для нас все равно лучше Арсения Петровича никто на свете не будет.

Он помолчал некоторое время.

Было тихо в пещере.

Костер у входа угасал.

Кто-то опять коротко и тяжело ахнул в темноте.

— Ребята,— голос Капки зазвучал вдруг твердо и громко,— только давайте мы дела не бросим. Сами уж как-нибудь. Одни... Я тут намедни отказываться думал. То забыть. Глупости это. Раз и навсегда. Если когда манкировал чего, пусть каждый скажет прямиком: так, мол, и так. Коли в чем виноват — то же самое. Буду знать и сделаю как надо, как следует. Но дело бросать — это хуже еще, чем память Арсения Петровича позабыть. Значит, надо дело делать. Вот, по-моему, как. Это, я считаю, до осени так, до школы... А как в школу пойдете, так там, конечно, уже другой разговор.

Капка тяжело перевел дух и затем продолжал уже решительнее:

— Арсений Петрович что говорил? Что мы прежде всего пионеры и даже всех других пионеров попионеристее. Мы и есть пионеры своего города, пионеры военного времени.

— А если дразнятся вот юнги эти?— спросил кто-то в темноте.

— За словом в карман не лазить, резать с ходу, брить начисто,— ответил Капка.

— И вот!— Тимсон для наглядности поднес к костру свой объемистый кулак.

— Ты только и знаешь, что «вот»... А они эвакуированные. Знаешь, как им в Ленинграде досталось? Какое у них было

переживание? Надо считаться и соображать. И помочь, если что. Ведь наш город, мы хозяева. Ну и, конечно, если уж сами полезут, не давать им очень-то...

Костер гас, вот-вот совсем потухнет.

— Степушкин, ты Хранитель Костра, за огонь отвечаешь. Почему жар не поддерживаешь? Костер должен все равно гореть.

Да, костер должен гореть все равно. Что бы там ни было — он должен гореть. Капка очень устал за день. Много пришлось ему передумать сегодня. Тяжелая весть напомнила об отце... Вот как принесут такое же письмо... Но костер должен гореть. Он должен гореть все равно.

Под ржавым громыхнувшим листом жести Степушкин чиркал спичками. Но хворост попался сырой и никак не разжигался.

— В общем, так,— проговорил Капка.— Если ребята не против, то я согласный, как прежде. Давайте решать. Ставлю на голосование. Приготовьте зеркала! Ну, кто «за»?

Он вынул свой заветный карманный фонарь. Батарейка уже иссякала, но лампочка еще давала слабый свет. И бледным желтеющим лучом Капка обвел в пещере вокруг себя. Каждый синегорец подставлял под луч свое зеркальце, оно вспыхивало в темноте, и Капка считал голоса.

— Против?

Полная тьма, единодушная тьма была ответом. Капка еще раз обвел всех товарищей лучом: не блеснет ли кто против? Нет. Он погасил фонарик.

— И предлагаю... В общем, ребята, давайте споем нашу песню, которую Арсений Петрович для нас сложил. Только... пускай кто-нибудь запевает. У меня сегодня горло чего-то простыло.

Синегорцы встали тесным кругом, обняв друг друга за плечи.

В темноте запел своим ясным, зеркальным альтом Валерка:

Отца заменит сын, и внук заменит деда,
На подвиг и на труд нас Родина зовет!
Отвага — наш девиз,— Труд, Верность и Победа!
Вперед, товарищи! Друзья, вперед!

Мальчики пели негромко, ломкими, еще не устоявшимися голосами, чуточку севшими от волнения. Они пели почти невидимые в темноте, но каждый чувствовал плечом плечо товарища.

И, если даже нам придется туго,
Никто из нас, друзья, не струсит, не соврет.
Товарищ не предаст ни Родины, ни друга,
Вперед, товарищи! Друзья, вперед!

А снаружи над островком, над Волгой спустилась ночь без огней и звуков. Только ветер шумел в затопленных кустах да, журча в ветвях, вились струи полой воды. Кира Степушкин наконец разжег костер, укрыл его жестью, поднялся, отдуваясь, и присоединился к поющим. Горячие красноватые отблески огня заиграли на лицах. Черты отяжелели, резкие тени легли у всех над бровями, на крыльях носа, на губах. Лица казались теперь суровыми, крепко, по-мужски отвердевшими. И мальчики пели:

Пусть ветер нам в лицо и нет дороги круче,
Но мы дойдем туда, где радуга цветет!
Окончится гроза, и разойдутся тучи.
Вперед, товарищи! Друзья, вперед!

Глава 16

ГРАНАТОМЕТЧИКИ, НА ЛИНИЮ!

С каждым днем все тревожнее становились вести с фронта. И утром, когда на заборе у Затона наклеивали свежее сообщение от Советского Информбюро, люди, сгрудившись, заглядывая друг другу через плечо, молча вчитывались в строки сводки, а потом медленно расходились с замкнутыми лицами, покачивали головами. Иногда кто-нибудь говорил:

— Гляди, как прет, окаянный!..

Люди смотрели на Волгу. Вода еще в ней не спáла, река была бескрайной, плыла всей ширью мимо городка, отражая безоблачное летнее небо.

А уже полетывали иногда над Волгой немецкие разведчики, цыкали на них где-то за горизонтом резкие на язык зенитки, и небо вдали подергивалось частыми пляшущими звездочками разрывов. В Затоне спешно ремонтировали суда и делали сверх положенного еще кое-что по особому заданию, приезжали военные инженеры, долго в ночь засиживались у директора. Юнги усиленно проходили строевые занятия, упражнялись в стрельбе и гребле, одолевали военное дело. И однажды юнги решили показать местным свою выучку и вызвали на соревнование затонских. Объявили, что в воскресенье на площадке Дома пионеров будет военизированный бег с препятствиями, футбольный матч и состязание по гранате на меткость броска.

В Затонске любили всякие спортивные зрелища и гордились своими футболистами. Юношеская команда Затона целую неделю тренировалась перед встречей с юнгами. Ходулю, игравшего вратарем, мастер ради такого дела безропотно

отпускал на два часа раньше других. Несмотря на военное время, народу в воскресенье собралось много. На дощатых трибунах уселись в ряд все знаменитые старики Затона — и Егор Данилыч Швырев, и Макар Макарович Расшивин, и Маврикий Кузьмич Парфенов, и Михайло Власьевич Бусыга, и Иван Терентьевич Яшкин. Старики были заядлыми болельщиками своей затонской команды. Они были твердо убеждены, что только благодаря проискам неведомых завистников юношеская команда Затона не взяла первого места в области. А по справедливости-то, конечно, она и в самой Москве бы не уронила своей волжской чести — дали бы только сыграть да чтоб дело решал праведный судья, который не подсвистывал бы противнику.

К состязаниям по военизированному бегу старики отнеслись сравнительно равнодушно. Правда, когда по всем статьям — и по бегу в противогазе, и в состязании на бревне, в штыковом примерном бою, и в проползании через препятствия — юнги начисто обставили затонских, старики стали беспокоиться. Честь Затона была задета. Но совсем загорюнились затонские патриархи, когда начался футбольный матч.

Легкие, худощавые, быстроногие фигуры юнгов в черных трусах и полосатых сине-белых тельняшках стремительно неслись по зеленой площадке, тесня, обводя и сбивая с толку затонских, которые играли в оранжевых футболках. И, как всегда бывает, если какая-нибудь команда явно сильнее, зрителям стало казаться, что оранжевых на поле меньше, чем бело-синих. Затонских сразу прижали к воротам. Старики привставали, стучали палками о доски трибуны, хватались за седые свои головы, в сердцах швыряли шапки оземь и кричали игрокам затонской команды сперва еще ласково: «Сережа, голуба, шибче, милуша, давай, давай!» Потом стали подбадривать крепче: «Ну, ну, не сдавай, Петька, рви с ходу, дай ему!» И наконец, махнув на все рукой, уже отпускали во всеуслышание совсем обидные замечания: «Эх, мазилы-мученики!.. Куды ты, к шуту, подаешь? Раззява-кукла! Балда окаянный! Забыл, где ворота? Дурила!..» Ничего не помогало. Затонские проигрывали. Беки легко и точно передавали друг другу в ногу мяч, и половина поля от ворот юнгов до центра почти все время пустовала, зато у ворот, где стоял голкипером долговязый Ходуля, все время клубился песок, молниеносно перемещались бело-синие тельняшки и суетились без толку оранжевые футболки. Лешке Дулькову пришлось туго. «Господи ты боже мой, и откуда только этого длинночертого выискали?»— возмущался старик Швырев.

— Дубина стоеросовая! Чтоб ему пусто было!— честили старики злосчастного Ходулю, который только и успевал вынимать мячи из своей сетки.

Разгром был полнейший. В центральной ложе начальник школы юнгов капитан первого ранга Иванов-Тарпанов, положив на барьер руки, поблескивая на солнце широкими золотыми нашивками у обшлагов, легонько усмехался, довольный, и поглядывал на соседей. Рядом с ним, то и дело снимая кепку и вытирая платком вспотевший лоб, страдал директор Судоремонтного Леонтий Семенович Гордеев. И при каждом забитом мяче на директора искоса и сердито поглядывал секретарь городского комитета партии товарищ Плотников.

К перерыву счет достиг цифры, для футбола почти астрономической,— 9 : 0 в пользу юнгов. А впереди был еще один тайм. И в нем сорок пять минут и бог еще знает сколько голов...

Синегорцы сидели внизу все рядом на одной скамье и пребывали в полнейшем отчаянии. Игроки ушли в раздевалку. Мальчишки свистели затонским и с недоброжелательным уважением смотрели на юнгов.

В перерыве проводили соревнования по гранате. Позади футбольных ворот был вырыт небольшой и узкий окопчик. В отдалении мелом по траве была наведена черта, с которой участники должны были метать гранаты в ровик.

— Гранатометчики, на линию!— вызвал судья.

К белой черте вышли двое затонских парней и двое юнгов: Палихин и Сташук. Перед каждым участником положили по десятку учебных гранат. Это были небольшие деревянные булавы, смахивающие на бутылки.

Первым метал Сережа Палихин. Он уверенно подошел к черте и — раз, раз — быстро, одну за другой метнул все десять гранат. Шесть из них попали точно в окоп. Седьмая ударилась о край и случайно не скатилась, отскочила в сторону. Тремя гранатами Палихин промахнулся.

Место его на черте занял Белянин, лучший гранатометчик Затона. Медленно нагнулся он, не спеша перебрал гранаты, выложил их аккуратненько в рядки, взял одну, крайнюю, размахнулся и метнул. Граната упала точно в окоп, даже краешка рва не задев. Так же уверенно бросил Белянин и вторую гранату. А за ней третью.

На трибунах ожили.

— Ну, ну, Белянин, сажай, доказывай дальше!

Белянин только головой повел — дескать, не сомневайтесь, все будет в порядке. Метнул четвертую — и промазал. Он досадливо покачал головой, долго прицеливался, метнул... Граната упала на край рва, подумала немножко и скатилась в окопчик. На трибунах, где сидели затонские, облегченно вздохнули. Четыре есть! Белянин удачно бросил еще две гранаты. Синегорцы на своей скамье ерзали и чуть не подпрыгивали от возбуждения. Белянин, сильно размахнувшись, мет-

нул еще одну гранату, но он, видимо, волновался, и граната легла далеко за рвом. На трибуне затихли. Белянин прокинул еще гранату даром. Оставалась последняя. Долго целился Белянин, наконец решился и пустил гранату. Она упала прямо в ров. Итак, результат Палихина был побит. Белянин уложил семь штук из десяти.

Теперь настала очередь бросать Сташуку. Своей танцующей походкой, чуточку вперевалку, вышел он на линию, быстро прикинул расстояние от черты до рва, взял гранату, примерился и бросил. Граната упала, не долетев до рва. В рядах затонских злорадно зашумели. Начальник школы юнгов с беспокойством задвигался на своем стуле. Но Сташук не смутился. Он расправил выпуклую грудь, плотно обтянутую матросской фуфайкой, помахал рукой, словно разминал ее, цепко ухватил новую гранату и, качнувшись вперед всем телом, метнул ее. Она упала точно в ров. Сташук нагнулся, взял в правую руку гранату, прихватил левой еще две и стал метать, перекладывая из одной руки в другую. И граната за гранатой падали в ров. Восемь гранат подряд положил на место Сташук и только на последней срезался: бросил слишком близко.

Результат его был восемь из десяти.

Теперь бросал Фомин, один из лучших физкультурников Затона. Но то ли волновался он, то ли уже устал сегодня, так как участвовал в военизированном беге и был расстроен неудачей, но лишь первые три гранаты он перебросил, четвертая упала, не долетев до рва, и только остальные шесть попали в окопчик. И выходило снова так, что юнги и здесь побили затонских. Директор Судоремонтного сконфуженно тер затылок, избегая смотреть на товарища Плотникова.

И вдруг внизу, там, где сидели затонские ребята, раздался низковатый мальчишеский голос:

— А можно, я кину?

На трибунах зашумели, зрители вставали. Кто это там? И все увидели, как с нижней скамьи трибуны поднялся паренек в фуражке, с буквами «РУ» на пряжке пояса, маленький, коренастый. Он твердой походкой прошагал к красному столу у футбольных ворот, где сидели судьи.

— А я можно кину?

— Вы же не записаны в число участников. Вас никто не выставлял.

— Мы, мы выставляем! Пускай кидает!— закричали со скамьи, где сидели синегорцы.

Затонские старики приподняли позором пригнутые головы:

— Этот еще чего вылез? Срамиться только. И так уж утерлись.

Но на трибунах сотни голосов закричали:

— Разрешить!.. Пускай бросает! Допустить!..

Судья пожал плечами, посоветовался с другими людьми, одетыми во все белое, потом скомандовал:

— На линию!

И Капка вышел на линию.

Он стоял, маленький, плотный, упрямо вобрав подбородок в шею, чуточку избычившись. Десять гранат валялись перед ним в траве, белая черта протянулась около его ног.

— РУ! РУ! РУ!— хором кричали со своих мест юнги.— Подрасти маленько, а то не видать.

— Давай, давай, Капка, не слушай!— подбадривали свои.

Капка засучил рукав гимнастерки на левой руке. Гранаты он аккуратно сложил влево от себя рядком. Поплевал на руку, наклонился. Долго выбирал гранату, взял одну, прикинул ее на руку, отложил, взял вторую, и эта ему не понравилась. Наконец Капка остановился на гранате, которую он поднял для первого броска. На трибуне затихли. Товарищ Плотников с веселым интересом разглядывал маленькую фигурку Капки. Начальник школы недоумевал, директор Судоремонтного хмурился, беспокоясь, как бы не вышло конфуза.

Капка взял гранату не совсем по правилам и прицелился ею так, словно держал биту, играя в городки. Потом он отступил на шаг, откинулся всем телом, резко шагнул вперед и метнул гранату левой рукой. Граната ударилась о самый краешек окопа, легонько качнулась и... медленно откатилась в сторону. Валерка припал головой к плечу Тимсона и закрыл глаза, чтобы ничего на свете больше не видеть. Тимка что-то промычал с ожесточением. Директор Судоремонтного пересел на другой стул, так как прежний треснул под ним. Капитан первого ранга Иванов-Тарпанов легонько усмехнулся уголком губ. Товарищ Плотников покачал головой.

— Шпиндель! Городошник!— кричали юнги в восторге.— Это тебе не бабушка в окошке! Рюха!..

Капка стоял на линии, закусив губу, упрямо опустив подбородок.

— Давайте же следующую,— сказал ему судья.

— Орут больно, не слыхать ничего,— пожаловался Капка, метнув сердитый взгляд в сторону тех мест на трибуне, где сидели юнги.

— Не тяните время. Или бросайте, или уходите,— строго повторил судья.

Капка взял новую, прицелился, отступил, сделал рывок к самой черте и швырнул гранату так, как бросал он биту, когда распечатывал заднюю «марку» в фигуре «письмо». Над самой землей пронеслась граната и сразу исчезла, провалившись в окоп. Капка нагнулся и тотчас же послал третью гра-

нату. Она описала правильную дугу и канула в темноте рва. Капка бросил четвертую. Бросок был опять удачен. Он прихватил правой рукой и сунул под мышку две гранаты, чтобы не нагибаться каждый раз, размахнулся левой, качнулся вперед, пустил пятую. Взметнувшись слегка вверх, она снизилась в самую середину окопа. Капка метнул шестую гранату. Она летела, как бумеранг, вращаясь, и казалось, что вот-вот перемахнет через ров, но какая-то непостижимая расчетливость была в броске метателя, и над самым рвом граната круто опустилась вниз, в щель. На трибунах начали аплодировать. Капка швырнул седьмую. Есть! Капка швырнул восьмую. В ров! Все встали. Капка метнул девятую. Там! На трибунах неистовствовали. Капка сравнял свой счет с результатом Сташука. Он взял десятую. Эта была решающей. На трибунах притихли. Капка медлил. Он опять поплевал на руку, тяжело перевел дыхание, снял фуражку, аккуратно положил ее донышком вверх на траву, рукавом отер лоб, взял гранату, слегка подкинул гранату на ладони. Долго целился он, прищурив глаз, и тихо было на трибуне. Но вот Капка откинулся, отшагнул, потом словно прыгнул вперед и взмахнул левой. Звонко на дне рва стукнула граната о те, что уже лежали там.

И стадион заревел, загудел, затопал. Десятки людей бросились на поле. Над головами взлетели ноги Капки, посыпались на землю какие-то гайки, шурупы, и выпало заветное зеркальце.

Но верный Валерка Черепашкин был тут как тут и подхватил зеркальце командора. А мастер Матунин протискивался к рядам, где сидели заводские старики.

— Видали?— твердил он.— Ведь Василия Семеновича сын, Бутырев. Ах ты батеньки-матеньки, ну золотой же парень! Ну честное даю слово!

— Василь Семеныча сын? Бутырева?— переспрашивали старики и, щурясь от солнца, слепившего им глаза, из-под ладони рассматривали Капку.

Глава 17

КОМАНДОР ДЕРЖИТ ОТВЕТ

«Кто вы?»—«Мы синегорцы»,— отвечали мы, потому что мы и были синегорцы.

В. Черепашкин. «История города Затонска и его окрестностей»

Между тем почетных гостей пригласили выпить пивца и кваску в буфет. Буфет сегодня устроили для гостей в одной из комнат Дома пионеров. Товарищ Плотников вместе с директором Судоремонтного и начальником школы юнгов пошли туда. Через минуту туда же явилась одна из руководительниц Дома пионеров, Ангелина Никитична. Она чувствовала себя хозяйкой, да к тому же еще решила, что начальство приезжает не каждый день и надо воспользоваться случаем, чтобы поговорить о разных нуждах дома. Товарищ Плотников, высокий, бритоголовый, в чесучовой косоворотке, которую распирали его тяжелые плечи, принялся сам расспрашивать Ангелину Никитичну, как дела идут у пионеров.

— Вы знаете,— сказала Ангелина Никитична и понизила голос,— я к вам, Иван Акимович, собиралась уже обратиться. Нехорошо у нас. Неладно. Нездоровое настроение у некоторой части ребят.

— Что такое?— удивился Плотников.

Ангелина Никитична открыла клеенчатый побурсвший портфельчик, долго копалась в нем, наконец вытащила оттуда какую-то бумажку и карманное зеркальце.

— Вот, Иван Акимович, не вполне, мне кажется, здоровое явление. Я должна сигнализировать. Какие-то странные записи с неведомым гербом. Я вот сочла нужным изъять. И смотрите, тот же значок на зеркале. И зеркала наблюдаются у целого ряда ребят, вернее — у известной части.

Плотников пожал своими широкими плечами:

— Ребята-то как, хорошие?

— Пожаловаться не могу, Иван Акимович. Активные дети.

— Ну и пусть себе тогда смотрятся в зеркало, по крайней мере носы чище будут.

— Нет, Иван Акимович, я вас уверяю, что целая организация. Я должна сигнализировать.

— Да чего тут сигнализировать? Надо поговорить с ребятами по душам, порасспросить, а потом уже сигнализировать да изымать. Экие, право, вы все тут прыткие!

— Иван Акимович,— Ангелина Никитична прижала обе руки к груди,— я здесь человек новый, до меня тут товарищ Гай работал, видимо, большой фантазер, я теперь вынуждена многое искоренять.

— А нелегкая у вас, видимо, работа: изымать, искоренять... сигнализировать. Да вы не обижайтесь. Давайте-ка вот сейчас позовем кого-нибудь из ребят. Вы у кого эту бумажку *изымали?*

— Главные коноводы — это Черепашкин и Жохов. Они заправилы и очень скрытные ребята. Вы все равно от них ничего не добьетесь. Я уж пробовала.

— Ну-ну, уж как-нибудь! Авось мне больше повезет. Тут они сейчас?

— Тут.

— Ну, давайте их сюда.

И вот в кабинет привели Валерку Черепашкина и Тимку-Тимсона. Плотников широким гостеприимным жестом пригласил их сесть.

— Ну-с,— сказал он, весело всматриваясь в смущенные лица Черепашкина и Тимки,— так, значит, синегорцы?

Валерка и Тимсон в ужасе переглянулись, раскрыли рты от неожиданности и густо залились краской.

Плотников продолжал, как будто не замечая их смущения:

— Ну что ж, синегорцы так синегорцы, в чем дело! Но, может быть, вы нам все-таки, ребятки, расскажете, что вы за такие синегорцы, и с чем вас кушают, и за что вас поедом есть собираются некоторые воспитатели, от которых вы таиться решили?

Синегорцы молчали, глядя в пол.

— Ну, не хотите, не надо,— подождав немного, продолжал Плотников и подчеркнуто сухо сказал:— Я ведь вас не допрашиваю. Очевидно, значит, не заслуживаю доверия... Так, что ли, выходит? Руковожу городом, партия мне доверяет, а вот пионеры некоторые, имеющие себя этими самыми... как их... синегорцами, не желают оказать доверие. Плохо твое дело, товарищ Плотников. Печальная, брат, картина. Ну, извините, что побеспокоил. Идите себе...

Мальчики встали, переглянулись, вздохнули.

— Я считаю, надо сказать,— шепнул Валерка.— А? Тимка?

Тимсон только рукой махнул: чего уж тут, мол!

— Товарищ Плотников,— начал Валерка, мы вам все скажем. Только нам надо спросить у нашего командора разрешение.

Они и не подозревали, что́ переживал в эти минуты сам их командор. Дело в том, что Капка, едва лишь Ангелина

Никитична увела с собой в кабинет Валерку и Тимсона, сразу понял, о чем пойдет речь.

— Если что, блесни!— крикнул он вдогонку.

Не дождавшись сигнала, он сам незаметно подошел к дверям кабинета, приоткрыл их и слышал весь разговор. В душе у Капки долго шла борьба. Он знал, что Валерка и Тимсон сами никогда не выдадут, не назовут его. Но прятаться за спиной товарищей он не хотел. А войти и самому все рассказать не решался. Пожалуй, на смех подымут, да еще директор тут, как назло. Однако положение Валерки и Тимсона было столь затруднительным, что Капка решил выручить их, что бы потом ни было...

Заскрипела тяжелая дверь, и в комнату, остановившись на пороге, просунулся сам Капка.

— А, победитель!— приветствовал Капку товарищ Плотников.— Честь города отстоял. Спасибо!— Он крепко пожал своей огромной рукой Капкину ладонь.— Так ты еще и... как это там у вас... синегорец ко всему?!

Капка кивнул головой, теребя пряжку пояса.

— У меня на заводе работает,— вмешался директор Судоремонтного,— у Матунина, мастера. Одним из первых, бригадир!

— Так это ты, значит, самый главный у них?— Плотников мотнул головой в сторону мальчиков.

— Командор,— чуть слышно признался Капка, густо покраснев.

— Ну, командор, вот ты нам и изложи все как есть. А мы послушаем. Нам же тоже хочется знать. А то живем в одном городе с такими ребятами и даже не догадываемся, что есть у нас какие-то синегорцы.

Он с дружелюбным любопытством разглядывал Капку и его адъютантов.

— Только уж условие — не смеяться,— предупредил Капка и как мог рассказал товарищу Плотникову о лагерной игре, от которой все пошло, о синегорцах, об Арсении Петровиче Гае, которого Плотников тоже, как видно, считал хорошим человеком, потому что сочувственно закивал, когда Капка назвал имя Гая.

Капка рассказывал, с жадным доверием вглядываясь в лицо Плотникова и стараясь уловить, понимает ли он их затею, их мечту, сочувствует ли он ей или смеется в душе, а быть может, считает дурной блажью. Он рассказывал, а Валерка от волнения тоже шевелил губами беззвучно, не решаясь подсказать командору, когда тот останавливался, подыскивая нужные слова. Тимсон же слушал Капку и удивлялся, как это может такой сравнительно еще молодой парень говорить столь длинно и складно. Но вот Капка кончил свой

рассказ. Плотников молчал. Потом вынул коробку папирос, достал одну, закурил.

Мальчики смотрели на него, ожидая ответа.

— Ну, в общем, мы с тех пор играем так,— попробовал дополнить Валерка.

Капка резко осадил его:

— Это, может быть, ты играешь, а я, например, лично не играю, а действую так.

Плотников вдруг тепло и загадочно улыбнулся:

— Интересно задумано. Свежая голова у Гая была. Почему же вы только тайну такую храните?

— А чего зря раззванивать!— уклончиво отвечал Капка.

— Погоди. Скромность — это одно, а скрытность — совсем уж другое дело. И ни к чему, мне кажется, тут такую таинственность напускать. Ну, вначале попробовали про себя, а дело получилось. Хватит в прятки играть. А тебе, Бутырев, в комсомол надо. Не комсомолец еще? Правда, парень ты еще очень молодой, да тебя примут, раз ты производственник хороший и организатор, видимо, неплохой.

— А чего я буду делать там?

— *Ну вот, здоро́во живешь!* То же самое и будешь делать, но только лучше будешь делать. Увереннее. Яснее. И помогут тебе когда надо. И поправят вовремя.

Директор Судоремонтного и начальник школы юнгов с интересом следили за этой беседой.

— Синегорцы... синегорцы...— повторил Плотников.— Вон какое имечко приняли!

— Конечно, Иван Акимыч,— вмешалась Ангелина Никитична,— уж играли бы...

— Мы не играем,— повторил Капка.

— Ну, я не знаю, как у вас там называется...

— Дело не в названии, а в делах хороших...— возразил Плотников.— А что это все-таки за герб такой?— проговорил Плотников, разглядывая бумажку, на которой был нарисован знак синегорцев.— Погодите, погодите, где это я уже видел его?.. Стоп!.. Да я же у Юрки, у сынишки моего, в тетрадке это видел! Он что-то там вычерчивал, схожее, помнится мне...

Плотников вскинул голову и посмотрел на мальчика.

— А он тоже давно у нас,— сказал Капка.

— Да ну!— обрадовался Плотников, но спохватился и осторожно взглянул на Ангелину Никитичну.

— Его, как лучшего шахматиста, приняли, и он кружок у нас вел. И вообще подходит.

— Да, только...— начал было Тимсон, впервые подав голос за все это время, но тут же замолчал и покачал головой.

— Тимка!— прошипел Валерка.

— Молчу,— сказал Тимка.

— Ну, в чем же дело?— заметно обеспокоился Плотников.
— Дома его больно уж строго держат,— пояснил Тимсон,— чуть на лодке — уже сразу не пускают. Боятся. Что мы его, топить собираемся, что ли?
Плотников от всей души расхохотался. Засмеялись и все другие.
— Ну, а все-таки, что же это за игра у вас была, откуда затонские синегорцы имя приняли и почему у них герб такой? Кто скажет?
— Это пускай Валерий расскажет, он вместе с Арсением Петровичем целую историю написал, когда прошлое лето в лагере были... У нас там даже самодеятельность когда проводили у костра, Валерка выступал с этим. И мы после поклялись, что будем так действовать.
— Рассказать?— Валерка вопросительно посмотрел на всех.
— Очень интересно. Послушаем.
И Валерий Черепашкин рассказал товарищу Плотникову, начальнику школы юнгов и директору Судоремонтного, историю Трех Мастеров.
Глаза его блестели, нежные щеки покрыл лихорадочный румянец, он вскакивал, размахивал руками и рассказывал о Синегории, о людях с Лазоревых Гор, о страшном нашествии Ветров, о короле Фанфароне, о злом Ветрочете Жилдабыле. Голос Валерки задрожал, когда он описывал как Амальгаму, прекрасного Мастера Зеркал и Хрусталя, бросили в темницу.
Он перевел дыхание и замолк.
— Ну, ну! И как же дальше было?— спросил с интересом Плотников.
— Сейчас,— сказал, переводя дух, Валерка.— Сейчас расскажу дальше...
Черепашкин прислушался. На поле давно уже бухал мяч и раздавались трели судейского свистка. Кто-то вошел в кабинет и напомнил товарищу Плотникову, что матч продолжается. Вторая половина игры уже началась, надо идти на места.
Плотников с сожалением встал.
— Ах ты беда!— проговорил он.— На самом интересном месте! А надо идти. Ну, когда-нибудь доскажешь. Непременно. Очень хочется знать, как это все там у вас в Синегории в конце концов получается. Спасибо, товарищи... Так Юрка мой, говорите, тоже? Синегорец? Да? Скрывал, свиненок... Ну что ж, если сыну такое доверие оказываете, то, надеюсь, и отца не обидите. Идет?
Он крепко пожал руки всем троим синегорцам, задержал руку Капки, хотел что-то сказать, должно быть, но передумал, похлопал Капку по плечу, шумно вздохнул и пошел к

выходу. Гости последовали за ним. Когда мальчики убежали вперед, чтобы скорее попасть на места, Плотников сказал задумчиво:

— Толковый народ растет! Ведь этот вот, комаидор их, как его... Бутырев, что ли?

— Бутырев Капитои,— подтвердил директор.

— Ведь представить себе только, сколько иа его плечи легло! Мать убита, отец иа фроите, тоже иеизвестио, жив ли еще, на руках две сестреики... Не по годам забота. Работа в Затоие, чего говорить, товарищи, иелегкая. А он еще с этими синегорцами возится. *Заботник*. Великий *заботник!*

— Дерутся оии, дьяволята, с вашими этими юигами,— пожаловался иеожидаиио директор иачальнику школы.— Задирают ваши.

— Ну, ваши тоже в долгу не остаются,— сказал тот.— А у меня, кстати, к вам просьбишка была как раз. Баркасик я одии там видел в Затоне. Вот если бы там немиожко двигатель перебрать да кое-что подправить, была бы у моих юнгов посудина. А то совсем осухопутились. Не могли бы вы нам помочь?

— Вот и дело!— воодушевился Плотииков.— Спюются. Тут вам и польза и мораль. И дракам конец. Только уж придется вам, товарищи моряки, поклаияться нашим. Там у них свои законы, мальчишьи. Своя порука. Пусть уж и договариваются сами.

Ои, видио, все еще был под впечатлеиием разговора с ребятами.

— Золотой народ. Заботиики. А фантазии-то сколько! Ах, мальчишки мои хорошие!

Глава 18

ПОГОВОРИМ КАК МУЖЧИНА С МУЖЧИНОЙ

— Здесь проживает товарищ Бутырев Капитои?

— Входите, отперто!— крикиул Капка.

Стукиула щеколда, дверь в сени растворилась. Вошел Виктор Сташук. Увидев его, Капка поднялся. Ои был озадачеи и готов ко всему. Сташук, разглядев при свете коптилки Капку, тоже замер от неожиданиости и сделал поворот к двери, готовый уйти.

— Мне товарища Бутырева,— сказал он иерешительно.

— Я Бутырев.

— Нет, мие иужио самого Капитоиа Бутырева.

— Я это!

Сташук смотрел иа иего с недоверием. Вот так дело! Не-

ужели этот шпиндель и есть тот самый Капитон Бутырев, к которому его направили из школы? Но отступать уже было поздно, и, кроме того, комсомольцы, пославшие Сташука, строго-настрого наказали договориться с ремесленниками. Ничего не поделаешь — дисциплина. Сташук чинно откозырял и щелкнул сдвинутыми каблуками. Но в эту минуту вбежала Рима. Увидев Сташука, она на мгновение смутилась, потом быстрым взглядом окинула юнгу и брата, заметила неловкость и замешательство.

— Здравствуйте! Капа, ты познакомился? Это тот флотский самый.

— Вижу,— сказал Капка, глядя в сторону.

— Помнишь, Капа, про которого я тебе рассказывала? Помнишь теперь?

— Мало о каких флотских ты мне уши прожужжала!

Сташук сделал шаг вперед, свел каблуки, еще раз козырнул:

— Разрешите? Юнга школы Балтийского флота Сташук Виктор. Прибыл по заданию.

— Бутырев,— сухо представился Капка.— Присаживайтесь... Ты что, Римка, опять собралась в кино?

— Нет, в кино нынче не получится,— сказал Сташук, присаживаясь на край табурета. Он снял двумя руками бескозырку и аккуратно положил ее на колени.— Увольнительную мне дали только до восьми. У нас к вам будет дело одного такого свойства... Ребята-комсомольцы через меня к вам обращаются...

Он замолчал, надеясь, что Капка полюбопытствует и спросит, за каким делом послали Сташука комсомольцы. Но Капка не любопытствовал. Вид у него был очень официальный. Сташуку опять захотелось плюнуть на все и уйти. Он чувствовал себя уязвленным. Однако надо было выполнять поручение. Сташук метнул на Капку из-под бровей хитрый взгляд, решил переменить тактику.

— Мы вроде ведь уже встречались с вами!

— Возможная вещь,— сказал Капка совершенно так, как произносил это мастер Корней Павлович.— Допустимо вполне. Не помню только. Так насчет чего будет дело?

— Значит, вопрос такой стоит — дело оборонного значения,— начал Сташук и коротко изложил свое дело.

Юнги обращались к ремесленникам с просьбой помочь им отремонтировать старый баркас, без дела лежащий на заводской площадке.

— Прошпаклюем, покрасим это уж мы сами,— говорил Сташук,— и такелаж весь и рангоут поставим.— Он посмотрел краешком глаза на Капку — какое впечатление произвели на этого сухопутного сложные морские слова, но Капку, ка-

залось, не проняли корабельные термины.— А вот вы бы нам насчет движка помогли, перебрать бы надо, цилиндр расточить, ну и тому подобное.

Капка солидно поджал губы. Он сидел, уставившись в стол, соображал что-то.

— Рима, налей товарищу чаю.

— Спасибо, не беспокойтесь,— вскинулся Сташук,— я ведь по делу. На минуточку.

— Дело-то не минутное,— строго пояснил Капка.— М-да... Эта работа не такая простая. Я тот баркас знаю. С ним возни будет. Работа своего времени требует. Тут надобно каждый момент наперед учесть. Это ведь не «ать-два, ать-два» или там на сухом месте веслами водить. Главное, ребята чересчур перегрузку имеют. Дает себя знать. Достается ребятам. А это уж сверх того будет.

Разговор получался теперь уже деловой, и оба были довольны, что все идет так всерьез.

— Уж прямо не знаю, что и сказать,— говорил Капка, дуя на блюдечко, которое он держал в растопыренных пальцах.— Пейте еще... Рима, налей.

Рима налила Сташуку еще одну чашку и села в сторонке молча. Она понимала, что разговор идет мужской и ей вмешиваться не к лицу.

— Ты уж будь друг, окажи,— сказал Сташук, ожесточенно дуя на горячее блюдечко, которым только что обжег себе губы.

— А что я, директор? Или кто?

— Ну все ж таки... У тебя авторитет есть, говорят.

— Говорят... Выходит, значит, «ручок-малек» тоже сгодился?— Капка поставил на стол пустое блюдечко и утер рот уголком скатерти. Рима бросила на него негодующий взгляд, но он грозно двинул в ее сторону локтем.— Ладно, сообразим что-нибудь.

— Ну, счастливо, я пошел.— Сташук встал и надел бескозырку.— Благодарствуй!

— Погоди, чего спешишь? Сиди.

Они не заметили оба, что уже несколько минут говорят на «ты».

— Чего спешите, отдохните,— сказала Рима, хотя она и Лида уж давно были с Виктором на «ты».

Сташук сел с явным удовольствием.

— Страшно было в Ленинграде-то?— неожиданно и с азартом спросил Капка, и в глазах его загорелся такой жадный огонек и так разом слетела с него вся солидная деловитость, что Виктор, собравшийся было ответить, как требовал морской фасон, что ничего, мол, особенного не было, сказал просто:

— Еще бы не страшно! Знаешь, как нам там приходилось! Это жуткое дело просто. А народу сколько легло...

И он стал рассказывать о Ленинграде, как жили они в смертельном кольце блокады, как пришлось им участвовать в бою у Невской Дубровки, когда немцы чуть было не прорвались к городу и юнги несколько часов сдерживали напор врага. Капка слушал его, почти не дыша, изредка лишь громко глотая, чтоб отошло пересохшее от волнения горло.

— Я и к медали представлен за отвагу. Только еще очередь не дошла, а как дойдет, так, говорят, пришлют непременно. Я такой, знаешь: не боюсь.

— Вот и я тоже такой!

Потом говорили о кино. Тут уж разговор пошел совсем легко. Все болтали наперебой. Только и слышалось: «А Чарли Чаплин... Помнишь, как он свисток проглотил?!»

— Ой, чудак этот Игорь... Помнишь, как он: «Меня мама уронила с шестого этажа...»

— А это еще помнишь?.. Это уж в другой картине. Его полицейские забирают, а он так пальцем: «Но, но, без хамства!»

— Капка, покажи, как Игорь Ильинский глазами делает,— просила Рима.— Ох, он здо́рово у нас показывает! Ну прямо в точности!

Капка послушно встал, прошелся по комнате семенящей походкой, по-петушиному отставив зад, страшно скосил глаза и наморщил нос.

— Здо́рово! Ну прямо Игорь Ильинский, честное слово!— восхитился Сташук.

Тут от шума проснулась Нюшка. Сперва из-под одеяла показался ее один глаз, потом другой, а затем высунулся любопытствующий носишко; вскоре Нюшка осторожно высвободила подбородок, окончательно осмелела, села на постели, прибила руками вокруг себя одеяло.

— Рима, это кто?— громким шепотом спросила она.

— Ты чего? Спи!— И Рима уложила ее, подоткнув со всех сторон одеяло.

Но Нюшка глаз не сводила с гостя и с его странной фуражки без козырька.

— А почему у тебя шапка назадом вперед надета?— спросила она и заглянула, вытянув шею, за затылок Сташука.— Ой, и сзади козырька нет!

— Дядя — моряк,— поспешила объяснить Рима.— Видишь, у него ленточки сзади.

— Она у нас какая-то отсталая, оттого что без матери...— пожаловался Капка Сташуку.— Другие в ее возрасте уже все ордена знают, а наша до сих пор ромбик от шпалы различить не может. Ну ее! Спи, Нюшка.

— А чего это на ленточке написано спереду?— спросила Нюшка, залюбовавшись золотой надписью на бескозырке Сташука.

Сташук протянул ей ленточки:

— Вот, гляди. Здесь якоря, а тут написано: «Краснознаменный Балтийский флот». Ясно? Чтобы видно было, откуда мы.

— Это если потеряетесь, да?

— Ну тебя, Нюшка, спи!— прикрикнул на нее Капка и повернулся к гостю:— Знаешь что? Давай-ка, пока время еще есть, сходим к Корнею Павловичу, мастеру нашему. Надо с ним дотолковаться сперва.

Когда они выходили, какая-то тень метнулась от калитки. Капка и Сташук не обратили на это внимания.

Они шли по улице. Чернели силуэты домов. Ни огонька не было вокруг — затемнение в последнее время соблюдали очень строго.

— А у нас в Затоне сомы здоровые есть,— хвастался Капка.— Один раз человека утащили совсем.

— А камбала у вас есть?— спросил Сташук.

— Нет, камбалы нет.

— Ну то-то!..

Они перешли через улицу, свернули в проулочек, спускавшийся прямо к Волге. И сразу им дохнуло в лицо тепловатой сыростью.

Волга была рядом, совсем близко, и черная, почти невидимая гладь ее кое-где была продернута поблескивающими нитями плесов.

Глава 19

ВЫСОКИЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ

Они подошли к домику Матунина. Он был окружен палисадничком, за которым росли высокие цветы «золотые шары». Сквозь щели ставня пробивался свет.

— Затемнение-то аховое,— критически заметил Сташук.

— Ты слушай,— предупредил Капка,— я сперва войду и скажу, а потом уж ты. А то он, знаешь, строгий, наорать может. Как начнет: «Что же это вы, батеньки-матеньки, полуночники...» Тогда с ним и говорить нечего.

Капка открыл калитку, взошел на крыльцо и постучался в дверь. Сташук, оставшийся у калитки, слышал, как женский голос окликнул Капку, он что-то сказал в ответ, щелкнула задвижка, упала цепочка. Капку впустили. Не прошло двух минут, как Сташук услышал голос Капки: «Сташук, иди

сюда. Осторожно, тут приступочка». Виктор прошел через сени и очутился в чистенькой, просто, но хорошо убранной комнате. У окон стояли аквариумы. Корней Павлович был большой любитель по этой части. За стеклами одного аквариума сновали полосатые красные макроподы. В другом стеклянном ящике медленно проплывали вуалехвосты и телескоп — золотистые рыбины, похожие на хвостатые бинокли. Короткими толчками перемещались большие серебристо-полосатые месяцеобразные скаляриусы. Водоросли, похожие на зеленый стеклярус, шевелились в прозрачной воде. И позади большого аквариума, стоявшего посреди комнаты, за столом, на котором горел начищенный медью толстощекий самовар, стояли бутылки и лежала всякая закуска, Сташук с удивлением заметил мичмана Антона Федоровича Пашкова. Блестели его шевроны на рукавах.

— Заходите, заходите, деточки,— приветствовала смущенных ребят Наталья Евлампиевна, аккуратная, чистенькая старушка, супруга мастера.

— О-о, батеньки-матеньки,— заговорил Корней Павлович,— сдружились уже, видать! Мы-то тут сидим толкуем, как бы это дело сладить, чтоб друг дружке взаимно помощь давать по надобности, а они уж, видать, Антон Федорович, наперед нас обскакали... Ну, садитесь. Капа, бери стуло. Вот возьми огурчика малосольного. И вы, пожалуйста.

На столе стояла керосиновая лампа, и в чисто вымытом стекле пламя, легонько постреливая, пускало тонкие золотые стрелки. Пар кудрявился и таял над самоваром. Наталья Евлампиевна налила ребятам по чашке, пододвинула варенье.

— Угощайтесь, деточки, это крыжовник. Самая польза от него. Еще до войны варила. Осталось чуточек. Кушайте.

— Ну, а мы, извиняюсь, еще по одной перепустим,— сказал мастер, наливая из бутылки гостю и себе.

Он поднял стопочку, наставительно поглядел через нее на свет, чокнулся с мичманом, опрокинул стопку в рот, зажмурился, нащупал корочку на столе, понюхал сперва одной ноздрей, потом другой, открыл изумленные глаза, наколол вилкой ломтик огурца и с хрустом закусил. Мичман тоже выпил и глазом не моргнул, только большим пальцем распушил усы. Потом моряк свернул цигарку, вынул кресало, кремень и фитиль, стал высекать огонь.

— Что вы, что вы!— остановил его мастер.— Чай, у нас зажигалка своего, местного, изготовления имеется... Наташа, где тут моя давеча лежала?

— Это вещь неверная: то камешек сточится, то бензин вышел,— сказал мичман.— Сказочку слышали про русский огонек?

— Не приходилось.

— Ну так вот, теперь вы послушайте,— сказал мичман, закурил и, отодвинув в сторону стакан, начал:— Поймал раз один наш боец немца в плен. Ну, фашист сперва было упирался, потом видит — дело капут. Оружие кинул и ручки задрал. Повел его наш боец к себе в часть. Идут они, идут, охота стала закурить. Немец цигаретку в зубы и нашему коробок сует, угощает: «На, кури, рус!» А наш не берет у него и свертывает себе сам свою дымогарную, в два колена, толщиной в полено.

Теперь вынул немец свою заграничную блиц-зажигалку. Трык!— загорелась. «На, рус, прикури!» А наш боец от ихнего фашистского огня отказывается, брезгает как бы вроде. Вынимает он походное свое кресало, огниво, шнур, фитиль, и пошла искру выколачивать: чирик-чирк!.. Ну ясно, с одного-то разу редко чтоб взяло. А немец уже насмешку строит, похваляется. «Ну где, говорит, тебе, рус, против нашей заграничной техники воевать? Гляди сам». Боец наш огонек себе высек, запалил свою дымогарку да и говорит тому немцу: «А ну, фашист, дай-ка сюда поближе твою заграничную чиркалку. Крутани еще разок». Немец это подносит к нему зажигалку свою, трык пальцем колесико — пожалуйте, битте, горит! А боец как дунет на зажигалку, так сразу у немца и загасло. Немец трык-трык — не берет больше. Кончилось его дело, бензин весь вышел...

«Ну,— говорит наш боец,— а теперь на-ка, фашист, попробуй мою задуй». И подносит ему фитилек свой. Стал немец дуть — не тухнет русский фитилек. Немец кряхтит, тужится, пыжится, щеки накачал с арбуз целый... Чем больше ни дует, тем пуще огонь раздувает. Тут боец наш ему и говорит, немцу этому: «Эх, говорит, вы, фрицы! Все у вас скроено с виду на испуг, а дела-то на один фук. Глядеть, так вроде огонь, а подул — одна вонь. Ну, а мы не сразу полымем, сперва искоркой. Но уж коли разгорелись, занялся наш русский огонек, так уж тут дуй не дуй, только пуще распалишь. А чиркалки эти заграничные мы почище ваших делать можем. Будь покоен, только руки не доходят. Погоди, вот управимся с вами, не такие еще сообразим». Фашист, однако, попался характерный, упрямый: дул, дул... да так с перенатуги и лопнул! Вот и вся сказка.

— Ай да сказка!— заметила Наталья Евлампиевна.— Значит, доказал ему русский огонек.

— Выходит, так.

— Ну-ка, и мы огоньку холодного еще хватим по седьмому кону,— сказал мастер и налил из бутылки гостю и себе.

Капка понял, что делать ему тут нечего.

Ясно было, что мичман обо всем договорился с Корнеем Павловичем.

Но в комнате было так уютно, так хорошо сиделось под большими лапчатыми листьями рододендронов, растущих в кадке у окна и протянувших ветви свои над столом, и так вкусно и радушно угощала Наталья Евлампиевна, что уходить не хотелось.

— А вы бы, ребятки, рыбок посмотрели моих поближе,— сказал мастер.— Вон гляди, макроподиусы, а те маленькие — пецильки будут. А это вот красота плывет, скаляриус называется. Меченосцы еще имеются. Да ко мне из области приезжают за экземплярами. Честное даю слово. Рыбка у меня ученая. Вот постучу, они сразу и собираются.

Мастер постучал ложкой по краю стекла, и действительно, тотчас к этому месту со всех сторон кинулись пестрые и жадные рыбки. Но в это время за окном послышался уже знакомый затонским пронзительный вой, от которого сразу начинало щемить сердце. Все выше и выше становился звук, дошел до какой-то исступленной ноты, сбежал вниз и снова пошел забирать наверх.

— Батюшки, опять тревога!— всполошилась Наталья Евлампиевна и стала собирать чашки со стола.

Мичман встал.

— Мне по тревоге на месте быть полагается.

Где-то далеко застучали зенитки. Заголосили пароходные гудки на Волге. Зенитки ударили ближе. Затрещали пулеметы у пристани. Капка вскочил и потянул за собой Виктора.

— Мне тоже надо... Дома-то девчонки одни. Перепугаются.

Мичман, быстро застегнув китель, уже надел фуражку и торопливо двинулся к выходу.

Но вот сквозь треск, сквозь разнобойный стук зениток проступил какой-то чужой, враждебный ноющий гул.

— Летит,— сказал мичман, прислушиваясь, и посмотрел на потолок.

Шершавый вой пронесся над крышей, что-то со страшной силой грохнуло поблизости, домик тряхнуло, пол сместился под ногами, раздался звон стекла и плеск воды, сорвало ставни на одном окне. Когда все пришли в себя, на полу, прыгая среди осколков стекла, бились золотистые аквариумные рыбки. У Корнея Павловича было порезано стеклами лицо, текла кровь, но он, не обращая внимания на это, дрожащими руками осторожно, как берут бабочек, прикрывал ладонью бьющееся тельце рыбки и переносил ее в другой, уцелевший аквариум.

Глава 20

ТАК БУДЕТ ЗВАТЬСЯ КОРАБЛЬ

Капка и Виктор бежали по улицам. Трескучая сумятица ночной тревоги царила в черном небе. Над головой, в недоброй выси, гудели моторы самолетов. Прожекторы толклись в облаках. Огненные паучки зенитных разрывов бегали в небе над Волгой. Где-то на окраине уже занималось зарево.

— Зажигалками садит,— сказал опытный в таких делах Сташук.

У Капки стучали зубы. Его всего трясло. Первый раз он попал в такую переделку. До этого дня тревоги были лишь предупредительными и скоро давали отбой.

— Ну, чего ты?— сказал Сташук и крепко взял Капку за локоть.— Это ничего. Вот только бы он фугасками не стал опять...

Он не договорил. Снова над ними, свирепо распарывая воздух, что-то завыло, просвистело... Виктор повалил Капку на землю и прикрыл его сверху своим телом.

— Лежи, лежи смирно, макушку заслони, рот раскрой.

— А зачем рот раскрывать?— почему-то шепотом спросил Капка.

— Физику не знаешь? Чтобы звуку легче было, а то оглохнешь.

Огромная вспышка зло разодрала тьму. Тяжело грохнуло. Земля заходила ходуном вокруг.

— За переездом трахнуло,— сказал Сташук.— Лежи, лежи, еще летит, рот раскрой. А глаза, если страшно, лучше зажмурь.

— А ты?

— Я уж не все глядеть привык. Лежи.

Опять полыхнуло, и сразу затем ударило: где-то, значит, совсем близко. Потом наступила неверная тишина. Казалось, что все прислушивается и только ждет момента, чтобы снова загрохотать. Зенитки не стреляли. Прожекторы молча ощупывали небо.

— Побежали!— скомандовал Сташук и, подхватив Капку под мышку, поднял его.

Запыхавшись, прибежали они домой. Дома было темно и пусто. Капка догадался, что Рима унесла Нюшку в щель, которая была отрыта во дворе. И действительно, там они и нашли девочек. Рима сидела на дне небольшого рва, держа на коленях закутанную в пуховую шаль Нюшку. Снова рвануло где-то. Нюшка молчала и лишь смотрела на страшное небо широко раскрытыми, перепуганными глазищами. Она

не плакала; только, когда где-нибудь близко падала бомба, еще теснее прижималась к сестре.

— Одни вы тут?— спросил Капка, чувствуя себя виноватым перед сестрами.

— Зачем одни?— раздался голос из темноты, и Капка разглядел верного Валерку Черепашкина.

— Ты здесь откуда?

— А я видел, что ты к мастеру пошел, значит, думаю, дома девчонки совсем одни. Ну и все!..

— Ясно!— отозвался голос, густой, как тьма, из которой он шел. Это был Тимсон.— За мной Валерка еще давеча прибежал, когда к тебе флотский этот приперся. Мало ли что... Отбрил ты его?

— Тихо ты... Вот, познакомьтесь,— пробормотал Капка.

— Сташук!— сказал юнга, наугад протягивая в темноте руку.

Тут какая-то вспышка на минуту ослепила всех. И потом Валерка и Тимсон долго трясли друг другу руки в кромешной тьме: каждый был убежден, что он жмет руку юнге Сташуку... Тревога уходила на юг, за Волгу, как уходит гроза, не сразу угомонившись, еще прогромыхивая вдалеке, напоминая о себе вздрагивающими зарницами. Отбоя не давали. И, пока тянулись эти ночные часы, в щели под нависшим сухим бурьяном обо всем договорились.

Виктор Сташук обещал завтра же узнать у своего командования, какие должны быть у баркаса, сообразно возможностям, ходовые качества, оснастка, вместимость, а может быть, даже и вооружение. Капка решил, не теряя времени, наутро же переговорить со своими ребятами в Затоне и, в случае чего, нажать на их сознательность и местную гордость: пусть ребята чувствуют, что балтийцы обратились к ним за подмогой.

«Кроме того,— сказал Капка,— будут у нас еще работники... Ну, уж это моя забота». И он незаметно толкнул локтем в бок Тимку. Тимсон, уже задремавший, воспрянул, промычал что-то несообразное, но потом вспомнил, о чем идет речь, и, будучи человеком практичным, осведомился, сколько пассажиров может влезть на баркас за один раз, а также как будет насчет коек и кухни, если, например, случится идти в далекий поход. Сташук не преминул на это заметить, что на судах бывает не кухня, а камбуз, по койкам же судят о госпиталях, а не о кораблях, и приличные люди в плавании спят на рундуках. Что касается пассажиров, то они вообще тут не предвидятся, а вот каков будет экипаж судна, это он выяснит у начальства.

Валерка — тот сразу погрузился в мечты. Корабль, настоящий корабль, собственный корабль будет теперь у них! Уж

раз тут дело не обошлось без Капки, значит, может пригодиться и он, Валерка Черепашкин. Первом делом он стал прикидывать в своем воображении, как будет выглядеть корабль, в какой цвет его лучше бы окрасить. Потом фаитазия бедного Валерки забушевала, готовая разорваться на части. Ему хотелось, чтобы маленький корабль мог идти под парусами. Белогрудый и молчаливый, будет выплывать он из-за острова иа стрежеиь, на простор речной волны... Но, с другой стороны, на паруснике нельзя комаидовать машине «Ти-ха-ай!» и «Вперед до полного!..» Поэтому следовало бы сделать корабль и с машиной и с парусами, ведь были же такие... Ну хорошо, а как же будет называться корабль?

Все задумались. Действительио, какое же имя дать кораблю? И тогда Капка сказал:

— Знаешь, как пусть называется?.. «Арсений Гай». Можно так?

— Ну, это уж как начальник иаш решит,— отозвался Сташук.

— Нет, пусть так и зовется: «Арсений Гай»,— упрямо и решительио повторил Капка, сам вслушиваясь в звучание этого имени, которое ему показалось в эту минуту особенно прекрасиым и значительным.

— А кто это такой Арсений Гай?— поинтересовался юнга.

— Это...— Капка остановился, подыскивая слова.

Валерка горестно покачал головой, Тимсон вздохнул в темноте.

— Ои наш руководитель был в Доме пионеров... Мы ему всем обязаиы, мы ему клятву дали, когда он уезжал,— проговорил Капка.— Эх, Виктор, вот хороший был!.. Его на фронте убили...

— Он вместе с нами сам и сииегорцев надумал,— выпалил вдруг Валерка, решив, что скрывать больше уже нечего.— Ой, ты! Тимка, чего ты меия дергаешь?..

— Ничего.

Но было уже поздио.

— Так это вы и есть те самые, что записочку мне на первый день писали?— догадался Сташук.

— А кто же еще?

И Валерка, пересев на всякий случай подальше от Тимки, стал рассказывать Сташуку об Арсении Петровиче: и как оии с ним иачали играть в синегорцев и придумали Синегорию, и какой ои был веселый, и как на рыбалке он поймал сома прямо в руки, и как, спасая ребят в бурю, не испугался, а выгреб против течеиия на самом быстряке, сколько он знал книжек, и что за дивные песии складывал сам, и какие сочинял смешные слова.

— Эх, Арсений Петрович!

— Этому, бывало, уж не соврешь,— заметил Тимка.

— Ему и врать незачем было,— сказал Капка,— он был свой... Сам все понимал. Ты еще придумать только собрался, а он уже наперед знает.

— И почему это так, что людей, как Арсений Петрович был, раньше всех убивают... Эх!— вслух подумал Валерка.

И замолкли мальчишки, вспоминая своего воспитателя, его веселую мудрость, душевную дружбу с ним. Нет его больше на свете, пусть тогда хоть имя ходит по Волге, чтобы отмахивали ему встречные пароходы, чтобы читали с берега надпись на борту и спрашивали, что за человек такой был на свете — Арсений Гай... Потом потолковали о войне: «Говорят, немцы двинулись на Дон и Волгу... Сколько же везде народу мучается и не спит сейчас ночью!»

Мальчики снова смолкли в суровом раздумье. Уже часа три, как не стреляли. Хотелось спать. Кругом было очень тихо. Даже собаки притаились по дворам и не лаяли. Начинало светать. Потянуло сыроватым холодком. Ползучий туман заплывал в окопчик. А когда он растаял, зазябший Капка встал, чтобы размяться, и увидел, что Рима, держа на руках давно уже спавшую Нюшку, сама прикорнула на плече у Сташука. Юнга сидел в одной холщовой матросской рубашке. Фланелевкой его была укрыта Рима.

Сташук сидел неестественно прямо и напряженно. Не поворачивая головы, поглядывал он одним глазом на Римину макушку с гребенкой, готовой выпасть из спутанных волос, и старался дышать в другую сторону. Капка ревниво нахмурился.

— Ты бы отсел, а я на твое место,— великодушно предложил он.— Чай,уморился так?

— Ничего, пускай... спит она... разбудишь еще,— шепотом ответил Сташук.— Гребешок вот как бы не потерялся,— добавил он еще тише, не решаясь сам тронуть гребешок у спящей.

Капка подобрался к ним и тихонько поправил на голове сестры гребенку.

Вскоре колокола на пристанях ударили отбой. В Затоне громко, во весь дух, с шумным облегчением взревел гудок. И сразу стало как будто светлее, словно и солнце дожидалось отбоя, а теперь быстро вылезло из своего укрытия за горизонтом. Пески на Волге стали розовыми, как пастила. На траве, у щели, в которой сидели ребята, радужными искрами загорелись капельки росы. Захлопали калитки. Послышались везде голоса.

— Васька-а-а!— звал кто-то.— Васька-а-а! Вылазь, отбой был!..

Где-то заводили грузовик. Мотор нехотя затарахтел, на-

тужно постреливая,— видно, остыл за ночь. Громогласно перекликались петухи. Отбой, отбой!.. Все кругом бурно оживало, светлело, переговаривалось, кукарекало. Утренний ветер прошелся по реке, ероша сонную гладь воды. Дым над загашенным пожаром в Свищевке был уже не розовым, а бурым. Валерка, спавший спиной к спине с Тимкой, проснулся:

— Ой, будет мне дома от мамы!— и принялся ожесточенно трясти Тимсона.

Тот вскочил, испуганно оглядываясь вокруг:

— Что? Бомбят? А?.. Отбой?

Рима тоже проснулась, одернула платье, зябко повела плечами и только тут заметила, что укрыта краснофлотской фланелевкой. Она подозрительно взглянула на быстро отодвинувшегося Сташука.

— Ну, я пошел,— сказал юнга,— счастливо вам. Ох, будет мне надрайка от мичмана! Уж пять диевальств — это в лучшем случае.

— Что ж ты раньше не ушел? Побоялся в тревогу идти?— Рима хитренько прищурилась и, сняв с плеч фланелевку, протянула ее Сташуку.

Юнга посмотрел на нее со снисходительной укоризной:

— Вот именно что боялся. Оно и заметно.

Он почти вырвал из ее рук фланелевку. Натянул на себя, выпустил поверх синий воротник и пошел не оглядываясь.

— Дура ты, Римка!— заметил Капка.— Ей-богу, хуже Нюшки! Навязалась сама на плечо к нему, так что и пошевельнуться нельзя, а сама же дразнишься. Вот ему за тебя будет теперь в школе... Знаешь, как он меня тащил сюда, когда бомбить начали?

Рима удивленно глянула на брата, быстро передала ему на руки спящую Нюшку, выбралась из окопчика и побежала через пустырь за Виктором. Юнга шел, крупно шагая, так что разлетались в обе стороны клёши и вились от ветра ленточки за упрямым затылком. По сухой траве пустыря, отброшенная наискось, неслась за моряком утренняя тень, длинная и узкая, как вымпел. Рима нагнала его и, запыхавшись, окликнула негромко:

— Витя, ты что, обиделся?.. Не серчай!

Он остановился:

— Эх, Рима...

Только рукой махнул.

Глава 21

«АРСЕНИЙ ГАЙ»

Неудачный день выбрал Капка для первого разговора с затонскими ребятами о баркасе. Ремесленники пришли невыспавшимися, но возбужденные событиями минувшей ночи. Только и разговору было, что о фугасках, зажигалках, зенитках... Все же Капка решил не откладывать дело и потолковал с кем надо в своем цехе, а в обеденный перерыв успел перекинуться словечком с ребятами, работавшими в других цехах. Тут опять едва не вышло столкновение с Ходулей. Он влез в кружок ребят, обступивших Капку на заводском дворе:

— Это еще вопрос, обязанный ли я на этих морячков работать, если тем более хорошего от них мало. Только и знают, что насмешничают над нашим же братом.

— Тебя, Дульков, кстати, никто и не просит,— отбрил его Капка.— Участвуют, кто желающие, добровольно.

— А ты спрашивал меня когда-нибудь, желающий я или не желающий? Ты бы взял да спросил: Дульков, ты имеешь в себе желание за это дело браться? Тогда бы и знал. А то у вас Дульков заранее уже выходит какой-то вроде печальный демон, дух изгнанья.

И он обиженно отошел в сторону.

— Брось ты, Лешка, в самом деле!

— Мне бросать нечего. Ты вот гляди, Бутырев, сам не прокидайся, если такими подобными ребятами бросаться начнешь. После не подымешь.

Вообще прав был поэт, сказавший: «Тяп да ляп — не построишь корабль». Тысячу раз прав! Не столь уж хитрое дело было сговориться с ребятами и убедить ремесленников, что надо помочь юнгам. Не так уже трудно, в конце концов, было уломать разобиженного Лешку. Но, когда решительно все, казалось, было обдумано, сотни непредусмотренных трудностей, мелочей и помех стали мешать делу. Простая, скажем, вещь гвоздь, но если нужно, чтобы на обшивке он был медный, а время такое, что и простых железных не хватает, то за каждым гвоздем набегаешься...

Старый баркас очистили от песка, ракушек и засохшей тины. Крепкий дубовый набор судна был еще хоть куда, только два ребра-шпангоута оказались сломанными. С обшивкой дело было хуже, она сильно пострадала. Надо было местами перешить борт. Тес для этого выхлопотал на лесной пристани сам Виктор Сташук. Много хлопот было с нефтяным двигателем. Он заржавел, в выхлопной трубе застрял дохлый рак, чугунный маховик был расколот, бачок проела

окалина. Тут дела было много. Кое-что пришлось отливать заново, отдельные части перетачивать. Работы хватало.

Синегорцы решили сами собрать все навигационное хозяйство для баркаса. Набор сигнальных флагов коллективно, и не без содействия товарища Плотникова, выпросили у клуба водников — флажки висели там без дела, на террасе читальни, ведомственно изображавшей палубный балкон. Посуду для камбуза ребята собрали сами. Правда, с этим были неприятности, и пришлось вернуть в заводскую столовую оловянные ложки, вольно заимствованные оттуда. Ходуля на этот раз переусердствовал... Зато все кружки и тарелки были честно добыты синегорцами у матерей путем длительных уговоров. Сервиз подобрался несколько пестрый, но под донышком каждой кружки и тарелки был герб синегорцев: над этим потрудились немало Тимсон и Валерка. Кира Степушкин, бывший, как известно, лучшим искателем металлолома, подобрал где-то маховичок, как раз такой, какой требовался баркасу. Кроме того, он притащил старый, охрипший клаксон от грузовика. Коля Марченко принес пластинки «Раскинулось море широко» и «Прощай, любимый город». Хотя патефоном еще не обзавелись, но начало делу было положено. Веня Кунц выхлопотал у отца в больнице маленькую походную аптечку. Юра Плотников оснастил корабль шахматами. Каждый старался участвовать как мог в строительстве корабля. А когда потребовались занавески на четыре окна в маленькой каютке баркаса, пришлось обратиться к помощи Римы, и она сшила премилые гардинки.

Валерка был немножко разочарован в своих цветистых мечтах: начальник школы, последнее время очень торопивший ребят, приказал, чтобы окраску баркаса дали защитную, как того требовало военное время.

Борт и каюту баркаса юнги замалевали сизой шаровой краской — так теперь красили все пароходы на Волге: этот цвет помогал судам оставаться не замеченными с воздуха.

Дело подвигалось очень медленно. Уже давно перестали годиться на свистки пожухшие, ставшие ломкими, словно испеченные солнцем, стручки акации. Уже привезли на дощаниках из близкой Дубовки тяжелые дыни-скороспелки с зеленой сетчатой кожей, похожей на крокодилову. Плоты пришли с далеких верховьев Волги — огромные плавучие поля из душистых бревен, связанных цепями в четыре яруса, с домиками и мостиками. Плотогоны рассказывали, как отбивались они от самолетов, как горели плоты, попавшие в пылающие струи Волги, когда на поверхности воды растекался и плыл горящий мазут из взорванной нефтянки. Близилась осень. Дул горячий суховей из прикаспийских пустынь, а с Дона дымный ветер войны гнал все ближе к Волге неслыхан-

вое и грозное бедствие: на пристанях и на базаре поговаривали, что, пожалуй, немца до Волги не остановить.

И в эти уже тревожные дни ремесленники и юнги приготовили баркас к спуску. Накладными буквами из латуни вывели название на обоих бортах: «Арсений Гай». И на скулах носа прибили по маленькому гербу снегорцев. Не всем был понятен этот знак, но так хорошо поработали друзья Капки Бутырева, что строгие балтийские юнги не стали спорить: штучка медная, красивая, пусть блестит себе.

Наконец все было готово. Начальник школы, теперь ежедневно бывавший на заводском дворе, где стоял на стапелечках и салазках баркас, разрешил спускать корабль на воду.

В маленькой каютке на стенке около барометра повесили портрет Арсения Петровича Гая в военной форме.

На спуск обещал приехать сам товарищ Плотников. Но что-то задержало его. Начальник решил не ждать и приказал готовиться к спуску. Гирлянда разноцветных, пестрых, как на елке, сигнальных флажков протянулась от носа и кормы баркаса к высокой мачте. На гафеле мачты подняли флаг Военно-Морских Сил Советского Союза.

Баркас покоился на катках, выложенных по отлогому склону берега. Все, что могло блестеть на баркасе, было начищено и яростно сверкало на солнце. Ветер пробегал по флажкам, как по клавишам. На мостках у берега усердствовал духовой оркестр школы юнгов. Рьяно рявкал огромный, басистый геликон, едва не удавивший в своих медных кольцах коротышку-трубача, красного от натуги. На медных тарелках барабана, вспыхнув, лязгали расплюснутые солнечные блики. Других инструментов слышно уже не было.

На палубе баркаса вдоль протянутого леера выстроились пятеро юнгов, первыми справа — Сташук и Палихин. Начальник школы легко, не держась руками, взошел по трапику, приставленному почти отвесно к борту; он поискал глазами среди ремесленников Капку, зна́ком подозвал к себе и, нагнувшись через поручни, пригласил взойти на борт. Капка вскарабкался на палубу. Начальник поднял руку. Оркестр замолк. Все приготовились слушать. Но никто не ожидал, что капитан первого ранга Иванов-Тарпанов так странно начнет свою речь:

— Кто из вас, друзья, слышал такое слово: батрахомиомахия?..

Начальник лукаво оглядел собравшихся. Все молчали. Никто не знал такого слова. Даже Валерка и тот его никогда не слышал.

— Слово трудное и длинное,— продолжал начальник,— и означает оно по-гречески: война мышей и лягушек. Учил я когда-то в старой гимназии греческий язык и даже двойку

получил за это самое слово. А уж за что тебя в детстве выдерут или пару влепят, это никогда не забудется... Почему же я вспомнил это слово именно сегодня? А потому, друзья, что вот и у нас сперва была тут этакая батрахомиомахия, не в обиду вам будь сказано. Ну, кто из вас сухопутных мышей изображал, кто земноводных лягушек,— это вы сами разбирайтесь. Только о подвигах ваших ратных я был наслышан. И скажу вам со всей откровенностью: не по себе мне было, когда видел я, что в такое неописуемое время, в такую тугую пору идет какая-то глупая мышиная возня и болотная кувырк-коллегия между такими славными ребятами.

Он говорил о новой дружбе, которая свела вместе затонских ребят с юнгами, поблагодарил за помощь ремесленников. Юнги, став «смирно», слушали начальника; ловили каждое слово моряка затонские. И все посматривали на маленький корабль, блестевший металлическими частями на солнце, пахнувший свежей краской, готовый вот-вот соскользнуть с катков на воду. Начальник подошел к поручням и обеими руками бережно, как венок, снял спасательный круг, на котором большими буквами было написано: «Арсений Гай».

— Помянем, друзья, благодарным словом этого человека. Верно, смелое и доброе сердце у него было! Каких надежных работников воспитал! Недаром некоторые из них прозвали себя снегорцами. «Отвага, Верность, Труд — Победа»— вот их боевой девиз. Пусть это вначале пионерская игра была, пусть была сперва только сказка, тихая думка у костра, ничего в том плохого не вижу. В ясной голове возникла, из хорошего сердца выросла и, глядите сами, в славном деле пригодилась. Пусть же теперь плавает по Волге наш малый корабль береговой обороны, учебное судно «Арсений Гай». Вечная слава, друзья, имени этому!..

Потом все стали на места. Начальник дал команду. Из-под баркаса выбили колышки, удерживавшие его; заскрипел, сматываясь с во́рота лебедки, трос. И салазки, на которых стоял баркас, заскользили по каткам к воде. Юнги, не шелохнувшись, стояли на наклонной палубе. И с ними в одном ряду стоял Капка Бутырев. Оркестр грянул марш, юнги и ремесленники прокричали «ура», баркас съехал кормой вперед с берега, вспенил воду, погнал кругами небольшую волну, выровнялся и поплыл, слегка покачиваясь.

Вот она, минута, которой так долго ждали и ремесленники, и юнги, и снегорцы. Вода успокоилась, и нарядное отражение маленького корабля опрокинулось в глубину, как в зеркале.

Чу-бух, чу-бух, чу-бух!— старательно забубнил двигатель. Катали ремесленников, юнгов и гостей. Баркас, отлично слушаясь руля, делал круг по Затону и плавно подходил к мост-

кам, высаживая гостей и принимая новых пассажиров. После катания по Затону «Арсений Гай» должен был совершить испытательный рейс по открытой Волге и затем зайти на островок. Мичман Пашков, Сташук, Палихин и почетные гости — мастер Корней Павлович с Капкой — заняли свои места на корабле. С берега на них умоляюще глядели Валерка и Тимсон. И столько надежды было в их глазах, что мичман в последнюю минуту, когда уже отдали чалки, разрешил им обоим участвовать в плавании.

— Сходни прими!— крикнул Корней Павлович.

— Трап убрать!— сейчас же поправил его мичман.

Под палубой затопотал двигатель, запахло кислым угарцем, винт взбурлил воду, и «Арсений Гай» отвалил от мостков. Он плыл по Затону, а его сопровождала целая флотилия лодок, украшенных зелеными ветвями, как на троицын день. Лодки назывались «Чайка», «Вера», «Волна». На одной лодке ехал оркестр. И «Арсений Гай» шел во главе этой флотилии, как флагманский корабль.

Вышли на коренную, как называли ходовое русло Волги. Свежий верховой ветер вольно гулял здесь по всему простору. Зажурчали вдоль скул баркаса волны. Дрогнула, гудя, мачта, ветер ударил в снасти. Слегка качало. Сверху показался огромный теплоход, у трубы его вздулся белый комочек пара, и ветер донес солидный гудок. Потом с левого борта теплохода замелькал белый флажок, и Валерка с восторгом видел, как сбывается его мечта: большой волжский пароход отмахивал «Арсению Гаю», как полагается при встрече с судном, сто́ящим внимания...

Мичман дал Валерке флажок для отмашки, и, весь красный от волнения, Валерка отмахнул теплоходу налево, давая ему знак, что «Арсений Гай» согласен разойтись левым бортом.

Лодки поотстали и вернулись в Затон. А баркас, сделав круг по Волге, повернул обратно к острову Товарищества. Вода в проране уже сильно спала. Можно было пристать лишь в заливчике, далеко от пещеры, да и то осторожно промеривая глубину длинным полосатым шестом-наметкой.

«Арсений Гай» зашел в небольшую бухточку, где, как объяснил Корней Павлович, была суводь и вода медленно кружилась на одном месте, как в котелке. Здесь бросили якорь и стали сходить на берег. На острове Товарищества гостей уже поджидали пионеры-синегорцы, переплывшие сюда на лодках. И Валерка повел всех по заветному острову. Все было показано гостям — и залив Вьюнка, и небольшая возвышенность, носившая громкое название Лазоревых Гор, и мыс Радуги, и пик Стрела, и тропинка Трех Мастеров, и, наконец, сама пещера Большого Костра.

Гостей пригласили сесть за Круглый стол. У входа в пещеру разожгли костер, сииегорцы спели свою песню «На подвиг и на труд иас Родина зовет...»

— Ну, Валерка, ты обещал рассказать,— попросил Сташук.

Валерка подиялся, с некоторым смущением покосился иа мастера Корнея Павловича, на седоусого мичмана. Но и мичман и мастер с доброжелательиым интересом приготовились слушать рассказ. За кустами у берега качалась мачта «Арсеиия Гая», играли в ветре цветные флажки. Валерка начал свой рассказ о Синегории, о Трех Мастерах и о борьбе их с жадиыми Ветрами. Все слушали с большим вниманием. Изредка мастер Корней Павлович отпускал замечание:

— Вон что сделали...

— Да, оборот получается серьезный,— вставлял свое слово мичмаи.

— Ты дальше, дальше рассказывай!— нетерпеливо кричали юнги.

И Валерка, окинув торжествующим взглядом гостей, продолжал свой рассказ...

Вдруг на «Арсении Гае» громко загудел автомобильный сигнал. Все вскочили и побежали к берегу. Дежуриый юнга, оставшийся сторожить корабль, доложил мичману, что с берега Затона что-то «пишут» флажками. Юнги привычиым глазом быстро разобрали сигнал. С берега семафорили, чтобы «Арсеиий Гай» немедленно возвращался.

Запустили двигатель, стали выбирать якорь, ио тут хватились, что нигде нет Тимки. Мальчики обшарили все кусты и пещеры, но как ни кричали они, как ни вызывали пропавшего, иикто не откликался, словно ветер унес Тимсона. Делать было нечего — с берега настойчиво торопили, и юнга, стоявший там на мостках, нетерпеливо сигналил флажками. Пришлось идти без Тимсона. Несколько ребят остались на острове, чтобы потом доставить Тимку домой иа лодке.

Все были не иа шутку обеспокоеиы.

Кораблик был уже иа середине прораиы, когда из пожарного рундука на корме показалась сониая голова Тимки.

Его, оказывается, слегка укачало на коренной, ои забрался в рундук, заснул там и даже ие слышал, как останавливался и отчаливал баркас...

На берегу Затона ждало миого иароду. Тут был и сам товарищ Плотников, и начальиик школы, и еще какие-то незнакомые военные. Высокий, загорелый дочерна, с тремя боевыми орденами на кителе, внимательно оглядел баркас:

— Каков ход?

— Ход иебольшой,— отвечал иачальиик,— узлов девять даст — и хватит.

— Набор весь деревянный?.. Добро́! А осадка? Ну что ж, я считаю, годится. Забираем.

Ребята ушам своим не верили. Ничего не понимая, они вслушивались в разговор с начальником. Только Сташук жадными глазами, казалось, ел загорелого моряка. Тот подошел к мичману Пашкову.

— Здоров, Пашков. Твои орлы?— Он мотнул головой в сторону юнгов.

— Мои. А это местные.

— Ну добро́,— сказал моряк.— Так вот что... придется вам на время распрощаться с этой посудинкой.

— Почему такое?

— А потому такое, что немцы Волгу минируют. На фарватере с воздуха ставят. У Песковатки вчера баржа подорвалась. Тралить надо, а тральщиков нет. Весь малый флот для этой надобности мобилизуем.

Юнги, помня дисциплину, стояли молча поодаль. Только на лицах у них сквозили и зависть и смятение. А ремесленники народ повольнее, те зашумели, придвинулись, обступили.

— Браточки, спокойненько. К чему аврал?— обратился к ним загорелый моряк.— Вопрос ясный. Как на блюдечке. Судно подходящее, деревянное: мину не притянет. В самый раз нам. Значит, берем. И весь разговор. Надо же понимать. Не игрушка. Нужное дело. Смеетесь — война!

Ошеломленный Валерка с надеждой посмотрел на Плотникова, потом на начальника, затем на Капку и снова на Плотникова. Но все молчали. И Валерка понял, что дело решено. Игра кончилась. На Волгу пришла война. «Нет,— сам себе ответил Валерка,— нет, все злые ветры не устрашат потомков Великих Мастеров. Верные синегорцы высылают навстречу ветрам свой боевой корабль. Все продолжается. Вперед, синегорцы!»

А коренастые краснофлотцы уже хозяйничали на баркасе, сновали по палубе, размечали место для зенитного пулемета, заглядывали в машинный трюм.

— Кораблик дай боже!— похвалил загорелый моряк.— Молодцы, ребята! Подходяще сообразили. Флотское вам спасибочко. Не горюй, браточки. Подымай нос до места! Гляди веселей! Гордиться надо, что такая подмога от вас флоту.

Тем временем Сташук уже просился у начальника, чтоб ему разрешили остаться в экипаже баркаса, но начальник приказал Сташуку оставаться на берегу...

И через четверть часа юнги и ремесленники, сгрудившись на мостках, махали фуражками и бескозырками вслед баркасу, который покидал Затон и выходил из прораны, огибая мысок Радуги на острове Товарищества. Кто-то, вероятно

смуглый моряк, махал рукой ребятам с кормы баркаса. Круто взяв на перевал, последний раз сверкнув на солнце гербом синегорцев, ушел за Лазоревые Горы на коренную Волгу минный тральщик боевой волжской флотилии «Арсений Гай».

Глава 22

ЗАРЕВО НАД ВОЛГОЙ

Немцы шли через степь. Танки их неудержимой панцирной лавиной катились к Волге. Затонск заполнили толпы запыленных, измученных бессонницей и тяжелой дорогой людей. Шли в Заволжье обозы беженцев, везли раненых. Их переправляли с правого берега на лодках, на плотах и паромах. Угрюмый огонь горел в глазах людей. И были они странно молчаливы. Часами, не разжимая спекшихся губ, сидели они на берегу, безучастно глядя в уже обмелевшую у города Волгу с обнажившимися перекатами. А ветер, дувший из-за реки, уже отзывался запахом гари и пороха... И даль за Волгой была мутна от пыли или дыма.

Вокруг города возводили укрепления, рыли окопы, вколачивали противотанковые надолбы. Ставили тяжелые ежи из рельсов.

Синегорцы великодушно предоставили юнгам свой заветный остров Товарищества, и там юнги отрыли учебные противотанковые окопы, провели соединительные ходы сообщения. И часто туда к известковым берегам причаливали лодки, высаживая на островок юнгов и сдружившихся с ними ремесленников, а также Валерку и Тимку, без которых ни одно дело не могло обойтись.

Балтийские юнги узнали язык волгарей, и Виктор Сташук щеголял теперь волжскими словечками: слаба́я чалка, суводь, ходова́, дурная вода, не маячит...

Все чаще и чаще выла по ночам сирена воздушной тревоги. Синегорцы не раз помогали затонским и юнгам тушить пожары.

— Обязаны мы ребятам, очень обязаны,— говорили потом в Затоне.

Часто в Затон приезжал товарищ Плотников. У него были красные от бессонницы глаза, щеки глубоко запали от нечеловеческого переутомления, а широкие плечи стали острыми, как у кавказской бурки. Но, завидев Капку, он издали протягивал ему большую руку:

— Ну, как делишки? Хвалят кругом вас. Все собраться никак не могу историю вашу дослушать.

Но вот за Волгой, в том месте, где когда-то сочился серебряный свет живых огней, небо налилось зловещим, словно адовым заревом. Молча стояли на берегу затонские. Все поняли, что это горит за Волгой город степняков и волгарей, город пролетарской славы. Когда-то его далекие огни маячили за Волгой и веселили ночь, на всем в Затонске заметен был свет великого соседа. Так и теперь все вокруг залило тревожным, тяжелым огнем его беды. Враг прорвался к его стенам. Тяжко гудела вся округа. Кровавый дым и днем застилал горизонт, за которым разверзлось пекло огромного сражения. Ревущие столбы взрывов поднимались из реки. Немцы по ночам минировали Волгу. Подрывались на минах пароходы и баржи.

Городок пустел. Из Затонска эвакуировали детей. Уезжали все, кто не был нужен для работы городка. Пришла очередь ехать и Риме с Нюшей.

Лил дождь в этот день. Пронзительный ветер свиристел в мокрых ветвях школьного сада. Потемнел песок на отмелях, и Волга была пустынная, бурая, в беляках. Капка и Сташук пришли к исполкому, таща узлы с нехитрым имуществом. Рима, бледная, в драповом пальто, перешитом из материнского, держала за руку укутанную в шаль Нюшку. Пришли, конечно, и Валерка с Тимкой. Валерка подарил на прощание Риме маленький карманный компас, когда-то вымененный им на марки.

— Возьми, может, пригодится, мало ли что,— сказал он великодушно,— и помни, главное, одно: что мы от тебя будем на юго-запад. Разберешься?

— Спасибо,— сказала Рима, рассматривая компас, и тут же дала его Нюшке:— Смотри, Нюшенька, какие часики хорошенькие!

— Давай по машинам!— закричали шоферы.

Капка взял из рук сестры Нюшку, отодвинул шаль на ее щеке, поцеловал и поднял на грузовик.

— А Рима?— забеспокоилась Нюшка и собралась зареветь.

— Сейчас, сейчас я,— сказала Рима.— Ну, прощай, Капа, смотри тут...— Она всхлипнула.

Капка неловко, как-то боком, поцеловал ее в щеку.

— Ты там сама смотри за Нюшкой,— пробормотал он, лишь бы что-нибудь сказать.

— Ну, счастливо оставаться... Витя, прощай,— сказала Рима, протягивая руку Сташуку.

— Счастливо и тебе,— проговорил Виктор и долго не отпускал руку Римы, а она не решалась высвободить ее.— Пиши смотри,— добавил он.

— И ты смотри пиши,— сказала она и еще раз крепко и медленно сжала его руку.

Тут появился вдруг Лешка Ходуля. Он давно уже стоял в отдалении, не решаясь подойти, а теперь приблизился, долговязый, смущенный.

— Покидаете?— заговорил он.— Выхожу один я на дорогу... Едете, значит.

Он замялся, поглядел на Капку и Сташука, вздохнул, полез в карман и вынул оттуда маленькую медную зажигалку.

— Может, возьмешь на память?— сказал он, протягивая зажигалку Риме.— Пригодится вещичка. Знаешь, как без огня в дороге... Ты бери, бери, не думай...

Рима с опаской посмотрела на брата, неловко глянула на Сташука, но моряк и Капка снисходительно улыбались...

— Бери,— разрешил Капка.

И Ходуля понял, что он прощен. Потом Рима, ухватившись за борт грузовика, ступила на толстую шину. Виктор поддержал ее за локоть, и она влезла на машину. Капка вспрыгнул за ней, разобрал вещи, усадил Нюшу, поправил на ней шаль, нахмурился и соскочил. Машины зарычали, тронулись. Что-то кричали с грузовиков ребята, оставшиеся медленно махали руками вслед. Послышались напутствия и обещания, последние утешения и приветы. Машины, расплескав лужи, скрылись за поворотом. Около исполкома сразу стало очень тихо и пустынно.

— Вот и покатили,— сказал Капка. Он попробовал посвистеть, но губы не послушались, и ничего не вышло.— Теперь в общежитие перейду, чего ж дома-то одному...

— А нас, я слыхал, совсем куда-то перевести хотят,— проговорил Виктор.— А я прошу, чтобы на волжскую флотилию меня. Там наши балтийцы... говорят...

— Да, и об нас разговор ходит, что переведут... Все ж таки, понимаешь, резервы мы как-никак. Берегут.

Холодный, пропахший серным дымом ветер дул из-за Волги. Темнело. И злое, подрагивающее зарево уже проступило, тлело и разгоралось за рекой. Тяжелый слитный грохот огромной битвы день и ночь плыл оттуда. И к этому немолчному грому боя прислушивались не только в Затонске — весь мир сейчас с тревогой внимал реву этой страшной битвы и следил за свирепым заревом над Волгой.

Глава 23

ОСТРОВ ТОВАРИЩЕСТВА

Шли недели, день сменял день, но никто не сменял защитников Волги, которые отбивались от фашистов там, на правом берегу, в развалинах сожженного, но не сдающегося города. Не смолкал за Волгой громоподобный рокот великого сражения, и зарево над рекой иногда так раскаляло небо, что в Затонске было светло по ночам.

И вот наступил памятный для городка октябрьский день, хмурый, туманный, с мокрым и резким ветром, который дул с верховья Волги. Нехотя занималось холодное, позднее утро. Было еще темновато, когда Капка шел по берегу. Он был послан в другой конец Затона с делом — отнести инструменты. Вдруг он увидел, что от берега по большому пустырю опрометью бегут к нему навстречу двое. Через минуту Капка узнал в них Тимсона и Валерку.

— Капка!..— зашептал, весь трясясь, задыхаясь, Валерка.— Мы хотели на лодке... а там, у нас там...

Одной рукой он схватил Капку за шинель, другой показывал в сторону Волги. Он не мог говорить от волнения. И впервые за него должен был сказать Тимсон.

— На нашем острове народ какой-то,— сказал он с непривычной для него торопливостью.— Кто их знает, кто! Понимаешь?

Капка бросился к берегу пропаны. Тимка, отдуваясь, бежал за ним. Валерка немножко отстал. Они выбежали на берег, и Капка велел спрятаться за разбитую купальню, давно уже стоящую на мели и загрязшую в мокром песке. Он осторожно выглянул и через неширокий пролив разглядел на острове каких-то странных людей. Казалось, что залив Вьюнка кишит ими. Они сновали в кустах по берегу, быстро собирали что-то большое, пятнистое, матерчатое и спешно тянули какие-то веревки. На людях были темно-зеленые комбинезоны и шлемы. Они очень торопились, это было заметно даже издали. Капка замер, чувствуя, как по затылку от фуражки вниз по спине его щекотнул неприятный холодок. Он вспомнил, что несколько минут назад слышал шум мотора в тумане, но самолета не видел, хотя, судя по звуку, он прошел совсем низко. Сперва Капка подумал, что, может быть, это наши летчики прыгнули на парашютах с подбитого самолета. Воздушные бои то и дело разыгрывались над городом и были тут уже не в диковинку. Но Капка ясно разглядел, что люди на острове Товарищества что-то роют на берегу, подтаскивают пулеметы, спускают на воду резиновые лодки и, судя по всему, собираются перебираться на другой берег Затона.

Секунду Капка стоял в нерешительности, потом кинулся к товарищам:

— Быстро давайте, ребята... Это немцы... Сообщить надо! Бегите!

— А ты сам?— спросил, дрожа от возбуждения, Валерка.

— Я к флотским побежал... Их тоже надо...

Валерка и Тимсон, сгибаясь за опрокинутыми лодками, а где надо — на четвереньках, бросились к небольшой казарме, в которой была размещена рота ополченцев, охраняющих Затон. Валерка оглянулся, приподнял голову, чтобы посмотреть, где же Капка, но его уже нигде не было.

Через минуту ополченцы высыпали на берег, залегли за камнями и лодками, открыли огонь. Но немецкие парашютисты на резиновых лодках уже подплывали к берегу, соскакивали с них и по грудь в воде бежали к городку. Забили пулеметы с островка. По всему берегу захлопали выстрелы. На пристанях часто, набатом, забили колокола. Закричал буксир. Далеко в Затоне залился громкий тревожный гудок Судоремонтного. Завод звал на помощь, завод трубил не умолкая, и Капка издали слышал голос своего завода. «Сейчас, сейчас!— твердил про себя Капка, увязая в мокром песке.— Сейчас... Погоди, поможем!»

И, когда гудок в Затоне вдруг замолк, Капка на мгновение даже остановился, но потом снова бросился к переезду.

Ополченцы отстреливались, заняв оборону вдоль берега. Несколько фашистов, не добежав до берега, свалились в воду; они лежали на мелком месте, и над поверхностью видны были их темно-зеленые комбинезоны. Но другие уже добрались до берега, засели в овражке, промытом сточными водами. Пулеметы с островка слали очередь за очередью. Одна лодка доплыла до берега пониже овражка, парашютисты выскочили, залегли, а потом короткими перебежками стали обходить ополченцев. Защитники Затона должны были податься назад. Положение их ухудшалось с каждой минутой. Их могли окружить, так как овражек, в котором засели немцы, глубоко врезался в берег и огибал защитников с тыла. Пулеметы фашистов простреливали всю местность. Пули неслись над железнодорожным переездом, где когда-то встретились впервые юнги и ремесленники. Гитлеровцы обстреливали всю линию, боясь, что из-за полотна железной дороги может ударить на них какая-нибудь засада. Они вели так называемый отсечный огонь на случай, если оттуда, из-за переезда, появится подкрепление защитникам Затона.

Но что это там за маленькая фигурка в шинели с подоткнутыми под пояс полами ползет через переезд?.. Пули взвизгивают над ним, цокают о рельсы, а мальчик все ползет и ползет. Это наш Капка Бутырев спешит пробраться под

огнем через железнодорожное полотно и сообщить юнгам об опасности.

Звиг-звиг-звиг-звиг!..— у самой головы его звонко лязгнули о рельсы пули из немецкого автомата. Капка припал к земле, полежал минутку, осторожно пополз дальше. И вот он уже во дворе школы, где собравшиеся юнги беспокойно прислушиваются к близкой пальбе. И, задыхаясь, грязный, весь в глине, кричит на них Капка:

— Чего стоите, флотские? Немцы на остров десант скинули, к нашему заводу уже подходят!

Сташук крепко взял его обеими руками за отвороты шинели:

— Стой! Ты говори толком, не части... Ну! По порядку!

— Сейчас...— Капка задыхался.— Сейчас!.. Я по порядку! Стой, отдышусь. Бежал очень быстро... Немцы там, за переездом, овраг заняли, за пристанями... А наши по берегу укрепились... Ополченцы. Им там трудно очень. Фашистов много. Слышишь, Витя? Помочь надо! А то прорвутся немцы, они с острова бьют...

Юнги обступили их со всех сторон, сгрудились вокруг, настороженно прислушиваясь.

— А ты как сюда пробрался?— спросил Сташук.

— Я ползком. Меня два раза вот настолько пуля не задела. Витя, скорее надо! А то наших там мало осталось.

— Полундра!— закричал Сташук.— Свистать всех! Где Антон Федорович?

Как на грех, сам начальник школы в тот день уехал, чтобы выяснить, что слышно о переводе юнгов на другое место. Мичман пытался созвониться с городом по телефону, но связь была уже нарушена.

— Давай ключи, разбирай оружие!— командовал тем временем Сташук.

Пока Антон Федорович, хрипя, бился над телефоном, крепко ругался в трубку и, наконец, в бессилии бросил ее на стол, юнги уже выстроились во дворе, разобрав оружие, которое имелось в школе. Капка подошел к Сташуку:

— Витя, возьми меня, я тоже!

— Да пошел ты!.. Игрушки, что ли, это? Это тебе не кино и не синегорцы ваши! Жизнь надоела?

— А тебе что, надоела?

Сташук строго глянул на него и резко отвернулся, пожав плечами:

— Уж моя такая обязанность, я моряк, военный юнга.

— Ну, а я пехотный юнга буду!— со страстным убеждением настаивал Капка.— Все равно, Витя, возьми, а Витя! Дай мне гранаты. Я ведь почище тебя бросаю. Витя, а? Я вот фуражку сейчас задом наперед надену, вот так, козырьком

наоборот, и тоже буду на манер моряка. Заодно с вами. Витя, возьми, а то сам пойду.— Он сжал кулаки и, едва не плача, наступал на Сташука.— Не имеешь ты права меня не брать! Слышишь, Витька! Это не по справедливости. Я к вам через бой пробрался, а вы меня не принимаете. И я тут всю местность знаю. Я вам такую тропочку покажу... Витька, возьми...

— Да ладно, отвяжись только.

Юнги с винтовками, гранатами уже выбегали со двора школы. Мичман нагнал ребят.

— Антон Федорович, слышали, какое дело?— крикнул, не останавливаясь, Сташук.

— Слышал я, слышал. Сташук. Что это за порядок? Кто приказал? Где разрешение? Слушай мою команду. Рота, стой!

Юнги остановились.

— Сперва надо разведать расположение противника, а что же так дуром на пулю лезть? Учили, кажется, вас.

— Антон Федорович,— обратился к нему Сташук,— разрешите. Вот Капка все уже разведал.

— Капка? Это что за такой Капка?.. Ах, это ты будешь! Знакомый. Ты чего такое говоришь? Быстро!

— Они вон там, в овражке в том, за переездом. А пулемет у них на острове нашем,— заторопился Капка.— Товарищ командир, я вам чего скажу, слушайте... Тут можно за пригорком через кусточки на берег выйти, а оттуда незаметно совсем будет для немцев. А там как раз у прораны поворот делается. И мелко сейчас совсем. Я там каждое место знаю. Я покажу, где... Мы на остров и выберемся. У немцев сзаду... А немцы ведь думают, что это правда остров, они думают, к ним и не добраться, а там, в проране, мелко, я покажу.

Мичман на секунду задумался, обернувшись к Волге, покусал усы, потом, видимо, одобрил план.

— Значит, тихо,— приказал мичман.— Чтоб молчок, чтоб ни звука. Ударим с тыла. Гранаты чтоб в готовности были. И сразу по моей команде. А до этого чтоб ни-ни! Ясно?

Капка вывел юнгов через кусты на берег прораны там, где рукав реки делал крутой поворот.

— Вот тут мелко совсем, мне по грудь, а вам уж и вовсе хорошо будет,— звал Капка, первым зайдя в нестерпимо холодную воду у берега.

Издалека продолжала доноситься частая стрельба, судорожный стрекот пулемета. Потревоженные птицы носились над островком. Юнги сбросили шинели, оставили их под кустами, завернули выше колен клеши, разулись и, высоко держа гранаты и винтовки, вошли в воду. Она была по-октябрьски студена и обожгла сперва, а потом тело немножко свыклось, и вода не казалась уж такой ледяной. Капка оказался

прав: вода на отмели была юнгам не выше пояса. Но сам маленький проводник погрузился уже почти по самую грудь. Тогда Стащук и Палихин подхватили его с двух сторон под мышки и перенесли через глубокое место. Они быстро выбрались на берег островка. Немцы были на другой его стороне, за поворотом, и никак не ждали нападения отсюда: остров казался целиком отрезанным от левого берега Волги.

Юнги залегли цепью и поползли. Холодный ветер сипел в оголенных кустах. Сыпалась изморось. Сухая, выгоревшая за лето трава была холодна и мокра. С прутьев ивняка срывались отяжелевшие капли. Дрожь пробирала юнгов, вымокших при переходе вброд протоны. Рядом с мичманом, у левого плеча его, полз гибкий, изворотливый Стащук, а справа сосредоточенно пыхтел маленький Капка Бутырев. Он для чего-то надел черные суконные наушники, которые носил иногда зимой, в холодные дни, и перевернул фуражку задом наперед, так что она смахивала теперь на бескозырку. Оттого что они ползли, прижимаясь к земле, мир казался им очень высоким, деревья, кусты, былинки и самое небо — все ушло вверх.

— Ну как, ручок, не страшно?— тихо спросил Стащук.

— Пока еще не страшно совсем,— шепотом ответил Капка,— а так только, боязно чуток.

— Разговорчики!— зашипел на них мичман.

Они ползли, и все громче отдавался в ушах частый стук близких пулеметов, низко посвистывали пули. Учебный ров, вырытый недавно юнгами, был совсем уже рядом, за кустами. Во рву и сидели немцы, живые немцы, немцы, обстреливавшие с островка Затон. Юнги бесшумно подползали.

— Передать по цепи. Слушать мою команду,— шепотом приказал мичман.— Товь-сь! Встали... За мной!

Стащук пронзительно засвистел в два пальца и швырнул гранату. Капка бросил свою. Крики «ура», «бей фашистов», «балтийцы, вперед» слились с трескучим грохотом разрывов, с беспорядочным щелканьем выстрелов. Капка почувствовал, что какая-то сила увлекает его вперед и он летит в ров.

Глава 24

ПОД ЗЕМЛЕЙ

Фашисты, должно быть, не сразу поняли, что случилось, когда на них с тылу в упор, слепя, кроя огнем и грохотом, посыпались в ров гранаты и откуда-то сзади, где за минуту до этого никого не было, с гиканьем, визгом и свистом какие-то разъяренные дьяволята свалились на головы и на плечи

парашютистам. Гитлеровцы не сразу начали отстреливаться. Гранаты оглушили их, неожиданность сбила с толку. Стесненные узким пространством рва, десантники пытались выкарабкаться из него, но цепкие мальчишки повисали на ногах, стаскивали немцев обратно, душили, прыгали с налету, кололи штыками, матросскими ножами — бебутами. Фашисты пустили в ход тесаки. Свирепая резня закипела на дне рва. И дальше было уже трудно разобрать что-нибудь в общей кромешной свалке. Капка, падая, видел только, как несколько юнгов ничком свалились на дно траншеи. Их давили, топтали пудовые ботинки с толстыми подошвами, обитыми шипами. Потом Капка увидел около себя Сережу Палихина. Он обливался кровью. Вот Палихин свалился, но оперся сперва на одно колено, потом подтянулся, встал и опять бросился на немцев, ухватив обеими руками дуло автомата у одного из парашютистов. Капку притиснули к сырому глинистому откосу рва. Он был здесь самый маленький, рукопашная бушевала над ним. Капке видны были главным образом ноги сражающихся. Он видел мокрые клеши юнгов и кованые бутсы парашютистов, топтавшиеся в неистовой толчее, месившие глину, оступавшиеся. И он делал что мог: хватал, царапал, дергал, валил эти зеленые слоновьи ноги в огромных бутсах... Он пытался кинуться на помощь Палихину, но увидел, как высокий парашютист ударил с маху прикладом автомата юнгу по голове и тот упал навзничь. В ту же минуту сзади на фашиста кинулся Сташук:

— А, фашисюк, жаба, получай! Так, добро! Капка, держи его там снизу!

Капка что было силы рванул фашиста за ногу. Тот поскользнулся, и Сташук ударил его сзади бебутом под лопатку. Немец тяжело осел и кулем перевалился через Капку на дно рва. Капка весь съежился от омерзения и выбрался из-под тяжелого тела. С немцами во рву было покончено. И в это время из-за железнодорожной насыпи у Затона ударили через прорану автоматы и пулеметы. Это прибыло первое подкрепление. Красноармейцы вместе с ополченцами бежали к берегу Затона. Уже наплывало, становясь все громче и яростнее, протяжное «ура».

И вдруг сбилось, замолкло... Откуда-то сбоку длинными и частыми очередями забил с островка немецкий пулемет. Это один из парашютистов засел в маленьком блиндаже-пещерке по ту сторону рва, ближе к берегу острова. Юнги видели, как красноармейцы, пытавшиеся пробиться к берегу, падали, сраженные пулями. Добраться до пулеметчика было невозможно: он вел круговой обстрел, нельзя было высунуть голову из рва.

И тут Витя Сташук вдруг вспомнил:

— Стой, ребята! Помните, мы, когда практические занятия вели, в том конце рва подземный ход сообщения начали рыть, для соединения с пещерой. Айда туда!

Они, сгибаясь, пробежали по дну рва в конец, где был подземный ход. Тесная лазейка полуосыпалась и зияла зловещей чернотой.

— Ну-ка, дай-ка я!.. Разрешите, товарищ мичман?

Но как ни прилаживался Сташук, широкие плечи его не проходили в полуосыпавшуюся лазейку. Он вылез, приподнялся, стряхнул землю и вопросительно посмотрел на Капку Бутырева:

— Эх, кабы ты моряком был, а, Капитон?..

— Это туда подлезть-то? А?

Капка заглянул в ход. Казалось, злой черный ветер дул оттуда: сквозило сырым, могильным холодом. Капка помедлил немножко. Тоскливый озноб пробрал его разгоряченное тело. Лицо Арсения Петровича Гая проплыло у него перед глазами. Арсений Петрович надеялся на Капку, и синегорец Капка не мог подвести его. Капка молча сбросил шинель, взял в зубы нож, а в руку гранату, кивнул на прощание Сташуку и решительно ввинтил свое маленькое тело в подкоп.

...Немецкий пулеметчик внимательно проглядывал из своего земляного гнезда весь противоположный берег Затона. Берег отлично простреливался. Это был опытный парашютист. Он видал многие виды и в воздухе и на земле. Сперва он был спокоен. Все шло как надо. Но что-то непонятное внезапно произошло сзади него во рву. Оттуда слышались выстрелы, вопли, взрывы гранат. Потом стихло. Это нáчало его очень тревожить. Тащить туда на подмогу свой пулемет он не решался. Но меньше всего он думал, что опасность грозит ему из-под земли.

В это время красноармейцы и ополченцы опять бросились к берегу Затона. Парашютист устроился поудобнее, оперся спиной о край гнезда и припал к пулемету, чтобы дать снова очередь по наступающим. Но вдруг под ним зашуршала глина, что-то цепко и больно ухватило его за лодыжки, и, прежде чем фашист что-нибудь сообразил, он оказался мгновенно втянутым по пояс в рыхлую землю. Пулемет свалился ему на голову и оглушил.

Прошло минут пять. Выстрелы в Затоне стихли.

Бой кончался. У входа из подземной траншеи, заглядывая в черноту, на корточках замерли юнги.

— Немец-то, пулеметчик, уже сколько времени как смолк...

— А Капки нет,— сказал встревоженный Сташук.— Ка-ап-ка! Ка-ап-ка!— закричал он в подкоп.

Ответа не было.

— Я как-нибудь пролезу за ним, задохнется ведь,— решительно сказал Сташук.— Или вылезу наверх и так, полем, побегу.

— Сташук, отставить!— крикнул на него мичман.— Куда? Не дури!

Прошло еще несколько минут. Сташук, стуча себя от волнения по коленке, сидел на корточках у лазейки и всматривался в молчаливое жерло подкопа. Потом он встал и молча отошел в сторону. Пропал Капка, погиб парень... Не надо было его пускать. А что скажет Рима, когда узнает, что это сам Сташук послал Капку на смерть?..

— Лезет, будь он неладен, лезет!— закричал вдруг один из юнгов.

Сташук одним прыжком подскочил к лазейке и растолкал всех. Из подкопа в ров задом выполз Капка. Он был весь в глине. Глина забилась ему в уши и в ноздри. На лбу кровоточила глубокая ссадина. Это был след каблука пулеметчика, который успел лягнуть Капку под землей.

— Капка, друг, браток, живой! Ух, Капка ты эдакий...— кинулся к нему Сташук, теребя, обнимая.

— Он дальше никак не пролазит,— прерывисто и виновато сказал Капка, еле ворочая языком.

— Да кто не пролазит?

— Фриц этот. Я его за ноги потащил, туда втянул, где подкоп, а он дальше уже не пролазит ни в какую...

— Ай Капка! Вот так шпиндель!— ахнули юнги.

— А что это лоб-то у тебя в крови?

— Это...— начал было Капка, но сомлел и повалился бы на землю, если бы его не подхватил Сташук.

В грязной, бессильной повисшей руке Капки торчал какой-то лоскут.

— Гляди-ка, ну и ну!.. От фрицевых штанов образчик прихватил!— сказал один из юнгов.

Когда Капка окончательно пришел в себя, кругом стояли красноармейцы и ополченцы.

Прибыл на лодке мастер Корней Павлович. Оглушенного немца-пулеметчика с немалым трудом вытащили из-под земли — так крепко засунул его в проход Капка Бутырев.

Придя в себя, парашютист понял, что дело кончено, весь десант уничтожен.

— Ну, Бутырев, молодец, добрó,— сказал мичман.— Из тебя бы, пожалуй, даже и моряк вышел!

— У него дела и на земле хватит,— тотчас же ответил мастер.

— Ну что же, тоже хорошее занятие.

— Ну, как здоровье-то, Капитон? Ты герой, говорят?

— Он иемца за ноги под землю утяиул, честное слово!— подтвердил Сташук.

— Точно,— промолвил мичман.— Хорошо иам помог. Живьем здоровенного фрица в преисподнюю завлек. Еле откопали. Вот, глядите, какой!

Здоровенный фашист, помятый и бледный, моргал потными веками:

— Дас ист унмёглих! Я завсем засипаться уитер груит...

— Чего, чего он сказал?— встрепенулись юнги.

— Эх, батеньки-матеньки, жаль переводчика нет,— произиес мастер.— Втолковать бы ему... Ну куда вы, немцы, лезете? Не ступить же вам через Волгу ни в жизнь, никогда. В уме вы, что ли? Куда залезли, сами соображаете?

Он оглянулся, замолчал и посторонился, сдериув картуз с головы. Сташук отступил, потом резко отвернулся, снял бескозырку и спрятал в ней лицо. Мимо пронесли иа шинели убитого Палихина. Красноармейцы медленно опустили тело юнги на землю рядом с другими убитыми. Все сняли шапки и стояли, понурив обнаженные головы.

— Вон лежат под шинелями сыночки,— проговорил мичман,— не дошли до открытого моря, полегли, дорогие, в бою. Превечная им слава!

Ои яростно взглянул на фашиста.

— Эх, немец, еще икнется вам за это дело! Так икнется, что и дух из вас, проклятых, выскочит!..

Он шагнул к пленному, сгреб его за комбинезон на груди и так рванул к себе, что гитлеровец плюхнулся на колени.

— Гляди сюда, фашист: наша земля. Сам я балтийский, а это Волга. Все одио. Лучше в этой земле мертвыми ляжем, а с иее ие сойдем. Но скорей всего вас в ией закопаем. Ферштееи? Поиятно?

Глава 25

ЕЩЕ ОДНО НЕПОНЯТНОЕ СЛОВО

Когда Капке перевязали лоб, а юиги, те, кто мог стоять, уже построились, чтобы идти к лодкам, вдруг зашуршали, раздвииулись ближние кусты и показался Тимсон. Мокрый, весь в тине, сам едва держась иа ногах, он иес Валерку, обхватив его обеими руками. Голова Валерки беспомощно откииулась назад. На тоненькой шее запеклась кровь. Тимсон устал, тяжело отдувался и готов был вот-вот сам свалиться.

Валерка, обвиснув, сползал у него с рук. Капка шагнул к нему навстречу, подхватил худеилкое тело.

— Прямо в него,— сказал Тимсон, виновато хлопая глазами.

Он осторожно передал Валерку подбежавшим и тяжело опустился на мокрую землю, утирая рукой лицо, перемазанное глиной.

— Как же вас туда понесло?

— Это все Валерка,— попытался оправдаться Тимсон.— Говорит: я историю пишу, должен все видеть. И за тобой хотел идти. Отвязал лодку с исад, и никаких. А немцы — трах в нас. И попали...

Валерка приоткрыл глаза, узнал Капку и силился улыбнуться.

— Капка, ты?.. Хорошо... а мне пулей... зеркало кокнуло,— с трудом проговорил он и снова закрыл глаза.— Ничего... сейчас... У меня сейчас это пройдет... Ты только маме не говори. А то мне такое будет!

Когда Валерке сделали в больнице на берегу перевязку, Капке разрешили к нему зайти. Верный Тимсон дежурил у дверей палаты.

— Как он?— шепотом спросил Капка.

Тимсон только рукой махнул. Полные губы его дрогнули. Он уткнулся стриженой головой в неуютную, ледяную стену больничного коридора. Капка с западающим куда-то сердцем на цыпочках вошел в палату. Валерка лежал у окна, весь до горла в бинтах, бледный, тоненький, прозрачный, как тающая льдинка, и такой до ужаса большеглазый... Капке стало нестерпимо жалко его.

— Капка...— подозвал его Валерка слабым, осекающимся голосом: он потерял много крови.— Ты подойди поближе... Тимсон, ты постой там, последи... Капка... Ой, жгет как, больно... Вот как у меня нескладно всегда выходит, Капа. Самое интересное было, а я уж не запишу...

— Да брось ты, Валерка, ты, наверно, не очень сильно раненный.

— Нет, Капа,— тихо и серьезно сказал Валерка,— я уж чувствую. Да и доктор, когда меня раздели, начали перевязывать, а он говорит: «Худо, ох как худо!» И еще какое-то слово по-латыни сказал: «Ха-би-тус...» А уж когда по-латыни так говорят, это я знаю: скрывают, значит... что крышка...

— Ну, это ты зря, еще неизвестно,— возразил горячо, но неуверенно Капка.— Ты брось это, Валерка.

— Нет, слушай... Капка, ты вот что... Ты возьми тетрадку, она у меня дома под матрацем осталась, где книжка «Квентин Дорвард» лежит, и там допиши все за меня. Ладно? Нет, ты слушай!— проговорил он, видя, что Капка опять собирается возразить ему.— Ты там напиши... ой!.. Ух и больно... напиши про меня тоже... Ну, ты как про это напишешь,

а, Капка? Не знаешь? Эх, ты... Ты так напиши, что ему было очень страшно... а он не струсил нисколечко... Напишешь?

— Ну, это напишу,— сказал Капка, глотая что-то засевшее вдруг в горле и чувствуя, что еще немножко, и он разревется.— Зря ты все это, Валерка, ведь еще неизвестно же!

— Молчи... Карандаш у тебя есть? Ты запиши. Число поставь. И еще напиши так: «Когда пришли товарищи, он тихо сказал: «Отвага и Верн...» Уй, больно как!.. Ой, жгет как! Ой, мама!

— Вот «мама»— это уже лучше,— раздался позади Капки голос доктора Михаила Борисовича Кунца, которого знали все затонские ребята.— Вот когда мои пациенты зовут маму, я опять чувствую себя в своей сфере, а то все стали такие герои, что уж просто нет сил от вас. Пустяки, хорошенькие детские белезни: штыковые раны, сквозное пулевое ранение, контузии, шок... Ну, хватит разговоров! Нельзя столько болтать.— За окном зашумела машина, хлопнула дверца.— О, сам товарищ Плотников пожаловал,— сказал доктор, подойдя к окну и приложив золотое пенсне к кончику носа.

В палату, слегка хромая, вошел Плотников. Вид у него был утомленный, левая рука на перевязи.

— Лежи, лежи!— крикнул он Валерке, который было шевельнулся.— Товарищ по несчастью. Тоже вот, видишь, рука. Приехал какую-то прививку делать... Велят...

— Доктор, можно вас на минуточку?— послышался женский голос в дверях.

Доктор вышел в коридор. Капка — за ним.

Доктор о чем-то говорил вполголоса с сестрой. У Капки все внутри сжалось.

Но он решился все-таки узнать правду.

— Доктор, у него опасно?— спросил Капка.

— Да ничего не опасно, ослабел немножко, сквозное ранение в мякоть плеча, потеря крови.

— А вы сказали сами, что худо.

— В жизни я этого не говорил! Глупости!

Доктор отвернулся и опять заговорил с сестрой.

— А что такое по-латински значит «хабитус»?— спросил вдруг Капка.— Это очень плохо?

— Хабитус?— изумился доктор и пожал плечами.— Хабитус может быть разный: хороший, средний, плохой. Это значит телосложение, упитанность, худоба...

— Значит, вовсе он не умрет?

— Ну как тебе сказать? Он не бессмертный. Когда-нибудь, вероятно, умрет, но не от данного случая.

Но Капка все еще не верил:

— А у меня тоже есть хабитус?

— И довольно приличный,— сказал доктор и побежал куда-то, завязывая на спине тесемки белого халата.

Капка бросился в палату:

— Валерка! Хабитус — это ничего, это, доктор сказал, не опасно совсем. У меня тоже, доктор говорит, есть хабитус!

Глава 26

ГРОЗНАЯ РАДУГА

Через несколько дней, когда в городке уже все пришло в порядок и фашисты больше не возобновляли попыток сбросить десант на левый берег Волги, товарищ Плотников вместе с начальником школы юнгов решил навестить раненых.

Осенний вечер уже густо синел на улице. В больнице медлили зажигать огни, чтоб не затемнять окон. И в палатах сумерничали.

Плотников в сопровождении доктора и начальника юнгов прошел по полутемному коридору, приостановился у палаты, в которой лежал Валерка, и, оглянувшись, тихонько подозвал к себе спутников. Те подошли. Плотников приложил палец к губам и молча указал в глубь палаты. Там в вечернем сумраке у большого окна с форточкой-фрамугой, где стояла в углу койка Валерки Черепашкина, сгрудилось много народу. Здесь были раненые юнги, больные из соседних палат, красноармейцы, ополченцы. Одни сидели на соседних койках, другие расположились на полу, а кто устроился на подоконнике.

Тихо было в палате. Только звонкий певучий голосок Валерки Черепашкина, почти неразглядимого в сумраке, раздавался из темного угла...

Плотников прислушался... Так вот где довелось ему услышать конец истории Трех Мастеров!

— ...Прекрасная Мельхиора,— рассказывал Валерка,— прибежала к оружейнику Изобару и бросилась перед ним на колени, умоляя спасти Мастера. Но где было узнать, в какой башне заключен Амальгама и как можно освободить его, если все башни за́мка были прямые и гладкие, как свечи!

Когда истерзанный Амальгама очнулся после пыток, которым подвергли его ветродуи, он ощупал себя и нашел кусок стекла в своем кармане. То был осколок зеркала, которое в ярости разбил Фанфарон. Амальгама успел спрятать его.

Мастер забрался в узкую бойницу башни, поймал осколком луч солнца. Радужный зайчик прыгнул на крыши, башни и стены дворца. И вот в каморку, где рыдала, ломая нежные

руки, Мельхиора и могучий Изобар в бессилии сжимал свои тяжелые кулаки, вскочил зайчик, посланец Мастера. Мельхиора сразу догадалась, что это вестник Амальгамы. Она подбежала к окну и увидела радужный луч в бойнице одной из башен.

И тут Дрон Садовая Голова хлопнул себя по лбу:

«О я, голова садовая! У меня же есть семена вьюнка! Я выращивал его пятьдесят пять лет подряд. Я ухаживал за ним днем и ночью, пока не добился своего. Этот вьюнок растет с такой быстротой, что если протянуть нить между вершиной Квипрокво и его подошвой, а внизу бросить семена вьюнка, то мгновенно побеги его обовьются вокруг нити, оплетут ее, и не успеешь сказать: «Раз, два, три»,— как на самой вершине горы уже распустятся вьюнки. Но слушайте дальше!.. Однажды я попробовал посеять мой вьюнок во время ливня... Можете себе представить — он мигом обвил струю дождя и, прежде чем она достигла земли, уже взбежал по ней на небо. Эх, дочка, я припасал эти семена для хорошего дня — чтобы сплести венок вокруг дома, в который бы ты вошла со своим любимым, но, видно, теперь пришла пора пустить в ход семена. Не плачь. Мы спасем Амальгаму. Я посею мой вьюнок под окном башни, где сидит Мастер».

«Но башня высока, бойница на самом верху. Как протянуть на такую высоту нить или вызвать дождь?»— усомнился Изобар.

«О, мой вьюнок так силен и быстр в своем росте, что для него достаточно и прямого солнечного луча — он взберется и по нему!»

«Но днем этого нельзя делать — заметит стража, а ночью нет солнца».

«Да, но сейчас полнолуние».

«Король поставил у башни самых верных своих ветродуев,— предупредила Мельхиора.— Они ночью не смыкают глаз».

«Ну, это я беру на себя,— успокоил ее Изобар.— Я в этот час перепорчу все флюгера на дворце. Ветры перессорятся, вот будет переполох!»

Так они и сделали. Ветры к ночи увидели, что стрелки дворцовых флюгеров показывают разное направление, и тотчас забушевали.

«Сейчас моя очередь дуть,— вопил Норд-Ост,— а флюгер показывает Зюйд-Вест! Вызвать стражу, исправить флюгера!»

Началась беготня во дворце. Ветродуи кинулись искать Изобара, но его и след простыл.

Тем временем вышла луна. Поймав ее жемчужный свет осколком зеркала, Амальгама послал вниз тонкий, дрожащий и прозрачный луч. И там, где упал на землю этот луч, Дрон

Садовая Голова бросил горсть своих волшебных семян. В тот же миг могучие ростки, переплетаясь, туго обвили лучи и побежали наверх, к вышке башни. Их было много, этих зеленых побегов. Зелень свилась в толстый, прочный канат, и Амальгама легко спустился по нему на землю. А когда один из часовых, услышав шум, бросился на Амальгаму, Мастер ослепил его, кольнув в глаза лучом из зеркала. Так они бежали из дворца: Мастер Амальгама и Дрон Садовая Голова. Условлено было, что Мельхиора будет ждать их на реке, где Изобар уже снарядил небольшой корабль с верными людьми. Но, когда беглецы достигли берега, Дрон Садовая Голова не нашел там своей дочери, Мастер Амальгама не встретил здесь своей возлюбленной. Не знали они, что хитрый Жилдабыл ночью запер красавицу в один из подвалов замка.

Амальгама хотел тотчас же вернуться во дворец, чтобы освободить Мельхиору, но Дрон Садовая Голова и оружейник Изобар не пустили его, найдя, что такой поступок был бы безрассудным и Амальгама лишь погубил бы себя и Мельхиору, а ее еще можно спасти, раз три таких Мастера на воле возьмутся за это дело.

Они нашли приют у добрых и смелых людей, которые звались синегорцами. Это были надежные ребята, трудолюбивые и бесстрашные, искусные мастера и храбрые воины. «Отвага, Верность, Труд — Победа!»— таков был их девиз. Не было работы, с которой бы они не справились. Не встречалась еще опасность, которая испугала бы их. Они уже давно замышляли освободить страну от Фанфарона и злых Ветров. «Кто посеял ветер, тот сам пожнет бурю»,— говорили синегорцы. Они почтительно и радостно приветствовали трех славных Мастеров и предложили им вступить в семью синегорцев.

«Отвага!»— сказал Изобар.

«Верность!»— подхватил Амальгама.

«Труд!»— произнес Дрон Садовая Голова.

«Победа!»— заключили все трое, повторяя клятву синегорцев.

И оружейник Изобар сказал при этом:

«Я знаю, что надо делать. До сих пор я мастерил флюгера, по которым распознавалось направление Ветра. Но теперь задача состоит в том, чтобы повернуть Ветер туда, куда нам нужно. Дрон Садовая Голова всю душу свою вложил в семена вьюнка, и растение получило волшебную силу роста. Я добьюсь чуда с флюгерами, и мы покорим Ветер».

И он, не медля ни минуты, схватил в свои сильные руки молот и взялся за работу.

«Ты прав!— откликнулся Амальгама.— А я займусь своим делом. Чему до сих пор служили мои зеркала? Послушно от-

ражали в себе красоту и показывали людям их недостатки. Но красота и безобразие существуют и помимо моих зеркал. Нет, я напрягу ум, буду работать с утра до вечера и с вечера до утра, но добьюсь, чтобы мои зеркала сами делали мир прекраснее. Я хочу, чтобы в людях отражалось все, что я вдохну в зеркало своим трудом, своей любовью. Ибо на свете нет, говорят, силы, которая не уступила бы труду, если человек избрал свое дело по любви и вложил в него душу».

И Мастер принялся за работу. Он трудился днем и ночью, не чувствуя усталости, не зная отдыха и сна. Великий Гнев вдохновлял оружейника и раздувал огонь под его горном. Великая Любовь поддерживала силы Мастера Зеркал и светилась в его хрустале.

...Шло время, ибо для труда и совершенства требуется время...— продолжал рассказывать Валерка.— Шло время, а прекрасная Мельхиора томилась в плену. Жестокий Жилдабыл бросил ее в грязный подвал. Холодные, скользкие жабы прыгали на грудь Мельхиоре, голохвостые крысы кусали ее прекрасное лицо, мокрицы лазили по ее рукам, и вскоре на лице Мельхиоры не осталось и следа былой красоты. Жилдабыл принес ей сколок зеркала, случайно уцелевший во дворце. Горько заплакала бедная Мельхиора, когда из мутного стекла глянуло на нее желтое, безобразное, морщинистое лицо, все в кровавых подтеках, шрамах, рубцах, синяках и язвах.

«Что вы сделали со мной!»— закричала бедная Мельхиора.

Но Жилдабылу пришла в голову еще одна злая затея.

«Успокойся,— сказал он,— ты по-прежнему прекрасна. Это лишь кривое зеркало. Мы изловили твоего Мастера, и, видишь, он отрекся от тебя и от своей дурацкой правды. Он изготовил для тебя кривое зеркало. Смирись же теперь».

Однако в эту минуту Мельхиора увидела в зеркале лицо Жилдабыла, который не успел отклониться в сторону. Лицо в зеркале выглядело злобным и отвратительным, но не более ужасным, чем было оно у Ветрочета в действительности. Мельхиора поняла, что злой Ветрочет снова обманывает ее, но зато зеркало говорит ей жестокую правду. И все-таки она обрадовалась этому, потому что потерять веру в любовь ей было еще страшнее, чем утратить свою красоту.

К тому времени Мастера уже закончили работу. Синегорцы готовились к походу на Фанфарона. Но сквозняки, посланные Фанфароном, уже проникли через щели в жилище синегорцев. Вскоре во дворце узнали, где скрываются Амальгама, Изобар и Дрон Садовая Голова. И Фанфарон послал боевые ветролеты к Лазоревым Горам, где скрывались синегорцы.

День был дождливый, ливень не прекращался ни на минуту. Ветры гнали к горам густые тучи, и в них скрывались ветролеты. Но Дрон Садовая Голова бросил у подножия горы горсти семян, и вьюнки тотчас взобрались к тучам по струям дождя, а несколько побегов успели обвить даже молнию, метнувшуюся из тучи. Зеленая плотная сеть поднялась до самого неба вокруг жилища синегорцев, ветролеты Фанфарона запутались во вьюнках, как мухи в паутине, и рухнули на землю.

Теперь синегорцы сами стали готовиться к штурму дворца. Ночью накануне штурма синегорцы заменили все старые флюгера в стране новыми. Тысячи флюгеров, наделенных тайной силой, изготовил усердный Изобар. Перед тем как выступить в поход, Мастер Амальгама дал каждому синегорцу посмотреться в его новое зеркало, и каждый, кто смотрелся в него, становился еще храбрее, еще искуснее и вернее своему делу.

И вот наступил день штурма. Стрелки всех флюгеров повернулись остриями в сторону дворца. Синегорцы выступили в поход. Изобар вооружил их своими новыми чудодейственными стрелами. Воины-синегорцы держали пики с хрустальными наконечниками, и за каждым копьем выгибалась маленькая радуга. И, кроме того, каждый воин-синегорец был вооружен небольшим зеркальцем, укрепленным на запястье, и лукошком с семенами вьюнка. На рассвете корабли синегорцев тихо подплыли к берегам острова.

Развернув семицветное знамя, синегорцы бросились на штурм. Со стен дворца ударили буреметы. Ветры рванулись было навстречу синегорцам, но ни один флюгер на крышах не дрогнул. И тут произошло великое чудо. Столько труда и ярости вложил в свою работу славный оружейник, что Ветры ничего не могли поделать с флюгерами. Флюгера вышли из повиновения. Как ни дули Ветры, как ни раздували они щеки, всех их повернуло в одну сторону: на дворец Фанфарона!.. Потому что тысячи стрел, которые пустили синегорцы, были сделаны из того же чудесного металла, что и новые флюгера. Они пробивали встречный ураган, увлекали за собой воздух и сами рождали новый могучий ветер. И старые Ветры были вынуждены подчиниться. Ураган потряс дворец Фанфарона, сметая со стен стражу. А затем радужные лучи от тысяч маленьких ручных зеркал обступили замок, плющ и вьюнки мигом обвили эти лучи до самых зубцов стены. По зеленым качающимся плетям вьюнков и плюща, как по веревочным лестницам, карабкались синегорцы. Они ворвались во дворец. Ветродуи были перебиты. И вскоре над главной башней замка взвилось семицветное знамя синегорцев, знамя Большой Радуги, предвестницы доброй погоды и ясного счастья.

Жилдабыл пытался бежать из дворца на ветролете, но разъяренные Ветры схватили его, и так как каждый из них дул в свою сторону, то главный Ветрочет был разорван на части. Перепуганного короля нашел под лестницей Изобар.

«Ну,— сказал оружейник,— теперь ты Фанфарон последний, более поздних уже больше не будет».

А Мастер Амальгама метался по галереям и переходам дворца в поисках Мельхиоры. Он обошел башни и казематы.

Наконец в одном из подземелий он нашел сморщенное, исхудавшее, безобразное существо. Несчастная закричала, увидев Мастера, и прикрыла ладонями лицо. Но хриплый голос ее показался сладостно знакомым Амальгаме.

«Кто ты»?— спросил он, боясь ошибиться.

«Ты не узнаешь меня? Я была когда-то твоей любимой. Теперь я могу умереть спокойно, ибо знаю, что ты остался верен своей правде. Но я не в силах жить при таком уродстве».

«Погоди!— воскликнул Амальгама.— Если ты веришь моей любви, взгляни в это зеркало».

«Нет, я не могу смотреть! У меня нет больше сил хотя бы еще раз взглянуть на свое безобразие».

И она упала замертво на сырой пол.

Амальгама бросился на колени, приложил к ее губам зеркало и увидел, как оно помутнело на мгновение. Значит, Мельхиора была жива. Он поцелуями согрел ее помертвевшее лицо и насильно заставил смотреть в зеркало. Превозмогая отвращение, вгляделась в стекло Мельхиора. Но вдруг что-то прекрасное мягко проступило в глубинах зеркала. И, глядя в стекло, Мельхиора почувствовала, что лицо ее подчиняется чарам зеркала и черты яснеют, морщины расправляются, язвы заживают, она с каждой минутой хорошеет.

«Смотри же, смотри!»— говорил Амальгама.

Она смотрела в зеркало пристально, не отрываясь. И вдруг увидела, что по-прежнему хороша,— нет, еще прелестнее, чем была прежде!..

И когда они вместе вышли на балкон — Мастер Зеркал и прекрасная Мельхиора,— синегорцы встретили их радостными возгласами. Все потрясали копьями, и хрустальные наконечники вскинули вверх тысячи разноцветных отблесков, и они слились в торжественную радугу, которая выгнулась над ними в небе. А Дрон Садовая Голова сыпал вокруг семена цветов, и тотчас же на этом месте распускались розы и лилии.

Так Три Великих Мастера помогли свободным синегорцам покончить с нашествием Ветров. Все Ветры были засажены под замок. Их выпускали теперь лишь на работу: чтобы подмести от туч небо, вертеть мельницы, надувать паруса кораблей. В Синегории снова зацвели сады, засверкали зерка-

ла и в печах появились вьюшки. А на стене дворца прибили новый герб: радуга была на нем и стрела, оплетенная вьюнками...

— Ну, спасибо,— сказал Плотников, входя в палату,— и за сказку и за все, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Этого город не забудет... Вижу, что наши синегорцы не хуже чем в Синегории действуют, по крайней мере судя по третьеводнишнему. А ты что?..

Валерка пытался приподняться на кровати, глаза его блестели в сумраке палаты, он подбородком указывал в окно:

— Смотрите, смотрите, радуга какая!..

— Где, какая радуга в эту пору?— Плотников озабоченно посмотрел на Валерку: бредит, видно, бедняга.

— Сейчас было. Вон, вон, глядите! Опять...

В темнеющем небе, далеко над Волгой, мгновенно нависали, стремительно нагоняя друг друга, красные, оранжевые, огненные, не сразу гаснущие полосы.

— Какая же, милый мой, радуга это? То *катюши* наши, гвардейские минометы, с новой позиции бьют по фашистам,— сказал Плотников.

Раскаленные летучие дуги перегибались, та́я, с левого берега туда, где, прижавшись спиной к Волге, день и ночь геройски бился великий город, готовя скорую и неслыханную гибель всему несметному войску врага.

* * *

Вот и все, что хотел я рассказать вам о ребятах Рыбачьего Затона, о славном ремесленнике Капке Бутыреве, о его друзьях — Валерии Черепашкине, Тимке-Тимсоне и храбром юнге Викторе Сташуке. Я познакомился с ними после того, как прочел историю города Затонска, изложенную Валерием Черепашкиным, пионером и синегорцем. Все они носят медали на зеленой с красным ленточке. Только Виктора Сташука не застал я в Затонске — он давно уже уехал на Балтику. Но Рима частенько получает от него письма. Рима и Нюша давно вернулись домой. Отец их отыскался у партизан и уже приезжал в отпуск повидать ребят. Посетил я мастера Корнея Павловича Матунина. Он жив и здравствует, работая и поныне в Затоне. Рыбки его отлично разводятся.

С бывшими синегорцами я очень сошелся, не раз сиживал с ними у Большого Костра на острове Товарищества. Там я узнал о многих других славных делах пионеров Рыбачьего Затона.

Расстались мы друзьями.

И часто теперь, когда не ладится у меня работа или ненастно на душе, я достаю маленькое заветное зеркальце — на крышке его герб синегорцев: радуга, стрела и побеги вьюнка. Я смотрю в расколотое стекло, и хотя мне самому зеркало не сообщает ничего утешительного, но из-за моего плеча глядит на меня уже немалая жизнь. И вижу я, что совсем не так уж плохо живется на свете, и снова верю, что отвага, верность и труд непременно победят, как бы ни упирался встречный ветер, как бы ни клокотала гроза. Радуга еще вскинется, обнимет мир, и все будет хорошо, все станет как надо, дорогие мои мальчишки!

1944

Будьте готовы, ваше высочество!

Глава I

ПРИНЦ ИЗ ДЖУНГАХОРЫ

— Так. Принца вот только мне и не хватало,— сказал начальник лагеря в телефонную трубку.

Все поглядели на начальника. Кое-кто не совсем расслышал его слова. Другие подумали, что он шутит,— начальник слыл по всему побережью человеком веселым. Впрочем, сейчас ему, видно, было не до смеха. Должно быть, из Москвы, откуда срочный телефонный вызов неожиданно прервал заседание в кабинете начальника пионерского лагеря «Спартак», сообщили действительно что-то важное. И, верно, там, в Москве, тоже не совсем хорошо разобрали, что ответил начальник, потому что он повторил громко, с хмурой усмешкой поглядев на сидевших в кабинете:

— Я говорю, вот принца только как раз в нашем хозяйстве недоставало.

Но в Москве, должно быть, не были расположены к шуткам. «Кхя-кых-кагых-кыкыр»,— строго и отрывисто прокаркала трубка, и директор четко проговорил в телефон:

— Ясно. Я вас понял.

Потом он сделал знак сидевшему рядом с ним бухгалтеру, чтобы тот прикрыл окно. Прибой в этот день был шумный. Бухгалтер товарищ Макарычев плотно закрыл окно, выходившее прямо на море. В комнате сразу стало тихо и душно, но волны, подбегая под самый домик начальника, словно из любопытства вскидывались на цыпочки, стараясь заглянуть в окно.

Начальник Михаил Борисович Кравчуков отнял телефонную трубку от уха. Некоторое время смотрел он в ее чашечку, словно ждал, не выскочит ли еще что-нибудь из нее, а потом с размаху бросил трубку на рога старомодного, похожего на маленького оленя аппарата. Бросил и повернулся к сидевшим в комнате.

Вид у начальника был неважный, но он бодрился, надул щеки, покачал головой, подмигнул сам себе...

— Ну, поздравляю,— сказал он.— Как это там у Гоголя в «Ревизоре»?.. Должен сообщить пренеприятное известие... К нам едет принц.

— То есть в каком это смысле?— спросил товарищ Макарычев.

— В самом обыкновенном. Точнее сказать — в самом необыкновенном. Принц. Нормальное его королевское высочество, будь он неладен! Младший брат джунгахорского короля, ныне здравствующего, царствующего и прочая и прочая, и так далее и тому подобное, и так его и эдак! Наследный принц престола. А?.. В «Артек», что ли, позвонить? Пусть поделятся опытом. У них уже там жили какие-то принцы и принцессы из Лаоса или из Камбоджи, кажется. Сообщали об этом. М-да, всю жизнь мечтал воспитывать у себя в пионерлагере августейших особ.

— А почему августейших?— встрепенулся бухгалтер.— Сейчас же еще июль. Это что же, в счет августовского плана заезда?

— Ох, товарищ Макарычев,— вздохнул начальник с усмешкой,— ты что, только календари и инструкции в жизни читал?

— Зачем же,— обиделся тот.— Неверно заявляете, Михаил Борисович, я и в газету гляжу что ни день — прорабатываю...

Начальник только рукой махнул.

Глава II

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНАЯ[1]

Теперь стоп! Минутку! Знаю, знаю я отлично, дорогие вы мои мальчишки и девчонки, что предисловий к книгам вы вообще никогда не читаете. Но на этот раз я вас очень прошу: обязательно прочтите его. Для того я и всунул это вступление в серединку. Кроме того, я не хотел, чтобы его читали взрослые. А то взрослые обязательно станут скучно и назойливо спорить с вами, уверяя, что все в этой книжке только сказка и ничего подобного на свете не происходило в самом деле. И даже страны такой, Джунгахоры, тоже будто бы нет. Они станут тыкать вас в карту носом и твердить при этом, что все это выдумка, ничего больше...

Прошу вас, не спорьте! Делайте вид, что вы соглашаетесь.

---

[1] Только для детей до 16 лет. *(Примеч. автора.)*

Ладно, пусть себе считают все этой сказкой. Нам с вами так будет даже лучше и спокойнее. А то пойдут еще всякие разговоры, начнутся уточнения: где, да что, да кто и откуда. И, возможно, возникнут еще какие-нибудь дипломатические осложнения и пойдут международные, так сказать, неприятности. Нет уж, пусть лучше взрослые думают, что все это только сказка. А вам, одним лишь вам, я скажу по секрету, что все это совсем не выдумка, никакая это не сказка, так все и было, как я написал в этой книге. Только мне пришлось пока что изменить название страны, которую я имею в виду, чуточку переместить ее на географической карте и дать некоторым героям моей правдивой повести другие имена.

Но все остальное — правда истинная, правда сущая и ничего, кроме правды. Скажу вам больше того, друзья! Я обещаю, как только можно будет, открыть подлинное название страны Джунгахоры, показать вам ее на карте. И, знаете, я твердо верю, что смогу это все сделать, до того как вы сами станете взрослыми и, чего доброго, начнете еще утверждать, будто все удивительное и неизвестное вам на свете — это сказки. Обещаю вам!

А пока — стоп! Тихо! Пусть себе взрослые думают, что вы читаете сказку.

Глава III

ПЕРЕДАЕТСЯ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Итак, в пионерском лагере «Спартак», расположенном на побережье Черного моря, стало известно, что вместе с нашими ребятами будет отдыхать настоящий принц из Джунгахоры.

Вообще-то начальник Михаил Борисович не хотел придавать этому особое значение и заранее оповещать ребят о приезде не совсем обычного гостя. Но во время разговора по телефону с Москвой он, попросив закрыть окно в кабинете, не заметил, что сквозняком приоткрыло дверь, а в дверях стоял некто, по имени Тараска по фамилии Бобунов. Этого маленького и круглощекого пионера знал весь «Спартак», и он знал решительно всех, потому что более пронырливого и разговорчивого мальчишки не было в лагере, а может быть, и на всем побережье Черного моря. Недаром его звали и Тарасконом из Тартарена, и Трензелем-бубном, и Транзистором, и Тарантеллой, и Тарантасом. Заметив его наконец в дверях своего кабинета, начальник горестно махнул головой:

— Так. Ты уже, конечно, тут как тут. Слушай, Тарас, ты можешь не болтать о том, что слышал, до поры до времени? Пока, понимаешь, то да се...

— До поры-времени могу,— сказал Тараска твердо.

Но пора да время наступили для Тараски тотчас же, как только он оказался за дверью кабинета. Правда, сперва он решил быть верен обещанию, которое дал начальнику. Ему было даже лестно, что вот, скажем, идет он, пионер Тарас Бобунов, совершенно обыкновенный с виду и не всеми даже в достаточной мере уважаемый, идет — и никто не знает, какой важной, может быть, даже государственной тайной он облечен. Прошли навстречу двое ребят из верхнего лагеря. Прошли, бедняги, даже не подозревая о том, что знает он, Тарас. А принц тем временем едет!

Но вскоре тайна эта стала прямо-таки лезть из него. Тайна стала чесаться в ухе, корябаться в горле, как ни откашливался Тараска. Она сушила губы, которые приходилось то и дело облизывать языком. А языку было уже совсем скверно. Он так и елозил во рту, каждую минуту грозя сболтнуть что-нибудь такое, что даст вырваться на волю подслушанному секрету.

В конце концов Тараска сдался и, влекомый тайной, направился в свою палатку номер четыре. Здесь жили самые закаленные, самые дружные пионеры, заслужившие право обитать в палатках на берегу, а не в парковых дачах.

Волна на море была в этот день большая, и ребята не купались. Мальчишки занимались своими делами. Одни что-то мастерили, другие решали у входа в палатку кроссворды, третьи играли в шахматы на скамье возле палаток.

— Ну, ребята,— начал Тараска (голос его таил что-то совершенно необыкновенное),— если обещаете без шума, грома, тарарама и вытерпите помолчать до поры до времени, я вам такое сейчас скажу, что закачаетесь. Только это секрет, предупреждаю.

Никто даже не посмотрел на Тараску. Все продолжали заниматься своими делами. Только кто-то, находившийся в палатке номер четыре, буркнул оттуда:

— Хо! Можно себе представить!

— Пожалуйста, считайте меня трепачом.— Тараска повернулся к палатке.

— Мерси вам за разрешение, мы и без того считаем,— послышалось из-за брезентовой стенки.

— Да пожалуйста. И звонарем.

— Тоже учтем,— донеслось из палатки.

— И Тарасконом, Тарантасом, как хотите.

— И это нам известно,— неумолимо ответствовала палатка.

— А теперь вот вы все убедитесь раз навсегда, что я говорю только правду.

Тараска твердил все это в стенку палатки, но сам косил глаза назад, туда, где сидели ребята.

— Может, хватит тарахтеть?— Ярослав Несметнов, самый солидный из пионеров четвертой палатки, поднял голову от шахматной доски, на которой он только что дал мат своему партнеру.

— Вы же сами не даете сказать,— взмолился Тараска.— Так вот имейте в виду: у нас будет жить принц. Из Джунгахоры.

Тут и те, кто только что лениво посматривал на Тараску, отвернулись.

— Силен! А короля не ожидают?

— Нет, батька его, король, уже давно помер. Я у Юры-вожатого спросил. А королем у них царствует брат старший. А он сам еще принц пока наследный.

— Ишь ты, наследный... Где же это он наследил?

Слава Несметнов тем временем снова расставлял шахматные фигуры на доске, готовясь к следующей партии. Мальчишка, читавший на пороге соседней палатки, оторвавшись от книги, с насмешливым недоумением поглядел на Тараску. Вообще особенного шума, грома, тарарама не получилось. Если бы Тараска сообщил, что приехал младший брат знаменитого вратаря Льва Яшина, ожидаемый в лагере уже не первый год, хотя кое-кто из маловеров уверял, будто у Яшина вообще нет брата,— вот тогда бы шума было куда больше.

— Ну и что с того, что принц?— охладил Тараску Слава Несметнов.— Ну и пусть поживет себе на здоровье. Жалко, что ли? У них там небось насчет пионерлагерей не очень-то.

— Цаца какая — принц, что с того?— поддержал его партнер.

— А он, что ли, виноват, если принцем родился?— упрямился Тараска.

— Мог бы отречься, в конце концов, если он сам против монархизма.

Тут уж Тараска, который почему-то решил заранее взять принца под свою защиту, возмутился:

— Откуда ты знаешь?! Дай срок, может быть, он отречется, когда ему заступать надо будет на этот... как его... трон, что ли. Ну, в общем, на престол.

Мальчик, читавший на пороге палатки книжку, поглядел на всех внимательно:

— Ребята, а где эта самая Джунгахора, между прочим,— в Африке или в Австралии?

— Заехал, ау!— осадил его Несметнов.— На обратном пути не заблудись.

Но тот встал, потянулся:

— Я все-таки в библиотеку сгоняю — там справочник есть по всем странам, с фестиваля еще остался. Так и называется: «Коротко о странах».

— Правильно,— сказал Ярослав Несметнов, не отрываясь от доски.— Коротко и ясно. Между прочим,— проговорил он, обращаясь уже к своему партнеру,— не знаю, как принц, а королеву твою я ем.

— Из-за тебя зевнул, Транзистор!— Проигравший сердито обернулся к Тараске.— Кажется, ясно видишь, трудная позиция на доске, а балабонишь тут!— И он обеими ладонями сгреб в кучу шахматы.

Ярослав поднялся.

— Значит, принц, говоришь. Так. А разговаривать с ним как будем?

— Можешь не беспокоиться,— заторопился Тараска.— Порядок будет. Договоримся.

— Это ты договоришься?

— А что? Могу! Мир и дружба! Фройндшафт! Или это... Хинди руси, бхай-бхай!..

— Он тебе покажет бай-бай!..

— А я, в случае чего, знаю по-английски,— заверил неудачливый шахматист, снова расставлявший фигуры на доске.— Гуд монинг — доброе утро! Потом гуд дей — добрый день. Гуд ивнинг — добрый вечер.

— А потом — покойной ночи? Гуд найт? Глядишь, и день прошел, вот и поговорили.— Ярослав сел и сделал ход пешкой.

— Слава,— осторожно начал Тараска,— на крайний случай я еще по-французски могу, месьё и адьё.

— Я тебе дам: «адьё»!— пригрозил Славка.— Тут встречать надо, а он адьё.

— Я все-таки для порядка спрошу: «Парле ву франсе?»

— А если он — парлье? Чего ты дальше делать будешь?

— Я тогда ему вмажу по-кубински: «Патриа о муэрте!» Отечество или смерть! Пусть видит, что мы не какие-нибудь отсталые, темные. Могу, если надо, и по-итальянски: «Бона сера!»

— Уйди ты отсюда, бона-балабона!

Не слишком восторженно отнеслись к сообщению Тараски и девочки.

Они сидели на крылечке большой белой дачи. Кто вязал, кто читал, кто раскладывал на ступеньках коллекцию камешков, собранных на пляже.

— Девочки,— сказал Тараска вкрадчиво и многозначительно,— должен вас проинформировать. Только тихо, без визга, пожалуйста.— Он заранее зажал уши ладонями и

только потом сообщил новость о предстоящем приезде принца.

Но никакого визга не последовало. Тарарама не получилось и тут.

Тараска даже отнял ладони от ушей и с удивлением поглядел на девочек.

— Ври!— сказала самая рослая из них. Все звали ее Тонидой, хотя на самом деле имя ее было Антонида.

Тоня Пашухина приехала из детского дома, расположенного неподалеку от волжского города Горького. Ее премировали поездкой в «Спартак» за очень хорошую общественную работу. Она придумала в детдоме и школе «пункт неотложной товарищеской помощи». Туда поступали немедленные сообщения о всяческих обидах, неприятностях и разных трудных делах, без которых, как известно, не обходится жизнь ребят. И комитет скорой помощи сейчас же брался за работу, чтобы не дать человека в обиду, чтобы поправить поскорей его дела. Стройненькая, точная и ловкая в каждом движении, строгобровая, с несколько медлительным взглядом из-под длинных ресниц, говорившая негромко и веско с упором по-волжски на «о», Тонида сразу же завоевала авторитет среди лагерных девчонок. Они считали ее самой справедливой, но чуточку побаивались, так как она не любила девчачьих нежностей, и если кто из подружек с визгом бросался к ней на шею, после того как она показывала какой-нибудь физкультурный фокус в море, сразу слышалось: «Отлипни. Не мусолься...» И Тонида сурово высвобождалась из объятий подруг.

Мальчишки предпочитали уважать Тониду издали, так как после первой же попытки подразнить ее почувствовали на себе крепость ее характера и кулаков. А она, на зависть всем, плавала, как дельфин, лучше всех умела «печь блины» брошенным вскользь по поверхности моря камешком. А однажды на спор с мальчишками прыгнула в Лягушачьей бухте с высокой скалы прямо в воду под визг подруг и восхищенный свист палаточников. После этого у нее был, правда, не очень приятный разговор с начальником.

— Так у нас, дева прекрасная, не пойдет,— сказал ей тогда Михаил Борисович.— Если тебе своей жизни не жалко, то моей посочувствуй. Я за тебя в ответе. И у меня тут не альпинистский лагерь, и эти самые скалозубы да скалолазы тут мне ни к чему. Свернешь шею, разобьешься, что тогда?

— Ну и что с того?— отвечала ему на это Тонида. Она говорила низким грудным голосом, упрямо окая.— Ну и что с того,— сказала начальнику Тонида,— кого это больно-то касается? Кому я уж очень надобна?

И тогда начальник вышел из-за своего стола, посадил То-

ниду, взяв ее за плечи, в большое кресло, сам сел перед ней, принял осторожно ее руки в свои сильные, большие ладони, сложенные вместе.

— Нехорошо... Нехорошо говоришь. Не то. И рассуждаешь неумно. Знаю я твою историю, знаю, что выросла ты без родительской ласки. Не одной тебе досталось это. Через трудное время народ у нас прошел. Много отцов, матерей война отняла...

— У меня не война,— сказала Тонида.

— Знаю. Знаю, дорогая ты моя, что́ у тебя отца с матерью отняло. Но разыскали их след, и фамилию разузнали. Имя доброе их восстановили законно. Их фамилию ты носишь, и с честью носишь, сколько мне известно. И разве нет у тебя подруг, товарищей? Что это за разговор такой, Пашухина: «Не очень надобна»? Как тебе не совестно! От тебя это все зависит — будешь ты нужна людям или только так, для себя жить станешь. А я ведь про все хорошие затеи у вас там под Горьким слышал и в «Пионерке» про тебя читал и запомнил. Фамилию твою в списке смены прочел, когда ты приехала, обрадовался. Вот, думаю, сама Антонида Пашухина к нам пожаловала. А ты дуришь... Что же ты сама себя так мало уважаешь, лезешь куда не надо, на глупый риск? Честное слово, не дело это, Тоня. Не надо так...

Ее звали еще в лагере Тонидой Торпедой или Боеголовкой, потому что девчонки послушно следовали за ней, ощущая в своей атаманше какую-то справедливую, хотя иной раз грубоватую властность. Сейчас она глядела на Тараску из-под своих густых, почти сросшихся на переносице бровей, всегда придававших ей непреклонный вид.

— Подумаешь, принц!— проговорила она и, сняв с макушки полукруглую гребенку, провела ею по волосам со лба назад, словно забрало шлема откинула. Большие серые глаза с вызовом и неудовольствием оглядели Тараску, который даже поежился от этого взгляда и пожалел, что явился к девочкам.— Мне-то что до того?— продолжала Тонида.— Можешь передать твоему принцу, когда он приедет, что мы к нему в подданные покуда записываться не собираемся.

— Докатились, в общем,— сказала одна из самых ехидных девчонок лагеря, Зюзя Махлакова,— скоро уже царей в пионерлагеря принимать начнут.

— А я думала,— сказала другая девочка,— что вообще уже принцев нигде нет. Ну, короли еще кое-где остались, доживают свое. Но уж принцы на что надеются? Смешно прямо.

— Да, нашел чем порадовать, действительно...— хихикнула Зюзя Махлакова.— Вот если бы Баталов приехал!— Она мечтательно зажмурилась.— Я бы с ним снялась и подписать

его попросила автограф. У меня уже три Баталова есть, но все без подписи, и Стриженовых четыре. А Рыбникова только половинка, мы с Сонькой Пушкаревой пополам поделили.

— Но вообще-то, девочки, все-таки интересно, что принц,— робко подала голос маленькая пионерка, разбиравшая камешки у себя на коленях.

— Подумаешь, не видали мы!

— А между прочим, где это ты принцев навидалась?

— О, сколько раз... Например, в «Золушке», как он с модельной туфелькой носился. Хорошенькая такая, лодочкой, без задника, на золотой шпилечке, ну не больше чем тридцать первый номер! Всем примерял на ногу.

— Дурында ты! Это же не в театре будет, а на самом деле.

— Ну и что ж такого?

Тонида грозно оглядела своих подружек.

— Я лично считаю, девочки,— сказала она,— что мы должны ему сразу показать, словом, дать почувствовать, что мы не какие-нибудь, как он привык у себя там, подобострастные, раболепные. Он, наверное, приучен к тому, что все перед ним кланяются и пресмыкаются, а я лично, например, не собираюсь всякие эти: «Извольте-позвольте, ах-ох, мерси, не могу...»

— Вон у Маши Серебровской отец — главный маршал самых важных войск, и то она не важничает,— сказала Зюзя.

Тараска не выдержал:

— Знаю я вашего брата девчонок. Это вы сейчас так на идейность жмете, а как увидите, так сразу: «Ах, какая душечка!.. Ах, какой симпатичненький!.. Распишитесь на память... Разрешите сняться с вами вместе...»

Тонида неспешно поднялась со ступеньки крыльца, на которой она сидела.

— А ну-кась,— медленно проговорила она,— окоротись, пока не поздно. Послушали тебя, и спасибо скажи. Стартуй отсюда живо, а то получишь еще для придания дополнительной скорости. Слышишь, мотай отсюда полным ходом!

Но, вернувшись к себе в палатку, Тараска застал там ребят, сгрудившихся над фестивальным справочником «Коротко о странах». Слава Несметнов читал вслух:

— «Джунгахора... Площадь 194 тысячи квадратных километров. Население свыше 5 миллионов. Столица — город Хайраджамба, славящийся знаменитым королевским дворцом Джайгаданг, построенным еще в древности руками народных зодчих. Джунгахора расположена в обширной плодородной долине, примыкающей к океанскому побережью и окаймленной с северо-запада высокими горами, ограждающими страну

от северных ветров. Склоны гор покрыты дремучими лесами с ценными породами деревьев (тиковые, лаковые). В долине огромные заросли кокосовых пальм. Основа экономики страны — сельское хозяйство. Производится много риса, а также каучука... Джунгахора — конституционная монархия, глава государства — король. Для решения наиболее важных вопросов король созывает, кроме парламента, совещание представителей племен и других знатных лиц страны — великий Джургай. Партии, профсоюзы и другие общественные организации отсутствуют». Ничего себе распорядились,— сказал Несметнов и продолжал:—«В стране развита широкая добыча жемчуга, являющегося одной из основных статей экспорта. Значительные позиции в экономике страны принадлежат иностранному капиталу...»

Потом раскрыли принесенный из библиотеки атлас мира и, стукаясь лбами, отжимая плечами друг друга, долго вглядывались в карту далекой и жаркой страны Джунгахоры, откуда ехал в пионерлагерь «Спартак» наследный принц.

Глава IV

ДВА БЫВШИХ ПИОНЕРА И ОДИН БУДУЩИЙ КОРОЛЬ

— Нет, надо же!— Михаил Борисович размашисто крутит головой и весело смотрит на собеседника.

— Да, дела, не говори... Лучше не придумаешь.

Все это произносится уже десятый раз.

Дело в том, что принца доставил в лагерь специальный сопровождающий, а первым встретил гостя в лагере «Спартак» Павел Андреевич Щедринцев — посол СССР в Джунгахоре, старый школьный, а потом фронтовой товарищ начальника лагеря. Он отдыхал неподалеку в одном из прибрежных санаториев. И вот пока принц принимает под наблюдением вожатого Георгия Николаевича или, как его все зовут, Юры, душ с дороги, старые друзья сидят в креслах, не сводя друг с друга глаз, и, нет-нет да и оглядевшись, проверив, что никто не суется в дверь, привставая, бьют с размаху один другого кулаками то в грудь, то в плечо. Оба они коренастые, осанистые здоровяки. Посол, видно, начал уже немного расплываться, тучнеть, а начальник «Спартака» еще и вовсе стройный, смуглый от загара. Снова и снова разглядывают они друг друга с одобрением, радуясь встрече.

— Нет, ты еще, куда ни шло, королем смотришь!— говорит посол.

— Ну тебе насчет королей виднее...

— Нет, правда, ты хоть куда! Только вот белобрысым становишься, а был как смоль.

— Ну, тебе седина не грозит, ты ее плешью опережаешь заблаговременно.

И оба хохочут. Посол подмигивает:

— А Марфушу помнишь? Мы всё вдвоем с ней пели: «Позарастали стежки-дорожки».

Начальник смотрит укоризненно на него, потом смущенно на дверь: хорошо ли прикрыта.

— Еще бы не помнить! Только я-то свое отпел, а она вот, брат, заслуженная, в Академическом поет. Слышал?

— Не забыл, значит... Следишь...

— Погоди...— перебивает его Михаил Борисович.— Хотел бы я на тебя, господин посол чрезвычайный, хоть разок во фраке посмотреть, интересно...

— Ничего интересного, фрак как фрак, прозодежда наша дипломатическая. Мне вот любопытнее было бы поглядеть, как ты тут в няньках ходишь, дядя начальник, товарищ главновоспитывающий. Как это ты на педагогическую стезю ступил?

— Да ты знаешь, Павел Андреевич, ребят я всегда любил. Помнишь, еще в партизанском отряде на Брянщине они за мной так и ходили следом. Своих... ты знаешь... под Смоленском потерял. Так и сгинули... Новых уже не заводил. Вот и двинул по этой линии. Я как понимаю дело? Вопрос воспитания — это что такое? Это значит помочь человеку, чтобы он вырос по-хорошему счастливым. Им, ребятам, на нас, взрослых, чихать, когда мы с ними постоянно рядом. Вот когда нас нет, тогда они тосковать начинают знаешь как!.. Очень им, понимаешь, нужно взрослое участие, эдакое постоянное внимание старших. Вот тут девчонка сейчас у меня одна из детдома. Отца с матерью даже в глаза никогда не видела, а интерес к ним острый, повышенный. Я с ней несколько раз беседовал. Угловатая, трудная девчонка. Я всю историю ее узнал, с детдомом списался, горьковским. Подкидышем считалась, пока люди добрые не уточнили всё и вернули девочке фамилию родительскую и гордость за отца с матерью, безвинно погибших. И как ей, чувствую, важно, чтобы с ней толком взрослые говорили. Ну ладно, это я отвлекся... Ты давай познакомь меня подробнее с этим самым твоим престолонаследником. Как с ним сопровождающий-то в пути управлялся? Ничего?

— Нормально. Сперва, говорит, принц требовал, чтобы ему штаны утром подавали. Потом сам стал брать. Свыкся. Вообще-то он мальчонка хороший. Я его по Джунгахоре знаю. Конечно, калечили его с пеленок, но материал в нем добротный.

— Погоди! Ты мне, будь друг, расскажи все подробно.

За стенкой слышался плеск в ванне, голос вожатого Юры и веселые вскрики купавшегося принца.

— Так вот,— сказал посол,— я тебе сейчас небольшую популярную лекцию прочту. Джунгахора — это, как ты, вероятно, слышал...

— Грамотный, газеты читаю, между прочим.

— В газетах не всё пишут. Там, понимаешь, обстановка весьма сложная. Король у них славный малый — Джутанг Сурамбияр, но мягковат. Как говорится, не властелин, а пластилин. Кто ко двору ближе пробьется, тот и лепит из него что хочет. Так сказать, царь Федор в постановке МХАТа. В правительственных кругах там разнобой. Понимаешь, у них американский капитал и бельгийский хозяйничают. Народ их всех — я имею в виду империалистов-колонизаторов — называет мерихьянго. И с ними заодно был прежний король Шардайях Сурамбон. Ну, это был совершенно бессердечный, свирепый тиран, страхолюдина. Он и жену свою заморил, сослал... Так что принц этот — его, между прочим, запомни, зовут Дэлихьяр Сурамбук — рос без матери. Бабушка его воспитывала — учти — русская. Когда-то наследный принц Джунгахоры учился у нас в Петербурге в царском лицее, влюбился там в одну гимназисточку, и стала она невестой джунгахорского короля, а потом и законной королевой. Замечательная была, как передают, женщина. Тосковала очень всю жизнь по России и внука научила говорить немного по-русски. Так что этот Дэлихьяр вполне прилично болтает по-нашему и даже русскую песню мне пел, которой бабушка его научила: «Гайда тройка, снег пушистый...» Представляешь? А снега-то он, конечно, и в глаза не видел. Собственно, его и вырастила-то бабушка. Бабашура, как ее принц величал,— Александрой покойницу звали... Сперва-то ведь он наследным принцем не считался. Престол уготован был старшему брату, Джутангу, нынешнему королю. Ну, а на младшенького, на Дэлихьяра, особого внимания при дворе не обращали. А после смерти бабушки оказался мальчишка фактически предоставленным сам себе. Брату королю заниматься воспитанием его некогда. Однако и колонизаторам, мерихьянгам, поручить дело это, как они того ни домогаются, король не желает: опасается, что восстановят они принца против него. И заговорил он как-то со мной на эту тему. Я тогда и предложил: «Ваше величество, говорю, а что, говорю, если Его высочеству погостить у нас среди пионеров, в самом обыкновенном пионерском лагере? У нас, говорю, опыт по этой части уже есть. Жили у нас в «Артеке», в международном нашем пионерлагере, принцы и принцессы из дружественных нам стран и были как будто довольны. Но для Его высочества я рекомен-

довал бы самый обыкновенный лагерь. Есть у меня на примете такой, говорю...»

— Да,— пробормотал начальник,— удружил ты мне по старому знакомству. Спасибо тебе.

— Чудак человек, я же надаром именно твой лагерь порекомендовал, знал, с кем дело принц иметь будет. Так что уж не подведи.

— Что я с твоим принцем делать буду, скажи ты мне!— взмолился начальник.

— Не больше, чем с другими твоими питомцами. Ну конечно, кое-где учесть придется, посчитаться с чем надо, проследить, чтобы обстановка была вокруг соответствующая. Но никаких особых условий прошу не создавать. Я так и с королем договорился. Пусть, дескать, малый среди нормальных мальчишек потолкается. Король-то к нам относится вполне заинтересованно: мы ведь там, как ты знаешь, строим гидростанцию, каскад Шардабай. Это первая ГЭС будет в Джунгахоре. Ну, эти самые мерихьянго, разумеется, точат зубы на наши связи, то и дело всякие подлые заговоры раскрываются. Вообще в стране не очень спокойно. Я ведь у них там первый советский посол, до меня не было. Ты не можешь себе представить, что там делалось, когда я прибыл. Народу собралось на аэродроме видимо-невидимо. И на улицы, где я проезжал, все высыпали. Пальмовые ветви в руках, цветы. И знаешь, что пели в мою честь? «Катюшу»!.. «Выходила на берег Катюша». А еще — не догадаешься! «Очи черные». Всю ночь напролет молодежь у меня под окном собиралась, приветствовала, в какие-то рожки дудела, плясала и «Катюшу» распевала.

Посол замолк и прислушался к звукам, доносившимся из ванны.

— Что-то долго они там возятся... Ну, я пока доскажу. Так вот, в стране вообще-то неспокойно. Король, человек болезненный, считает себя недолговечным. Он холост, так что единственный наследник престола этот вот самый принц, который сейчас там плещется в ванной у тебя. Между прочим, король мечтает, что осенью определит его в одно из наших суворовских училищ. На этот счет уже переговоры ведутся.

В дверь кабинета постучали, и старший вожатый Юра ввел к начальнику лагеря принца. Михаил Борисович еще раз оглядел приезжего. Принц был глазастенький, смуглый. Ноздри маленького, чуть распяленного носа, казалось, туго растянуты в разные стороны выпуклыми скулами. На подбородке была продолговатая ложбинка посредине, как у абрикоса. От широкой переносицы чуть наискось к вискам подня-

лись очень подвижные брови, которыми принц старался придать своему лицу выражение высокомерное и безразличное.

— Ну, королевич, отмылся с дороги?— спросил начальник.

— Умылся, у-это, хорошо,— отвечал чуточку в нос принц, застегивая пуговичку и поправляя видневшийся на груди под растегнутым воротом медальон с перламутровым слоном, державшим в хоботе огромную жемчужину.

Принц смотрел на начальника лагеря без любопытства, хотя брови его подрагивали концами у аккуратно подстриженных висков. Он поправил волосы, топорщившиеся на макушке и свисавшие челкой на лоб.

Начальник привычным глазом осмотрел царственного новичка и подумал, что мальчишка-то, в общем, хоть и пыжится, но ничего, лучше, чем можно было предполагать.

— Долго, однако, тебя кипятили,— пошутил Михаил Борисович.— Я уж думал, из тебя суп сварят.

— У-это, ничего,— милостиво сказал принц.— Потом я пойду, у-это, скорее в море.

— Пока поместим на первую дачу, возле дежурки старшего вожатого. Я думаю, так, Юра, лучше будет, поближе к тебе. Поживет, осмотрится, пообвыкнет, тогда и решим, куда и как. Ясно?

— Только вы ему, Михаил Борисович, скажите, что обмахивать я его не обязан.

— Как это — обмахивать?

— А он, как ему жарко стало, так велел опахалом на него махать... Ну, вентилятор я ему еще включу, а этим самым опахалоносцем быть при нем не собираюсь. Я все-таки, извините, пионервожатый, а не придворный махальщик.

Посол сказал что-то принцу по-джунгахорски, и тот — это было видно даже под смуглой кожей — покраснел, но ничего не ответил, только брови на миг потеснили просторную и выпуклую переносицу.

— Ну пойди представь его, познакомь с ребятами.

— Пускай, у-это, сами будут представляться.— Принц вдруг выпятил маленькую пухлую губу и откинул голову назад.— И почему флага, у-это, нет?

— Потому, что визит ваш не официальный,— объяснил посол.— Я же излагал вам, и вы, Ваше высочество, должны это понять, запомнить.

— Да, это ты, друг, брось, оставь,— сказал начальник.— Давай условимся. Тут все ро́вня, все сами хозяева. Каждый тоже наследник не хуже тебя. Это всё их отцы наработали, вот все это.— Он обвел рукой парк, дачи на берегу за окном.— А ты пока что у нас гость. Покажешь себя как надо, сам будешь тоже свой среди своих. Порядок? Вот посол обязан тебя называть Ваше высочество, а для остальных ты про-

сто друг наш Дэлихьяр, сосед и товарищ по лагерю пионерскому. И нос не задирай, предупреждаю. Дружи, живи, радуйся. Так-то вот.— И начальник энергично и добродушно пожал своей большой рукой маленькую гибкую руку принца.

Когда вожатый вывел принца из кабинета, посол поднялся.

— Ну, надеюсь, все будет как надо. А мне собираться пора.

Начальник вздохнул:

— Так ни о чем толком и не поговорили...

— Да... Дела всё...

Глава V

ФЛАГИ, ГЕРБЫ, СЛОНЫ

— Ну,— сказал вожатый Юра, представив гостя ребятам возле палатки номер четыре,— вот вам новенький. Кто он такой, *вы* все уже знаете. Надеюсь, сдружитесь. Я пошел пока, а вы тут покажите гостю наш лагерь.

Хитер был вожатый! Объявил и ушел. Дотолкуйтесь, мол, сами!

Минуты три верных длилось молчание. Девочки украдкой поглядывали на принца. Мальчишки в упор рассматривали его. А тот стоял, высокомерно задрав голову, но часто помаргивая приспущенными веками.

Наконец Тараска решился.

— Бхай-бхай!— произнес он неуверенно.

От принца ответа не последовало. Но тумака от Ярослава Тараска получил.

— Гуд дей, май френд! Ду ю спик инглиш?— старательно выговорил пионер, хваставший, что он говорит по-английски.

— Йес, ай ду,— равнодушно и вяло ответил принц.

— Слышишь, спик! Давай, давай дальше,— зашептали ребята,— спроси чего-нибудь.

— Обожди, не гони, дай сообразить.

Тараска решил, что он должен помочь:

— Парле ву франсе?

— Же парль, ме тре маль.— Принц глянул из-под полуопущенных век на Тараску и отвернулся.

— Чего, чего он сказал?— зашептали пионеры.

— Говорит, что говорит, только, говорит, плохо,— пояснила Юзя, которая учила в школе французский язык.

— Ничего себе плохо, с ходу режет,— заметил с уважением Тараска.

Принц вдруг вскинул глаза и просительно обвел ими ребят.

— А, у-это, по-русску нельзя?— с надеждой спросил он.— Я понимаю все говорить по-русску!

Сперва все обомлели, а потом такой разом галдеж пошел, что хоть и по-русски говорили, но понять, кто про что толкует, было невозможно. В конце концов Слава Несметнов прикрикнул на ребят, а когда стало тихо, сам заговорил с гостем, предложив ему пройтись по лагерю.

И ребята повели принца по тенистым аллеям лагерного парка. Показали приезжему большую Площадку Костра над морем. И лагерную мачту с развевавшимся флагом. Внизу возле нее под легким навесом несли караул часовые-пионеры. И отвели гостя на площадку, где играют в волейбол, и к большим террасам столовой. И сообщили, сколько раз в неделю бывает кино в лагере, и объяснили, когда и какие сигналы играют. Принц слушал очень внимательно и, видно, все хорошо понимал, лишь изредка переспрашивая: «У-это, как?» И тогда все наперебой старались разъяснить ему.

Потом с интересом разглядывали амулет на груди у принца — перламутровый слоник на золотом солнечном диске с жемчужиной-луной в поднятом хоботе.

Спустились к парадной балюстраде над морем. Волны внизу мерно накатывались на пляж, осаживались, уходили, сипя, в песок, шуршали галькой, отползали в море и снова брались за свое.

Горизонт был чистым, тонко очерченным в безоблачном небе, и где-то по самой кромке его шел и дымил корабль.

Потом он пропал.

Принц долго смотрел в ту точку горизонта, пока не скрылся и дым. И ребята молчали, понимая, что гость думает о своей далекой, ужасно далекой стране, расположенной где-то на другом конце света. Молчание нарушил маленький Ростик Макарычев, сын бухгалтера. Он все время следовал за ребятами в некотором отдалении. Ему уже давно не терпелось заговорить с принцем, но он не решался. И вот сейчас, воспользовавшись молчанием, он наконец подобрался к Дэлихьяру.

— Правда, что ты принц?

Тот кивнул головой утвердительно.

— Ловко!— восхитился Ростик.

— А ну, кувыркайся отсюда!— зашипел Тараска. Он считал, что неудобно так сразу и в лоб задавать высокому гостю эдакие прямолинейные вопросы.

Но Ростик не унимался:

— А принцем быть интересно?

Принц только плечами пожал и неловко улыбнулся.

— А как, по-твоему,— сказал Ростику Ярослав Несметнов,— ты бы сам захотел?

— Ы-м!— отрицательно промычал Ростик.— Дразнятся все, наверное, на улице.

После этого Несметнов взял Ростика решительно за руку, отвел его за куст, наподдал ему легонько куда надо коленкой и потурил, пригрозив на прощание кулаком.

Забегая вперед, скажу, что с этой минуты Ростик по крайней мере один раз на день где-нибудь уж подкарауливал Дэлихьяра, чтобы задать ему очередной вопрос. То он встречал его у столовой и тихонько хихикал:

— А я знаю, ты принц, гы!..

В другой раз поджидал его у выхода на пляж, некоторое время шел рядом молча, а потом тихо спрашивал:

— Ты когда будешь большим, кем станешь? Королем? Да? Ты в короне будешь ходить?

Или:

— А короли все против нас и за войну? Или есть за мир?

И еще через день:

— А муравьеды у вас есть?

Но сейчас на балюстраде шел общий хороший разговор. Тут обеим сторонам важно было не спасовать друг перед другом. Никому не хотелось ударить лицом в грязь. Сначала, надо сказать, перевес был на стороне принца. Он извлек из маленького кожаного футляра крохотный транзистор, и разноязычная болтовня международного эфира полилась из аппаратика размером не больше, чем фотоаппарат. Зазвучала музыка, и донеслась далекая песня. Правда, на Джунгахору настроиться не удалось. Видно, уж больно далеко была страна принца.

Но этого было мало. Принц размотал тоненький белый провод и подключил его к приемнику. На концах провода были маленькие капсулы — наушники. С одним из них, натягивая провод, принц ушел за кусты густо росшего здесь лавра, а Тараске велел вставить в ухо капсулу на другом проводе, включенном в приемник. И Тараска услышал тихий голос Дэлихьяра, который прятался за кустами. Так что этот транзистор мог, оказывается, работать и как телефон. Это было здорово!

Такого аппарата ребята еще никогда не видели.

Тогда, чтобы принц не очень уж заносился, бледноватый и вялый Гелик Пафнулин, снискавший уже у старших ребят кличку «Графа Нулина», никак не загоравший сынок директора комбината бытового обслуживания, считавшегося, по словам Гелика, крупным начальником, вдруг сказал:

— Ну и что же! А у моего папы есть персональная и да-

же личная собственная машина «Волга», спецсборки, с хромировкой вокруг. Вся облицовка такая. Автомашина, понял?

На принца это, конечно, не произвело никакого впечатления.

Он снисходительно посмотрел на Гелика, двинул бровями и сказал:

— А у меня есть свой слон.

Все только и успели закрыть рты, чтобы не ахнуть.

— Собственый, индивидуальный?— спросил Тараска, оправившись от изумления.

— Как это?— не понял принц.— Мне, у-это, брат подарил, король.

— И большой мощности слон? — поинтересовался Несметнов.

— Большой. Белый. Зовут Бунджи. Я ему говорю, у-это: «Бунджи, Бунджи». И он, у-это, сразу идет ко мне и делает так хобот. И я к нему, у-это, сажаюсь, и он, у-это, меня — хоп! И я на нем еду. Высоко там. Там кабина, где, у-это, спина.

Все долго молчали, совершенно сокрушенные сообщением принца. Свой слон — это, конечно, кое-что. Необходимо было как-то выравнять положение.

— А у вас, значит, все еще царизм?— спросил Тараска.

— У-это, как — царизм?— не совсем понял принц.

— Ну, значит, король там правит, капиталисты. А у нас вот, между прочим, скоро уже коммунизм станет.

— У-это, как — станет?

— Ну, значит, каждый будет работать, сколько он может, в силах, а получать сколько надо.

Принц радостно закивал головой:

— У-это, у меня уж есть, у-это, коммунизм. Чего умей — делай, чего не умей — не делай. Сколько, у-это, хочу — давай-давай.

Ярослав Несметнов посмотрел на него со снисходительной насмешкой:

— Умный ты, а еще принц. Чудило ты заморское, сообразил... Коммунизм для всех, а не для одного.

— А если для одного, это и есть типичный царизм,— дополнил Тараска.

Тут из-за куста опять вылез никем не замеченный Ростик. И как он тут оказался, никто не понял. Но Ростик успел просунуться к принцу, и было уже поздно удерживать его.

— А кто главнее — король или царь?— сказал Ростик. Он, собственно, собирался спросить, кто хуже, но у него хватало деликатности смягчить вопрос.

Ответа он не успел дождаться, так как ему пришлось срочно удирать за кусты.

Вид у Ярослава Несметнова был достаточно многообещающий.

Решили потолковать о делах, которые, вероятно, допекают всех ребят на свете, будь они даже принцы.

— Учишься ты где?— спросил Несметнов.— Школа есть при дворце или в общую ходишь?

Принц вздохнул и сказал, что заниматься ему приходится дома, во дворце, уроков задают много, и готовить их приходится тоже со специальными учителями — придворными наставниками.

Ребята даже посочувствовали. Нелегкое это дело — заниматься с глазу на глаз с учителем одному, а вокруг даже и подсказать некому.

— Да, ребятам еще везде живется не ах,— согласился Тараска.

Гелька Пафнулин незаметно толкнул его локтем в бок и показал глазами на принца.

— У нас-то, положим,— сказал он,— давно уже счастливое детство.

— «Счастливое»!..— Тараска усмехнулся.— Больше получаса купаться не дают. Иди ты знаешь куда!..

Гелик обиженно отошел, показывая всем глазами, что Тараска ведет себя нетактично при принце.

А тот заинтересовался:

— Куда ты, у-это, его погонял?

— Пусть к лешему свинячему идет,— охотно отозвался Тараска.

— У-это, хорошо. А у нас, когда хотят погонять, скажут: «У-это, уходи в дыру желтых муравьев».

— Тоже неплохо,— одобрил Тараска.

Потом принц показал марки, на которых был его брат, король Джутанг. И когда ему дали справочник «Коротко о странах» и он увидел там флаг и герб Джунгахоры, то принялся пояснять ребятам, что там изображено. У джунгахорцев, оказывается, есть поверье, что лунные лучи, отраженные в море, рождают жемчуг, поэтому-то на двухцветном флаге Джунгахоры солнце красовалось посредине алой полосы, луна же была на верхнем синем поле. А на нижней синей полосе белела большая раковина с жемчужиной. И принц привел джунгахорскую пословицу: «Солнце светит с высоты всем, луна сопутствует бодрствующим, а жемчуг доступен лишь тем, кто не страшится глубин».

— Крепко завинчено, ловко сказано. Только кто его заиметь-то может, этот жемчуг? Небось тот, кто и не нырял сроду с головкой,— сурово заметил Несметнов.

Принц тут же объяснил значение герба Джунгахоры, который был вышит и у него на рубашке. В большом круге,

увенчанном короной, на которой сияло солнце, изображался слон, топтавший ногами и душивший задранным вверх хоботом змей. Принц пояснил, что этот герб выражает девиз: «Один могучий слон добра растопчет сотни ядовитых змей зла». Все с интересом слушали принца, и он, видно, почувствовал, что завладел общим вниманием. Чтобы окончательно укрепить свой авторитет, он вдруг, хитровато оглядевшись, доверительно сообщил:

— А я еще, у-это, могу качать брови. Эта — так, эта — так!

И на смуглом круглом личике его брови заходили быстро: одна верх, другая вниз. Вверх — вниз, поочередно, как чашки весов. Ребята попробовали сделать так, но никто не мог столь ловко управляться со своими бровями. Долго все гримасничали, морщились, щурились. А принц охотно показывал свое искусство, за которое ему дома при дворе не раз крепко влетало.

Словом, ребята уже тихонько говорили друг другу: «Нет, видно, ничего парень этот принц. Молоток! Определенно свой».

Но принцу и этого показалось мало. Вдруг он вынул из красивого, расшитого золотом и украшенного узорами жемчужин карманного блокнота фотографию. На ней был снят сам принц Джунгахоры Дэлихьяр Сурамбук, а рядом с ним — кто бы вы думали?— Юрий Гагарин, вот кто! Они были сняты вдвоем на фоие дворца Джайгаданга под сенью кокосовых пальм. Первый космонавт мира обнимал принца за плечи, а на фотографии стояла личная подпись: «На память от Юрия Гагарина».

Тут уж все обомлели вконец. Шутка ли, личный автограф самого Гагарина! А принц пояснил:

— Он у нас был, у-это, гость в Джайгаданг. Мы с ним, у-это, ходили гулять на море.

Как тут было не зауважать принца! У кого еще была фотография Гагарина с личной подписью космонавта?

Положение спас Тараска. Он сумел поддержать репутацию лагеря в глазах принца.

— У меня, между прочим,— неожиданно изрек он,— двоюродный дядька — главный конструктор этих самых космических ракет, если хочешь знать.

Принц не пытался скрыть, что ему очень хочется знать.

— Ой, у-это, очень здороуо! Ты меня с ним води! Уу, у-это, буду тоже, у-это, космомолец.

— Космонавт,— поправил его Несметнов.— Много захотел, это не всякий может.

— Я буду его приказать, когда стану король.

— По королевскому указу пока что-то не больно в космос летают.

Принц продолжал с явным восхищением смотреть на Тараску, а тот, и без того пухлый, совсем раздулся от гордости. Но когда все двинулись на обед, из-за большого олеандра показалась осанистая, подобранная, как всегда, фигурка Тониды. Строгим пальцем она поманила к себе Тараску.

— Ты чего же раньше не говорил, кто у тебя дядя?— с нескрываемым уважением спросила Тонида.— Я сейчас слышала. Чего молчал?

— Ну, во-первых, ведь троюродный только даже, а не двоюродный,— забормотал Тараска, озираясь по сторонам,— а во-вторых, это же государственная тайна.

— А с чего же ты сейчас всем раззвонил, если тайна?

— Слушай, Тонида,— совсем тихо сказал Тараска,— ну чего ты прицепляешься? Я же это нарочно сказал, чтобы этот принц не очень зазнавался. Я свободно, может быть, даже ему и не наврал нисколько. У мого отца троюродный брат — он мне дядька, значит,— так он правда какой-то секретный профессор, изобретатель. Почтовый ящик вместо адреса. Кто знает, может быть, он как раз и есть главный конструктор. Он же мне не скажет. Могу я, в конце концов, так считать про себя?

— Про себя можешь, а других не путай. Транзистор!..— проговорила Тонида и не очень больно щелкнула Тараску в выпуклый лоб.

Тараска для вида потер место, куда его щелкнула Тонида, ухмыльнулся про себя и побежал догонять ребят.

Глава VI

ТЕНЬ, НА КОТОРУЮ НАСТУПИЛИ

Произошло это на физкультурной площадке лагеря. Сначала там играли в волейбол. Судила физкультурница Катя — Екатерина Васильевна. Принц свистел и хлопал, болея за мальчиков,— они, как ни старались, проигрывали девочкам. Очень уж трудно было принимать мячи, которые как снаряды неслись от сильных ладоней Тониды и прямо-таки вонзались в площадку. В общем, мальчики проиграли и с трудом нашли в себе мужество прокричать «физкультпривет» победительницам.

Потом Екатерина Васильевна ушла, и ребята стали показывать свою ловкость и силу кто во что горазд. Дэлихьяр понял, что и тут можно отличиться.

У себя во дворце среди тех немногих детей придворных,

которые допускались в Джайгаданг, Дэлихьяр слыл за отличного спортсмена. Он мог прыгнуть дальше всех, он отлично боролся на поясах и опрокидывал самых сильных противников на землю.

Но вот стали сейчас прыгать в длину с разбегу. И не только Тоня Пашухина, лучшая прыгунья лагеря, но и Ярослав Несметнов, и Тараска Бобунов, и другие ребята — все врезáлись пятками во взрыхленный песок далеко за той отметкой, до которой был в силах допрыгнуть Дэлихьяр. Когда же принц предложил померяться с Несметновым силами на поясах, буквально через мгновение он оказался прижатым Ярославом к траве.

Страшное подозрение торкнулось в душу бедного принца. Не хотелось верить ему. Но странно: почему он всех побеждал во дворце, а тут оказался вдруг среди слабейших? Правда, никто над ним не смеялся. Все сочли дело вполне естественным. В лагере многие ребята были хорошими спортсменами — что же тут мудреного, если принцу пришлось спасовать перед ними.

Летнее солнце уже садилось за море. Медленно набегавшие на берег волны были оторочены резко прочерченными синими тенями. По песку и газону физкультурной площадки за фигурами носившихся ребят метались длинные и тонкие, как росчерки, вечерние тени. Песчаную полосу, где только что соревновались в прыжках, перерезала узкая длинная тень, тянувшаяся из-под ног принца. В это время уже собравшаяся уходить Тонида, шагнув через площадку, наступила на тень принца.

Дэлихьяр мгновенно выпрямился. Тень его на песке стала еще длиннее. Неожиданно повелительным жестом он направил вытянутую руку с торчащим вперед пальцем на Тониду.

— Ты не сметь так становиться, где даже солнца нет от меня,— сказал он.— У-это, моя тень. Ты не сметь стоять, где моя тень.

Все замолчали в изумлении, ничего сперва не понимая. Тонида, пожав своими прямыми плечами, отошла немного в сторону.

— Такой есть, у-это, закон — не стоять, где тень короля и, у-это, принца,— продолжал Дэлихьяр.

И тогда Тараска, ради озорства, нарочно прыгнул на длинную тень принца, да еще стал пританцовывать на ней, выворачивая пятками песок. Принц ринулся прямиком по своей собственной тени. Мгновенно он оказался вплотную возле Тараски и залепил ему пощечину.

На секунду все застыли в возмущении. Но тут уже Тонида обернулась, шагнула обратно на площадку. Молча схва-

тила она принца за шиворот и, прежде чем тот опомнился, влепила три крепких шлепка по тому месту, которое у наследников престола предназначается для трона.

Дэлихьяр вырвался из цепких рук ее. Лицо его, всегда смуглое, свежее, стало дымно-серым. Брови судорожно прыгали, слезы наполнили глаза.

— Шарахунга!— закричал он, потрясая над головой стиснутыми кулаками. Это было, очевидно, какое-то страшное джунгахорское проклятье.— Дочь змеи! Твоя душа — жаба! Я, у-это, буду уговорить брата, у-это, короля... Он вам будет объявлять война, убивать, стрелять.— В ярости он сорвался с места и исчез в аллее.

Все были смущены. Как-никак дело было неприятное. Все-таки гость из страны, борющейся против империалистов, к тому же принц. И вот на́ тебе, в первые же дни...

Тараска опустил руку, которую держал у щеки.

— Зря ты, его Антонида.— Слава Несметнов хмуро всматривался в аллею, куда убежал принц.— Это уж ты набезобразничала.

— А он не безобразничал? Дает волю рукам,— не унималась Антонида.

— И ты тоже... Чего ты на его тень вскочил, раз у них там не полагается,— укорял Тараску Ярослав.

— Им там хорошо, на экваторе,— оправдывался Тараска,— солнце прямо над макушкой, тени у них короткие. Вот никто и не наступает...

Пришлось доложить о происшедшем вожатому Юре. Тот очень огорчился и не на шутку встревожился. Сейчас же бросился искать принца. Уже начинало заметно темнеть, когда Юра нашел Дэлихьяра. Тот сидел в одной из плетеных кабинок для переодевания на пляже. И пришлось долго уговаривать его, чтобы он покинул это свое укрытие. На общий ужин принц не пришел. Вожатый Юра принес ему еду в комнату на дачу. Мальчики и Тонида чувствовали себя тоже не в своей тарелке. Все понимали, что дело получилось не очень красивое. Не так на́до перевоспитывать принцев.

Дэлихьяр после ужина повалился на кровать, но Юра заставил его встать.

— Сначала разбери, раскрой постель, как я тебя учил,— сказал Юра.— Ты вот, говорят, в суворовское готовишься, а военных порядков знать не хочешь. Офицер должен сам себе приготовить ночлег, как в походе. Куда же ты годишься, если постелить себе не умеешь, а утром койку не заправишь. Ушел сегодня, не прибрал за собой. Это все не дело. Ну, давай я тебя научу.

— А, у-это, бороть всех ты меня будешь учить?

— Всему свой черед. И бороться научу. Такие приемы я знаю — никто не устоит против тебя.

Они стелили постель, а принц, еще всхлипывая, спрашивал:

— А почему все меня, у-это, сбороли? Я раньше всех борол, а теперь меня... Может быть, у-это, у вас не так, как у нас, земля притягивает?

— Да не в тяготении, друг, дело. Ты не огорчайся, я тебе правду скажу. Просто они все там, во дворце у вас, поддавались тебе. Ты же принц — их и заставляли прыгать покороче тебя, и как борьба — так ложиться сразу. Вот ты их и борол. Вот тебе и все притяжение, соображаешь?

Принц всхлипнул и кивнул головой. Некоторое время он молча расстилал простыни, подбивал подушки. Потом сказал тихо:

— Бабашура... Я, у-это бабушку свою так называл. Бабашура меня учила, у-это, играть русские шашки... Там тоже так бывает. Играют, у-это, так поддáмки.

— Только не поддамки, а поддавки,— сказал Юра.— А так правильно говоришь. Они и с тобой в поддавки все играли. А у нас ты тут окрепнешь, натренируешься, совсем другой разговор будет, по чести и совести.

Уже сыграли давно отбой в лагере и улеглись по-вечернему волны на море. Лишь легкий шорох гальки доносился с пляжа. Но напрасно физкультурница Екатерина Васильевна ждала у ворот служебного корпуса вожатого Юру, который обещал прокатиться с ней вдоль моря на велосипедах по шоссе. Не мог Юра оставить в этот трудный час принца. Дэлихьяр уже лежал и вот-вот готов был заснуть, но все открывал в темноте глаза, находил руку Юры, стискивал ее крепко и спрашивал:

— А как я, у-это, теперь дальше тут буду?

— И очень просто,— успокаивал его в десятый раз Юра.— Подумаешь, большое дело — тень! Вот на горло когда наступают — это паршиво... А завтра соберу я вас всех троих: и Бобунова, и Пашухину вместе с тобой. Друг перед другом извинитесь, и конец всему. Все трое виноваты — значит, и упрямиться тут нечего. Но это, конечно, если ты сам утром койку заправишь.

— Заправлю,— сказал принц.— Я подушку буду бить вот так.— Он сел на кровати, кулаками поколотил с боков подушку, повернул ее уголком к себе.

— Ладно тебе,— сказал вожатый.— Заправлять утром будешь, а сейчас, раз постель раскрыта, что полагается?

— У-это, спать.

— Значит, спи.

Физкультурница Екатерина Васильевна дождалась все-таки Юру в этот вечер... Луна еще не зашла, когда они катили вдвоем, рядом на велосипедах, светила им сперва в лицо, а потом сзади, когда пришло время возвращаться домой.

И они ехали — тесно, педаль к педали — прямо по своим теням, которые егозили, то сливаясь, то раздваиваясь перед ними, на облуненном асфальте шоссе.

Глава VII

«ДИКАРЬ» И «НИЧЬЯ»

Утром принц заправил свою койку уже сам. И она теперь выглядела образцово — так аккуратно было выстлано легкое одеяло, так крепко взбиты подушки и все прибрано вокруг и на ночном столике. И полотенце висело там, где полагается. Тут и явились по вызову вожатого Тараска с Тонидой. Но Тонька и на этот раз показала свой скверный характер.

— С чего это я буду виниться?— пробормотала она.— Ему можно драться, раз он принц, а ты уж и сдачи не ответь.

— При чем тут принц?— рассердился вожатый Юра.— Кто бы ни был на его месте, а порку устраивать ты не имеешь права.

— Я его не порола,— проокала Тонида,— поддала разок.

— Три раза,— уточнил принц.

— А я не подсчитывала,— не сдавалась Тонида.

— Стыдно,— сказал вожатый.— Приехал человек из колониальной страны, борющейся против угнетателей, слышал там, что у нас самые справедливые порядки, что никогда никого пальцем не трогают в смысле физических наказаний, а ты — бац-бац... Что человек подумает?

— А ему можно Тараску бац-бац?

— Так он же раскаивается,— сказал Юра.— Ты ведь, Дэлихьяр, раскаиваешься?

— А как, у-это, раскай-вай-ваешься?

— Ну, ты жалеешь, что так получилось нехорошо?

— У-это, нехорошо.— Принц отвернулся.— Только пускай и они тоже раскай-вай-ваются!

— Ну вот,— сказал вожатый.— Дэлихьяр считает сам, что поступил нехорошо. Значит, он раскаивается. Тарас тоже зря дразнился. Правда, зря?

— Правда,— выдавил из себя Тараска.— Только я пошутил, а не дразнился. Я же ему не на ногу наступил, а на тень только.

— Ну ладно, ладно,— поспешил вожатый Юра.— Словом, все ясно. А уж рукоприкладство Пашухиной было совершенным безобразием. Короче говоря, протяните друг другу руки, вот давайте их сюда...— Вожатый взял сперва за руку Тараску, потом Тониду, свел их руки вместе, а сверху положил руку принца и накрыл своей ладонью.— Вот так. Раз, два, три! Все повинились, все поняли. А теперь гоните на пляж.

Все трое, не глядя друг на друга, побрели к дверям и, выйдя из них, быстро пошли в три разные стороны, ни разу не обернувшись.

На одной из аллей, которая вела к морю, принца нагнал Гелька Пафнулин.

— Плюнь ты на нее,— сказал он, имея в виду, должно быть, Тониду,— на нее вообще у нас никто не обращает внимания. Она грубая, невоспитанная, хуже всякого хулигана, из детдома потому что. Ну, это как у вас приют, понимаешь? Ни роду, ни племени — подкидыш.

Принц хмуро слушал его и продолжал шагать к берегу. Пафнулин семенил чуточку позади.

— Слушай, давай поддерживать друг дружку, если хочешь,— приставал Гелька.— Знаешь, чего я тебе скажу? Подари мне твой транзистор, и я тебе все обеспечу. У меня тут везде свои ходы, со мной беды знать не будешь. А?

Принц решительно замотал головой.

— Что, жалко стало? Тебе же еще из дворца новый пришлют. Эх ты, жадина...

— Я не джадина,— рассердился принц,— ты сам джадина. У-это, так не говори...

— Ну ладно,— примирительно сказал Гелька,— там видно будет. Ты от меня, в общем, не отдаляйся, не советую. Тут, знаешь, компания не очень подобралась, я тебе честно скажу. Я бы мог, понимаешь, отдыхать индивидуально, но маме порекомендовали, чтобы я в коллективе лето провел. Сказали, что коллектив способен воздействовать. Ну и пусть себе воздействует. Тебя ведь, наверное, тоже прислали, чтобы коллектив воздействовал. А ты им не поддавайся, ты плюнь. А хочешь, так сделаем, ты меня при всех сборешь на обе лопатки? И сразу покажешь себя. Только тогда уж определено гони мне твой транзистор. Тебе же все равно новый подарят. А ты меня можешь сборoть при всех, пожалуйста...

— А я тебя, у-это, и так сборю,— сказал с ненавистью принц и вдруг яростно кинулся на Пафнулина.

Ему был уже отвратителен этот хлипкий, гнусавый мальчишка с заискивающими глазами. Принц кинулся и тем приемом, который ему показал вчера вожатый Юра, неожиданно для самого себя опрокинул Гельку на песок аллеи.

Пафнулин поднялся, отряхиваясь.

— Ну и что?— загундосил он.— Все равно тебе никто не поверит, что ты меня взаправду сборол. Скажут, что я нарочно поддался. А мне плевать до лампочки! Они меня тут все равно подлизой дразнят. Я им скажу, что поддался тебе.

И верно, никто не поверил. Ребята, которые шли к морю и все видели издали, остановились теперь на аллее, крича:

— Что, уже прилип? Подполз, стелешься, поползень...

Но уже вконец разъяренный Пафнулин заорал:

— Стану я к нему прилипать, очень мне нужно, подумаешь! К кому прилипать-то? Кокос-абрикос, желторылый туземец, дикарь!..

Принц было рванулся к нему, но, что-то, видно, вспомнив, сдержался.

Он только тихо сказал:

— Не смей, у-это, так говорить. Так только мерихьянго говорят. Плохой человек... И ты тоже плохой.

— А ты дикарь, дикарь, дикарь!— не унимался Пафнулин.— Вождишка из дикого племени!..

Ребята сгрудились вокруг них. И уже решительно проталкивался вперед Ярослав Несметнов, приговаривая на ходу:

— А ну, Гелька, кончай, кончай живо!

Вдруг откуда-то появилась Тонида:

— Эй ты, граф Нулин, не больно-то дразнись! Там твои родители приехали на собственной персональной. Так и сказали вахтеру дяде Косте у ворот: «Позовите нашего сыночка, скажите ему, что мы приехали вольным порядком и обосновались тут на денек дикарями». Так что ты-то и есть самый настоящий этот дикарь, природный дикарь.

— А ты, подумаешь, хи!.. Принцесса,— не сдавался Пафнулин.

Тонида двинулась угрожающе на него:

— Уж не знаю, кто я, только вот не виновата, что твои папочка с мамочкой сами себя дикарями объявляют.

Гелька решил бить по самому больному:

— Вот именно, что ты — не знаю кто. Слышали? Ловко! Сама сказала. За мной дикарями не дикарями, а приехали, а за тобой никто не пригонит. Потому что ты безродная, подкидыш!.. Именно —«не знаю кто». Ты же ничья...

И вдруг Тонида, всегда готовая отбрить любого обидчика, вспыхнула вся, беспомощно посмотрела на ребят... Одной рукой она схватилась за плечо, словно ее больно ушибли, и зажала в сгибе локтя закушенные губы.

Тараска посмотрел сперва на нее, потом на Гельку.

— Ты чего говоришь?! Это ты всегда сам ничей — ни вашим ни нашим... поддавашка!

— Не хочу я с тобой связываться, рахитик,— надменно изрек Гелька, с опаской поглядывая на окружавших их ребят, и побежал к воротам парка, за которыми его ждали приехавшие родители.

Ребята, потоптавшись возле Тониды, которая продолжала стоять, уткнув лицо в сгиб руки, медленно побрели к морю. И только принц Дэлихьяр остался. Он тихонько подошел к Тониде, покашлял. Снова отошел. И опять приблизился.

— У-это,— почти шепотом начал он,— ты не надо... У-это, я тоже, как ты, тоже нет папа-мама. Тоже ничей, как он сказал. Маму, у-это, плохие убили. Она была против очень мерихьянго, они ей давали пить, у-это, яд... отравляли. Я слышал потом, люди тихо сказали, у-это... тихо сказали, а я все слышал...

Тоня медленно отняла от лица словно затекшую руку, подняла голову. Она стояла, отвернувшись от Дэлихьяра, чуть скосив назад через плечо взгляд.

— А я его правда положил, сборол,— опять заговорил принц.— Честная правда, клянусь солнцем и луной! Я его сильно так — и поклал. Мне Юра покажет еще прием, я буду самый сильный... Хочешь, я его бац-бац, если он тебе плохо скажет?

Тонида медленно обернулась и долго смотрела на принца. Длинные брови ее перестали тесниться. И лицо как будто стало доверчиво приоткрываться. Она все смотрела на принца.

Вот он как родился, так уже был тем и знаменит. А она долго даже не знала, где родилась, у кого. А в общем-то, они оба оказались чем-то схожими. Как ни странно, а этот смуглый, грустноглазый мальчишка из далекой заморской страны, родившийся во дворце, но тоже почти не знавший, что такое слово и ласка матери, был сейчас чем-то близок и странно родствен ей.

— Ты на меня не серчай, что я тебя вчера так,— сказала она глуховато.— Хочешь, можешь ударить меня.— Она подняла голову и подставила щеку.— Только, уж конечно, не потому, что ты принц...— Длинные ее брови, и без того сходившиеся на переносице, теперь сомкнулись совсем над плотно закрытыми глазами.

— Нет-нет, я, у-это, так не хочу!— пробормотал принц, тряся головой.— Так у нас слуга говорит, когда его по щеке... Я так не хочу.

— Ну и ладно.— Она вдруг глянула на него весело и посвойски.— Пойдем тогда камешки собирать, может, сердолик найдем или Куриного бога. Пошли, а?

И они побежали к морю.

А между тем мамаша Гелика уже бушевала в кабинете начальника лагеря, нервно открывая и захлопывая пасть своей огромной цветастой сумки.

— Вы не находите, что это выглядит по меньшей мере странно? Мой мальчик, сын советского работника, занимающего видное место, живет в матерчатой палатке, где все продувается сквозняком и куда может заползти любая сороконожка вплоть до скорпиона, а какой-то принц, иностранец, разумеется капиталистического происхождения, размещен на даче со всеми удобствами! Действительно, как говорится, в царских условиях.

Начальник пытался урезонить ее:

— Должен вам сказать... Простите, не знаю вашего имени-отчества... Ольга Федоровна? Так вот, Ольга Федоровна, мы стараемся для всех ребят создать, как вы выражаетесь, царские условия. Но здоровые мальчишки предпочитают жить по-лагерному, по-походному, у моря, чтобы оно у них под самой подушкой шумело, чтобы волны в полог стучали. Ну, а в дачах мы размещаем менее закаленных, более слабых. Впрочем, как желаете... Можно и вашего сынка устроить. Вы не обижайтесь, но должен вам сказать, что сынок ваш в тысячу раз больше принц, чем этот самый Дэлихьяр из Джунгахоры.

— Да,— невозмутимо отвечала мамаша Гелика, угрожающе щелкая сумкой,— мы не скрываем, что стремимся дать нашему сыну воспитание на высшем уровне...

Гелика Пафнулина, хотя он уже был и сам этому не рад, перевели из береговой палатки, в которой обитали Слава Несметнов, Тараска Бобунов и другие ребята, на дачу, предназначенную, как выражались мальчишки, для «слабачков».

Узнав об этом, принц на другой же день стал требовать от Юры, а потом и от директора, чтобы его непременно перевели на освободившееся место, в палатку номер четыре, к Тараске и Несметнову.

Посоветовавшись с вожатым, начальник в конце концов согласился.

— Ладно, пусть живет с товарищами. Он парень, видно, подходящий. Они его там закалят как надо. Только ты, Юра, все-таки предварительно потолкуй с ними. И, конечно, с врачом вопрос согласуй.

Получив согласие врача, вожатый Юра явился в палатку номер четыре, перед тем как туда перевели принца:

— Вы все-таки с ним потактичней. Он приучен к определенным манерам. Придворные церемонии соблюдать, конечно, никто вас не заставляет, ну, а, так сказать, считаться кое с чем все-таки не мешает. Понятно?

— Все понятно!— хором отвечали ребята.

Никакой церемонии перехода в палатку не проводили. Только Тараска, посоветовавшись с Юрой-вожатым, попросил девочек вышить флаг Джунгахоры. Долго упрашивать не пришлось. Тоня охотно вышила флаг и герб страны Джунгахоры. И у входа в палатку номер четыре повесили пионерский вымпел, а рядом с ним джунгахорский флаг.

Так принц Дэлихьяр стал жить на берегу в палатке номер четыре. Не буду скрывать, что флаг-то флагом, а в первую же ночь принцу все-таки была устроена некоторая проверка. Ему подложили в постель дохлую лягушку. И когда принц стал разбирать кровать на ночь, все в палатке замерли, ожидая, что́ сейчас произойдет, как будет себя вести принц в этих каверзных условиях и что полагается сделать в таком случае по дворцовому этикету.

Дэлихьяр, напевая свою любимую песенку, которую он запомнил со слов бабушки, «Гайда тройка, снег пуджистый», сноровисто, желая показать ребятам свое умение, готовил себе койку. И вдруг замолк.

Все остановилось в палатке номер четыре.

— О!— воскликнул Дэлихьяр.— Бедный, у-это, уже не живой... У нас в Джунгахоре мы их кушать, соус банан. Нет, у-это, не такой породы.— Он взял двумя пальцами за лапку лягушку, внимательно осмотрел ее, покачал головой, подошел к выходу из палатки, откинул полог и выбросил лягушку вон.

Едва не опрокинув Дэлихьяра, из палатки пулей вылетел Славка Несметнов. Его тошнило...

Через два-три дня вожатый Юра спросил Тараску:

— Как у вас там принц, освоился? Не очень вы его?

— О, полный порядок,— затараторил Тараска,— в обстановке полного взаимопонимания, мир и дружба, фройндшафт, бхай-бхай!

Не прошло еще и пяти дней, как принц стал одним из самых заядлых охотников за морскими камешками. С пренебрежением откидывая зеленые полосатые камешки-лягушки, он отбирал сердолики и халцедончики. Он научился великолепно ноздрить камешки, натирая их до нужного блеска о крылья собственного носа.

И на груди у принца, рядом с королевским амулетом с золотым изображением солнца, перламутровым слоном и жемчужной луной, болтался вскоре на ниточке так называемый «Куриный бог», то есть камешек с дыркой, которую выточило в нем море.

Найденного им второго Куриного бога он преподнес Тониде, и она великодушно приняла подарок.

А потом все словно и забыли, что он принц и наследник королевского престола.

Только и слышалось:

— Дэлька, наноздри мне вот этот сердолик. У меня нос обсох, лупится.

— Дэлька, пошли на отмель крабов ловить, а? Сходили?

— Дэлька, ты когда брови упражнял, сперва пальцем их поддерживал?

И голос принца, высокий, мелодичный, какого-то особого оттенка, хорошо выделялся вечером, когда он вместе с приятелями по палатке номер четыре пел под балконом дачи «слабачков»:

> У Пафнулина у папы,
> У Пафнулиной у мамы
> *Жил сынок чин чинарем.*
> Он любимчик был мамулин,
> Он любимчик был папулин.
> Ну, а вырос дикарем...

Глава VIII

С ЧЕРНОГО ХОДА

Ребята вообще умеют быстро сближаться. А в пионерском лагере дружба схватывается мигом, как гипс. Смотришь, вчера еще не знали, как зовут друг друга, а сегодня уже старые товарищи. Может быть, конечно, лагерная дружба не так прочна, как школьная, та, что крепнет год от года, класс от класса. Как известно, гипс на то и гипс,— быстро схватывается и легко раскалывается. Но, во всяком случае, медлить с летней дружбой не приходится. Сроки лагерных путевок короткие. Глядишь — пора уже и расставаться. И Тонида сама на себя дивилась. Как это она, всегда такая трудная и колючая, тяжелая и неходкая в знакомстве с людьми, так быстро и запросто подружилась с принцем. Конечно, это была дружба, самая настоящая дружба, ничего больше, как бы девчонки не подкашливали хитро и ни строили гримаски за ее спиной, когда у девчачьей дачи появлялся Дэлихьяр.

— Иди, принцесса, твой пришел,— хихикали девчонки и едва успевали увернуться от крепких тумаков Тониды.

— Подите-ка вы подале... Городите опять не знай чего.

Впрочем, она стала уже не такой размашистой, какой была вначале. И вообще как-то изменилась Тонида-Торпеда. Один раз она даже попросила подружек причесать ее по-модному, с начесом.

— Ну наконец-то, очухалась,— говорила Зюзя Махлакова, искусно взбивая расческой что-то вроде кокона на Тони-

циной макушке, где до сих пор властвовала лишь суровая круглая гребенка.

А когда причесали девочки Тониду и иадела она к вечеру Зюзину иейлоновую кофточку, приколов к ией Куриного бога, подаренного принцем, просто не узнать ее было.

— Ой, Тонька,— восхищалась Зюзя,— до чего же ты сегодня интересная, спасу нет! Девочки, вы только поглядите!.. Честное слово, как бы в Джунгахоре землетрясеиия не было.

— Подите-ка вы от меня подале,— гудела польщенная Тоиида и рдела, и правда хорошела, поглядывая в зеркало, которое держала перед ией Зюзя, и пригашая длинными ресиицами застенчивую лукавиику в просторных глазах своих.

И они вместе с принцем, которого все в лагере звали теперь уже просто Дэликом или Дэлькой, собирали на берегу камешки и тщательно ноздрили их, иатирая для блеска о собственные носы. Принц, у которого иа перстие горел большой бриллиаит, а дома были золотые пояса и пряжки, усыпанные драгоценными камнями, восторженно кидался в набегавшую прозрачную, с прозеленью волну, завидев в ией маленький сердолик, не больше иоготка...

Медлеино брели они вдвоем у самой воды, отпрыгивая со смехом в сторону, когда ветер сдирал с гряды прибоя клочья пены, развеивая их в брызги, и волиа плюхалась под самые ноги. И чем шумнее разгуливалось море, тем откровеннее говорили они друг с другом, потому что море заглушало слова и можно было лишь догадаться о сказанном.

— Угадай, про что я тебе сказала?— кричала Тонида сквозь грохот прибоя.

— У-это, повтори еще...

— Хорошо!— лукаво обещала она, ио, нарочио выждав, когда иовая волна, вильнув пениым хребтом, с грохотом бухала о берег, повторяла что-то неслышное Дэлихьяру, издали глядя на него.

А он тряс головой и опять просил:

— Повтори, у-это, ты что говорила?

— Не буду я сто раз повторять,— доносилось до него сквозь грохотание прибоя.

Тоиида иаучила приица чудесной песне, сложениой кем-то в дальних походах. И, стараясь перекричать море, оии во все горло пели вдвоем на берегу:

Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой...
Глобус крутится, вертится,
Словно шар голубой...

И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы.
Только той еще дороги нету,
По которой нам бродить по свету.

— Тебя когда-нибудь дразнили? — спросила как-то Тоника.

— А, у-это, как? — насторожился принц.

— Ну, как-нибудь прозывали?.. Вот меня Торпедой дразнят...

— О-о! У-это, сколько много раз,— обрадовался Дэлихьяр.— Вот так... Сын солнца и луны. Жемчужина короны. Еще, у-это, юный слон мудрости.

— Ох, чудик ты, Дэлька,— засмеялась ласково Тоня.— Так это же разве дразнят? Это величают.

— А я, у-это, не люблю, когда увеличают.

Все давно уже привыкли к нему. Он научился нырять и даже получил разрешение от Юры-вожатого плавать по нескольку минут с ластами и аквалангом. Вместе со всеми мальчишками упрямо отшагивал в строю дальние дороги на экскурсиях, участвовал в Дне космоса и в Дне моря. Старательно салютовал на лагерной линейке. Пионеры придумали в его честь специальное приветствие и при встрече с принцем, салютуя ему, кричали:

— Луна и солнце!

На что он, растопырив пятерню, поднятую над головой, отвечал, сияя:

— Серп и молот!

И все были очень довольны собой и друг другом.

По вечерам, когда оставались считанные минуты до сна, а, признаться, иногда и после положенного срока шли в палатке номер четыре интереснейшие разговоры. Тараска и Ярослав наперебой рассказывали Дэлику о Буденном, о полярниках и об атомоходе «Ленин», о Павлике Морозове, Володе Дубинине, молодогвардейцах и космонавтах. А принц говорил им о бойскаутах из организации «Королевские тигры», почетным шефом которой он считался, и о Тарзане, про которого он читал в книжках больше, чем было в кино. И уже не проснл он в полночь, как прежде, будя всех, закрывать полог палатки, чтобы не влетели шарахунги — злые полночные духи. «Я, у-это, теперь знаю. Коммунисты у вас убили всех духов. Я больше не стал бояться».

Ну и путаница же была в голове у этого славного принца! Дэлихьяр, например, верил, что если длинную лиану перетащить через три реки, то она превращается в змею. Он верил также, что во вредных людях зреет змеиный яд, и подозревал, что к таким надо отнести и Гелика Пафнулина, который

теперь старался обходить палатку номер четыре подальше. А однажды, когда возвращались из похода в горы и уже спускались к шоссе, которое проходило мимо лагеря, вдали послышались громкие сигналы. Из-за поворота вылетели три мотоциклиста в белых и гладких, как облупленное крутое яйцо, шлемах. Они мчались, оглушительно сигналя, отмахивая белыми перчатками влево и вправо. И все машины, и встречные и попутные, сразу же послушно отворачивали к обочинам, очищая путь посредине шоссе. А за мотоциклами неслась маленькая открытая машина, над которой билось во встречном ветре пурпурное знамя с развевающимися золотыми кистями. И чуть позади следовали один за другим голубые и алые автобусы с флагами на кузовах.

— Стоп! Пропустим,— скомандовал Юра.

Принц настороженно всматривался в торжественный кортеж, приближавшийся в окружении почетного эскорта мотоциклистов.

— У-это, кто едет?— ревниво поинтересовался он.— Откуда король тоже приехал, да?

— Король не король, а принцы и принцессы наши едут,— начали было потешаться ребята, но вожатый Юра остановил их.

— Кончай придуриваться, ребята, хватит. Это, Дэлик,— сказал он принцу,— новая смена к нашим соседям, в лагерь «Чайка», едет. У них заезд получился позднее. Лагерь новый, недавно сдали.

— А нас еще и не так везли,— похвастался Тараска.— Нас с духовой музыкой. Впереди на отдельном грузовике наяривали марш всю дорогу. Все движение встало на шоссе. Пионерам у нас всегда «зеленую улицу» дают. Дуй, гони!..

И проносились мимо пионеров, мимо оторопевшего принца нарядные автобусы. Из окон высовывались ребята, махали руками, что-то кричали, пели. Каждый автобус словно обдавал стоявших своей песней.

Фр-р-р-р-р!!!— проносились с облачками жаркого воздуха машины.

Фр-р-р-р-ррр!.. «Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка... Низко бьем тебе челом...»

Фр-рр-рррр!.. «Давай, космонавт, потихонечку трогай и песню в пути не забудь...»

Фр-р-р-р!.. «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры — дети рабочих...»

Фр-р-р-ррр!.. «Ай-яй-яй, тебя люблю я!.. Ай-яй-яй, ты все молчишь..»

Фр-р-р-р!.. «С якоря сниматься, по местам стоять! Эй, на румбе, румбе, румбе, так держать!..»

А оглушенный принц только головой вертел, встречая и провожая накатывавшие и проносившиеся мимо песни.

Долго еще потом ходили по лагерю рассказы о том, как принц принял проезжавших пионеров за королей... Но особую славу в лагере «Спартак» принц Дэлихьяр Сурамбук приобрел после двух встреч.

* * *

Гуляли раз пионеры по одной из дальних аллей лагерного парка. Шли и пели все хором песню про зеленого кузнечика с «коленками назад», а сами откалывали на ходу замысловатые коленца какой-то ими придуманной смешной пляски. И там, где кипарисовую аллею пересекает тропа, ведущая к розарию, повстречался им незнакомый человек. Он был в вышитой украинской сорочке и соломенной шляпе. Широкие, как чехлы на креслах, холщовые штаны почти закрывали сандалии.

— Добрый день!— обратился он к ребятам, старательно улыбаясь.— Что это вы исполняете? Западные танцы?

— Что вы,— сказал Тараска,— это не западные, это восточные. Пляска тигров.

— Ишь ты!— сказал человек в широких штанах.— Ну, как живем, пионеры? Гуляем, загораем? Питание как? Всем довольны?

Ребята загудели в ответ дружно, но неразборчиво, что всем довольны, все хорошо.

— Так... Будем знакомы. Я от комиссии из областного центра. Интересуется руководство вашей жизнью. Давайте присядем вот тут на скамеечку, потолкуем. Ну, вот ты, например.— Он ткнул пальцем по направлению к Тониде, которая тотчас же мрачно скрылась за спиной Несметнова.— Что прячешься? Не тушуйся, нам интересно именно ваше личное впечатление. Как говорится, устами малолетних...— Он вынул толстую тетрадку из портфеля, который зажимал так высоко под мышкой, что даже скособочился несколько.— Ну, не хоронись там, девочка, давай начнем с тебя. Родители чем занимаются?

Тонида молчала.

— Какая-то ты, я вижу, необщительная, в себя замкнулась, нехорошо так в коллективе. Ну, а ты?— Он ткнул пальцем в принца, и ребята затихли, предвкушая удовольствие.— Ну, присаживайся здесь, так вот, рядышком. Дыши себе свободно, а я кое-что запишу. Стало быть, приступим. Давай с тобой заполним вопросы по порядку. Первый вопросик — имя, фамилия и всякое такое.

— Дэлихьяр Сурамбук.

— Нерусский будешь, значит? Это не суть. Повтори только для ясности...

Принц повторил, а ребята так и дулись от разбиравшего их смеха.

— Дэлихьяр... Интересно! Родители-то кто!

Ребята, разом посерьезнев, наперебой принялись подсказывать шепотом:

— У него отец с матерью умерли.

— Ясно,— сказал ревизор.— Сирота, следовательно. Сочувствую. Прискорбно. Значит, этот пунктик заполнили. А на чьем же иждивении?.. Ну, у кого живешь, кто содержит?

— Он у брата старшего живет,— объяснил за принца, лукаво озирая всех, Тараска.

— А вы не подсказывайте. Ты сам отвечай, по-русски ведь разбираешься? Вот. Он сам и без вас ответит. Кем, я говорю, брат-то работает? Где?

— У-это... Он работает во дворце,— отвечал Дэлик.

— Во Дворце культуры?

— Нет, у-это, в нашем. В Джайгаданг.

— Не совсем себе уясняю.— Ревизор почесал переносицу карандашом.— Это что, местности название такое! Сперва давай уточним, кем брат работает.

— Он король.

— В каком, так сказать, отношении? И вообще давай серьезно отнесемся.

Ребята уже чуть не помирали со смеху.

А Тараска вдруг подскочил к принцу, поднял с земли большой лист вроде лопуха:

— Ваше высочество, разрешите обмахнуть?

Ревизор поглядел на всех поверх очков, потом совсем снял их, снова надел на нос, приподнял соломенную шляпу над макушкой, помахал на себя, как веером:

— Да, действительно жарковато сегодня. Па́рит что-то. Так, я извиняюсь... Может быть, все-таки уточним?

Тут уже, не выдержав, ребята расхохотались и наперебой стали объяснять ревизору, что перед ним настоящий наследный принц, брат короля Джунгахоры и обитатель палатки номер четыре.

У ревизора съехал с толстых колен портфель, он поднял его, запихал туда тетрадь и, смущенно хлопая глазами, обратился к принцу:

— Слушай, извиняюсь, твое высочество... Ты меня, в общем, если что я нарушил... Не был поставлен в известность.

Тараска что-то все время показывал под ноги ревизору.

— На чем стоите?!— прошипел он наконец, показывая глазами на принца.— Сойдите скорей!..

Ревизор испуганно поглядел себе под ноги и даже приподнял одну сандалию.

— Нельзя на его тени стоять,— заверещал Тараска,— у них закон не позволяет.— И Тараска сделал страшные глаза.

Ревизор, поспешно пятясь, отшагнул в сторону и наткнулся на подошедшего начальника лагеря.

— Что же вы меня, товарищ Кравчуков, не проинформировали, что у вас в контингенте, так сказать, представитель зарубежной державы?

— Вы же меня не информировали о своем предстоящем прибытии,— отрезал Михаил Борисович,— с черного хода решили, с задней калитки. Ну, а я, признаться, полагал, что если прибудете, так с парадного крыльца. Извините.

— Да вот, товарищ Кравчуков, хотелось подемократичнее, так сказать, с низов, тем более *сигнальчик* был о неблагополучии. Заезжали тут родители, сигнализировали в область...

— Ладно, потом разберемся, когда пройдем ко мне,— оборвал его начальник.

В лагере запел голосисто и раскатисто горн, зовя на обед. «Бери ложку, бери хлеб...»— подхватили привычно ребята.

— Вы бы вот больше эти сигналы слушали,— сказал Михаил Борисович и повернулся к притихшим ребятам:— Ну что же, вы тут уже побеседовали, успели?

— Бодяга это, лабуда,— сказал вдруг принц.

Бедный начальник даже приостановился, хотя совсем уже было собрался уходить вместе с ревизором.

— Это ты по-каковски?— спросил он.

— По-русски, как, у-это, все.

— Хороши!— Начальник оглядел потупившихся ребят, укоризненно покачал головой.— Вы что же это русский язык позорите? Этому надо гостя учить? Да еще короля, возможно, в будущем. Доверяй вам, а вы...

Глава IX

СЕРДЦЕ ПЯТОГО

Вторая встреча была совсем иной, и запомнилась она «спартаковцам» надолго.

Дело шло к вечеру. Огромный огненно-оранжевый, чуть-чуть сплющенный шар солнца вот-вот должен был кануть за горизонт. Пионеры поднялись, чтобы проводить солнце, на высокую прибрежную скалу, где стоял позеленевший от времени и щербатый бюст доктора Павла Зиновьевича Савельева. Это он, старый большевик, один из героев гражданской войны, когда-то основал здесь, на Черноморском берегу, ла-

герь «Спартак». Тяжело больной, доживал он в лагере свои последние дни. Его приводили к вечеру на эту скалу, он сидел тут, смотрел на море и на закат и слушал песни, которые пели для него пионеры. На скале его и похоронили. И стоял здесь старый памятник доктору. Ребята часто поднимались сюда, чтобы полюбоваться красой морского заката, долго потом стоявшей в глазах. А закат и правда выдался очень хорош в тот день. Небо и море были сине-фиолетовыми, а над самой кромкой, отделяющей морскую даль от распахнувшихся во все стороны небесных просторов, накалялась широкая алая полоса, и в центре ее плавилось тяжелое багрово-золотое солнце.

— Ребят-ты, смотри!— зашептал, придыхая, принц.— У-это, совсем как у нас Джунгахоры флаг.

Услышав это, высокий и очень худой человек в темных очках, седой, смуглый, весь в белом, быстро обернулся. Он стоял поодаль с небольшой группой пожилых курортников, поднявшихся сюда, должно быть, из санатория, что находился неподалеку от «Спартака». Это, верно, их автобус дожидался внизу, у подножия скалы.

Высокий человек снял темные очки, худой красивой рукой плавно отвел их от смуглого лица, и Тониде показалось, что движением этим он разом впустил в глаза свои и всю широту далекого неба, и синь моря, и пламя горевшего заката — так много синевы и огня ринулось в упор на пионеров, когда незнакомец глянул на них.

— Джунгахори?.. Фари йо джор?— быстро спросил он у принца.

Тот, неожиданно услышав родную речь, доверчиво заулыбался сперва, но тут же сдержал себя и коротко с важностью назвался.

Высокий незнакомец медленно подошел вплотную к Дэлихьяру, чуть склонившись, поглядел ему прямо в глаза.

— Принц Дэлихьяр?— Он коротко кивнул головой и добавил:— Ну, давай познакомимся. Я — Тонгаор. Тонгаор Байранг.

Принц попятился, насупившись. Во дворце Джайгаданге не полагалось даже произносить это имя... А пионеры сразу стихли и обступили говоривших. Ну конечно, ребятам, как и всем у нас, давно уже было известно имя неустрашимого джунгахорского поэта-революционера коммуниста Тонгаора. Тараска так и вперился в него, стараясь бесшумно пробраться поближе. Вот он какой, Тонгаор Байранг! Без малого десять лет просидел поэт в одиночке в темени страшной гибельной ямы, куда его бросил тиран Шардайях, прежний король Джунгахоры. Всю жизнь свою боролся Тонгаор против захватчиков — мерихьянго. Стихи и песни Тонгаора, за-

живо погребенные в смрадной яме, где должен был погибнуть поэт, пробивались сквозь толщу тюремной охраны, гремели по всему свету. «Слышите?! Мой тайный код!.. Я перестукиваюсь со всем миром, со всеми, кому дороги свобода и правда, стуком наших разгневанных сердец!»— говорилось в одной из песен Тонгаора. И отзывной стук сердец миллионов людей стал в конце концов слышным по всей планете грозным грохотом и заставил правительство Шардайяха извлечь отважного поэта-революционера из тюремной ямы и выслать его за пределы страны. Но годы, проведенные в подземелье, отнимавшие у поэта свет и свободу, отняли у него и здоровье. Теперь он лечился в одном из черноморских санаториев близ лагеря «Спартак».

— Мне, наверное, говорить с тобой не полагается,— сказал Тонгаор принцу.— Вернее, тебе, думаю, со мной говорить не велено. А? Я ведь коммунист. Всегда был и буду против вас, королей, скрывать не стану. Но тебе, мальчик, вернее, твоему имени я кое-чем обязан.

Тонгаор пригнулся, чтобы заглянуть принцу в лицо. Но тот отшатнулся и прошипел еле слышно:

— Шарахунга ро табанг!..

— Ух ты!.. Как проклинать меня ты выучился.— Тонгаор вдруг с ласковой хитринкой поглядел на принца и по-озорному закрутил седой головой.— А вот то, что все ребята у нас в Джунгахоре знают, тебе, должно быть, неизвестно. А, принц? Ну-ка!— И неожиданно звучным, легким голосом он пропел:—«Банго, банго, бангандай!..» Как дальше?

Принц встрепенулся было, но, спохватившись, хмуро глянул на Тонгаора снизу и нехотя, вполголоса, пробурчал:

— Ну, у-это... Бунджи, рунджи, джай-ярдай!

Тонгаор одобрительно кивнул.

— Молодец! У тебя и слон ведь по этой песне назван — Бунджи. А вот скажи, кто песенку эту придумал? Не знаешь?.. Эх ты, моя эта песенка, мальчик. Я ее для всех джунгахорских ребят сочинил. Вот видишь, она и к тебе во дворец пробралась безымянной, песенка моя. Песню, мальчик, в тюрьму не спрячешь, на замок не запрешь. Ну-ка, еще раз давай споем вместе ребятам. «Банго, банго, бангандай!»

И принц, хотя и отвернувшись, послушно подхватил:

— «Бунджи, рунджи, джай-ярдай!»

— Видишь, как у нас складно получается. Я же вижу, ты вовсе не плохой малый. И смотри, у каких хороших ребят мы с тобой встретились. Ну, давай свою августейшую десницу. Проще говоря, давай лапу. Не на дружбу, так на песню. Я хочу поблагодарить тебя, мальчик. Я уж сказал, твое имя мне однажды на помощь пришло...

Говорил он негромко, но голос звучал так глубоко и веско,

что хотелось не только его слушать, но и слушаться. Выговор у него был чистый, только чем-то напоминавший уже знакомую ребятам, певучую, с легким придыханием в нос, манеру речи принца. Ведь недаром еще мальчишкой шестнадцати лет Тонгаор приезжал к нам в первые годы революции и слушал Ленина на съезде комсомола, а потом долго учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве.

И вот рассказал теперь пионерам Тонгаор, что когда король Шардайях вынужден был освободить и выслать его, все было сделано так, чтобы мятежный поэт, вытащенный со дна тюремной ямы, погиб бы на дне моря. С борта корабля его высадили в открытое море на маленькую утлую шлюпку. И корабль ушел. А погода была свежая, и волны все росли и росли, перебрасываясь друг с другом одинокой шлюпкой, как скорлупой пустого кокоса. И заглотил бы Тонгаора океан, если бы не заметили его с борта проходившего танкера «Принц Дэлихьяр». Танкер шел в Советский Союз за нефтью. Моряки увидели человека на полузатопленной шлюпке и подобрали его.

Боясь дохнуть, слушали Тонгаора пионеры. Тоня Пашухина глаз с него не спускала. И только свирепо косилась, если кто невзначай шевелился.

— Капитан стал мне за время пути верным другом,— продолжал Тонгаор.— Танкер приписан к порту Рамбай. А ты, мальчик, должно быть, слышал, каковы моряки из Рамбая... Там много моих друзей. И капитан «Принца Дэлихьяра», когда приходит к этим берегам за нефтью, всегда привозит мне письма. Очень много писем. На «Принце Дэлихьяре» плавают хорошие, смелые люди. Имя твое, мальчик, в верных руках. Думаю, что и ты не обманешь... Погоди!— воскликнул вдруг Тонгаор.— Ровно через неделю твой корабль будет в порту. Капитан известит меня. Хочешь встретиться? Нет, лучше я его привезу к вам в лагерь!..

А солнце уже входило в море, все небо торжественно пылало. И на фоне этого величавого, широко разлившегося пламени очень красив был высокий, такой худой и смуглокожий, словно его насквозь просвечивало огнем заката, но удивительно прямой, негнущийся белоголовый человек. Он стоял над обрывом и вместе с затихшими пионерами глядел в море. А солнце погружалось в гладь моря и вот уже совсем скрылось... Небосклон слегка повело проступившими по нему вразлет прощальными лучами. Еще несколько минут калилась одна точка на горизонте — там, где воронкой сходились блекнувшие лучи. И казалось, туда, в остывшую пучину, медленно втягивается уходящий свет дня. А потом и эта точка погасла.

Наступила минута вечернего молчания.

Тонгаор бережно, но прочно удержав за плечо Дэлихьяра, отвел его чуточку в сторону. И они там некоторое время говорили о чем-то друг с другом на родном языке — наследный принц страны Джунгахоры и гордый поэт-коммунист, молодость которого сглотала тюремная яма Шардайяха. О чем они говорили, никто, конечно, не понял, но принц уже не отводил своего плеча из-под руки Тонгаора. Минуту назад еще чужой и непримиримо враждебный человек стал теперь непонятно притягательным. Дэлихьяр, казалось, чувствовал, что с ним говорит не то волшебник, не то мудрец. Но как не походил он на тех мудрецов, напыщенно-бородатых, исполненных медлительной важности, которые во дворце Джайгаданге долгими и нудными часами толковали наследнику престола о шести сутях мира и четырех опорах бытия. Нет, ни на придворных мудрецов, ни на жрецов из Храма Луны и Солнца не похож был человек, имя которого было запретным в Джунгахоре! А в то же время каждое слово его, произносимое на родном принцу языке, упруго, как парус ветром, наливалось какой-то гордой и властной правдой: хотелось довериться ей.

Потом оба вернулись к стоявшим в отдалении и все еще тихим пионерам.

— А мы тоже за вас все протестовали, когда я учился во втором классе,— сказал Тараска, восторженно глядя на Тонгаора.

— Спасибо тебе и твоим товарищам,— отвечал Тонгаор. И он очень уважительно и серьезно пожал руку Тараске. Поэт был высок, ему приходилось смотреть на маленького Тараску сверху. Но он не гнулся, а только уважительно наклонял голову, сам оставаясь пронзительно прямым.

— А вы прочитайте, пожалуйста, нам какие-нибудь свои стихи,— вдруг осмелела Тонида.— Я слышала, как вы по радио читали... о космонавтах.

— Прочитайте, правда, просим, прочитайте!— Пионеры сгрудились еще теснее, нетерпеливо зааплодировали.

— О космонавтах?— переспросил Тонгаор.— Ну, это вы, должно быть, и так все слышали... Разбираетесь лучше меня в этих делах.

— А вы бы хотели сами быть космонавтом?— спросил Тараска, обмирая от уважения.

— Мне уже поздно мечтать об этом, да и здоровье я оставил под землей, и так высоко над ней мне уже не вознестись.— Тонгаор поднял голову и, как показалось ребятам, с завистью поглядел в небо. Но потом вдруг упрямо тряхнул белыми волосами и, чуть прищурившись, хитро оглядел ребят.— У каждого, пионеры, свой путь к звездам... Я вот хотел

бы помочь всем людям проложить путь к звезде, которая зовется — Правда.

— А все-таки,— спросил, как всегда несколько сумрачно, настойчивый Слава Несметнов,— как вот, по-вашему... кем интереснее быть — писателем или космонавтом?

Тонгаор усмехнулся:

— Не знаю... Не знаю, пионеры. Летать в космос пока не приходилось. А вот поэтом... Стойте-ка! Я лучше вам расскажу одну свою притчу, если хотите.., Да? Ну, тогда рассаживайтесь вокруг.

Ребята мгновенно разместились: кто на уступе скалы, кто на нагроможденных камнях и обломках. Тихонько подошли курортники из санатория. И Тонгаор, медленно оглядев всех, стал читать им свою «Притчу о пятерых».

— «Сошлись раз пятеро,— начал Тонгаор.— Один знал, откуда произошла всякая вещь, и постиг состав ее, и строение, и тайну недр ее, и кромешное вращение мельчайших частиц, все образующих. Он был Великий Физик.

Другой смотрел на него и видел ток крови в жилах, и узлы нервов, и всего насквозь, и по дыханию слышал, что у того в легких, как бьется у него сердце, и распознавал срок жизни его.

То был Знаменитый Врач.

Третий взирал на этих двух и думал, как бренны и бесконечно малы они в сравнении с мирами, которые он разглядел в свои трубы и расчислил. Он был Прославленный Звездочет.

Еще один, бывший тут, размышлял о том, как короток шаг этих людей в сравнении с ходом истории и как ничтожен возраст их по сличению с веками. Это был Мудрый Летописец.

А пятый думал: «Да, я, должно быть, изучил всё меньше, чем они... Но я постигаю сердцем, как просторен мир, как велик ум человека, как всеобъемлюща душа его. Я не знаю точно ее срока и состава, но могу поведать о ней так, что в нее войдут счастье и гармония, и я подвигну ее на новые дерзания, и в слове моем она обретет бессмертие».

То был Поэт».

...Так хорош был этот вечер, такая, не знающая конца и края, тишина простиралась над морем и плыла куда-то, безмолвная, за остывающий горизонт, чтобы объять покоем весь вечерний мир, что даже и захлопать никто не решился. Пожилые курортники, сопровождавшие Тонгаора, только головы склонили, понимающе покачав ими. Ребята хотя и не все до конца поняли, но почувствовали, что им позволили коснуться чего-то очень большого и бесконечно дорогого для этого высо-

кого, худого, белоголового человека. А тот вдруг закашлялся, приложил к красивому и тонко вырезанному рту белый платок. Отвернувшись, он долго содрогался в кашле. А когда отнял платок, то не успел сразу скомкать его. И ребята заметили на платке красные пятна. Он виновато сунул платок в карман и долго смотрел на принца.

— Смешно и странно сходится порой многое на свете, мальчик,— проговорил Тонгаор. С какой-то горькой нежностью вглядывался он в лицо Дэлихьяра.— Но если бы ты только знал, как ты, мальчик, похож на моего сына! Он остался там у нас... в Джунгахоре. С матерью. Не выпускают... Нет, поразительно похож! Только мой сын чуть постарше... А *ты* скучаешь по дому...— он замялся,— ну, по своему дворцу, что ли?

Перед глазами принца длинной и медлительной, как караван, чередой прошли бесконечные залы Джайгаданга. Они были затенены тяжелыми занавесами, пустынны и гулки, как пещеры. Толстые ковры, застилавшие их, делали вязкими шаги одиноко слонявшегося по безлюдному дворцу Дэлихьяра. А окна были оплетены вьющимися растениями. Они начинали медленно колыхаться, если подойти к ним. И Дэлихьяр, чтобы посмотреть на то, что происходит вокруг дворца, должен был разводить руками эти тяжело колеблющиеся зеленые плети и тукаться в стекло окна, как рыба в аквариуме.

Принц сумрачно затряс головой. Тонгаор вздохнул:

— А я скучаю. Очень скучаю... Ведь родина, дорогой мой принц, это не только твой дворец и моя тюремная яма. Это все самое дорогое. Это любишь всю жизнь. А раз любишь — значит, скучаешь.— Он помолчал, насунул вдруг на глаза черные очки, а потом резко сдернул их и еще раз заглянул в лицо Дэлихьяра.— Хочешь, я пришлю тебе книжку свою?.. Только она вышла по-русски, но ведь ты хорошо понимаешь? Недаром бабка-королева у тебя русская была... Бабашура? Правда?..

Принц радостно закивал.

— Я эту книгу сыну своему посвятил. Так и называется: «Запомни, сын!» Хочешь?

Принц опять закивал поспешно и согласно.

— А скажите...— Тараска, прищурившись, поглядел на принца.— Скажите, товарищ Тонгаор, а вы тоже учите своего сына, чтобы на его тень никто становиться не смел?..

Принца разом бросило в краску. Он метнул яростный взор на болтуна. Тоня тоже нахмурилась. Но поэт, должно быть, сразу понял, в чем дело.

— А что такое тень? Твоя тень!.. Это просто то место, которое ты собой заслонил от солнца... По-моему, надо гордиться не тогда, когда ты что-то загородил от света, а тогда,

когда ты пустил свет туда, где было темно. Надо так в жизни держаться, чтобы никому солнца не заслонять. Чтобы след твой к солнцу людей вел. Понял? Вот это топтать никому не давай, мальчик.

Тараска хотел еще что-то спросить у Тонгаора и опять протолкнулся к нему, но поэт вдруг замахал на него обеими руками и поспешно отступил.

— Убери, убери эту гадость!— Он указал на дохлого полуиссохшего краба, которого держал за одну клешню Тараска.— Не терплю дохлятины... Я и живых-то их боюсь. Убери, прошу.

Тараска оторопело посмотрел на него, подивился про себя, что такой бесстрашный человек трусит, боится какого-то дохлого краба, и с сожалением отбросил свою пляжную находку в сторону.

Но тут к Тонгаору подошел один из пожилых санаторников, постучал сердито пальцем по часам на своей загорелой руке, потом молча взял Тонгаора за руку и, отвернувшись, постоял некоторое время, как бы прислушиваясь к чему-то. Покачал головой и отпустил руку поэта. Снизу, от подножия скалы, донесся тройной, нетерпеливый сигнал автобуса. И Тонгаор, по обычаю народа Джунгахоры, строго поклонился маленькому принцу, сперва скрестив плашмя ладони своих рук перед собой и приложив их к сердцу. Принц собрался проделать в ответ то же, но Тонгаор весело схватил Дэлихьяра за плечи, потряс его по-дружески и легонько-легонько ткнул ладонью в лоб.

А потом выпрямился и отсалютовал по-пионерски всем ребятам, которые радостно вскинули вверх руки ответным салютом.

— Домой, домой!— сердито приказал пожилой курортник и опять потянул за руку Тонгаора.

— Видали, как меня тут строго держат!— пожаловался тот пионерам.— Ничего не поделаешь, юные пионеры... Проклятая тахикардия!

* * *

— Дэлька,— спросил Тараска у принца, когда спускались в лагерь,— это что, у вас ругаются так по-вашему, что ли?.. Та-хи-кар-дия!

Но принц не знал этого слова. Решили, что так называлась тюрьма, в которой провел долгие годы поэт.

Искали это слово даже на географической карте — может быть, страна такая есть вражеская. И только лагерный доктор Семен Исаевич открыл смысл этого слова. Оказалось, что тахикардия — болезнь. Тюремная яма напоминала Тонгаору

о себе. Она не только источила его легкие, она зловеще колотилась в его большом сердце, которое долгие годы перестукивалось сквозь камни со всем миром!

Глава X

«ЗАПОМНИ, СЫН!»[1]

Через день в палатку номер четыре принесли обещанную книжку Тонгаора.

На титуле было написано рукой Тонгаора по-русски и поджунгахорски:

Его высочеству принцу Дэлихьяру от верноподданного Ее Величества Правды.

А сбоку было приписано:

Принц-дурень дурнем остается,
Пока его не вразумят,
Иль сам за ум он не возьмется.

Не сердись, что не я, а Франсуа Вийон, французский поэт, написал еще в XV веке. И знаешь, с тех пор кое-кого успели вразумить. Будь и ты умником, мой мальчик!..

В этот вечер принц был очень задумчив и даже не захотел слушать рассказ Тараски о новогодней елке в Кремле, хотя черед рассказывать был Тараса, так как накануне о слонах и тиграх рассказывал принц. А в палатке номер четыре соблюдалась на этот счет строгая очередность: один вечер — о слонах и Тарзане, другой — о космосе и футболе.

Но тут никто уже не настаивал на порядке. Всем хотелось скорее узнать, про что говорится в книжке Тонгаора.

Если говорить честно, не все до конца было интересно или совсем уж понятно в этой книге. Но, казалось, она говорила о том, про что и сами ребята если не думали, то смутно догадывались. Будто поэт заранее знал, что им хочется вот так думать, именно так понимать и чувствовать все это. И вот теперь помог своей книжкой расслышать всю где-то таившуюся правду.

В книге были и маленькие притчи, вроде уже знакомой пионерам «Притчи о пятерых», и стихи, и примечания поэта к разным поверьям джунгахорцев. Вот как, например, совсем

---

[1] Вот эту главу я бы дал прочесть взрослым. Она как раз для них. Но я верю, что и вам, дружочки мои, тут кое-что пригодится. (*Примеч. автора.*)

по-новому сказал Тонгаор о легенде про жемчуг и луну, которую уже слышали ребята от прннца:

«Солнце светнт днем, н жаркое сияние его отражается в цветах, н расправляют цветы навстречу ему лучн-лепесткн и налнваются сладостью, чтобы стать плодамн.

Луна выходнт ночью, отражается в море, и молочный, прохладный цвет ее ловят створки раковнн, и зарождается в нНх жемчуг.

А правда не заходит нн днем нн ночью, как ин тщатся спрятать ее тучн лжн. И лучн нстнны проннкают в ум человека, н в нем, как в створках жемчужнн, зреют сияющне зерна знания. И правда отражается, как в цветах, в сердце человека. И расправляет сердце нзлучение любви своей к жизни и налнвается отвагой для борьбы с неправдой и тьмой».

Но особенно забрало ребят все, что было написано в разделе кннги, который так и назывался: «Запомни, сын!» Тут вот что особенно запомннлось обнтателям палатки номер четыре...

«Где бы нн родился человек — в лачуге нлн во дворце, он роднтся законным наследннком всех благ, накопленных человечеством».

Тонгаор в своей кннге подчеркнул это место красным карандашом: должно быть, хотел, чтобы принц обратнл внимание на эти строки.

«Правда роднтся в хнжннах, но сотрясает дворцы».

«Помни, что власть народа — закон и справедливость. Власть над народом — беззаконие и злодейство».

«За все, что пронсходнт в мнре людей, отвечаешь н ты! Не отказывайся от ответственностн, это и есть — совесть.

И знай: рык совести не заглушнть ни райскнм пеннем льстецов, нн шумными здравнцамн в твою честь, нн убаюкнвающим шепотком самоутешення, ни пушечными салютамн твоим победам.

Мелкнми подачкамн от совестн не откупишься. Она требует, чтобы с ней расплачивалнсь сполна, вчнстую. И всю жизнь ты должннк ее».

«Не позволяй себе брать от жнзнн больше того, что ты даешь ей сам. Когда чашу весов, на которую положено то, что ты дал, перетянет чаша получаемых тобой благ, пойдешь кннзу и ты...»

«Жнть надо во весь рост, головой в предел, не оставляя зазора между собой н потолком возможного, не расслабляясь в прогнбе».

«Береги себя!.. Нет, не в работе, не в борьбе, не в любви. Там будь безграннчно щедр. А вот еслн требуют, чтобы ты покрнвнл душой, ужался сердцем, прнтоптал, заглушнл,

ущемил что-то главное в себе,— тут будь бережен, не уступай себя!»

«Плыть надо и против ветра! Но следует знать, откуда он дует, чтобы сообразно этому ставить паруса».

«Будь подобен самолету, а не воздушному змею, который запускают на высоту, а там уж он парит, влекомый течениями воздуха. Взлетай сам, за счет собственных сил, обретаемых в разбеге, и держись своего курса!»

«Живи не как живется, а как ты считаешь нужным жить. Не отбывай жизнь, не влачись у нее на поводу, а сам веди ее. Ведь недаром спрашивают про человека: «А какую жизнь он ведет?»

«Будь добрым, то есть умей прощать маленькое зло, задевшее тебя, и не мирись с тем большим, что гнетет всех».

«Тот, кто упивается своим счастьем среди несчастных, подобен сластене, который, накрывшись с головой одеялом, поедает лакомства, припрятанные от голодных. Когда ты счастлив вместе с другими, у радости твоей открытое лицо».

«Говорят: «Чужая душа — потемки». Но ты сумей прежде всего разглядеть в ней отсветы добра».

«И помни: плевок в чужую душу непременно вернется и в твою собственную».

«Что бы ты ни делал, не красуйся этим, а думай о красоте цели».

«Не льсти себе, когда пришлось тебе тяжко, что другим легче. Всем еще на свете трудно. Вот если ты хоть малость облегчил жизнь кому-то, пусть полегчает на душе и у тебя».

«Чем меньше места занимает человек в жизни, тем больше внимания удели ему. Тянуться перед генералом не хитрое дело, сумей уважать рядового».

«Во всем, что обращено тобою к людям, добивайся взаимности.

Безответная любовь — это небо без земли, космический полет без стремления вернуться домой...»

«Верить в бога — бессилие. Ни во что не верить — безнравственность».

Несколько раз перечитали пионеры строки, в которых поэт говорил об искусстве:

«Истинный художник — это божественная страсть созидания, ангельское терпение в труде, дьявольское упорство в борьбе за правду и великая человеческая любовь к жизни».

«Талант — это дар удивлять правдой».

Книга шла по кругу. Каждый читал вслух то, что ему выпадало по очереди. То, что было не совсем понятно, заставляли читавшего повторить. И торжественно звучал в палатке номер четыре голос Ярослава Несметнова, когда он уже в третий раз читал:

— «И помни, сын: за бессмертие обычно платят жизнью!»

А Тараске особенно понравилось одно изречение:

«Если бы взрослые реже забывали, какие они были маленькими, а дети чаще бы задумывались, какие они будут большими, старость не торопилась бы к людям, а мудрость не опаздывала бы».

— Да, Тонгаор твой — это человек в полном смысле! — восхитился, прослушав заповеди поэта, Тараска.— Недаром я за него протестовал. Ты бы хоть вот у него ума набрался. А то так и останешься принц принцем.

И после книжки Тонгаора уже не хотелось ребятам слушать на следующий день очередные рассказы принца о «Книге шести сутей мира», по которой молились в Джунгахоре, где верили, что все на свете состоит из Огня, Воды, Неба, Земли, Жизни и Смерти. Что касается «Четырех опор бытия»— Веры, Силы, Дела и Дружбы, о которых напоминали четыре звезды на флаге Джунгахоры, то тут пионеры дали свои толкования.

— Ну, Вера, я считаю,— пояснил Несметнов,— это значит понятие человека... Ну, чему он научился, узнал, в общем. У нас это — наука. Сила — это, выходит, здоровье. Это, между прочим, вполне и по-нашему так. Правда, ребята? Теперь — Дело. Дело — это я так понимаю: труд человека. А Дружба — она везде дружба. Так что это у вас, Дэлька, не так уж глупо сказано.

И Тараска тоже соглашался:

— Да, ваши там мудрецы тоже с головой. Кое-что соображают.

Тонида попросила у принца книгу Тонгаора на денек и что-то переписала из нее в свою тетрадочку.

— Тут написано: «Запомни, сын!»— сказала она, возвращая книгу принцу и доверчиво заглядывая ему в лицо,— а я думаю, и дочкам сгодится. Правда, Дэлик?

Глава XI

ТРУДОДЕНЬ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА

По радио сообщили, что надвигаются штормы и ливни. А в колхозе «Черноморская звезда», неподалеку от лагеря «Спартак», только что начали собирать помидоры. В этом году лето было жаркое, и помидоры созрели очень рано. Надо было срочно вывезти уже снятые в порт. Ливни грозили им гибелью. И тогда школьники из соседнего портового города и расположенных вблизи поселков и ребята из пионерских лагерей решили помочь колхозникам.

Предложили отправиться в колхоз «Черноморская звезда» и желающим из пионерского лагеря «Спартак».

У Гельки Пафнулина, конечно, сразу же, еще накануне того дня, заболел живот. Он стал ныть, корчиться и получил-таки от доктора порцию очистительного. Зато порцию мороженого, причитавшуюся ему за обедом, чтобы оно не повредило больному, с удовольствием съел Тараска за его здоровье. Ну, разумеется, Тонида, Тараска, Несметнов и все мальчики из палатки номер четыре, как и многие другие ребята, кто был покрепче и постарше, собрались идти на субботник в колхоз. Принца решили, конечно, не брать с собой. Но, услышав об этом, Дэлихьяр кинулся к начальнику:

— Михаил Борисович, почему, у-это, меня совсем не берут?

— Милый ты мой, дружочек дорогой!— Начальник старался говорить как можно убедительнее.— Ну королевское ли это дело — помидоры собирать?

— А почему, у-это, Ленин?.. Когда на субботник работать, он тоже вместе таскал... Ребята мне рассказали... И я хочу вместе.

— Да не равняй ты себя с ребятами.

— А я хочу, у-это, равняй!

— Ты пойми: наши ребята народ привычный. Поработают, сколько успеют, и делу польза, и им интересно, и руки у них не отвалятся.

— И у меня нет, у-это... не отвалятся!— Дэлихьяр протянул свои маленькие руки, пошевелил необыкновенно гибкими, способными выгибаться во все стороны пальцами.

— Не знаю, как у тебя там руки,— начальник потер себе кулаком темя,— а голова у меня определенно от вас всех отвалится. Ну, не было, не было еще в истории такого, чтобы наследник престола в колхозе работал. Не было, пойми!

— А Слава Несметнов говорил, так было,— вдруг возразил принц, успевший наслушаться в палатке номер четыре всякого и по русской истории.— Он говорил, у вас был такой царь, у-это, Петр, очень великий. Вот такой!.. Он сам ездил, у-это, за границу, далеко, работать.

— Послушай, ты, королевич!— уже окончательно рассердился начальник.— Ты меня, пожалуйста, истории не учи. Я и без тебя ее знаю, тем более нашу отечественную. И времена были тогда другие, и царь иной... Здоровеннейший мужчина был, во — ростом! А куда же ты?

— Я все равно, у-это, пойду с ними,— упрямо твердил принц.

В конце концов начальник сдался и позвал вожатого.

— Ну, забирай эту августейшую особу, чтобы я его больше тут не видел!— скомандовал начальник Юре.— Забирай,

раз уж ему так приспичило, но чтобы там у меня — смотри! Ответишь перед всей международной общественностью.

Когда принц с вожатым уже выходили, начальник сделал знак Юре, чтобы тот вернулся в кабинет.

— Ты там правда, прошу тебя, погляди все-таки. А то эта палатка номер четыре, я вижу, так его разагитировала, что он кишки надорвет. А кто за последствия будет отвечать?

И наутро по дороге, которая вела в горы от лагеря, зашагали отряды «спартаковцев».

Вышли рано. Небо было ясное. День, казалось, предвещал добрую погоду. Но иногда в теплом воздухе сквозили вдруг какие-то холодные токи и налетал изредка порывами шумевший в деревьях и нагонявший волны на море ветер. Надо было спешить. Ребята шли с небольшими рюкзаками за спиной. У них были кое-какие припасы на день. «Спартаковцы» из палатки номер четыре приговаривали на ходу в такт шагу: «Мерихьянго, джунго ронго табатанг!.. Табатанг! Джунго ронго табатанг!» Что по-джунгахорски означало: «Империалисты, народ Джунгахоры требует, чтобы вы убирались. Убирайтесь, народ Джунгахоры требует».

Этому научил пионеров принц, и очень здорово у них получалось: «Мерихьянго, джунго ронго табатанг!»

Дорога круто вела в гору. Море то исчезало за поворотом ущелья, то потом снова появлялось. И каждый раз его было все больше и больше. Оно становилось неоглядно огромным и занимало теперь уже, казалось, половину всего обозреваемого пространства. И горизонт поднимался как будто вместе с ребятами, шедшими в гору.

Эхо в ущельях гудело:

«Табатанг... Джунго ронго табатанг...»

А потом был очень трудный день. Надо было носить огромные зелено-красные, тугие и лоснящиеся, как боксерская перчатка, помидоры в корзинах, складывать в ящики, сбитые из занозистых досок с широкими просветами между ними, и тащить эти тяжелые ящики на весы. А потом нести к то и дело подъезжавшим грузовикам. Ветер с моря дул все сильнее, и даже разгоряченные ребята чувствовали, что каждый порыв его словно холодней, чем предшествовавший. Небо начинало заволакиваться тучами. Бюро прогнозов не ошиблось, где-то уже глухо погромыхивало за горизонтом.

Сперва Дэлихьяру было страшно, когда он увидел огромную груду помидоров и поволок с Тараской первую корзину. Ему подумалось, что он не справится. Дело казалось непосильным. Если бы не было стыдно перед ребятами, он бы отказался. Но потом вдруг все пошло легче. Он приспособился, приноровился. Да и ребята вокруг него шутили, подбадривали, осторожно один за другим ступая по склону горы,

неся полные помидоров корзины к весам близ шоссе. Все тотчас же возвращались бегом, уже размахивая порожними корзинами, а Тараска надевал корзину себе на голову и хлопал по ней, как по барабану.

Некоторое время все шло очень хорошо и складно. А потом опять вдруг стало очень трудно, и каждый раз было все труднее и труднее. Принц с Тараской стали отставать. Другие ребята в одиночку успевали сдать на весы больше помидоров, чем они вдвоем. Подошла Тонида, хотела помочь.

— Давай, Дэлик, подсоблю,— предложила она,— а то не выполнишь задание.

Но принц очень рассердился:

— У-это, уйди... У-это, не Джунгахора, не подда́мки. То есть, у-это, не подда́вки.

— Как хочешь,— сказала Тонида и отошла, ничуть не обидевшись и даже как будто довольная.

Вот и последняя корзина с крупными, тяжелыми, давно поспелыми помидорами была отнесена на весы, а потом осталась лежать возле них вверх дном, порожняя и уже ненужная.

Запыленные, сами красные как помидоры, побежали ребята к колодцу помыться. Но Тонида повела принца к рукомойнику, который был возле сторожки. С ними увязался, конечно, и Тараска. И пока принц плескался под рукомойником, который очень его забавлял — поддашь снизу, а сверху льется,— Тараска, видно, наболтал что-то старухе сторожихе, потому что она побежала за чистым рушником — полотенцем и, пока принц утирал лицо и руки, все приговаривала:

— В нынешний период прынцам уж какой ход! Тем более без отца, без матери... Тут уж и в хоромах не жизнь, будь ты хоть прынц, хоть кто...

А на прощание она отозвала Тониду и, отсыпав ей слив в пакет, тихонько стала поучать:

— Вы его уж там не очень шпыняйте, а то озлобится и после — народ тиранить. Мальчонка он, видно, душевный, совесть имеет.

Затем «спартаковцы» и ребята из соседних прибрежных поселков и из портового города сложили вместе все припасы, вытряхнутые из рюкзаков, и поделили все по-братски. И на костре в большом котле-кагане варили похлебку. Тонида, размахивая огромной ложкой — половником,— проворными руками разливала кому в котелок, кому в чашку, покрикивая:

— А ну давай, кому добавки? А ну подставляй, подзаряжайся!

На обратном пути прихватил ребят начавшийся дождь. Хорошо, что успели отгрузить все помидоры, теперь им было

уже не страшно, они следовали куда полагается — в порт для отправки на пароход. Дождь был еще теплый, и ребята с удовольствием подставляли под его веселые струи свои разгоряченные лица. Только принц все прятал что-то очень бережно под куртку во внутренний карман. То была справка, выданная в правлении колхоза «Черноморская звезда». В ней, в этой бумажке, говорилось, что принц Дэлихьяр Сурамбук заработал половину трудового дня в колхозе «Черноморская звезда» и имеет право на соответствующее начисление.

Как уже заранее было договорено, все заработанное ребятами должно было пойти на укрепление памятника доктору Павлу Зиновьевичу Савельеву — основателю «Спартака».

Принц шагал очень гордый, то и дело поглядывая на свои ладони, иногда трогая их языком. Ладони были солоноватые, и там, где начинались пальцы, вздулись и слегка саднили бледноватые, странные, немножко похожие на маленькие сердолики полупрозрачные пузырьки. Один из них был содран и кровоточил.

— Тарасика, у-это, что у меня такое?— спросил наконец, не выдержав, принц.

— Самые нормальные мозоли,— сказал Тараска.— Ты что, никогда не видел?

— Нет, у-это, в первый раз вижу,— признался принц.

С уважением всматривался он в собственные ладони.

Глава XII

ВОЛНЫ ДАЛЕКОГО ШТОРМА

Уже заметно укоротился день, и надо теперь было торопиться, чтобы вовремя, до ужина и линейки, поспеть на скалу доктора Савельева и полюбоваться оттуда заходящим солнцем. И все ближе подступали сроки расставания. Об этом не хотелось думать, но думать приходилось. Принц очень жалел, что с ладоней его уже почти сошли трудовые мозоли. Он даже пошел к лагерному врачу Семену Исаевичу, чтобы попросить как-нибудь закрепить эти почетные знаки, но доктор сказал, что ничего искусственно сделать тут нельзя. Мозоли зарабатываются трудом.

Все чаще вспоминался ребятам дом, и нет-нет да и начинали заговаривать пионеры о том, что происходит у них сейчас в родных местах, и показывали или даже читали друг другу вслух письма. А письма были полны всяких хороших новостей. Тараске писали, что его ждут уже на новой квартире и отложили до приезда из лагеря праздник новоселья.

И даже на конверте был уже совсем другой адрес, не тот, по которому прежде писал домой Тараска.

Ярославу Несметнову отец-шахтер сообщал, что он вернулся из санатория, что ломота в ногах совсем после ванн прошла и что по приезде сына отец с ним готов помериться в беге на стометровку и еще поглядим, мол, кто кого...

Сообщали о том, какой урожай яблок ожидается, сообщали об открытии новых улиц и переименовании старых, о приезде родственников, о новых интересных картинах в кино. О разных плохих новостях старались, должно быть, не писать, чтобы не огорчать ребят на отдыхе, да и, кроме того, правда, хорошего в жизни становилось все больше и больше.

Немало писем получила и Тоня Пашухина. Писали подруги из детдома, жившие лето на приволжской даче. Просили привезти обязательно морских камешков для коллекции. И учительница Клавдия Васильевна сделала в одном письме приписку о том, что соскучилась по Тоне Пашухиной и ждет не дождется, когда снова начнутся занятия в школе и все опять будут вместе.

Ну, насчет того, чтобы ждать не дождаться занятий, так об этом ребята не так уж часто говорили, но все же каждый что ни день больше думал о той главной жизни, которая ждала его дома после солнечных, веселых, но чуточку уже начавших приедаться лагерных дней. Только принцу некуда было спешить. Да и писем он ни от кого не получал. Звонили несколько раз из Москвы из посольства, справлялись у начальника, все ли у принца в надлежащем порядке. Пришло еще письмо от министра двора из Хайраджамбы. Министр двора Его величества короля Джунгахоры Джутанга Сурамбияра сообщал Его высочеству принцу Дэлихьяру Сурамбуку, что Его величество здравствует, благоденствует, чего и Его высочеству желает. Но даже о слоне Бунджи, единственном живом существе, по которому скучал принц, никто ни слова не написал Дэлихьяру. «Остаюсь Вашего королевского высочества верноподданным и преданнейшим слугой»,— писал в конце своего послания министр.

«Ну и оставайся,— мрачно думал принц. После уютной палатки номер четыре, прохватываемой соленым, так хорошо пахнувшим ветерком, не хотелось возвращаться в колодезный сумрак Джайгаданга. А о поступлении в суворовское училище что-то ничего пока слышно не было. Министр двора об этом не писал, а директор сказал, что и ему на этот счет пока еще ничего определенного не сообщили.

В последнее воскресенье решено было вручить принцу пионерский галстук. Он, собственно, давно уже заговаривал об этом, но ребята считали, что надо сперва проверить чело-

века, достоин ли он, будучи королевского звания, носить алый знак пионерской доблести. Теперь всем было ясно — достоин.

Весь лагерь собрался на большой Площадке Костра, там, где была лагерная мачта с алым флагом.

Начальник Михаил Борисович пришел на сбор очень торжественный, в белом пиджаке, на котором в такт его шагам побрякивали ордена и медали. И сколько у него их было! Ребята даже глаза вылупили. Они и не ожидали, что у начальника «Спартака» так много боевых и всяких прочих наград.

Все ждали Тонгаора. Он обещал приехать в этот торжественный день.

Но перед самым сбором позвонили из санатория «Стрела» и сообщили, что Тонгаор заболел: у него опять пошла кровь горлом. Отбитые в застенках Шардайяха легкие напомнили о пережитом. Надо было начинать сбор без него.

Пробили дробь барабаны, сыграли сигнал «Слушайте все!» лагерные горнисты. Михаил Борисович поднялся на маленькую трибуну возле мачты.

— Дорогие ребята, уважаемые друзья, юные пионеры!— сказал начальник.— Мы сегодня вручаем алый пионерский галстук гостю из далекой страны Джунгахоры. Он показал себя хорошим товарищем, верным человеком. Не правда ли?

— Правда, верно!— загудели ряды «спартаковцев», прямоугольным строем охвативших мачту.

— Я тоже так думаю,— продолжал Михаил Борисович.— Конечно, мы его по нашим пионерским законам не имеем права полностью принять в организацию, но есть предложение считать его другом нашего лагеря «Спартак» навечно и заочным, так сказать, пионером. Неизвестно еще сейчас, как у него сложится жизнь, но верю я, все мы с вами верим, что будет он жить по чести, по совести, уважая тех, кто трудится, и стараясь, чтобы народ в Джунгахоре имел справедливую и хорошую жизнь. Вот тут я и скажу ему: «Будь готов!»

И принц, выпрямившись, вскинув руку, закричал что есть силы:

— Взигада хатоу!..

Наконец-то он имел законное право закричать так. Ему давно уже хотелось самому, от себя лично, произнести эти заветные слова, которыми на линейке откликался весь лагерь. Он и прежде под шумок произносил вместе с товарищами, выговаривая по-своему —«Путти хатоу!— Взигада хатоу!»— слова этой таинственной и прекрасной, зовущей в какое-то необыкновенное будущее присяги, где слышались боевой приказ и ответная клятва. Но сегодня Дэлихьяр произнес это уже

с полным на то правом. По знаку Юры он вышел из строя и замер перед трибуной. Вожатый медленно и важно повязал на его шее красную косынку и стянул ее узлом спереди на груди. И все пионеры в строю вскинули руки вверх салютом, а над трибуной на второй небольшой мачте медленно всплыл раздуваемый ветром флаг Джунгахоры.

А потом был концерт. Пел пионерский хор. И две девочки исполнили джунгахорскую пляску в честь принца-пионера. Но это еще было не все. Загремели барабаны, запели трубы, хохот, визг прокатились по рядам «спартаковцев», и на площадку вышел слон. Да, друзья мои, слон! Размахивая матерчатым хоботом, он ногами, похожими на балахоны, шатаясь из стороны в сторону, топтал площадку. То перегибаясь пополам, то сам себе наступая на ноги, слон приблизился к принцу, поклонился ему, подогнул передние ноги. И Юра помог принцу вскарабкаться на спину слона. Но тут слон не выдержал, расфыркался, захохотал на два голоса и провалился посередке. Туловище его перекрутилось жгутом. Из-под смятой материи вылезли Слава Несметнов и Тараска, и оба они вместе с принцем барахтались, путаясь в балахонах и катаясь по земле со смеху.

* * *

На другой день погода совсем испортилась. То и дело накрапывал дождь Ветер словно затаился. Но где-то, должно быть, в море был шторм, потому что огромные взбаламученные волны мертвой зыби накатывались на пляж, волоча песок и водоросли. И море стало полосатым и рыжим, как тигр. Яростное и ревучее, вгрызалось оно в прибрежную гальку.

Шторм проходил стороной, издалека гоня к лагерному берегу тяжелые валы. Где-то, видно, разыгрался нешуточный ураган. В горах, через которые шла электропередача, повалились опоры, и в лагере потух свет. Ужинали при свечах и фонарях. Пламя их оставалось неподвижным, в душном воздухе не чувствовалось ни дуновения. Все глуше ревело и успокаивающееся море. Прибой стих. Снизу от моря доносилось лишь легкое, бархатистое, умиротворенное рокотание ворошимой волнами прибрежной гальки. Море мурлыкало, как кошка, устраивавшаяся на ночь.

Непривычно темно было в лагере. И принц еще перед ужином сговорился с Тонидой, что они под покровом спустившейся ночи встретятся на берегу у самого моря. Им давно хотелось поговорить о чем-то важном. И, пользуясь темнотой, так как в лагере, если не считать маленького электрического фонарика Славы Несметнова, были лишь свечки, Дэлихьяр спустился к морю. Здесь было свежее, чем наверху, но все-

таки чувствовалось, что вечер душный и затишье как бы предвещало что-то тревожное.

Они встретились в условленном месте — Дэлихьяр и Тонида,— у высоких плетеных кабинок для переодевания. У них давно уже было задумано забраться как-нибудь в эти кабинки, соединиться проводами через маленький транзистор принца и попробовать вести разговор так, словно они в космосе, как разговаривали там, под звездами, «Ястреб» и «Чайка». Ведь похожи же были эти маленькие, вертикально торчавшие конусообразные кабинки на космические ракеты. Во всяком случае, и Дэлихьяру и Тониде казалось, что очень похожи.

Тьма густела, только слева на горизонте образовался просвет, заполнившийся розоватым сиянием. Там должна была вскоре взойти луна. Принц влез в свою кабинку, а Тонида, взяв подключенный к его транзистору провод, вошла в соседнюю. Оба занавесились в своих кабинках. Принц стал налаживать аппарат. В нем что-то тихонько попискивало. Потом Дэлихьяр переключил транзистор на телефонную связь и сказал в капсулу наушника:

— Ту-ось-я, ты слышишь меня?.. Прием, прием...

В тишине мурлыкало море. А там, на горизонте, вдруг проступили огнисто-сверкающие плесы. Накалилось докрасна море и словно вздулось, огнеполосое. Вспучиваясь, прорвалось наконец, и огромная, полная багрово-рыжая луна вылупилась из моря, гладкая, как скафандр космонавта. И пошла забирать вверх. Видно было почти на глаз, как она быстро поднимается все выше над морем.

— Прием, прием...— повторил в наушниках принц.

— Слышу тебя, Дэлик, слышу,— раздалось в маленьком транзисторе,— а ты меня? Прием, прием...

— Я тебя слышу, давай разговаривать... У-это, никого нет, да? Мы только... А все далеко-далеко. Спроси меня что-нибудь, Ту-ось-я. Прием, прием...

— Скажи еще раз так, как это чудно́ ты говоришь «Тося». Меня никогда так никто не звал. Ну, скажи. Прием, прием...

— Ту-ось-я,— произнес он как можно нежнее в капсулу наушника.— Ту-ось-я. Я плохо говорю?

— Нет, нет, ты очень хорошо говоришь. Так никто не говорил. Теперь ты спроси. Прием, прием...

Им и правда казалось, что они ужасно далеко-далеко от всех. А луна как будто летела к ним навстречу, и где-то в просветах между тучами уже виднелись звезды, словно тучи расступились, освобождая дорогу им двум, летящим рядом в мировом пространстве и тихо переговаривающимся между собой.

— Ты что больше всего на свете, у-это, любишь?— спросил принц.— Прием, прием...

— Я — Волгу нашу. Когда солнце садится у нас в Горьком, с откоса такой вид далеко... Прямо будто всю жизнь вперед видишь до самого края света. А ты? Прием, прием...

— А я — утро, у-это, когда все еще спят, а я уже нет. И я все вижу, а никто еще не видит. Я уже днем, а все еще ночью. Я понятно сказал?.. Прием, прием...

— Конечно, понятно. Ты очень хорошо сказал. Я тебя слышу очень ясно, и я так представила себе, как ты сказал... Можно тебя еще спросить? Прием, прием...

— Можно, у-это, сколько хочешь. Прием, прием...

— А ты когда был самый, самый счастливый? Прием, прием...

Тоне пришлось долго ждать ответа, она даже несколько раз дунула в наушник и повторила: «Прием, прием...»

Наконец она услышала:

— Никогда не был, у-это, скучно было. А сегодня я самый, самый счастливый.

— Почему?.. Прием, прием...

— Потому, что, у-это, ты так говоришь со мной...

— Скажи еще раз, как говорил: Тося.

— Ту-ось-я...

Что-то не совсем ладно было в аппаратике, потому что в разговор прорвались какие-то посторонние голоса. Мир толкался к ним в уши, пел, подвывал и бормотал что-то. Принц повернул пальцем маленький винтик на транзисторе и совсем перестал слышать Тоню. Путано загомонило, оборвалось, снова, уже тоненько, затукало в самое ухо.

И вдруг он ясно услышал, как кто-то позвал его очень издалека. Да, он ясно слышал, как чей-то низкий голос произнес: «Дэлихьяр Сурамбук...»

Кто-то звал его из неведомой и загадочной дали. Он услышал английскую речь. Он неплохо понимал по-английски. Какая-то далекая станция сообщила:

«...результате чего король Джутанг Сурамбияр отрекся от престола в пользу своего младшего брата, наследного принца Дэлихьяра Сурамбука. В настоящее время принц находится за пределами Джунгахоры. В самые ближайшие дни, как нам сообщили из Хайраджамбы, принц вернется в столицу и займет престол Джунгахоры как король Дэлихьяр Пятый».

Голос в транзисторе ушел куда-то, сместился, кто-то запел в самое ухо, потом послышались свист и завывание. Тщетно в своей кабинке Тоня повторяла: «Прием, прием...»

Дэлихьяр не откликался. В смятении крутил он винтики и рукоятки транзистора. Несколько раз он слышал свое имя со словами на разных языках: «Клейне фюрст Дэлихьяр...», «Пти прэнс Дэлихьяр...», «Принц Дэлихьяр...» — звали его

на всех языках. Мир словно взывал к нему, мир звал его к власти. Он сперва растерялся, не зная, что должен сейчас делать. Он выскочил из кабинки, подбежал к соседней, схватил за руку Тоню, потянул за собой.

— Туонья!.. Туосья!— бормотал он, задыхаясь от тревоги и нежности.— Ты слушай,— он прижимал к уху ничего не понимавшей Тони транзистор,— слышишь? Я — король! Понимаешь? У-это, брат больше не король, сейчас сказали. Король — я. Теперь я буду делать, у-это, так, как хорошо.

Тоня молчала. Она отняла от уха наушник, в котором что-то попискивало, курлыкало и булькало, отдала аппарат Дэлихьяру.

— Значит, уже не поступишь в наше суворовское?— спросила она.

Принц растерялся. Он думал сейчас не об этом, он думал, что надо ехать домой, в Джунгахору, и что-то делать там, чтобы было людям лучше, чтобы было не так, как раньше. Чтобы никого не бросали в ямы. Чтобы Тонгаор мог вернуться к сыну, и, возможно, он, Дэлихьяр, подружится тоже с этим мальчиком, сыном поэта. И чтобы на слонах катались теперь те худенькие голые ребятишки, которых полицейские отгоняли бамбуковыми палками от дворца Джайгаданга. И чтобы мерихьянго не очень-то распоряжались в Джунгахоре. И, может быть, Тоня тоже теперь поедет в Джунгахору?

— Ты тоже поедешь, у-это, к нам,— просительно заговорил он.— И мы с тобой будем, как брат, у-это, и сестра. Я скажу, чтобы ты жила у нас в Джайгаданг.

Луна опять зашла за тучи, и сквозь сгустившийся сумрак не видно было глаз Тони, но Дэлихьяр знал, что она смотрит на него.

— Поедешь, у-это, к нам?— спросил Дэлихьяр.

Она молчала. До этого вечера никто и никогда не называл ее Тосей. Звали Пашухиной, Тонидой, Торпедой, Тонькой-Боеголовкой, иногда — Тоней. Но вот Тосей назвали в первый раз.

Нет! Она вспоминала сейчас не дразнилки, которыми ее изводили в детдоме мальчишки, и не старые обиды, а их было немало, и не те трудные дни, когда они переезжали в новое помещение детдома и два дня было холодно в сырых стенах, да и с едой тоже было плохо: так как кухня еще не работала, приходилось есть все холодное, и был скандал в роно. И не то вспоминала она, что ей выдали однажды платье, которое было мало с самого начала, и все смеялись, дразня ее гуской. Раньше она все это помнила, а сейчас думала совсем не про то. Волга текла большая, спокойная. Звезды и бакены отражались в ее глади. И где-то далеко за

песками, почти ушедшими в воду, гудел и гудел пароход, зовя ее: «То-то-то-то-ня!..» Или еще вот как шла она с ребятами под музыку. Им махали с трибун, и знамя трепало шелком по щеке и щелкало, заигрывая, по носу. И то вдруг вскидывалось парусом и несло вперед. И как писали письмо космонавтке Вале, а она ответила, что они будут, может быть, такими же... И вспомнилось, как она ездила с экскурсией на автозавод и старая работница в синем комбинезоне сказала:

«Вот становись, учись. Мне уже время вроде на покой, а ты заступай. Не с ходу, конечно, а помалу, полегоньку. Ты, видать, сноровистая и, главное, ухватываешь, доверить можно».

И учительница и воспитательница Лидочка, Лидия Владимировна, тоже любила говорить, когда казалось, что трудно:

«Молодец ты, Антонида, уважаю я тебя. Верю. Понимаешь, верю. Справишься».

Ей верили. Могла ли она поступить так, чтобы о ней подумали, будто обманулись в ней? Все это и было и оставалось самым дорогим на свете. Нигде и никогда не могло бы стать что-нибудь важнее и дороже. Разве можно было отрешиться от этого, не доказать, что верили не зря? Она почувствовала себя большой, уже совсем взрослой, куда более старшей, чем маленький Дэлихьяр, хотя тот и стал теперь королем.

— Эх, Дэлик ты, Дэлик,— очень тихо проговорила она,— додумался... Хоть и король ты, а еще вовсе дурная твоя головушка. Ну куда ты меня зовешь?

Он встрепенулся:

— Хочешь, тогда я сам буду не ехать? Хочешь, я, у-это, отречусь?

— Что ты, Дэлька...— Голос у нее был словно усталый.— Ты же должен, это ведь нельзя. Тебе вышло заступать.

Он подошел к ней совсем близко, виновато заглядывая в глаза. Луна снова выбралась из-за туч. Строго и печально смотрели на маленького короля из-под сросшихся бровей немигающие глаза Тони.

— Положи мне руку сюда, у-это, где сердце... как у нас в Джунгахоре, если дорогой друг, надо делать,— сказал Дэлихьяр и, осторожно взяв руку ее, подставил под нее свой левый бок.— А другую, у-это, ты себе сама... тоже так... Вот. А я себе на лоб и тебе.— Он осторожно коснулся своей ладонью ее прохладного лба.— Вот так. Мы теперь, у-это, все знаем друг друга. Да?

— Ага,— не то согласилась, не то просто выдохнула Тоня.— Чего на уме, что на сердце.

— Ты — Туонья,— сказал король,— и еще ты — Туосья. Я хорошо так говорю?..

Глава XIII

НОЧЬ БОЛЬШОГО СОВЕТА

Обеими руками прижимая к неистово колотившемуся сердцу приемник-транзистор, он с разбегу просунулся в палатку номер четыре.

И замер. В палатке было уже темно и тихо. Бушевавший днем шторм повредил электросеть на берегу возле гор, и в лагере «Спартак» из-за темноты все сегодня легли пораньше.

— Ребят-сы,— осторожно, с придыханием позвал принц, стараясь хоть что-нибудь разглядеть во мраке. Голос у него был виноватый.— Вы уже, у-это, укладались спать?

— Это кто?— послышалось из темноты.— Дэлька, это ты, что ли? Чего не спишь? Где гоняешь?

— Ну... у-это... Я могу сказать, когда утро... Только я, у-это...

— Да ну тебя! «У-это, у-то»!.. Говори толком, раз уж разбудил. Чего натворил?

И все в палатке услышали сквозь темноту робкий голос чем-то, видно, очень смущенного Дэлихьяра.

— Ребят-ты, у-это... Я не натворил сам. Хочите — верь, не хочите — не верь. Только, у-это, я сделался король.

— Это что, точно?— проговорил кто-то спросонок из дальнего угла.

— Честная правда! Клянусь солнцем и луной, пусть мне не светит! Сейчас, у-это, по радио...

— Слушай, ты брось в самом деле... Какое радио? Тока же в лагере нет.— Слышно было, как Слава Несметнов резко поднялся на своей койке.

— Так у меня, у-это, транзистор, честное пионерское!.. Ну, если хотите, у-это, честное королевское!

Такой клятвы в палатке номер четыре еще никогда не слышали, и теперь все приобретало уже какую-то убедительность.

— Вот это будь здоров, ваше величество! Вот так номер!— завопил из темноты Тараска.— Славка, да посвети ты ему своим батарейным!..

Там, где слышался голос Славки, чикнуло. И разом перед ребятами высветились чуточку расплющенные ноздри, пухлые губы и края век с дрожащими ресницами. Несметнов направил вспыхнувший луч прямо в лицо Дэлихьяру, потом деликатно отвел фонарик. Нет, должно быть, Дэлихьяр не

врал. Но кто со сна, а кто из нежелания нарваться на розыгрыш еще не вернл. Тут вспомнили, что как раз в этот час должны передавать из Москвы «Последние известия». Дэлнхьяр мигом настроил свой приемник. И верно, Москва уже передавала ночной выпуск. А после сообщения по стране, только лишь пошлн зарубежные новости, все услышали:

«В результате военного переворота в Джунгахоре король Джутанг Сурамбняр отрекся от престола в пользу своего малолетнего брата пряннца Дэлихьяра Сурамбука, который в ближайшее время взойдет на престол под именем Дэлихьяра Пятого...»

— Делншкн...— пронзнес Тараска.— Как решать будем?

Все былн несколько подавлены сообщением. К тому, что в палатке живет прннц, уже давно привыкли. Но сейчас тут был король. Что ни говори, властелин целой страны. Как теперь надо было с ннм поступать? Ни в одной «Книге вожатого» сло́ва не было об этом.

— Да, тут думать н думать,— изрек Тараска.

— Ребят-ты,— тнхо начал Дэлихьяр,— вы, у-это, только скажите... Может быть, я, у-это, еще не очень совсем доразвнтый... Вы мне помогнте, раз, у-это, пионеры.

...И собрал король той ночью Большой совет. И был этот совет в палатке номер четыре пионерского лагеря «Спартак» на берегу Черного моря. Надо же было помочь человеку, еслн его поставилн королем.

— А что, если ему отречься? А народ пусть сам правит,— предложил многомудрый Тараска.

— Погоди ты,— рассудительный Ярослав ткнул ему в лнцо лучом фонарика,— тут надо с умом. Пока он король, так может командовать. А если сам себя отменит, так неизвестно еще, что там наворочают.

Решили, что прежде всего новый король должен обратиться к населению Джунгахоры с манифестом в центральных газетах. Так всегда в подобных случаях поступают цари и короли. На листке, вырванном из тетрадки, служившей недавно бортжурналом в День космонавта, стали при свете электрофонарика составлять манифест.

— «Здравствуйте, граждане Джунгахоры! Уважаемый народ! Это пишет вам бывшнй принц Дэлихьяр Сурамбук, а теперь я буду у вас король Дэлихьяр Пятый. Я всегда был за народ и против мерихьянго и таких, которые за них и за войну. Я всегда буду за мнр. Я вам обещаю, у-это, справить праведливо... ой, у-это, правнть справедливо».

— И не очень уж командовать,— подсказал Тарасик.

— «И не очень уж командовать»,— послушно записал король.

— Ты знаешь что?— прервал вдруг ход совещания Несметиов.— Ты вот что!.. Обещания-то некоторые давали, а как начинали править, то всё забывали. Ты вот надень галстук и дай нам тут клятву, что будешь править по такому закону, как нам обещал: «Слоны — всем! В ямы — никого! Мерихьянго — вон!»

Все пионеры дружно поддержали Несметнова и потребовали, чтобы в королевском манифесте было записано, что слоны, которые прежде могли принадлежать только богатой верхушке «хиара», теперь должны стать достоянием народа. В тюремные ямы с желтыми кусачими муравьями новый король поклялся никого не бросать. А иностранных захватчиков, империалистов мерихьянго, пообещал гнать в три шеи.

Король надел пионерский галстук. Слава Несметнов посветил ему фонарем, чтобы правильно был завязан узелок на груди короля. Дэлихьяр по-пионерски отсалютовал всем и произнес присягу, которую от него потребовали. И все ребята свели с королем руки вместе и негромко, но торжественно повторили: «Слоны — всем! В ямы — никого! Мерихьянго — вон!» Вообще жизнь в Джунгахоре при короле Дэлихьяре Пятом обещала быть хоть куда!

Долго шел государственный совет в палатке номер четыре. Несколько раз, когда слышались шаги дежурного по лагерю близ палатки, все члены совета кидались на койки, покрывались одеялами и принимались в темноте усердно сопеть. Потом осторожно высвобождали головы, прислушивались, спускали ноги на пол — и заседание Большого совета продолжалось. В ту ночь было подвергнуто обсуждению немало реформ, которые король собирался провести в Джунгахоре. Решено было, например, создать при дворе короля Постоянный главный детский совет. После некоторых словопрений решили допустить в него и представителя от родителей.

Разногласия возникли вокруг вопроса о школьном обучении. Сперва тут все было ясно. Все дети Джунгахоры должны были учиться. Ничего не поделаешь... Но вот Тараска выступил против совместного обучения с девочками.

— Ну их, в самом деле,— отмахивался он.— Я тебе, Дэлька, не советую. У нас вот уж социализм давно, а и то житья от них нет.

Но король надолго задумался и, должно быть вспомнив про кого-то из третьей дачи, где жили, как известно, пионерки, решительно заявил, что девочки будут учиться в Джунгахоре непременно вместе с мальчиками.

— Ребят-ты,— вдруг осторожно и заискивающе осведомился он,— а можно мне, у-это, один слон, чтобы мой оставить?

— Ага!— злорадно накинулся на него Тараска.— Как до слона, так уж слабо́ стало.

Слава Несметнов заткнул ему рот лучом своего фонарика. Тот чуть не подавился. Остальные ребята тоже не согласились с Тараской. Одного персонального слона решили пока оставить королю Джунгахоры.

— Ура-а!— воскликнул король и от радости встал на голову, как его обучил еще недели две назад Тараска.

Его величество тут же заработал хорошего шлепка по затылку, чтобы не шумел, так как дело было ночное и давным-давно уже всем в лагере полагалось, по правилам, видеть если не седьмой, то по крайней мере третий сон.

Долго еще продолжался совет. Утвердили закон, по которому в космос разрешалось теперь летать всем, не глядя на происхождение. Прежде-то по закону Джунгахоры даже в обычную авиацию, не говоря уж о космосе, допускались только представители знатных родов. Тут посыпались еще всякие предложения и законопроекты, но солидный Слава Несметнов шикнул на разошедшихся пионеров:

— Полегче вы, поаккуратней, ребята, давай без вмешательства! Как бы нам тут дров не наломать. Пойдет еще мировая заварушка, втяпаем всех. Верно я говорю, Тараска? А?

Он направил луч фонаря в угол на Тараску, но увидел, что тот уже спит, приткнувшись к плечу короля. А Дэлихьяр Пятый тоже мирно посапывает вместе со своим советником. Оба еще не привыкли решать государственные вопросы по ночам. Пришлось отложить дело до утра. Как известно, оно вечера мудренее, а без мудрости попробуй-ка править государством.

Глава XIV

ПЕРВОЕ УТРО КОРОЛЯ

Шли слоны. Мягко ступая тумбами ног, шагали слоны.

И на первом под балдахином сидели король и Тоня. Потому что, как сказал Тонгаор, где бы ни родился человек — в лачуге или в палатах, он родится законным наследником всех благ, которые накопило человечество.

И играла музыка. Что-то замирало от ее звуков в груди, и сердце мерно колыхалось, как волна в море, как широкая, округлая спина большого слона.

Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой...
Глобус крутится, вертится,
Словно шар голубой...

Это была любимая песня молодого короля. И народ кричал:

«Да здравствует король Дэлихьяр Пятый!.. Слоны – всем! В ямы — никого! Мерихьянго — вон!»

«Мерихьянго, джунго ронго табатанг! Табатанг, джунго ронго табатанг».

Били пушки, и в горах эхо раскатывало: «Табатанг!.. Табатанг!..»

Кто-то громко в самое ухо короля назвал его, и Дэлихьяр открыл глаза.

«Табатанг!»— гулко и внятно произнесла совсем рядом волна, бухнула в берег под самой палаткой и, уползая, шурша, зарокотала: «Мерихьянго...»

Слоны исчезли.

В лагере играл горн.

— Заспался,— сказал вожатый Юра, дергая за плечо Дэлихьяра. Он хотел сказать: «Заспался, Дэлик», но, видимо, запнулся, не зная, как теперь надо обращаться к питомцу своему, ставшему королем.— Вставай живенько, начальник тебя просил зайти.

Ночью электролинию починили, и, должно быть, все уже узнали по радио новость из Джунгахоры. Со всех дач ребята вылезли на крыльцо, изо всех палаток выглядывали любопытные, смотря вслед Дэлихьяру, шедшему рядом с вожатым. Юра молчал. Он решительно не знал, что нужно сказать сейчас маленькому королю.

Но возле дома начальника их уже поджидал Ростик... Он чуточку сошел с дорожки, пропуская идущих, а потом потопал за ними, нагнал короля и снизу из-под его локтя сказал ему загадочно:

— А когда Ленин был маленький, он тоже еще не мог посаживать царёв в милицию.

После чего Ростик вприпрыжку убежал.

Начальник Михаил Борисович был взволнован. Он быстрыми шагами ходил по своему кабинету из угла в угол и с размаху ладонями обжимал, скрестив руки, широкие свои плечи. На столе у него лежало несколько телеграмм. На некоторых было сверху крупно обозначено: «Молния», «Правительственная», на других — «Международная».

Увидев короля и вожатого, Михаил Борисович круто обогнул стол, взял Дэлихьяра за плечи и усадил перед собой на кресло, сев в другое, напротив.

— Ну... Ты, говорят, уже все знаешь. Собирайся на престол, королек ты мой дорогой. Что же, мне тебя теперь твоим величеством называть полагается, что ли? Я уж не знаю.— Он встал, сокрушенно посмотрел на вожатого. Тот промолчал.— Ну, скажи, дорогой ты, родной мой, пригодится тебе хоть немножко, что прожил ты с нами, что подышал нашим воздухом, что ребята тебе наши нарассказали? Научился ли ты чему-нибудь хорошему?

— О! У-это, много научался,— затараторил король.— Мир и дружба научался. И, у-эго, вечером — утром кровать сам все делай научался. И еще все вместе быть научался. Один человек, другой человек, у-это, всем люди надо, чтобы хорошо... И еще научался, какой хороший человек, друга-друга товарищ, и какой плохой. Ему давай-давай, а сам он ничего не давай, не работай, тьфу, нехорошо! Я буду у нас Джунгахора всё делать, как мы сегодня решили, все ребята у нас в палатке решили.

— Ох, боюсь, дружок,— вздохнул начальник,— что не очень у тебя это получится сейчас. Не даст тебе волю дядюшка твой.

Маленький король насторожился, с тревогой глядя на директора.

— Ты не обижайся,— сказал Михаил Борисович,— уже газета пришла. Я тебе прочту, что здесь написано.

Принц заглянул в газету и увидел на последней странице большой заголовок: «Государственный переворот в Джунгахоре». И Михаил Борисович, не спеша, раздельно выговаривая каждое слово, прочел Дэлихьяру о том, что правые круги, близкие к империалистам и захватчикам, совершили переворот в стране. Король Джутанг Сурамбияр должен был отречься от престола в пользу принца Дэлихьяра Сурамбука. Но ввиду несовершеннолетия нового короля, принцем-регентом и фактическим правителем Джунгахоры провозглашен генерал Дамбиал Сурахонг, брат покойного тирана Шардайяха и ставленник колониалистов.

У маленького короля задергалась пухлая губка, он вскочил с кресла и сжал кулаки:

— Я не хочу так!.. Я не хочу, у-это, чтобы дядька командовал... Он очень совсем нехороший, он за мерихьянго, он всех против нас. Я его буду скидать вон!— В смятении он схватил за рукав начальника.— А можно мне, у-это, не вставать, не заходить... у-это, как сказать, не всходить на престол? Я лучше буду тут с ребятами, потом учиться, у-это, суворовское училище. Не надо! Не давать меня ему...

Начальник вздохнул огорченно, покачал головой, потом встал, подошел к столу, показал одну из телеграмм. В ней сообщалось, что сегодня днем в лагерь «Спартак» прибудет

уже вылетевший ночью новый чрезвычайный полномочный посол Джунгахоры, только что назначенный по повелению регента Сурахонга.

— Я не хочу, если дядя! Я буду у вас. Вы меня прячайте.

— Нельзя, дружок ты мой дорогой, это такой скандал международный будет, что и представить себе трудно. Ты ведь парень неглупый, сам все понимаешь.

— Что же мне, у-это, делать?.. Научайте!..

— Ну, уж это я тебе советовать не возьмусь, да и права не имею. Ты пойми. Почему тебе не всходить на престол? Взойди, царствуй, как срок придет, на здоровье, но только правь по справедливости, по чести. О людях думай. И действуй с умом. Сейчас-то тебе вольничать не дадут, а вырастешь — поступишь, как народ тебе скажет. Народ кое-чему за это время научится, да и тебе еще учиться и учиться.

А за домом уже послышалось хрумтение шин по песку, звук подъехавших и тормозящих машин. С первой в сопровождении товарища из областного центра сошел чрезвычайный и полномочный посол Джунгахоры. Начальник вывел короля на крыльцо и сам стал поодаль.

Посол приближался, низко кланяясь. Утренние тени были еще длинные. Тень короля пересекла дорожку, и посол старательно обходил эту тень, чтобы зайти к королю сбоку. У посла дергалось маленькое, бурое, сморщенное личико, похожее на сушеную дулю-грушу, и выражение лица было такое сладко-кислое, словно он сам себя раскусил и почувствовал, что трухляв. Глазки-щелочки терялись среди множества морщин. Лицо посла угодливо и суетливо корежилось, морщилось вдоль и поперек, сжималось, перекашивалось. Он умильно жмурился, и казалось, что глаза у посла открываются после этого каждый раз уже не в том месте, где он их сощурил, а совсем между другими морщинами. Он шел бочком, скрючившись пополам, прижимая скрещенные ладони к груди.

О чем говорил посол Джунгахоры с королем, никто не понял. Они говорили на своем языке. Потом оба скрылись в кабинете начальника. И вскоре в лагере стало известно, что королю Дэлихьяру предстоит сегодня же возвращаться на родину, где будет скоро его коронация.

Мрачный Юра-вожатый пришел за вещами короля в палатку номер четыре, когда обитатели ее были на пляже.

Самого Дэлихьяра уже не выпускали с дачи, куда его увел посол. В полдень все собрались послушать радио из Москвы. Теперь уже всем стало известно, что власть в Джунгахоре захватили снова сторонники мерихьянго, самые злостные вы-

могатели-захватчики, а королю, видно, придется быть лишь куклой на престоле.

Очень обидно было это слышать ребятам, которые прошлой ночью так хорошо обсудили государственные дела Джунгахоры и дали такие важные наказы королю. Вот тебе и реформы!

Из аэропорта сообщили, что в Москве нелетная погода и придется задержать отлет короля до завтра. Но на дачу, где расположился посол и куда перевели короля, никого уже не пускали. На рассвете король вместе с послом должен был вылететь в Москву, а потом в Хайраджамбу.

Дело принимало все более скверный оборот.

По радио в вечерних известиях сообщили, что в Джунгахоре проводятся аресты коммунистов и всех, кто выступал раньше против мерихьянго. Вездесущий Тараска вызнал, в какой комнате сидит под присмотром посла король, и нашел удобный момент, чтобы бросить ему в открытое окошко камешек с запиской. Пусть знает, что творится у него в стране.

Глава XV

ЛУНА ОТВРАТИЛА ЛИК СВОЙ

Пришел к концу этот невеселый для маленького короля и его друзей-пионеров день. Все затихло в лагере «Спартак», но никто в тот вечер не мог сразу заснуть в палатке номер четыре.

Было уже очень поздно, когда снаружи у самой палатки послышались шаги по прибрежному песку и кто-то просунулся головой в палатку.

— Кто это? Кто там?— зашумели мальчики.

Вот уж удивились они, когда услышали голос Гелика Пафнулина.

— Это я, ребята, только тихо. Я по первой даче дежурный.

— Гелька, ты?— изумился Несметнов.

— Поздравляю,— сказал Тараска,— в лагере «Спартак» завелись лунатики.

— Может быть, будем посерьезнее?— прошипел Гелик.— Я к вам не балаганить пришел. Имею серьезный разговор. Условия такие: если примете меня обратно на свободную койку — я с вожатым завтра договорюсь,— могу сообщить кое-что важное. Касается Дэльки вашего.

— Он тебе не Дэлька, а король. Это раз!— остановил его Славка Несметнов.— А во-вторых, если ты сюда торговаться пришел и условия ставить, поворачивай на сто восемь-

десят градусов и можешь раствориться, как привидение, во мраке ночном. Не больно нужен. Воспринял?

Гелик молчал. Он, видно, раздумывал.

— Ну ладно,— наконец решился он.— Хоть вы от меня и отреклись, вместо того чтобы оказать воздействие, помочь коллективно человеку перевоспитаться... Ладно, можете меня считать кем хотите, а я не такой. Сейчас сами убедитесь. Только тихо. Можно, я войду?

Его впустили, и он сообщил шепотом, что король решил бежать от посла. Он просил Гелика подтащить к окну комнаты на втором этаже, где его запер посол, лестницу, которую оставили монтеры, чинившие электросеть после шторма. Гелик один не в силах подтащить к окну тяжелую лестницу. Надо помочь.

Все вскочили в палатке.

— Стоп!— скомандовал Несметнов.— Я с тобой пойду. Но только смотри у меня, если подведешь.— Он посветил фонариком на Гельку, прошелся по нему лучиком с ног до головы и убедился, что на рукаве Пафнулина краснеет повязка дежурного.— Пойдешь вперед. В случае чего, сообразишь что-нибудь, да? Если кто встретится, понял? А я сзади буду следовать.

— А в палатку вы меня обратно примете?

— И не стыдно тебе в такую минуту выторговывать условия. Привык всегда ловчить, как тебе не совестно!

— Я же не виноват, что меня так воспитали,— залопотал Гелик.

— Ты, пожалуйста, брось ссылаться на это. Дэльку вон тоже воспитывали во дворце, а он настоящий парень. А ты... От самого тоже кое-что зависит, не финти!

— Торгуется еще, нашел время.

— Ребята, я же не торгуюсь, я просто прошу... Я обещаю. Я и так пойду, все сделаю, но только вы меня примите обратно.

— Мы-то тебя примем,— смилостивился Несметнов.— Только ты сам помни: будешь такой, никогда тебя в жизни люди в хорошее дело не примут. Пошли! Остальным всем сидеть на месте.

Прошло, должно быть, не больше пятнадцати минут, хотя ребятам казалось, будто уже целый час не было Славы Несметнова. Но вот послышались торопливые шаги у берега, и скоро в палатке появились Несметнов, король и Гелик.

— Я не хочу ехать,— шептал Дэлихьяр ребятам.— Я из окна, у-это, выскокнул, они лестницу поставили. Я не хочу ехать, я к вам опять хочу.

Все молчали. Никто не знал, как надо поступать. Все слышали страшное сообщение радио об арестах и казнях в

Джунгахоре. Сотни людей были брошены там в зловонные ямы, огороженные колючим частоколом и кишевшие желтыми муравьями. Все сочувствовали королю.

— А может быть, ребята,— сказал Тараска,— пусть он телеграмму даст в Москву, попросит этого, как его, бомбоубежища...

— Чего?— переспросил Несметнов.

— Ну вот я читал, что так просят... Про кого-то было сказано, что искал пристанища... нет!.. просил убежища... Вот! Убежища просил!— радостно заключил Тараска.

— Да нет, это дело не выйдет. Это если взрослый,— охладил его Ярослав.

И тут в голову мудрого Ярослава Несметнова пришла мысль: надо прежде всего посоветоваться обо всем с Тонгаором. Уж он-то в данном случае знает, как быть. А до санатория, где он лечится, не так уж далеко, к утру можно пешком добраться. Но кто поведет туда короля? Выбраться из лагеря можно было незаметно. Ребята знали одну тайную лазейку в отдаленном уголке лагерного парка, да и Гелик с повязкой дежурного мог тут пригодиться. Но разве можно было отпустить короля одного?

— Пускай Туосья скажет, как надо,— потребовал вдруг король.— Я хочу, у-это, говорить все Туосье...

Сначала все удивились. Но долго думать было некогда. Да и голос у короля стал вдруг очень уж твердым. Решили выполнить просьбу короля.

Вместе с дежурным Геликом отправили к даче, где жили девочки, пронырливого Тараску — он все знал и всюду мог пролезть. И действительно, не прошло и четверти часа, как у палатки появилась Тоня, которую привели Тараска и Пафнулин. Она уже по пути от дачи до палатки все вызнала от мальчиков. Едва в палатке послышался ее тихий окающий голос, ребята почувствовали, что Тоня уже все решила для себя. Недаром, видно, девчонки считали ее атаманшей и Боеголовкой. Спорить было не время. И все беспрекословно подчинились ей, когда она сказала:

— Послушайте, мальчишки, совершенно ясно: одному Дэлнку идти нельзя. Дорогу не знает, выговор не как у нас... Его мигом словят. Значит, вопрос ясен — пойду с ним я. Да. Тихо! Кажется, ясно сказано. Я пойду. Тем более, что из детдома меня за это никуда не выгонят. Волноваться тоже особенно не станут спервоначала. А вам может попасть от своих, как телеграмму домой дадут, перебулгачат... Давайте уж я.

Так и решили: пусть Тоня доведет короля до санатория, где живет Тонгаор, а там мудрый поэт-коммунист рассудит, как быть королю.

Но король был бос. Посол на всякий случай оставил его

сандалии у себя в кабинете. Мальчики стали предлагать ему один за другим свою обувь, однако у короля была слишком маленькая нога, все сандалии оказались ему велики. Тогда Тоня сняла свои босоножки. И все с удивлением заметили впервые, что хоть и казалась Тонида рослой, нога-то у нее была совсем маленькая, тонкая и легкая в ступне. И вот Золушка отдала свои туфельки принцу, то бишь королю, а сама взяла сандалетки Тараски. Даже и они ей были немножко велики, но туда, в носок, заложили мятую газету.

Тихо простились мальчики с королем и Тоней, пожелали им счастливого пути. Ночь была теплая, но всех пробирал озноб. Дело ведь задумано было рискованное, поступали не по закону, против всех лагерных правил. Однако лучше было в такие дела взрослых не путать. Тонгаор тут был не в счет, к нему-то ведь и отправлялся король. На прощание Тоня остановилась перед Тараской:

— Слушай, Тарантас... Ну, на этот раз ты можешь не тарахтеть?

— Лучше бы взяли меня с собой...— взмолился Тараска.— Ну, будьте людьми! И мне было бы покойнее. А то начнут завтра все приставать с утра, что да куда.

— Один раз в жизни не можешь?— напустились на него ребята.

— Нет, на этот раз уж смогу,— твердо обещал Тараска,— уж в этот раз стерплю. А в самом крайнем случае, если станут допытываться, натру градусник, пойду к врачу, скажу — голова болит, и пусть меня в изолятор кладут. Туда никого не пускают. А доктору разве я стану говорить!

— Хочешь, и я в изолятор попрошусь?— свеликодушничал Гелик, теперь уже на все готовый.— И тебе не так скучно будет, да и доктор больше поверит: он знает, что у меня слабое здоровье.

* * *

Дэлихьяр и Тоня выбрались через известную мальчишкам лазейку за ограду лагеря и поставили штакетину в заборе на место. Ночь была светлая. Луна стояла высоко в небе, огромная, перламутровая. И король счел это за доброе предзнаменование — так утверждало джунгахорское поверье.

Было очень тихо, даже море молчало.

Вдруг на шоссе, куда вышли король и Тоня, что-то переливчато блеснуло вдали, послышались негромкие переговаривающиеся голоса. Оба шарахнулись в заросли. Голоса стремительно приближались и вот уже оказались совсем рядом, их как бы наносило прямо на беглецов. Замерцали на мгновение совсем рядом спицы, промчалась бесшумно мимо па-

рочка на двух велосипедах, и уже в другой стороне замолк, истаял в ночи летучий говорок. Но ребята узнали эти голоса. То был вожатый Юра и физкультурница Катя. Они, должно быть, возвращались из кино в соседнем доме отдыха. Пронеслись, как призраки, и король с Тоней почему-то позавидовали им. Что-то у них, промчавшихся вместе, подумалось ребятам, было важное, крепкое — оно давало им возможность мчаться рядом друг с другом, как под одним крылом, по лунному шоссе.

Беглецы вышли к морю. Спать уже не хотелось. Внезапно король остановился и схватил Тоню за руку.

— Смотри, у-это!— прошептал он, показывая в небо.— Смотри!.. Почему она так?

Тоня вскинула вверх голову, сперва ничего не понимая. Но король начинал дрожать, в широко раскрытых глазах его заметался страх. Теперь уже и Тоня заметила, что недавно еще бывшая такой круглой и налитой луна вдруг стала ущербной, как бы срезанной с одной стороны.

До них донесся говор людей. Вдали они разглядели небольшую группу, по-видимому, курортников. Некоторые были даже в казенных пижамах. Люди стояли на высоком морском берегу вокруг какого-то сверкавшего предмета, похожего, как сперва показалось ребятам, на маленькую пушкузенитку. Когда они подошли поближе, стало понятно, что это небольшой переносный телескоп. Им распоряжался пожилой курортник. Полотняный пиджак его как бы светился в свете луны, становившейся между тем все более узкой.

— Ты помолчи,— предупредила Тоня,— а я сейчас все выспрошу.

Она незаметно втиснулась в кружок людей, обступивших телескоп. Все по очереди подходили к трубе и заглядывали в нее снизу. Пожилой курортник что-то негромко пояснял.

Через минуту Тоня вернулась к стоявшему в сторонке королю.

— Ну, с чего ты всполошился? Глупый ты все-таки, Дэлька, хотя и королем стал. Обыкновенное лунное затмение. Запамятовала я, во всех календарях обозначено. Пойдем заглянем в телескоп.

Король замотал было головой, заупрямился, но решительная Тоня схватила его за руку и потащила к телескопу.

— Пожалуйста, можно нам поглядеть?— со старательной вежливостью попросила Тоня у пожилого курортника.

Тот, конечно, сейчас же согласился, показал, как надо смотреть через телескоп, помог ребятам наладить его по глазам.

После Тони заглянул в маленькое стеклышко и король. Луна, огромная, бугристая, шершавая, вся словно обгрызен-

ная с одного боку, почти заполнила черную пустоту, в которую был нацелен телескоп. Это было дурное предзнаменование. Страх охватил короля. Видно, не в добрый час покинул он лагерь, не в добрый час начинает он срок своего правления...

Между тем пожилой курортник давал пояснения окружающим:

— Сейчас уже, как вы видите, почти половина лунного диска закрыта тенью Земли. Это явление не частое — полное затмение, какое мы сегодня можем с вами наблюдать... Не сомневаюсь, что наши ученые используют это чрезвычайно выгодное для всевозможных космических исследований положение.

— А говорят, американцы миллионы иголок стальных выпустили со своего спутника,— произнес кто-то в сгущавшейся темноте,— и они теперь окружают нашу Землю. Это не отражается?

Король с ужасом отпрянул от окуляра телескопа. Тьма вокруг заметно сгущалась. Тень жадно надвигалась на лунный диск. Огромная чернота выгрызала светлое тело луны все глубже.

Ночь вокруг становилась зловещей.

— Да,— сказал пожилой курортник,— конечно, отражается, если вы имеете в виду возможности исследования. Особенно это вредит прохождению радиоволн. Вот недавно известный английский астроном Лоуэлл прямо писал с возмущением, что этот пояс игл чрезвычайно затрудняет радиоисследования Луны.

Король украдкой заглянул одним глазком еще раз в телескоп, надеясь увидеть эти злые иглы, окружающие теперь землю по недоброй воле мерихьянго. Но игл он не увидел. Лишь утесненный диск луны, теперь уже похожий на осколок блюдца, светился в черном круге телескопа...

Услышанное потрясло короля. Вот куда, даже в небо, к луне пробрались мерихьянго. Куда же от них деться?! Надо было как можно скорее посоветоваться с Тонгаором.

Глава XVI

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

И шли по шоссе наши беглецы, и уже заметно притомились они. А затмение все еще продолжалось. Но скоро должно было выйти из-за гор солнце и покончить с ночными страхами.

Рано утром, усталые, осунувшиеся от бессонницы, они

постучались у входной будки в ограде санатория «Стрела». Но тут их ждало тяжкое разочарование.

— Кого это вам в такую рань? Товарища Тонгаора?— спросил их дежурный.— Так ведь выбыл он. Вот уже третий день, как выбыл. Получил, говорят, телеграмму какую-то с родины, собрался в один момент — и будь здоров. Радио разве не слышали? У них ведь там дела теперь какие! Вот он и решил подоспеть. Книжку мне на добрую память оставил, на прощание... Сам роспись сделал, что с уважением, и за заботу спасибо мне выразил... А вы что, небось куда-нибудь в лагерь выступать его хотели потащить? Тут много вашего брата пионера ходит... И с ихнего парохода из порта наведывались... Нет, юные пионеры, опоздали вы с этим.

Долго стояли на шоссе у санатория «Стрела» король и Тоня. Что же было делать дальше? Как быть? С кем посоветоваться? Тоня предложила вернуться в лагерь.

Они оба очень устали, да и есть хотелось уже мучительно, даже больше, чем спать.

Внезапно король радостно подпрыгнул на месте и захлопал в ладоши:

— Туосья, у-это, стой! Мы же тут не так совсем далеко, где порт. Да? Помнишь, Тонгаор сказал, скоро тут будет мой корабль «Принц Дэлихьяр», и старик этот сказал, что, у-это, с парохода были... Там капитан друг Тонгаора. Он тоже против мерихьянго. Пойдем туда. Тонгаор сказал — как раз сегодня. Помнишь, он говорил?

— Ну и что?— задумалась Тоня.— Что с того, что ты на корабль явишься? Одно и то же, что самолетом лететь, только подольше.

— Нет!— закричал король.— Ты, у-это, не понимаешь! Мне Тонгаор тогда говорил: «Придет корабль, помни, там хорошие люди... Они из Рамбая. Они против мерихьянго». Я к ним приду и скажу: «Я тоже против мерихьянго»... Помнишь, как «Санта-Мария» не хотела быть за войну... Она подняла флаг, свой флаг, и пошла в Бразилию. Помнишь, вы мне рассказывали? Я слышал, у-это, тоже, как радио рассказывало. Мы будем, как «Санта-Мария», мы не будем за мерихьянго, мы уйдем в море... Я, у-это, дам радио дядьке... И пусть он сделает как надо, а то, я скажу, корабль не пойдет в Хайраджамбу. Он в Рамбай пойдет... Это мой корабль...

Но до большого порта надо было ехать полдня автобусом, это было далеко. Решили сперва подкрепиться. Хорошо, что расчетливый и дальновидный Ярослав Несметнов тихонько от короля уговорил Тониду взять от ребят деньги на дорогу. Вот они теперь и пригодились. Ребята дошли до автобусной станции, которая располагалась неподалеку от

парка в одном из прибрежных курортных поселков. Тоня отсчитала и отложила в сторону деньги на автобусные билеты, посмотрев сперва у кассы, сколько они стоят. А потом пошли в буфет, съели по плюшке, выпили по стакану какао. На душе стало веселее.

А день был воскресный, и в парке собралось много народу. На открытой эстраде приезжий лектор читал доклад о международном положении. Об этом гласила большая афиша у входа в парк.

— Пойдем послушаем,— предложила Тоня.— Может быть, сгодится. Тем более, до автобуса еще часа четыре битых...

Ребята сели на одну из крайних скамеек, полукольцом окружавших эстраду. День был жаркий, и лектор, шагая по скрипевшей под его ногами эстраде, над которой выгнулся легкий свод раковины, все время обмахивался бумажкой, куда он то и дело заглядывал. Лектор обрисовал международное положение. Он со своих подмостков словно бы обозревал весь мир, он все знал, где и что...

А потом попросил задавать вопросы.

— Ох, я что надумала, Дэлька!— сказала Тоня.— Давай пошлем записку ему, пусть прояснит насчет твоей Джунгахоры.

Тоня попросила у кого-то из соседей бумажку. Сидевший рядом пожилой гражданин вырвал листок из своего блокнота, даже не глядя на Тоню. Карандаш у нее нашелся свой. Она глубокомысленно обсосала его, что-то нацарапала на бумажке, легонько постучала по плечу одного из сидевших впереди слушателей, протянув записку. И пошла по рядам, как щепочка по волнам, записка, пока не доплыла до эстрады.

— Меня вот тут просят рассказать подробней о положении в Джунгахоре,— сказал лектор, прочтя Тонину записку.— Что можно сказать? Положение там сложилось крайне напряженное. Из различных международных источников сообщают о жесточайших репрессиях. Как вам известно из газет, власть в Джунгахоре захватили снова сторонники империалистов, ставленники международного капитала, которые решили восстановить в стране ненавистный народу грабительский режим, бывший при недоброй памяти тиране Шардайяхе. Правда, народ оказывает сопротивление, особая активность наблюдается в южном городе Рамбай.— Король толкнул локтем Тоню.— Порт Рамбай,— продолжал лектор,— в руках повстанцев, партизан. Для отвода глаз и обмана населения королем провозглашен малолетний несмышленыш, принц Дэлихьяр, естественно, совершенно беспомощный и, надо полагать, действующий на поводу у генера-

ла Дамбиала Сурахонга, каковой назначен регентом, то есть фактическим правителем страны. Прежний король Джутанг, симпатизировавший прогрессивным силам, не способен был удержать власть и вот теперь вынужден был уступить ее реакции. Ну, а малолетний король — это, разумеется, марионетка, не способная что-либо изменить.

Дэлихьяр так и взвился, когда его назвали марионеткой да еще несмышленышем, действующим к тому же на руку мерихьянго.

— Это он меня как, у-это, прозвал?— допытывался он у Тони.

Та еле удерживала его на месте.

— Ну зачем он так?— кипятился Дэлихьяр.— Не смей так, у-это, сам дурак! Шарахунга!

На них ужс оборачивались и шикали, а шум поднимать было, конечно, нельзя. Ведь несомненно в лагере «Спартак» с утра началась тревога по поводу исчезновения короля. И можно было себе представить, в какую ярость пришел посол, из-под носа которого король дал лататы! Вероятно, по всему берегу шли поиски.

Однако, чтобы хоть как-нибудь успокоить Дэлихьяра, Тоня послала лектору новую записку, прежде чем уйти из парка. Король упрямо настоял на этом.

«Вы так не можете говорить, раз не в курсе,— написала на этот раз Тоня.— Король Джунгахоры Дэлихьяр за мир и дружбу. Он против империалистов. Он за нас».

Ребята были уже за воротами парка, когда до них донесся усиленный через микрофон голос лектора, который, прочтя записку, иронически говорил:

— Уж я не знаю, почему данный товарищ, автор записки, полагает, что теперешний малолетний король Джунгахоры настроен столь прогрессивно... Видимо, автор записки полагает...

Тоня с гордостью услышала, как ее назвали автором — так ее еще никто никогда не называл,— но решила не задерживаться у парка, а возвращаться на автобусную станцию.

Между тем возле эстрады, где стоял лектор по международным вопросам, раздался звонкий шлепок, будто кто-то прихлопнул у себя на лбу комара. Это вдруг хлопнул себя по темени сидевший близ эстрады с края, у прохода, человек, который незадолго до того пристально вглядывался в ребят. То был ревизор, который когда-то анкетировал и расспрашивал Дэлихьяра в лагере «Спартак».

— Граждане!— запричитал он, приподнимаясь на месте,— Внимания прошу... Как я понимаю, ту записку прислал сам бывший принц, в прошлом принц, то есть король в настоящее

время. Он вот тут сидел, честное даю вам слово, граждане! Где же он?..

Он вертелся, озираясь во все стороны, всматриваясь в ряды сидевших. И тут стали тихонечко украдкой постукивать себя по лбу уже кое-то из сидевших неподалеку, показывая при этом осторожно глазами на обескураженного и смешно суетившегося человека. Дескать, не в себе товарищ...

А короля и Тони уже и след простыл.

Глава XVII

ФЛАГ НА ГОРИЗОНТЕ

Ехали что-то очень долго — так по крайней мере казалось ребятам. Подолгу стояли в каких-то курортных поселках. Автобус заправлялся бензином. Водитель куда-то отлучался. А Тоня и король бродили вокруг опустевшего автобуса, мучаясь ожиданием. Король шептал:

— Я им, у-это, знаешь как буду говорить?! Вы, я это им так говорю, вы моряки Рамбая. Тонгаор говорит, в Рамбай хороший моряк, храбрый очень и «мерихьянго табатанг!» Я тоже так! Тонгаор мне друг-друг. Я вам король — тоже друг-друг. Мы будем идти в Рамбай. Мы будем делать все совсем хорошо. Мерихьянго — вон!

Потом снова садились в автобус, заполняемый пассажирами. И ехали, ехали, ехали, а король уже молчал.

Когда прибыли в большой портовый город, слегка смеркалось. От автобусной станции до самого порта было довольно далеко. Но денег у Тони не осталось, пришлось шагать пешком. А король чувствовал себя уже совсем плохо. Он устал с непривычки. На каждый шаг что-то отзывалось в голове и больно било в темя, да и ноги стали ныть. Тоня, как могла, подбадривала его.

— Ну потерпи еще чуток,— ласково окала она.— Осталось-то всего ничего — раз, два, и готово. Уж сколько с тобой помыкались. Подбодрись. Сейчас на место прибудем, я тебя на пароход посажу, а уж там прощай и действуй по-умному.

— Туосья... А ты, у-это, так и не хочешь со мной?..— начал было король.

Но она строго оборвала его:

— Я свое слово сказала, и точка. Ты не обижайся, Дэлик, ты пойми. Никак это невозможно. После поглядим, а пока и разговора быть не может.

— Мне одному страшно... Мне, у-это, одному совсем трудно.

— А мне, ты думаешь, легко?— И Тоня быстро отвернулась от короля.

Солнце уже село, когда они вышли к берегу. В стороне, чуть поодаль, виднелись мачты, трубы, портовые краны. Накатывал железный грохот. Перекликались пискливо паровозы. До порта было уже рукой подать. А синева над морем сгущалась. Послушно темнело и спокойное море. У конца волнореза, ограждавшего порт со стороны моря, зажегся красный огонь на маяке. И оттуда вдруг донесся до беглецов густой, протяжный звук корабельного тифона. Большой корабль выходил из гавани, огибая маяк.

Король и Тоня застыли неподвижно.

Над кормой парохода развевался трехпольный флаг. Корабль разворачивался, у носа его в свете маячка блеснули золотые буквы, но надпись с берега было не прочесть. И все же это был несомненно тот самый корабль, «Принц Дэлихьяр», о котором рассказывал Тонгаор. И флаг над кормой — в этом нельзя уже было ошибиться — был несомненно джунгахорский: большой, с алой полосой, посредине которой сияла лучистая зубчатка солнца, и с синими полями сверху и снизу... И он уходил, этот корабль, уходил в Джунгахору. Он дымил, гудел, давая прощальные сигналы. До него было не больше пятисот метров.

Но вот эти полкилометра и легли неодолимой пропастью между маленьким королем и его отчаянной мечтой.

Обогнув волнорез с маячком, корабль повернул к выходу из бухты. Это было видно по изогнувшейся полосе дыма над ним. Берег и эта дымная кривая показывали направление на мысок, где оканчивалась излучина бухты. Как раз возле этого мыска и вышли на берег наши беглецы. Теперь стало ясно, что пароход с флагом Джунгахоры держит курс к этому мыску, за которым уже начиналось открытое море. Вот если бы...

— Лодка!— прокричала Тоня.— Лодка! Давай скорей!— донесся ее голос уже снизу, от самой кромки воды, куда она соскочила с небольшого берегового обрыва.

Да, там у самой полосы прибоя, вытащенная на берег, обсыхала небольшая шлюпка. Весла у нее оставались в уключинах. Видно, приплывший на лодке отлучился куда-то лишь на минуту.

Еще плохо соображая, что решила делать Тоня, король тоже спрыгнул на прибрежную гальку.

— Подсобляй, подсобляй!— кричала Тоня, упираясь плечом, боком, руками в борт лодки и подталкивая ее к волнам.

И король послушно пихал лодку, как ему приказывала Тоня. А девочка бесстрашно ступила в воду по колено, толкала лодку и тащила ее в море.

— Залазь!— приказала Тоня.

Король, перегнувшись через борт, свалился на дно лодки.

А Тоня уже сидела на передней банке и круто, двумя движениями весел в противоположные стороны, табаня одним и громадя другим, развернув лодку носом в море, упруго привстала и, откидываясь, гребла. Крылатый взмах, еще раз, еще!— и лодка пружинисто, в такт движению тяжелых весел, прядала, легонько подаваясь вперед.

Пространство между бортом ее и берегом росло легкими рывками, как бы вздуваясь, отодвигая берег и словно выпрямляя его постепенно. Казалось, что каждый гребок накачивал туго и постепенно распирал пространство между лодкой и берегом. А если оглянуться назад, то там, за носом, горизонт оставался таким же недосягаемым и бесконечным.

Тогда тщетными выглядели в сравнении с этой неодолимой далью копошения весел. И туда, к горизонту, уходил корабль.

— Садись рядом, подсобляй, громадь!— скомандовала Тоня, слегка отодвигаясь в сторону.— Громадь! Вот так, подавайся назад больше... Ох ты, горе мое... Что же ты весло-то выворачиваешь? Ну громадь, громадь, прошу тебя...

Но куда было ему угнаться за широким и стремительным махом волжанки, легко отводившей назад весло и сноровисто, полуопрокидываясь, посылавшей длинный гребок...

А волна колыхалась, медленная и серая, как спина огромного слона. И лодку мерно покачивало. Вот и сбылся сон. Только не играла музыка, не слышно было праздничных кликов народа. И нестерпимо ломило все тело, зудели руки, вспухли, налились снова болезненные мозоли на нежных ладонях короля.

Однако корабль, державший курс на мысок, как будто бы шел теперь на сближение. Он был уже хорошо виден, хотя сумерки все плотнее ложились на морскую гладь. Еще, еще немного, и лодка должна была встретиться с кораблем, оказаться на его пути.

Тоня гребла что есть сил. Она уже задыхалась от усилий, гоня тяжелую лодку.

— Помаши им... покричи,— сказала она.

— Фари йор!..—Король вскочил и, сложив ладони рупором, стал кричать что-то по-джунгахорски.

Лодку качало, и он еле держался на ногах, махал и кричал.

И там, на корабле, наконец, должно быть, заметили их.

У трубы корабля забилось белое облачко пара, а потом донесся короткий приветливый гудок.

В ту же минуту корабль, круто повернув, взял курс прямо к горизонту, в открытое море. Верно, там решили, что просто

кто-то на лодке вышел проводить джунгахорцев, отплывающих на свою родину.

И Тоня бросила грести.

Оба долго и безнадежно смотрели на уходящий в море корабль. Ветер уже развеял дым, крутой дугой плывший в небе, а может быть, тьма, напиравшая на море с гор, стерла эти дымные следы.

Все дальше и дальше уходили огни корабля.

И скоро уже только мерцало и чуть-чуть искрилось там, на горизонте, а потом и вовсе стало темно и пусто.

Глава XVIII

В ЗОНЕ ИГЛ

Только тут заметили ребята, что они отплыли очень далеко от берега. Жуть безбрежного одиночества прокралась к ним в души. Огни порта и города были, казалось, уже не многим ближе, чем горизонт, за которым скрылся корабль. Громады гор вставали там, на оставленном берегу, да и они выглядели теперь уже далекими и не столь огромными, как прежде. И оттуда, с гор, вдруг порывами задуло, понесло сыростью, мраком и холодом. Ветер был резкий и сильный, и с каждым мгновением все чернее становилось небо, все выше, тяжелее гряды зыби.

Когда Тоня разворачивала лодку носом к берегу, их чуть не положило совсем на борт. Волна захлестнула шлюпку, и ребята разом промокли. На дне шлюпки заплескало.

— Вот попали мы с тобой, Дэлька,— сказала Тоня.— Давай обратно громадь, подсобляй. Ох, втянула я тебя в дело гиблое... Нет, брось громадить, лучше я одна. Давай руками, ладонями черпай воду, а то затопит нас.

И король обеими руками принялся выплескивать, загребая ладонями со дна лодки воду. Но ее набиралось все больше и больше. И волны теперь уже не колыхались по-слоновьи, а как огромные злые псы, мурзились, рычали, выгибали хребет, припадали на передние лапы, отползая немного, чтобы снова кинуться, захлебываясь в ярости и пене, клыкастые, лютые в своем злющем оскале. Волны катили навстречу от берега и отгоняли маленькую шлюпку с ребятами все дальше и дальше в море. Неслись над головой сползшие с гор стремительные тучи и наваливались всей своей тяжестью на луну, которая пыталась подняться над горизонтом и выбраться из всей этой страшной катавасии. Ветер ломил черной стеной, слепил, законопачивал тьмой все окрест, всвистываясь в ноздри и уши, туго забиваясь в рот... Приходилось каждый

раз отворачиваться, чтобы хоть немножко перевести дыхание.

Потом от берега, заслонив его собой, понеслась стена ливня. Молниеподобные колючки струй, засверкавшие в отблесках выглянувшей луны, прорезали темень.

— У-это, иголыки!.. Иголыки мерихьянго!— закричал в ужасе король.

Ему показалось, что это те самые иголки, которые запущены в космос и хищно опоясали землю, теперь низвергаются прямо на их лодку. От их уколов все тело начинало жгуче зудеть.

— А солнца уже не будет никогда!— проговорил он тоскливо.

— Чего?!— прокричала сквозь ветер и темноту Тоня.

— Я говорю,— что есть силы крикнул король,— солнца, у-это, не будет! Утро не будет. Темно всегда будет.

— Помолчи ты, Дэлька... В самом деле, городишь... Перестань. Черпай, черпай воду лучше.

Но у короля уже не было сил выплескивать коченевшими руками воду. Еще когда-то на побережье Джунгахоры он схватил желтую тропическую малярию, она чуть не убила его в раннем детстве и нет-нет да и напоминала о себе. И вот сейчас, видно, у него начинался приступ. Ему казалось, что тысячи иголок впиваются в его тело. Это кололи его иглы мерихьянго, злые иглы, опоясавшие мир и отгородившие от него луну, солнце, людей...

А Тоня, выбиваясь уже из сил, кашляя, сдувая залеплявшую лицо воду, продолжала грести, изредка поглядывая через плечо, не стал ли хоть немножко ближе берег. Но он оставался таким же далеким.

И когда казалось, что уже нет больше сил двинуть веслом, оттуда, со стороны берега, вдруг ударил в морскую мутную темень длинный и упругий луч. Он качнулся в одну сторону, махнул в другую, пошарил вдали между гребнями высвеченных им волн, метнулся рывком вполнеба обратно, пал на море совсем рядом с лодкой. Еще мгновение — все на шлюпке вспыхнуло нестерпимым голубым, льдистым сиянием. Засверкавшие иглы ливня стали, казалось, хрустальными и, раскалываясь, посыпались в разные стороны, словно отгоняемые потоками тугого света. А вскоре затарахтел все ближе и ближе мотор. И катер моряков-пограничников, подлетев к лодке, круто обогнув ее и как бы отрезав разом от всех бед, которыми кишело черное пространство до самого горизонта, резко застопорил. Крючья багров вцепились в борт шлюпки. Лодка и катер поочередно взлетали и опускались резко вниз, как взлетали, качались брови у Дэлихьяра, когда он показывал ребятам свой фокус... Но сейчас он сам уже и бровью двинуть не мог.

Какие-то фигуры соскочили с борта катера на лодку, крепкие руки подхватили ребят и вознесли их куда-то вверх, снова качнули вниз, подбросили мягко опять в вышину, где было много огней, где раздавались желанные человеческие голоса и двигались сильные люди. Из темноты донеслась команда:

— Смирно! Ваше королевское величество, катер «М-18», высланный за вами, прибыл по назначению. Командир катера капитан-лейтенант Моргунов.

Но король уже не мог ни принять рапорта, ни сам устоять на взлетевшем борту катера.

В маленькой каютке командира человек в белом халате склонился над королем, уложенным на койку. И король, приоткрыв глаза, увидел близко, прямо над собой, сверкнувшую иглу.

— Иголыки!.. Не хочу!.. Не дам иголыки!..— Он забился, отодвигаясь к стене, отталкивая ладонями руку человека в белом халате.

Но тот плотно прижал руки короля к койке.

Это была совсем не злая игла. Она уколола лишь на какой-то миг. А потом стало очень хорошо. Это была последняя игла, которую видел бедный король, впадая в забытье.

Глава XIX

В ЭТОМ КОРОЛЬ НЕ ВЛАСТЕН

Утром в отдельной палате берегового госпиталя, где теперь лежал король, появились приехавшие ночью начальник лагеря «Спартак» Михаил Борисович Кравчуков и чрезвычайный посол Джунгахоры.

Пыталась пробраться в палату к королю и Тоня, которую приютила у себя на время Майя Лазаревна Белецкая — главный врач госпиталя, румяная, полнощекая и очень подвижная толстуха. Но Тоню попросили обождать в коридоре. А ей надо было тотчас же непременно свидеться с королем и сообщить ему все, что она узнала ночью в кубрике пограничного катера, спасшего вчера их обоих. А Тоня слышала, засыпая на рундуке, как моряки говорили друг другу о том, что новые власти Джунгахоры схватили вернувшегося в трудный для народа час на родину Тонгаора и он приговорен к смерти.

Казнь могла состояться каждый час, надо было спешить.

Увидев входившего в палату посла, на котором болтался чересчур большой для него белый халат, король рывком повернулся к стене и натянул одеяло на голову. Всем видом

своим он показывал, что не желает иметь дело с послом Дамбиала, этого противного родственника, который вечно допекал его еще дома в Джунгахоре всякими замечаниями насчет хороших манер и ни за что не хотел, чтобы Дэлихьяр поехал в советский пионерский лагерь.

— Ваше королевское величество...— начал было посол, но король задергал лопатками, задрыгал ногами, взбивая ими одеяло, и вжался еще глубже лбом в подушку, не желая ничего слушать.

— Позвольте, господин посол, мне...— вмешался тут Михаил Борисович Кравчуков.

Услышав голос начальника «Спартака», король приподнял голову над подушкой и недоверчиво поглядел себе за спину.

У начальника невольно сжалось сердце, когда он увидел эти запухшие, нареванные глаза под гибкими, сейчас как бы жалко обвисшими бровями.

— Не хочу, у-это, к нему! Я хочу к вам!— Король заплакал и, не оборачиваясь, пряча лицо в подушку, стал вслепую хватать рукой за полу халата, который был наброшен на плечи Кравчукова.

— Михаил Борисович! Вы ему скажите про Тонгаора,— раздался громкий шепот от дверей палаты.

— Цыц!— прикрикнул Кравчуков.— Марш отсюда вон! С тобой, дева прекрасная, еще разговор у нас будет.

Майя Лазаревна кинулась к дверям, молча выталкивая просунувшуюся в них Тоню.

Но та успела крикнуть:

— Дэлик! Они Тонгаора приговорили... Они его схватили... Казнить хотят!..

Король вскочил на постели. Напрасно Майя Лазаревна и Кравчуков пытались удержать его. Он спустил босые ноги на пол, затопал ими, залился громким плачем, стал раздирать на себе больничную пижаму. Он сбросил все лекарства с тумбочки, крича по-джунгахорски послу, что требует освобождения Тонгаора и ни за что не поедет домой, если того казнят.

Он бушевал, плакал, требовал, просил, кидался головой в подушку, кричал, что не будет принимать лекарства. Тоня, пользуясь общей сумятицей, проникла в палату и стала поодаль от кровати, кусая губы, сердито и сочувственно сдвинув и без того тесно сросшиеся брови.

Чем бы все это кончилось, неизвестно, но в госпиталь прибыл Павел Андреевич Щедринцев, тот самый советский посол в Джунгахоре, который месяц назад встретил принца в лагере «Спартак».

Мягкий, спокойный голос негромко, но чрезвычайно внятно говорившего Щедринцева заставил всех притихнуть.

— Простите меня, господин посол, и не сочтите это за

вмешательство в ваши дела, но если вы хотите внять доброму, дружескому совету, то я позволил бы себе рекомендовать вам передать пожелания Его величества немедленно Его высочеству принцу-регенту Дамбиалу Сурахонгу... Все газеты мира полны сообщений из Джунгахоры, которые подтверждают, что народ глубоко возмущен репрессиями и, в частности, арестом Тонгаора. Я не берусь подсказывать, но мне казалось бы, что лучший способ уладить дело — это сослаться на требования нового короля, который, как я понимаю, предложил амнистировать подвергшихся репрессиям.

Джунгахорский посол попробовал было что-то возразить сперва по-джунгахорски, а потом по-русски, но король, колотя кулаками по подушке и с размаху бодая ее головой, закричал:

— Не надо совсем слушать его!.. Я его уже отменил... Я его, у-это, отозвал... Он уже, у-это, не посол совсем, а просто тьфу!— И король плюнул на пол перед койкой.

— Прошу меня извинить,— вкрадчиво обратился тогда наш посол к джунгахорскому.— Но я не думаю, господин посол, что следует обострять этот конфликт... Тем более, что Его величество отказывается уже признавать вас в данной ситуации персоной грата.

— Не признаю,— запротестовал тот.— Он еще не вступил на престол. Это незаконно.

— Да-а, вы правы, возражения ваши совершенно законны. Но ведь приходится считаться и с общественным мнением. Не так ли, господин посол? Вы, разумеется, вольны поступать по своему усмотрению, однако...

Тут улегшийся было король приподнял одеяло, отгородился им сбоку от нашего посла и из-под прикрытия показал снятому с высокого поста послу Джунгахоры язык, а потом и нос. Но этого ему показалось недостаточно. Он приставил ладонь ребром к уху и потом, сгибая и разгибая пальцы, несколько раз помахал ими разжалованному послу.

— Лопух,— сказал король,— качай отсюда.

— Я вижу, что пребывание Его величества в Советском Союзе не прошло для него бесследно,— ядовито заметил бывший посол.— Хорошеньким манерам вы его тут обучили.

— И совсем не они!— закричал король, сбрасывая одеяло.— И совсем не они! Это я раньше совсем научился. Это меня мисс Лора Харт, у-это, которая из Голливуда... люкс-бомба. Она танцевала в Джайгаданг, когда брат мой, у-это, король был. Она хотела жениться на него. А потом, когда ее пошли вон, она у дверей обратно смотрела и вот так язык, а потом так нос сделала и вот так вот рукой с ухом. Честное пионерское!.. У-это, честное королевское.

У дверей берегового госпиталя уже толпились тем време-

нем журналисты, проведавшие о местонахождении короля Джунгахоры и прилетевшие из нескольких западноевропейских редакций. Но главный врач запретил тревожить короля.

К подъезду больницы вышел посол Джунгахоры и с кислым видом показал текст телеграммы, которую он, по велению короля, посылает в Джунгахору. Король требует немедленного освобождения Тонгаора.

Зато Тоню пришлось допустить к королю, иначе он отказывался прекратить голодовку и принимать прописанные ему лекарства.

Тоня была тоже в белом халате, в белой косынке, которая ей очень шла. Король после бурной вспышки ослабел. Он лежал навзничь, ему было очень жалко себя. Он смотрел на Тоню ужасно печальными глазами, так что у нее все переворачивалось внутри. И даже видавшая виды няня-сиделка, принесшая завтрак королю, уходя, обернулась в дверях и тяжело вздохнула:

— И что только капитализм с дитями творит! Неужто уж наши заступляться не будут?..

Тоня стала кормить короля с ложки. Конечно, он бы и сам мог держать ложку, но ему было так жалко себя, так приятно, что Тоня бережно подносит к его рту ложку с бульоном... Он не мог себе отказать в этом удовольствии. Уж на такое-то имел право король, тем более больной! Тут бы даже строгий Славка Несметнов не заругался.

— Ты, у-это, очень красивая, совсем очень красивая сегодня,— тихо говорил король, протягивая губы к ложке, не сводя с Тони глаз,— тебе так очень хорошо. Ты совсем как Бабашура была. Ты будешь доктор, когда вырастешь? Тебе хорошо идет. Когда будешь доктор, тогда приедешь, у-это, в Джунгахора, да? Будешь всех лечить. Мы будем там устроить красивые больницы.

— Ладно, там поглядим,— строго отвечала Тоня, суя ему ложку в рот.— Ты помалкивай, не болтай много, опять температуру нагонишь.

А вечером пришел по телеграфу ответ от регента Сурахонга, который сообщал, что неблагодарный Тонгаор дерзко отклонил помилование.

«Ваше королевское величество,— ответил Тонгаор, прося передать его слова новому королю и всему миру,— я не могу принимать жизнь по милости королей. Жизнь мне может вернуть лишь закон, и единственный, кто имеет право творить этот закон,— народ. Я ни в чем не виноват и отказываюсь сам просить у кого бы то ни было милости, даже если она дарует мне жизнь. Пусть решает народ. Признаю только власть самого народа и до последней минуты буду бороться с властью над народом...»

Видно, регент тут что-то схитрил и, скрыв от Тонгаора истинное положение, изобразил дело так, будто юный король готов даровать жизнь поэту, если тот сам попросит у него помилования.

И опять плакал маленький король, представляя себе, как томится непреклонный Тонгаор в королевской тюрьме, в глубокой смрадной яме, огражденной высокой стеной с гребнем, утыканным стальными иглами, которыми хотят окружить весь земной шар мерихьянго.

Посол Щедринцев объяснил, как мог, королю, который не очень понимал ответ Тонгаора и был даже обижен на него, что гордый поэт-коммунист не хочет просить милости, в то время как тысячи людей томятся в ямах. Поэтому он отказался, как предложил ему регент Сурахонг, подписать прошение о помиловании. Тонгаор требовал суда открытого и народного. Его и надо добиваться, пока не поздно. Король так устал и наплакался, что совсем обессилел и вскоре заснул.

А к вечеру к нему, несмотря на то что ее пыталась удержать дежурная сестра, ворвалась пробившаяся сквозь все заграждения, преследуемая главным врачом Тоня. Она рассказала о том, что только сейчас слышала по радио. Передавали, что весь народ Джунгахоры встал на защиту Тонгаора. Десятки тысяч людей двинулись стеной на стены королевской тюрьмы. И регент Сурахонг, чтобы как-нибудь утишить гнев и возмущение народа, вынужден был отменить казнь Тонгаора и объявить королевскую амнистию. Сотни людей уже выпущены из ямы на волю, а храбрый поэт-революционер выдворен из страны, и с ним выслана его семья, которую до этого не выпускали из Джунгахоры.

— Ой, Дэлька, Дэлька!— кричала Тоня и кружилась по палате.

И король, сбросивший с себя одеяло, катался и прыгал по койке. И оба они вопили: «Слоны — всем! В ямы — никого! Мерихьянго — вон!», пока не пришла Майя Лазаревна, не затопала на них, крича:

— Это еще что за цирк? Вы что, с ума сошли?! Будьте добры, Ваше величество, не безобразничать. Занимайтесь этим у себя во дворце в Джунгахоре, если вам угодно. Скачите там у себя на троне сколько желаете, а сейчас вы на моей территории и режим у вас, простите, постельный, а не королевский. Тихо сейчас же! Извольте подчиняться моим законам, уж будьте добры!

— И совсем, у-это, не так говорить! Надо не «будьте добры», а «путти хатоу»!— не унимался король, хохоча.— А я вам тогда скажу, у-это: «Взигада хатоу!»

Пришлось все-таки королю послушно улечься снова в постель.

* * *

На другой день в кабинете главного врача госпиталя и в присутствии посла Щедринцева, начальника лагеря «Спартак» и доктора Майи Лазаревны король дал небольшую пресс-конференцию приехавшим журналистам.

Но пусть об этом лучше расскажет один из присутствовавших на беседе с королем западных журналистов. Вот как он сам написал об этом у себя в газете:

«Король Дэлихьяр имел несколько болезненный вид после перенесенных им злоключений на море, но оказался вполне приветливым и хорошо воспитанным носителем верховной власти. Юный король заявил, что предпочитает вести пресс-конференцию по-русски, так как почти забыл английский язык, а кроме того, ему хотелось бы, чтобы все слова его были понятны тем, кто проявил столько забот о нем. На груди короля, рядом с фамильным королевским амулетом с изображением солнца, луны и слона, мы заметили неправильной формы камешек со сквозным отверстием посередине, подвешенный на грубом шнурке. На вопрос, что обозначает этот медальон, король ответил, что это Куриный бог, который, по давнему преданию жителей Черноморского побережья, приносит счастье. Из этого можно сделать вывод, что во время своего пребывания в Советском Союзе будущий король подвергался воздействию различных влияний — не только коммунистического характера, но и, по-видимому, таких, которые связаны с существованием некоторых религиозных сект, в частности, бытующего в Крыму культа обожествленной курицы.

По нашей просьбе король изложил основы, на которых он собирается строить свое правление, если ему это удастся. «Если дядька позволит»,— сказал король, имея в виду, должно быть, принца-регента Дамбиала Сурахонга, облеченного, как известно, всей полнотой власти до совершеннолетия юного короля.

— Какие у вас отношения с принцем-регентом?— задан был вопрос королю.

Король в своем ответе был предельно лаконичен:

— Он мне дядька.

Вопрос. Были ли у вас какие-либо расхождения с ним, конфликты?

Король. Я ему облил в день Луны новый мундир краской, когда клеил ракету... нечаянно. А он думал, у-это, я так хотел.

От каких-либо комментариев король при этом воздержался.

— А еще другое я скажу потом, когда дядьке и всем его мерихьяиго дадут по шапке,— добавил он после иекоторого промедления.

(«Дать по шапке»— иепереводимое выражение. По-русски это значит: выдать всем шапки. Очевидно, намек иа уход в будущем регента на пеисию короииого масштаба.)

— Какими приицнпами вы будете руководствоваться, будучи королем Джуигахоры?— попросили ответить короля.

— «Слоиы — всем! В ямы — иикого! Мерихьяиго — вои!»— последовал ответ.

При этом юиый король выжидательио посмотрел иа присутствовавшего на нашей беседе советского посла в Джуигахоре господииа Щедриицева.

На вопрос, собирается ли он и каким образом мыслит в дальнейшем пополнить образоваиие, король ответил:

— Учиться и королям пригодится! Так Юра-вожатый говорил. («Вожатый»— то же, что вождь. Кого имел в виду король, осталось иеясиым.)

— Какое вообще ваше любимое заиятие?— спросил короля наш корреспоидеит.

— Ноздрить камешки,— отвечал король.

(Ноздрить камешки — известиый лишь жителям Черноморского побережья способ иаведеиия магического блеска на драгоцениые камни.)

На вопрос о том, как провел время король в советском лагере юных пионеров «Спартак», король сказал, что ему было очень хорошо, так как со всех сторои ему оказывали исключительное радушие.

— Велась ли какая-нибудь пропагаида?— спросили мы у короля.— Делались ли попытки разагитировать вас?

— Да!— воскликиул прн этом юиый король, оживившись.— Они иаучили меня управлять постель и собирать камни. Я много собирал камни. (По-видимому, речь идет об известной агитациоиной формуле коммунистов начала века: «Камень — оружие пролетариата».)

— Значит, вас все-таки агитировали, Ваше величество?

— Нет,— отвечал король,— я их сам аги-ти-ти-ровал (так произиосит это слово юный король), за слонов аги-ти-тировал. Я их все время, у-это, аги-ти-тировал.

Король заметил, что, верикувшись к себе в Джуигахору, он представит к ордену Луиы и Солица директора лагеря «Спартак» и старшего Вождя. А пионерку Туосью (Аитоииду) наградит ордеиом «Сердце Льва» за спасеиие жизни короля на водах Чериого моря.

Королю был задаи вопрос, собирается ли он согласовать эти свои решения с миеиием приица-регента. После этого король заявил, что ему, как он выразился, кое-куда надо, и в

сопровождении врача покинул присутствующих в направлении туалетной комнаты. Врач госпиталя, выйдя к нам, сообщил, что пресс-конференция окончена».

* * *

Ах, друзья мои, если бы все это была только сказка... Уж я бы сумел придумать для нее веселый конец с медом-пивом, которое бы и по усам, и по строкам моим текло, да и в рот бы попадало. Но что делать, в жизни не у всех историй пока еще веселые концы...

И стоит ли вам рассказывать о том, как на другое утро пришла за королем машина и посол Щедринцев вместе с бывшим послом Джунгахоры увезли Дэлихьяра на аэродром?..

Не хочу я подробно описывать, как расставались король и Тоня, не хочу печалить вас, да и сам, признаться, не желаю расстраиваться, а то совсем не мед и не пиво просочатся в строки моей повести. Расскажу только, что, когда собрались в тот день «спартаковцы» уже к отъезду своей смены, так как кончился ее срок, тяжко заныло, басовито зарокотало небо, и пионеры все выбежали из дач и палаток. И увидели они, как большой самолет, сделав круг над лагерем, покачал крыльями. Это был прощальный привет маленького короля своим летним друзьям.

А внизу, в углу одной из опустевших комнат большой дачи, уткнувшись в уже увязанный рюкзак, плакала большая девочка, которую никто прежде, до короля Джунгахоры, не называл Тосей.

Глава XX

БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО

Вот пока и все, что я имел право рассказать о принце Сурамбуке, ныне взошедшем на престол Джунгахоры под именем короля Дэлихьяра Пятого. Вот пока и все.

Пусть думают взрослые, что все это сказка. Пусть не верят, что Тоня Пашухина получила недавно письмо от короля с маркой, на которой было уже его изображение. И в письме этом король сообщал, что он не позволяет никому раскрывать на ночь, убирать и заправлять на день свою постель в спальне Джайгаданга и что он ввел у себя во дворце ежедневную утреннюю линейку для всех министров и придворных. Причем король приветствует свиту восклицанием: «Путти хатоу!» — на что все присутствующие придворные должны отве-

чать: «Взигада хатоу!» Король писал, что Тосе должны быть понятны эти слова, смысл которых остается таинственным для придворных.

Король писал, что рядом с амулетом Солнца, Луны и Слона он по-прежнему носит Куриного бога, а в праздники надевает красный галстук, право носить который на груди отстоял, хотя дядька-регент очень ругался.

Еще писал бедняга король, что ему очень-очень скучно в большом королевском дворце Джайгаданге, где триста сорок комнат и ни одного друга. Сообщал он также, что достиг еще большего совершенства в качании бровями, научил министра двора играть в «подстеночку» и украсил свои личные апартаменты полной коллекцией фотокарточек советских космонавтов.

Видно, никакие другие реформы королю Дэлихьяру провести не удалось. И я вам ничего больше сообщить до поры до времени не могу. Потерпите немного. Ждать осталось, я уверен, не так уж долго. Ведь в мире что ни час, то люди умнеют, и все больше тайн раскрывает человек в природе. Что ни день, то все меньше секретов будет таить человек от человека, народ от народа, и границы государства перестанут отсекать сердце от сердца.

Придет день, когда я вам раскрою тайну, как на самом деле называется страна Солнца и Луны — жаркая Джунгахора.

Я укажу вам точно ее место на карте, открою настоящее имя короля, и вы, возможно, получите за все это лишнюю пятерку по географии, а может быть, и по истории.

Все еще будет хорошо! И утвердятся законы, которые пионеры вместе с королем записали на страницах школьной тетрадки в памятную лагерную ночь на берегу нашего Черного моря. Ведь наберется ума-разума не только Дэлихьяр, но — это самое главное — обретет силу народ Джунгахоры и возьмется делать свою жизнь на такой образец, какой ему покажется желанным.

И тогда уж будьте готовы, Ваше величество!

Ноябрь 1962 — июнь 1964

ГЕРБЫ И ФЛАГИ МЕЧТЫ

Послание моим читателям

По секрету говоря, не совсем точно названа эта книга: «Три страны, которых нет на карте». Конечно, если речь идет о школьном глобусе или об учебной карте, что вешается в классе на уроке географии, то там ни одной из трех стран, про которые рассказывается в книге, не найдешь. Но вот если бы вы смогли заглянуть ко мне домой, то у дверей моей рабочей комнаты вы бы увидели красивую, на старинный манер нарисованную карту и прочли бы на ней: «Сии прекрасные земли открыл неутомимый исследователь и путешественник Лев Кассиль». На этой карте вы бы увидели и Швамбранию, и Синегорию, и Джунгахору, и моря и океаны, их омывающие...

И на двери, ведущей в мою комнату, вы обнаружили бы большой красочный герб Синегории. Герб этот много лет назад подарили мне, прибив его на дверь, пионеры из городского Дома пионеров столицы.

А карту трех «открытых» мною стран изготовили и подарили мне мои товарищи из редакции журнала «Пионер», с которыми я связан с первых дней моей литературной работы.

И висят у меня еще швамбранские, джунгахорские, синегорские гербы. Иные из них присланы из далеких, действительно существующих стран.

Не буду я, дорогие мои друзья-читатели, таить от вас, что очень это лестно и приятно иметь такие почетные и торжественные знаки признания «открытых», то есть, попросту говоря, придуманных мною стран... Признания, как выражаются дипломаты, «де-юре», то есть по законам международных отношений.

Но разве я добивался когда-нибудь, чтобы вам на школьный глобус нанесли очертания Швамбрании, Джунгахоры или Синегории? Нет, конечно. Я хотел лишь одного: пусть воображение ваше откликнется, заиграет и признает существование этих стран. Пусть дела, судьбы, радости, победы, огорчения и удачи швамбран, синегорцев и джунгахорцев захватят ваши сердца и укрепят доверие ко мне, мечтающему только об одном: чтобы все вы были счастливы, чтобы хорошо вам жилось на свете, чтобы всем вам, как и другим людям на нашей планете, населяющим страны и материки, которые давно вычерчены на картах, были бы доступны любые честные и справедливые радости.

И потому как мне не радоваться, получая книжку о жизни ребят-коммунаров из Ленинградской пионерской коммуны имени Фрунзе, прочтя которую я узнаю, что у них проводятся специальные дни, посвященные Швамбрании, когда в коммуне всем правят законы, утвержденные на Материке Большого Зуба... И «тех, кто помог провести праздник-сказку», награждают «Орденом трудовой Швамбрании».

Или, открыв на звонок дверь, я вижу на лестничной площадке возле лифта паренька и девчурку в парадной пионерской форме. На пилотках у обоих узнаю дорогие для меня гербы Синегории: радуга, пересеченная стрелой, которая оплетена вьюнком.

— Отвага!.. Верность!..— оба разом, дружно, произносят ребята, вскинув салютом свои ладони над пилотками.

И я, чуть было не растерявшись от неожиданности, отвечаю:

— Труд!.. Победа!..

Оказывается, это приехали навестить меня «пионеры-синегорцы» со станции Кубинка, расположенной неподалеку от Москвы. У них там давно уже организовали пионерский отряд «синегорцев», взявших своим отрядным знаком синегорский герб с девизом: «Отвага, Верность, Труд — Победа!» И даже на конвертах посылаемых мне писем они всегда и неизменно рисуют герб Синегории.

А порой приходят весточки очень издалека, с другого полушария Земли.

Вот, например, лет пять назад я получил под Новый год такое письмо из Соединенных Штатов Америки:

«Дорогой мистер Кассиль! В 1935 году, когда мне было восемь лет, отец подарил мне издание «Страны Швамбрании», незадолго до этого переведенной на английский. Я прочел ее много раз с огромным удовольствием и радостью. Она была весьма поучительна для меня. В прошлом году, когда моему старшему сыну исполнилось восемь лет, я дал ему эту книгу. Он тоже прочел ее много раз. Книга стала действительно его любимицей. Он просил меня задать Вам несколько вопросов. Имела ли Швамбрания свой алфавит? Продолжаете ли Вы играть в Швамбранию? Видите ли Вы Швамбранию сегодня? Почему Вы написали о Швамбрании, если хотели сохранить ее тайну?

Мы оба, Джимми и я, сильно надеемся, что если многие люди нашей стороны Атлантического океана были бы дружны с Швамбранией, значительно повысилось бы понимание между нашими двумя народами.

Ваш, с дружеским чувством, Джозеф Б. Рассел».

И я ответил сыну мистера Рассела, далекого американского союзника моей Швамбрании, так:

«1. Алфавит в Швамбрании был русский. Но затем, по мере того как книга печаталась в разных странах, письменность ее менялась, и швамбраны теперь стали полиглотами, говорят на многих языках мира, пользуются разными алфавитами.

2. В Швамбранию я давно уже сам не играю, но все же стараюсь сохранить в себе некоторые черты швамбран: веру в могучие силы спра-

вежливости, твердую убежденность, что без мечты жить скучно и она помогает делать жизнь на самом деле счастливой и веселой.

3. В мечтах наших ребят, дорогих моих мальчишек и девчонок, в дружном увлеченном труде их старших друзей многое напоминает мне о думах моего детства. Но сегодня все это уже не игра, не выдумка, а великое настоящее дело, в котором я тоже изо всех сил стараюсь участвовать.

4. Государственную тайну Швамбранин я позволил себе разгласить потому, что мне очень хотелось, чтобы как можно больше людей научились мечтать, а потом находить себе такое дело в жизни, которое помогает делать задуманное сбывающимся.

Поблагодари своего папу за дорогие для меня слова о моей книге. Я, как и вы с папой, тоже верю в то, что добрая мечта сближает людей и народы. Давай мечтать вместе о жизни совсем хорошей!»

А недавно в журнал «Советская литература» пришло из Канады письмо одного видного общественного деятеля и литератора — Дайсона Картера. Он тоже прочел переведенную на английский язык повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!» и, как видно, доверился тому, что я рассказал про Джунгахору и принца Дэлихьяра Сурамбука, потому что письмо свое заканчивает так:

«...Эта повесть... меня очень порадовала. Если у Вас будет случай передать это автору, сделайте это, пожалуйста. Скажите ему, что, по-моему, его должен прочитать каждый человек, любого возраста и в любой стране».

И хоть чувствую я, уж очень перехвалил мою повесть канадский общественный деятель, однако дорого мне то, что и там, далеко от нас, люди честные и добрые понимают, почему мы, писатели, хотим поведать людям о своих мечтах, чувствах и мыслях, «открывать» страны, которые пока еще не нанесены на карты. А ведь я «открывал» страны, которых нет на свете, чтобы читатели мои еще крепче полюбили бы ту страну, дороже которой для меня на свете нет,— родную нашу Землю Советов!

И все эти страны, флаги, карты, гербы, с которыми вы познакомились в книге моей, лишь мечтательное, иногда чуть-чуть озорное и насмешливое, а иной раз задумчивое эхо той всамделишной жизни, в которую вы, друзья, вступаете... Хочется мне, чтобы и наши с вами мечты, и игра в неведомые страны помогли вам лучше понять, почувствовать, что вам всего дороже в жизни.

Так выше же флаги нашей мечты о счастье и справедливости на всем свете!

Полный вперед! Так держать!

Плавание продолжается. Мы — в дальнем походе. И я верю, что там, за манящим меня горизонтом, наступит день, когда на всей земле жизнь будет такая, какой стала, если верить Лельке и Оське, в Швамбрании. Помните?

«...Чтоб красиво было... Мостовые всюду, и мускулы у всех во какие! Ребята от родителей свободные. Потом еще сахару — сколько хочешь.

Похороны редко, а кино каждый день. Погода — солнце всегда и холодок. Все бедные — богатые. Все довольны».

Ведь о такой жизни, должно быть, и мечтали в памятную ночь на берегу нашего Черного моря пионеры лагеря «Спартак» в палатке № 4, проводя тайно Большой Совет вместе с Дэлькой, неожиданно ставшим королем Джунгахоры:

«— Слоны — всем! В ямы — никого! Мерихьянго — вон!»

А пионеры-синегорцы, вместе со мной твердо верящие, что рано или поздно над всей Землей выгнется добрая, миролюбивая семицветная радуга, салютуют вам, дружно провозглашая:

«Отвага, Верность, Труд — Победа!..»

Вот обо всем этом и хотел еще раз напомнить, друзья мои, автор только что прочитанной вами книги, бывший Адмирал Швамбрании Арделяр Кейс, ныне именуемый не иначе как

ЛЕВ КАССИЛЬ

1969 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Для детей среднего и
старшего школьного возраста

Лев Абрамович Кассиль

ТРИ СТРАНЫ, КОТОРЫХ НЕТ НА КАРТЕ

Художник Г. Пахолков
Ответст. редактор А. Байрова
Художест. редактор И. Балдано
Техн. редактор Н. Куцман
Корректоры Н. Григорьева, В. Овсянников.

ИБ 1639

Сдано в набор 25.07.79. Подписано в печать 19.11.79. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 31,0. Уч.-изд. л. 30,4. Тираж 300 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.) Заказ № 995. Цена 1 р.

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480003, г. Алма-Ата, ул. Гоголя 111.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.